

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

МИХАИЛ
КОЗАКОВ

Часть
третья
Часть
четвертая

*Трагедия! Соед
Искуп и шотери!
Вся в борьбу!
На отчаянии!
с упрямой волей!
се приемышам!
То был раскол погубивший!
Брава!
Бессовестно!*



Дело
№ 11111

**МИХАИЛ
КОЗАКОВ**

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

**Роман
в четырех
частях**

**Часть
третья
Часть
четвертая**

ТАШКЕНТ
«УЗБЕКИСТАН»
1987

P2
К 14

Оформление художника Г. ПРОСВИРОВА

Козаков, Михаил.
К 14 Крушение империи: Роман : В 4-х ч.
Ч. 3—4.—Т.:Узбекистан, 1987.— 383 с.

P2

№ 684—87
Гос. б-ка УзССР
им. А. Навои.

4702010200-267
К ————— 112-87
М351 (04)- 87

Печатается с издания издательства «Художественная литература», Москва, 1986 г.

Редактор *Н. Иванова*
Наблюдающие за выпуском *Е. Яковенко, Л. Федотова*
Художник *Г. Просви́ров*
Художественный редактор *У. Набиев*
Технический редактор *С. Сабирова*
Корректор *М. Власова*

ИБ № 4191

Сдано в набор 27.01.87. Подписано в печать 08.07.87. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага книжно-журнальная. Фотоабор. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,0. Усл. кр.-отт. 24,24. Уч.-изд. л. 29,03. Тираж 200 000. Заказ № 11. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Узбекистан» 700129, Ташкент, Навои, 30. Изд. № 372—86.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 700129, Ташкент, Навои, 30.

- © Издательство «Художественная литература», 1986 г.
© Оформление. Издательство «УЗБЕКИСТАН», 1987 г.

Часть
третья

НАКАНУНЕ



Глава первая

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОТОПОПОВ И ИЖЕ С НИМ

Министр был словоохотлив. Об этом знали все: правительство и депутаты Думы, чиновники, приходившие с докладами, и сотрудники газет, почти ежедневно теперь посещавшие приемный зал нового государственного деятеля.

Многоречивость его шокировала сдержанных, скупых на слово других министров. Они с настороженным любопытством и удивлением следили за действиями своего нового коллеги. Еще большую тревогу возбуждала она у многочисленных думских соратников: как-никак он был товарищем председателя Государственной думы, членом партии октябристов, входившей в оппозиционный правительству «прогрессивный блок»; а он, достоуважаемый Александр Дмитриевич, говорит теперь такое, что затыкай только в негодовании уши...

Впервые его словоохотливость сослужила ему плохую службу несколько месяцев назад, летом, — когда при возвращении из Англии неожиданно для всех сделал остановку в Стокгольме.

Его спрашивали: как это могло случиться, что он, глава парламентской делегации, только что ездившей на Запад к «союзникам», вступил вдруг в переговоры с немцем, врагом России? Разве не знал он, что доктор Варбург, его стокгольмский собеседник, — не только известный гамбургский банкир, но и советник германского посла в Швеции, Люциуса? Что он конечно же подослан и весь этот разговор в специально нанятом номере в гостинице может принести только вред России?

Однако он сумел на некоторое время рассеять недоумение думских патриотов. Встреча с Варбургом была случайная, говорил он, совершенно случайная. Вот ее запись, если угодно (он показывал всем свою маленькую путевую книжку), — все могут убедиться, сколь непреклонно и настойчиво подчеркнул он своему собеседнику невозможность для России мира до полного поражения Германии.

Он обо всем этом рассказал, и его заверили, что Дума удовлетворилась его объяснениями.

Он вышел из подъезда Таврического дворца довольный и ухмыляющийся — необычной для него, слегка подпрыгивающей походкой, молодившей пятидесятилетнего человека.

Бритый и румяный, со вздернутым носом, лакей нес за ним автомобиля палку с позолоченным набалдашником «земной шар»

и перекинутое на руку легкое серое пальто, которое можно было бы и не брать с собой в жаркий июльский день.

— Павел Савельев! — сказал он лакею, много чего знавшему из его жизни. — Павел Савельев... (он всегда так обращался к нему: по имени и фамилии) ты не находишь, что в этом почтенном, старом здании пахнет сыростью?

— Не обращал внимания на это. Александр Дмитриевич отвечал тот, шествуя на шаг позади.

— О, грибки, грибки завелись... брожение!

Как ни был смущен Павел Савельев, он не мог понять сразу, о чем идет речь. Он промолчал.

Очевидно, так и надо было поступить, потому что Александр Дмитриевич вслед за тем пробормотал не имевшее как будто никакого отношения к сказанному минутой назад:

— Зависти... эх, Павел Савельев, зависти много у этих людей! Ну, да хорошо. Прежде они *à bras ouverts*¹ всегда встречали, а теперь...

Он сел в открытый автомобиль. Держался на мягком сидении строго, выпрямив подчеркнuto грудь, заложив, что часто делал, левую руку за спину, правой поправил черный цилиндр на голове и приказал ехать на Острова. Павел Савельев вспомнил, что сегодня вторник, — значит, на Островах встретятся с царскосельской лазаретной сестрой Воскобойниковой.

Через несколько дней поезд домчал их обоих в маленький незнакомый город: это был Могилев, где помещалась царская Ставка. Но здесь Павлу Савельеву пришлось часа на три расстаться со своим барином: флигель-адъютант усадил Александра Дмитриевича в машину и отвез его в дом императора.

Это была вторая встреча с государем. В первую — девять лет назад, в день рождения третьей, столыпинской, Думы — Александр Дмитриевич прочитал царю адрес от имени своей партии «октябристов». Он был не только депутатом, но и симбирским предводителем дворянства.

Его не заметили тогда, однако.

Когда год назад Родзянко рекомендовал его в министры торговли, царь небрежно сказал:

— Протопопов?... Что-то не помню такого, он мне неизвестен.

Другое дело — сейчас: был принят государем «сидя», что считалось высшим знаком благоволения.

Бросая в его сторону короткие, косые взгляды, царь с видимым любопытством разглядывал теперь сидевшего перед ним человека с широко, молитвенно раскрытыми глазами, с дородным, раздавленным ямочкой подбородком, со вздрагивающими, трепещущими ноздрями: «Ну, что-то скажет он, этот новый приверженец из думских «беспокойников», — а? Алис рекомендовала его выслушать».

¹ С распростертыми объятиями (фр.).

— Начался разговор с того, ваше величество, что он вспомнил мое интервью в Париже, данное журналисту Гилью, о том, что у нас скоро прибавится новый союзник в Германии — голод. Он говорил, что это ошибка.

— Кто это говорил? — не понял сразу Николай.

— Варбург, ваше величество.

— А-а... Продолжайте, пожалуйста.

— Он говорил, что у них прекрасная организация, что голода теперь нет и что они теперь предупреждают события, а не только пресекают. Затем говорил, что в этой войне виновата одна Англия: если бы она откровенно сказала, что будет на стороне России, тогда войны не было бы. Во всяком случае, он сказал, что Германия всегда больше даст, чем Англия. Англия всегда обманет Россию, как обманула в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, ваше величество!

— Вы того же мнения относительно англичан?

Царь посмотрел вопросительно и оглянулся по сторонам, как будто не был уверен, что они сидят здесь только вдвоем.

— Мнение моего императора есть также и мое мнение! — не склонил, а запрокинул в меру напомаженную голову его собеседник. Он словно хотел показать необычным в таких случаях жестом: «Я горжусь своей преданностью тебе и открываю свою голову для удара, если бы он был направлен кем-нибудь в тебя».

Царь, видимо, оценил скрытое значение жеста, — он улыбнулся в шевельнувшийся соломенный ус и кивнул головой, приглашая продолжать сообщение.

— Он очень интересно говорил, ваше величество, что Германия не преследует никаких завоевательных целей, а желает только исправления курляндской границы. Относительно Франции заявил, что Эльзаса нельзя трогать, а относительно Лотарингии — можно говорить о том, чтобы пересмотреть границы и кое-что вернуть. Затем относительно Польши. Польша есть в России, в Австрии, но нет в Германии, и Польша может быть образована только из этих земель. Я спросил: этнографическая граница или географическая? Он ответил: географическая. Потом о Бельгии: заявляют, что готовы ее восстановить.

Под конец беседы царь спросил:

— Вы делились с кем-нибудь вашими впечатлениями и содержанием встречи?

И Протопопов ответил:

— Слугам можно дать попробовать соус: мясо — это пища для одного лишь господина, ваше величество! Так гласит древняя поговорка. Никакой такой поговорки не существовало, он тут же ее счастливо для себя придумал, — и царь, доверившись ему, удовлетворенно заметил, что древность действительно хранит в себе много мудрости.

На этот раз его оценили. Штюрмеру царь сказал о нем: «Какой он октябрист? Кажется, он настоящий правый. Какой он вежливый... очень вежливый! Я рад узнать это».

Его позвали к высочайшему обеду, а ровно через два месяца — снова к царю, вручившему ему самое важное в России министерство.

Тогда он отправился благодарить своего старого знакомого и, улучив минуту, когда никого другого не было в комнате, приложился губами к длиннопалой руке «старца». Распутин шутливо ткнул ее под вспотевший нос Протопопову и сказал вдруг, словно пожелал почему-то обидеть:

— Ну, ну Дмитрич... Честь твоя тянется, что дамская подвязка.

Толстый, грубый Родзянко кричал в телефон, чтоб отказался входить в штормеровский кабинет. Милюковцы при встречах строили презрительные гримасы. Люди из его собственной фракции вопросительно и недоуменно поглядывали на него. И всем вместе казалось, что он рехнулся, что политическая биография его уничтожена в тот момент, когда получил ключи от казенной квартиры в министерстве внутренних дел.

Он отвечал всем:

— Я полюбил государя и его семью. Я хочу спасти Россию.

Интервьюеры из газет не без живого любопытства разносчиков скандала спрашивали его, как он собирается это сделать.

Министр словоохотлив и подкупающе любезен, — журналистов он принимал запросто, и на газетные полосы русской прессы легли, тесня друг друга, статьи и заметки о его обширных планах.

Он сказал:

— Лозунг «Все для войны» превратился в лозунг «Ничего для тыла». Это нехорошо, господа.

И многие подхватили эти крылатые слова нового министра.

В газетах стали рассуждать о застарелых привычках русской интеллигенции, которая почему-то не имеет призвания к власти, не любит ее и брезгливо морщится, когда прогрессивных людей призывают к ней. «Любопытно, — писалось, — что А. Д. Протопопов не похож в этом отношении на других русских интеллигентов: у него, оказывается, всегда был прирожденный вкус к власти, — и это не так уж плохо, если на то пошло».

Все закономерно, — рассуждали другие. Новый министр по духу и по жизни своей — промышленник и помещик. Он владелец семи тысяч десятин, крупнейшей в стране Румянцево-Селиверстовской суконной фабрики и нескольких других предприятий. Правильный инстинкт вел его к тому стыку, где сходились политические интересы промышленников, землевладельцев и властвующей бюрократии. Назначение такого человека открыло окошечко, конечно, не к русской общественности, господа, а к русской промышленности, и притом — с самого правого уголка ее. Может быть, это начало только? Дай-то бог!..

Открытое окошечко нарисовали даже в одном из журналов. Но так, что выглядывало из окошечка, позади министра, знакомое всем бородатое лицо «старца» Распутина. Министр был очень не-

доволен, но на людях беспечно улыбался и декламировал даже по этому поводу латинские стихи:

Как сойдутся Анциллы, Сибиллы,
Камиллы порой —
Застрекочат об этом, об этой, о той...

Правда, — мало ли какие гадости будут распускать политические кумушки? Однако оградить себя от их непомерного любопытства следует.

И потому Шарлю Перрену, жившему в Париже под фамилией журналиста Гильо и приславшему поздравительную телеграмму из Стокгольма (ах, все тот же Стокгольм!), он отправил из *министерства в адрес миссии* обнадеживающую телеграмму, обещающую новое свидание на русской территории.

— Он выслан из России по подозрению в шпионаже, — бесстрастно дал справку директор департамента полиции. — А вы пишете *«écouter vos conseils»*¹.

— У нас в последнее время чрезвычайно легко говорят: «шпион, шпион!» — обиженно повысил голос министр. — Это поразительный человек: он читает чужие мысли, отгадывает, предсказывает по руке. Он сказал мне еще два года назад, что моя планета — Юпитер, она проходит под Сатурном, что значит — я буду министром. (Он был суеверен и почти не скрывал этого.) Я был с женой, дочерью и *beau frère*. Отправьте депешу, дорогой мой!.. И вот еще что: вы не находите нужным представить мне особо заметных сотрудников вашего департамента? Находите? Правда?

Он был еще неопытен в первые дни и не умел отдавать приказаний, как того требовала официальная форма. Но он был весьма любопытен, и увидеть в лицо людей, чья жизнь и служба неизбежно покрыта была известной таинственностью, составляла секрет для всех остальных, — его привлекало.

Так и состоялась, в числе прочих, его встреча с Вячеславом Сигизмундовичем Губониным — нашим старым знакомым.

Через недели три после этой официальной встречи, когда Вячеслав Сигизмундович появился октябрьским вечером в гостиной княгини Тархановой, родственницы Протопопова, раз в месяц собиравшей у себя кружок добрых знакомых, на него смотрели уже как на человека, быстро и уверенно делавшего карьеру, потому что всем стало известно, что новый министр очарован его достоинствами и трудоспособностью отличного службиста. Поговаривали, что Александр Дмитриевич не прочь был бы, приглядевшись, отдать ему самый важный департамент. О нынешнем директоре департамента, Васильеве, говорили, что он вял, неповоротлив и без искры таланта, которого требует от всех своих подчиненных новый министр.

¹ Выслушать ваши советы (фр.)

Он некоторых уже уволил по этой причине.

— J'en ai assez!¹ — горячо говорил он. — Если все здесь такие, они даром мне не нужны. Монархия требует не слуг, а рыцарей ума и дела.

Иным он казался смешон, другие, напротив, искали в нем черт всемогущего некогда Петра Столыпина.

Но первые скоро восторжествовали.

Вести, собранные Губониным в докладе, не предвещали ничего хорошего.

Перечислив секретные рапорты начальников жандармских управлений, разбросанных по всей России, и особо отметив донесения охранного отделения обеих столиц, Вячеслав Сигизмундович откровенно писал новому министру:

«Продовольственный вопрос в его полном объеме принял такой острый характер, что захватил собою все слои населения и вызывает не только много толков, но и раздражение как против капиталистов-спекулянтов, так и против городских самоуправлений, местных административных властей и даже центральной власти. Теперь уже следует иметь в виду явное недовольство правительством за неумелое разрешение продовольственного вопроса в России. Как на прямое последствие этого, можно указать на целый ряд сахарных, мучных, масляных и т. п. беспорядков, имевших место в различных городах империи, а также на целый ряд периодически повторяющихся экономических забастовок на заводах и фабриках и прочих коммерческих предприятиях.

...Борьба с дороговизной выливается в создание многочисленных кооперативов, объединяющих в организованные массы огромную часть населения.

...Умы встревожены, недостает лишь толчка, дабы возмущенное дороговизной население перешло к открытому возмущению. Следует ждать рабочих беспорядков, причем на подавление их войсками гарнизонов не всегда можно рассчитывать. Войска состоят из новобранцев, ополченцев и запасных, для которых интересы гражданского населения являются более близкими и понятными, нежели выполнение воинского долга.

...Имеются агентурные указания на то, что даже стражники в некоторых местностях являются не вполне надежными и что в особый момент они могут покинуть службу.

Обращаю внимание вашего высокопревосходительства, — продолжал Вячеслав Сигизмундович, — на антивоенное настроение, которым объаты, к сожалению, многочисленные слои населения, уставшие за два года. Так, например, начальник владимирского губернского жандармского управления доносит, что в уездном городе Судогде из 1660 человек, подлежащих призыву, явились к воинскому начальнику только 545. Вследствие призыва белобилетчиков в толпе повсюду говорят, что эта война — истреб-

¹ С меня хватит! (фр.)

ление народа и что конца ей не предвидится. Примерно такое же настроение наблюдается и в других местностях.

...В деревне говорят: «Пора отказаться от новых призывов молодых парнишек и старых мужиков, все равно правительство всех не перевешает, а немцы сумеют всех перебить или перекалечить».

...Заметно участились случаи оскорбления его императорского величества.

...По данным наблюдения из казарм доходят сообщения о протестах и волнениях, подогреваемых участниками нелегальной организации большевиков-ленинцев — «пораженцев». После разгрома этой организации в столице в июле с. г. деятельность «пораженцев» снова заметно усилилась.

...Солдат стали содержать опять плохо. Нет обуви, нет одежды для зимней кампании, плохая пища. Обращение грубое, и за пустяковые поступки нередко наказывают поркой. По донесению из Петергофа, — подвергли, например, телесному наказанию 170 солдат 1-го запасного батальона. Порка по сто ударов широко практикуется и в 3-м батальоне. Наблюдается переход от зуботычин к хлыстам, так как некоторые офицеры жалеют свои руки и потому бьют нижних чинов нагайкой. О том же сообщают и с позиций.

...Предлагают солдатам выбирать наказание: расстрел или порку. Иногда такое тяжелое наказание практикуется за пустяки: за неотданную честь, отлучку, незнание «словесности». Отмечается падение дисциплины: вместо роты в атаку бросается половина. В связи с повторением таких случаев на Северном фронте издан приказ, чтобы офицеры не бросались первыми в атаку, а сначала слали перед собой нижних чинов. Но опять-таки это удастся сделать при помощи шашек и палок. К шашкам прибегают кадровые офицеры, а к палкам и плеткам — прапорщики.

...Туркестанский полк ушел с передовых позиций в полном боевом вооружении и ушел беспрепятственно вглубь около 75 верст. Этим воспользовались турки и прорвали фронт.

...Борьба с дезертирством встречает сильное затруднение ввиду известного благожелательного отношения к дезертирам не только сельского населения, но и сельских властей, а также вследствие того, что задержанные с большим трудом дезертиры по доставлении их к воинским начальникам вновь убегают.

...10 текущего октября месяца, — продолжал читать министр губонинское донесение, — 3-я рота 181-го запасного полка, расквартированного на Выборгской стороне, не ответила утром на приветствие прапорщика Леонида Величко, ввиду чего последний с револьвером в руках, угрожая смертью, стал обходить людей поодиночке и здороваться с ними. Тогда они стали отвечать на приветствие. Как на причину недовольствия этим офицером, нижние чины указали на дурное обращение с ними. Фельдфебелям ротные командиры предоставили настолько неограниченную

власть, что, следует признать, за всякий пустяк ратники ставятся под ружье на 10 часов. Под влиянием всего этого в полку создалось настолько тяжелое состояние, тяжелый уклад жизни, что возможно ожидать возникновения беспорядков.

Опасения должны быть тем сильнее, что в поднадзорную команду указанного полка, предназначенного к скорой отправке на передовые позиции, попало в последние дни несколько арестованных ранее за подпольную политическую деятельность человек, коим тюремное заключение заменено в административном порядке отсылкой на фронт.

Попутно в связи с этим считаю своей обязанностью обратить внимание вашего высокопревосходительства,— писал Вячеслав Сигизмундович,— на сии рискованные определения особого присутствия при г. Начальнике отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице, генерал-майоре А. Ф. Глобусове, невольно способствующие проникновению в армию антигосударственных и вредных элементов...»

Материалы доклада Губонича Александр Дмитриевич приобщил к своему собственному, который собирался на днях делать в совете министров.

Так, так,— все идет на руку, все льет воду в избытке на мельницу его новых «сильных» проектов. Можно будет утереть нос не одному из его коллег по правительству. Однако какой молодец и умница этот Губонин!

— Не правда ли?— осведомлялся министр о нем у некоторых, знавших Вячеслава Сигизмундовича,— в том числе у генерал-майора Глобусова,— и очень похвально отзывался о губонинском докладе.

— Вы его должны оценить, ваше высокопревосходительство,— сказал Александр Филиппович доброе слово о своем родственнике.

— Да, да!— согласился министр и, словно вспомнив о чем-то, потребовал:— А вы согласитесь, дорогой мой... (через каждые два слова в третье он говорил «дорогой мой» и лез в обнимку) согласитесь с Губониным, что нельзя в виде наказания отправлять в воинские части арестованных политических. Вы как думаете, а?

— Он вам и об этом докладывал, ваше высокопревосходительство?— снял Глобусов с низко опущенного своего живота сложенные на нем по-бабьи руки (такова была привычка) и расправил плечи.

— И хорошо сделал, дорогой мой!— услышал он в ответ. Генерал-майор Глобусов был, однако, другого мнения.

В первую же встречу с Вячеславом Сигизмундовичем он сказал ему об этом.

Генерал-майор Глобусов был готов признать, что поднадзорных «подпольщиков» не следовало допускать в воинские части (впрочем, и то не всякого...). И если не следовало, то лишь потому, что какой-то — короткий — срок эти воинские части, пребывая в тылу, находились вне опасности. Но они, по условию, войны

очутившись на фронте, уже были обречены (увы! увy!) на смерть. Обречены были (к счастью! к счастью!) и те эсдеки-большевики, к которым столь пристрастен генерал Глобусов.

— Да, весьма пристрастен, дорогой мой Вячек. Казалось бы, двор и правительство ревниво и подозрительно следят (и нам с вами повелевают следить) за думским окружением Родзянко, за кадетами и прогрессистами, мечтающими для России об английской конституции, а наиглавнейшая опасность таится не на поверхности,— убежден в том Глобусов.— Опасность эта в недрах фабричного, промышленного рабочего класса. О, это, Вячек, такое огромное войско, вооруженное великой ненавистью ко всем нам... И настоящие командиры в этом войске — только эсдеки-большевики. Только они!.. Но не всякого из них расстреляешь по суду. Другое дело — немецкая пуля. Немцы не обязаны руководствоваться для этого статьями нашего Уложения о наказаниях.

Ну, ладно. Не следовало, предположим, рисковать, допуская именно большевиков в воинские части. Но дорогомoу родственнику Вячеку также не следовало вмешиваться в это дело, прислуживаясь новому министру, забыв о старых покровителях. Не правда ли?

Помилуй бог, узнает о таком свержении старик Штюрмер! Ведь может узнать: стоит только кому-нибудь (конечно, не Глобусову же!) сболтнуть об этом,— и ревнивый, мстительный (очень мстительный) старик премьер заподозрит личную измену со стороны Вячеслава Сигизмундовича. Приятно ли будет дорогомoу родственнику Вячеку?..

Ах, премьер!.. Он и так уж весьма подозрителен стал за последнее время. Говорят, что своим интимным друзьям он сказал недавно об Александре Протопопове: «Celui-là veut s'asseoir sur ma chaise»¹. Правда ли это — генерал-майор не вполне уверен.

— Правда, но только наполовину,— внес корректив Вячеслав Сигизмундович: действительно, слова эти были сказаны, но они относились не к Александру Дмитриевичу, а к путейскому министру Трепову, который и впрямь не прочь занять место старика. И тут отдали оба минуту разговора злomu и напыщенному шталмейстеру Трепову. Низенький, рыжий, с плешивой головой, губы плоские, усы неряшливо торчат,— ох, как неприятен был обоим шталмейстер Трепов не только своим внешним обликом!

Ласковым, журчащим голосом рассказывал Александр Филиппович о министре. Но это — так, между прочим, почти анекдот: отвратительный почерк министра. Буквы громадные, но это — одни палки какие-то и все одинаковые. Курьез: в резолюции вдруг слово «Мария». Что такое? «Ах, я хотел написать «армия»!.. Большая, большая потеря времени при разборе его писем...

— Вот как?— Вячеслав Сигизмундович не знал и не предполагал даже.— Разве,— усмехался он,— еще кто-нибудь, кроме древнего старичка Мардарьева, времен Александра Второго, занимается перлюстрацией переписки сановников, доставляя ее ми-

¹ Этот хочет сесть на мое место (фр.).

нистру внутренних дел? Кто же это еще занят разбором писем высших чинов в государстве?..— Вячеслав Сигизмундович удивлен и обрадован тем, что собеседник его так проболтался.

Но генерал-майор Глобусов, словно не замечая вопроса, не видя тени улыбки, откровенно мелькнувшей на голой губе родственника, поглаживающего свою широкую голландскую бороду, повторяет — заботливо, соболезнующе — свою прежнюю фразу, добавляя к ней лишь слово:

— Большая, большая потеря времени при разборе его писем *подчиненными!*

(Зря преждевременно торжествовали, дорогой Вячек!)

А вот, кстати: иных подчиненных можно и пожалеть, а за иными следует и последить, чтобы беда не вышла. Особенно если начальник вместо всего этого потворствует?..

(Голос генерал-майора нежен и вкрадчив, пальцы рук, лежащих на животе, размеренно вращаются вокруг невидимой оси, словно вяжут по-старушечьи чулок, глаза открыто и ласково смеются,— и Губонин уже готовится к новой неприятности. «Однако что еще такое?..»)

Вот приключился такой случай,— Александр Филиппович смеет предполагать, что дорогому Вячеку интересно будет послушать? Да, неприятное дело. Один из секретных сотрудников, представленный, в частности, и к Распутину, разговорился с ним в один из хмельных часов и напел, голубчик, страшной ерунды. Ох, боже мой, в России так много людей, одержимых манией ее спасения, что даже какой-нибудь департаментский сотрудник Кандуша (Вячеслав Сигизмундович уже ощутил удар!)... какой-нибудь охранник — и тот метит в спасители страны и трона.

«Собрать,— говорит такой Кандуша,— главных врагов режима (как будто он знает, кто *главный*-то враг!), собрать их невзначай в одном месте и —чик под корень»: несчастный, мол, случай... Так и выражается ретивый малый: «чик под корень»,— каково, а? («Ах, скотина, ах, скотина!»— возмущался своим Лепорелло Вячеслав Сигизмундович...) Целый проект изложил «старцу» в письменном виде, потом передал, просил по секрету государю доложить. А если бы этот «доклад» кому-нибудь из думцев в руки попал,— хватает воображения, что случилось бы?.. Если бы «старец» в пьяном виде кому-нибудь сей «проект» сунул?»

— Он так и сделал,— решил пойти навстречу своему собеседнику Губонин.

Генерал-майор Глобусов мягко кивнул головой.

— Вы правы, Вячек. Ваш Кандуша мог сослужить плохую службу, а вы этого и не знали. Ай-ай-ай-ай! — сострадательно шурил он глаза.

Глобусов мог бы и не продолжать рассказывать — Вячеслав Сигизмундович знал уже теперь дальнейшее: «старец» действительно сунул кому-то Кандушин «проект», а этот «кто-то» оказался глобусовским человеком («слава богу, что так случилось!»), и Кандушин «проект» сейчас, конечно, под замком у Александра Филипповича.

И генерал-майор Глобусов подтвердил:

— Так подвести, так подвести своего начальника,— ай-ай-ай-ай-ай!.. Еще рассказывал Григорию, что вас посвящал в это дело.

— Врет Григорий,— зло ответил Вячеслав Сигизмундович, убежденный безошибочно в Кандушиной скрытности и преданности.— Ложь!— метил он словом и взглядом в Александра Филипповича.— Грубое вранье... кому только понадобившееся?..

— Не знаю, не знаю, Вячек,— развел руками напوماженный, учтивый до предела начальник отдела по охране общественной безопасности и порядка в столице.

На сегодня — довольно! Этот разговор был достаточным предостережением для мужа Аннет: если бы не мысль о сестре и ее двоих детишках, Александр Филиппович сумел бы по-иному наказывать своего родственника. Дорого пришлось бы заплатить Вячеславу за неосторожные фразы своего доклада новому министру!

Вероятно, Вячеслав Сигизмундович и сам раскаивался в своей неосторожности,— прощаясь с Глобусовым, он усердно жал ему руку и заглядывал в его глаза, ища в них ответа: все ли забыто и все ли понято дорогим Александром? Ведь правда же, они по-старому — друзья? И еще большие, чем были раньше? «Конечно, конечно... Мы двое умных людей и видим друг друга сквозь тройную оболочку. Я не стану мешать тебе, и ты до сих пор не пакостил мне. Напротив!.. Мы двое умных, и грешно было бы не выиграть оттого в жизни, которая становится с каждой неделей все загадочней и загадочней в России. События не пронесутся мимо нас, как кони. В табуне надо найти глазом своего коня и оседлать его...»

С такими мыслями уходил Вячеслав Сигизмундович от генерал-майора Глобусова. Уходил довольный их взаимной откровенностью, довольный тем, что ловля друг друга кончилась и они благополучно договорились.

В Ковенском, на конспиративной департаментской квартире, он рассчитывал сегодня же увидеть Кандушу и хорошенько пробрать его за неосторожные действия.

Кандуша не явился.

Не пришел он и на следующий день, и Вячеславу Сигизмундовичу довелось увидеть его уже в обстановке, мало приятной для обоих.

Глава вторая

ИРИНА КАРАБАЕВА И ЕЕ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

День 16 октября прошел так же, как и все предыдущие. В ранний час, в пять утра, в помещении третьей роты раздался протяжный, нараспев, зычный крик унтер-офицера Ларика:

— Вста-а-авай! А ну, вста-а-авай! Пулей выле-та-а-ай!

Солдаты подметили, что унтер-офицер Ларик копировал интонацию, с которой торговки булками и коржиками за деревянным

забором зазывали к себе покупателей. Это настраивало сонных солдат на благодушный лад, вскакивали они со своих мест быстро и без особого огорчения.

Два рожка в обоих концах помещения защищали слабо, мутно-желтым светом, двухэтажные ряды нар от обступившей их ночной, еще не расступившейся темноты, плотно прижавшейся к высоким, звенящим от ветра окнам.

Стучал в стекла унылый октябрьский дождь. Открыли широкие квадратные форточки, и влажный стремительный сквозняк вбежал в казарму, — только тогда люди почувствовали тяжелый, смрадный запах духоты, накопленный за ночь казармой.

Свесившись со второго яруса нар, Ваулин минуту вдыхал врывавшийся в окно холодный, щекокущий ноздри утренний воздух.

Нары пустели: рота торопилась одеться, покинуть помещение.

Приведя себя в порядок, солдаты выстраивались в два ряда во дворе, против бараков. Переключки, назначения на дежурства, утренняя молитва — все протекало так, как и раньше. Затем — команда:

— Накро-ойсь!

И рота возвращалась в казарму пить чай.

Наскоро проглотив одну-две кружки чаю (кто сколько успевал), запрягались в походное обмундирование и с неизменным:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я!—

шагали на строевые учения.

В полдень возвращались «на обед», а через два часа вновь маршировали, делали пробежки, кололи чучела, стреляли в цель, сдавали фельдфебелю экзамен по солдатской «словесности», — и так до вечера, до воблы с кашей перед сном. Нет, ничего нового, ничего особенного не ждал сегодня Сергей Леонидович...

Он попал в этот 181-й запасный полк три недели назад.

Сидя в тюрьме на Шпалерной, он готовился к иному. Минусинск или Туруханск, а то и «колесуха» на Амуре — вот что могло быть впереди. Связанность по рукам и ногам, бездеятельность, отсутствие там, в Сибири, сведений о близких людях, о партийных событиях — все это угнетало Сергея Леонидовича гораздо больше, чем предстоящие лишения, физические страдания, которым он должен был подвергнуться. Так — в мыслях о предстоящем пути и об оставляемых здесь людях — проводил он тюремные дни. Их набегало немногим больше двух месяцев. И вдруг — неожиданное решение административных властей о переводе в войска, в полк, предназначенный в скором времени к отправке на фронт...

Уже в полку он узнал, что так поступили не с ним одним. В казарме он встретился с типографским рабочим Яшей Бендером. Тот указал ему еще на нескольких «политических», разбросанных

по разным ротам. Приговор для всех был ясен: под пулю врага, на смерть в окопах.

Однако оба — и Сергей Леонидович и Бендер — были рады неожиданной форме расправы. Во-первых, — рассуждал Бендер, — пока мы еще в Питере и можем восстановить связь с организацией. Во-вторых, — дополнял его Сергей Леонидович, — мы уже не в тюрьме, мы не так скованы в своих поступках. В-третьих, — решали они, — будем вести партийную работу и в этой новой обстановке, по-разному принаравливаясь к ней. А что касается уготовленной для них немецкой пули — то она может и промахнуться, не правда ли?

Иногда им становилось даже весело, а с того дня, как получила была — так неожиданно — первая весть от товарищей, оба повеселели еще больше.

Случилось это так.

В полдень Яша Бендер подошел к забору, по ту сторону которого размещались уличные торговки, чьи выкликанья так хорошо имитировал унтер-офицер Ларик. В нескольких местах казарменной изгороди не хватало досок, и в образовавшиеся отверстия высовывались солдаты, подзывая к себе баб с корзинами.

Крендели, маховики, пряники и конфеты, сваренные из патоки, — на все это лакомка Бендер тратил скудные остатки своих денежных средств. Но теперь привлекало его не сладкое, а возможность таким путем завязать связь с волей.

— Подходи! — крикнул он, просунув голову в дыру забора, и тотчас же несколько корзинок бросились на его зов.

Чтобы выиграть время, он начинал каждый раз торговаться, тем паче что цены на сладости меняли здесь часто и, казалось ему, очень произвольно. Он вел торг одновременно со всеми торговками и в разноголосице их обычных возражений и сетований на теперешнюю жизнь услышал вдруг знакомый, в первую минуту непонятно знакомый, женский голос:

— Эх, чиновник, чиновник!.. Бери у меня: я уступлю.

«Чиновник»? Ведь так шутя называл его Андрей Громов за упрямо взбитый рыжий хохол на голове. Окорнали теперь голову...

Он повернул ее на ласковый голос и — широко, радостно раскрыл глаза: одетая как все торговки, с корзиной в руках... перед ним стояла громовская жена, Надежда Ивановна. Обрадованный, он чуть было не выкрикнул сгоряча ее имя, но ее короткий, упавший в сторону соседок предостерегающий взгляд сдержал Яшу Бендера. Разыгрывая обычного покупателя, он стал рыться в ее корзине.

— Тебя-то не ожидала... Про тебя неизвестно было... а Швед тут? Наши узнали, что тут. Правда? — торопливо расспрашивала Надежда Ивановна, когда на минуту-другую они остались одни.

— Здесь, здесь... вместе мы. Нового что? Андрей Петрович как?

— На, бери записку Шведу: четыре дня ношу, выглядывая его. Андрей на конспирации, дома не живет... Завтра опять приду, каждый день ходить буду. Беги ответ писать.

— Ух ты!..— растрогался Бендер, быстро пожимая ее руку.— До скорого!

Он побежал разыскивать Ваулина.

В записке, посланной Андреем Громовым по поручению членов Петербургского Комитета, кратко, иногда условным языком, полунамеками сообщались главные новости: на заводах идет большая подготовка к политической, антивоенной стачке; удалось в двух местах вновь поставить «технику»; Петербургский Комитет пополнился новыми работниками, и он сам, Лекарь, вошел в исполнительную комиссию.

В конце записки Сергей Леонидович запрашивался, не считает ли нужным дезертировать из полка. Если возможно это сделать в ближайшее время, явочные пункты будут сообщены ему.

Увидеть в тот же день громовскую жену не пришлось: торчать у забора солдатам не разрешалось, особенно тем, кто числился в поднадзорной команде, а найти сразу Надежду Ивановну среди торговок, рассыпавшихся по сторонам при приближении придирчивых фараонов, не удалось. Приходилось сдерживать свое нетерпение и отложить свидание с ней на целые сутки.

Громовскую записку Ваулин разорвал, но содержание ее передал Бендеру, как только остались вдвоем: встретились, условившись, вечером у фельдшерского барака.

— Бежать отсюда вместе,— объявил Сергей Леонидович.— Если, конечно, бежать...

— Вы думаете?— не сразу отозвался Бендер.— Вам давать стрекача отсюда обязательно!

— А вам, Яша?

Наборщик пропустил сквозь зубы длинный звонкий плевок.

— Отчего вы молчите?— наступал Ваулин.— Конечно, вместе! Дело у нас общее! Цель-то одна?

— Меня не ждут,— смотрел в сторону Бендер.

— А ну, какая глупость приходит вам в голову!— строго, но избегая резких интонаций, сказал Сергей Леонидович.— Неужели вы обиделись? Но на кого, Яша? Вы только подумайте: на Андрея? На организацию? Стыдно вам!.. Или на меня, может быть? Но за что?

— Да бог с вами!— простодушно ответил Бендер, да так чисто, искренне, что Сергей Леонидович упрекнул себя за стремительный разнос, учиненный товарищу.

— Ну, то-то же, Яша,— как можно мягко, задушевно сказал он.— Вы не меньше нужны нашей организации, чем я,— чем любовью из нас. И какие тут могут быть разговоры? Уйдем отсюда,— ободрял он товарища,— и тогда не одно еще «шрифтовое дело» состряпаем.

— Ого, это верно... состряпаем!— подхватил уже весело Яков Бендер.— Только черкните Лекарю, чтобы явку мне прислал, если уходить отсюда придется.

— Не беспокойтесь, Яша: я уж об этом подумал.

До получения громовской записки вопрос о побеге оставался неразрешенным: чего требуют интересы организации — чтобы он, Ваулин, бежал из полка для нелегальной партийной работы или, в меру возможностей, в условиях казармы, а затем на фронте, вел эту работу, находясь среди солдат?

Потребность для себя и пользу для всей партии он находил и в том и в другом, но он помнил, что в любой момент «поднадзорный политический Ваулин» может быть убран из полка и брошен снова в тюрьму — без надежды оттуда выбраться. Что тогда?

В разное время по-разному принимал он решения.

Мысленно уже выскочив за ворота казармы и смешавшись с проходившим по улице народом, он нерешительно топтался на одном месте, не зная, куда направить свои стопы, где сбросить солдатскую одежду и заменить ее другой. Куда заявиться? Ведь он утратил все связи с товарищами, не знает, кто остался на свободе, а кто попал за это время в руки полиции.

Оставался на самый крайний случай один путь: пробраться вечерней мглой на Малую Дворянскую — к матери, к Лялке, увидеть там самоотверженную Шуру («А может, и ее арестовали?» — приходило в голову) и при ее посредстве дать знать о себе организации. Кстати, у матери хранится давно один из его костюмов и, кажется, пальто (правда — летнее).

Но мать и так уже не раз тревожили безрезультатными обысками и расспросами: выслеживали сына. А в случае его побега из полка охранка сразу, вероятно, нагрянет к ней и, застукав его там, причинит потом немало неприятностей его семье, а возможно, и соседке по комнате — курсистке Шуре.

Нет, туда опасно заявляться, как бы горячо ни хотелось ему пробывать там хотя бы считанные минуты... А вдруг не считанные минуты, а два, три часа? Два-три часа, в течение которых добрая заботливая Шура позвонит по телефону Ирише Карабаевой или приведет ее даже, и тогда он увидит ее — человека, которому он с такой большой нежностью, — нет, больше, чем только с нежностью! — отдавал теперь добрую половину своих дум.

Вдруг бы так?!

Дойдя в своих мечтах и желаниях до этого момента, Сергей Леонидович останавливал себя — он как бы трезвел. «Ну, вот, — упрекал он себя, — оторвался совсем от земли солдат Ваулин!..»

Громовская записка принесла ему новые надежды и — главное — мнение ПК о его побеге. Теперь уже нечего было сомневаться — нужно быть готовым в любой подходящий момент бежать отсюда.

Он запросил «явки» и ждал ответа.

Но не только на эту просьбу. В первую же мимолетную встречу у забора с Надеждой Ивановной он шепнул ей несколько слов, и громовская жена ответила на них быстрым, обещающим кивком головы и улыбкой понятливых глаз.

Второго свидания с ней он ждал еще с большим нетерпением, чем первого.

Обе девушки и старуха минуту помолчали. Это было молчание, копившее еще, как чувствовала Ириша, слова необходимых, но еще не принятых решений.

В комнату, как учтивые гости к дремлющему больному, входили серые, вкрадчивые сумерки.

Они прильнули к оконным стеклам, робко окрасив их бледным, угасающим румянцем опустившегося за горизонт усталого октябрьского солнца.

Боязливый розово-серый свет бережно обволакивал комнату, и предметы в ней теряли привычную простоту своих очертаний: они словно растворялись в этой воздушной смеси двух исчезающих цветов.

Вещи светились причудливыми пятнами, густым пунктиром своих разобщенных линий, они выпирали своими углами и ребрами, как будто отдельно, самостоятельно поставленными,— все это походило в глазах Ириши на части футуристического рисунка, недавно виденного на одной из выставок.

Вероятно, думала она, этот причудливый свет изломал, преобразил по-своему и ее собственное, Иришино, лицо, как это сделал он сейчас со старухой, Екатериной Львовной. Старуха сидела неподвижно в кресле. Свет разделил ее лицо на две цветные части. Не стертая сумерками смотрела на Иришу зачесанной наверх волнистой прядью седых волос, бледно-розовеющим, в роговой тонкой оправе, стеклышком пенсне, часть которого, казалось теперь, отпала (и оттого-серой и тусклой, как латунь, смотрела вторая половина лица Екатерины Львовны), и мясистым бугорком энергичного подбородка, на котором, одрябляя кожу, расплылись уже старческие, песочного цвета, пежины крупных веснушек.

— Зажечь?— протянула Ириша руку к выключателю. Она не узнавала предметов, ее впечатления сбивались: медленная слепота сумерек была ей неприятна.

Она повернула выключатель, Шура спустила шторы на окнах,— комната зажила своей обычной уютной жизнью. Казалось, легче стало думать.

— Как же быть?— возобновила разговор Екатерина Львовна.

Она попеременно переводила глаза на обеих девушек, сидевших рядом на диванчике, дольше останавливаясь на Шуре, как будто добивалась ответа прежде всего от нее.

— Ждать...— неопределенно сказала Шура.— Она человек обязательный. Значит — что-нибудь случилось.

— Но прошло, Шурочка, два с половиной часа, а ее все нет!

Старуха встала и прошла по комнате из угла в угол — медленно, притрагиваясь на ходу рукой к стоявшим на пути предметам, как будто слаба была или плохо видела и потому ощущала потребность на них опереться.

— Я не могу пожаловаться: все разы она была очень аккуратна. Очень, очень.

— Шура... — шептала на ухо подруге Ириша и заглядывала в ее лицо. — Неужели я не получу сегодня от него ответа? Сегодня! Ведь их могут в любую минуту отправить.

Та, кого так ждали — Надежда Ивановна, не появлялась.

На каждый звонок старуха торопливо, забыв свои годы, выскакивала в переднюю, но — тщетно: то кто-нибудь из владельцев квартиры возвращался домой; то гувернантка нижних соседей приглашала Лялечку в гости к своей питомице, и Екатерина Львовна, не в пример другим дням, охотно согласилась отпустить внучку; то звонили два подростка и предлагали купить у них билеты на какой-то благотворительный польский вечер-концерт.

Забегал еще к Шуре студент-однокурсник — брать записки по уголовному праву, хотел остаться, покалякать, но она под благовидным предлогом тотчас же его сплывила.

Громову ждали, отсчитывая каждую минуту. На кухне должна была появиться новая «молочница», недавно сговорившаяся с Екатериной Львовной, — так было условлено, дабы не вызывать подозрений ни в ком из живущих в квартире.

Несколько дней назад «молочница» принесла первый устный привет матери от сына. Лялечка отошла от раскиданных на полу игрушек и с удивлением смотрела на бабушку, обнимавшую и целующую какую-то незнакомую тетеньку, одетую как дворничиха или прислуга соседей, Маня. Потом с этой же незнакомой тетенькой, сидя в сторонке, шепталась о чем-то прибежавшая из своей комнаты «Шула», а бабушка стояла у «насовсем» закрытой двери, придерживая ее ручку. В тот же вечер бабушка, укладывая спать, рассказывала очень интересную сказку про одного доброго человека, который никого не хочет убивать, и обещала Лялечке, что послушная девочка сегодня увидит во сне папу. Ах, все это было очень интересно, но и непонятно Лялечке...

Во второй свой приход «молочница» застала в комнате Екатерины Львовны девушку, в которой, порывшись быстро в памяти, признала спутницу Шуры — ту самую, приходившую летом с ней к ларьку на Клинском... за листовками, отпечатанными Андреем.

«Вон оно что! — подумала Надежда Ивановна по какой-то ассоциации с сегодняшними расспросами прибежавшего к забору Ваулина. — И не поверишь сразу». (Это относилось к тому, может ли такая — хорошо одетая и красивая — девушка с любопытными по-детски глазами быть всерьез связана с рискованным и суровым делом Андрея и его товарищей.)

Но, почувствовав симпатию к ней, Надежда Ивановна уже поженски любовалась ее волосами, заложенными толстыми косами на слегка откинутой голове, тонкой кожей лица, шелковой английской блузкой.

При прощании Ириша вручила ей «секретку» для передачи Сергею Леонидовичу и долго держала ее руку в своей, крепко ее пожимая.

— Что делать?— в сотый раз спрашивала Екатерина Львовна, поглядывая на часы.— Меня это начинает сильно, очень сильно беспокоить, девочки... Вы скажете, Шурочка, «ждать». Хорошо, я согласна ждать... даже до завтра, как это ни тяжело должно быть матери, мне. Но... но — помните?— Она намекала прошлый раз, что сегодняшнее сообщение должно быть очень важным для всей судьбы Сергея. Оттого я и волнуюсь.

Признаться, Шура, если и не знаяшая точно, что замышляют сделать Ваулин и его товарищи, но догадавшаяся о том по некоторым фразам Громовой, беспокоилась не меньше Екатерины Львовны, но выдать истинную причину своего волнения она не смела. Если бы не требования партийной конспирации, она знала бы, как поступить. Но... но ей нельзя появляться на громовской квартире: место, как говорили, «защито». Надежда Ивановна подтвердила ей это. Разве скажешь обо всем старухе? А она уже дважды сегодня, правда вежливо, намекала Шуре на то, что хорошо было бы «кому-нибудь» съездить к «молочнице», если та почему-либо не может прийти.

Вот и сейчас она заговорила о том же — опять вежливо, но настойчиво; девушки переглянулись между собой, и черные глаза Шуры еще больше сузились, а широкие золотистые брови ее угрюмо сбежались к переносице.

— Я поеду,— поднялась вдруг с места Ириша.— Я все делаю. Адрес, Шура?

Может быть, еще час назад надо было так поступить? Зачем было время терять? Это сумеречное ожидание только расслабляло мысль и нагоняло «женские страхи». К тому же, раз важно узнать о делах Сергея Леонидовича и, возможно, надо помочь ему,— то почему радость этого поступка она должна уступать кому-либо другому? Разве она не любит Сергея?

Обо всем этом подумала, уже выйдя на улицу.

К Надежде Ивановне надо было ехать в район Технологического. Дойдя до остановки у Троицкого моста, Ириша взошла на площадку трамвая. У Невского, на остановке у ярко освещенных окон суворинской «вечерки», где многие выходили и многие садились, толкая друг друга, чтобы захватить поскорее место на скамьях, ей можно было уже раньше других пройти внутрь вагона, но Ириша осталась, отступив в глубь площадки, на своем месте и — со своими мыслями, словно боялась растерять их в трамвайной толкотне и разноголосом шуме. Здесь же было куда свободней: холодный ветер загонял всех в вагон, и площадка почти пустовала.

Впоследствии, много лет спустя, Ириша не один раз вспоминала этот вечер. Но из всех происшествий того дня,— а одно из них стало в ее жизни, пожалуй, событием,— она помнила с наибольшей теплотой это двадцатиминутное путешествие в облупленном, с туго открывающейся, возмущающей пассажиров входной дверью, трамвайчике, где не было ни одной знакомой души и где чувствовала в тот раз полное, мечтательно-радостное биение своей собственной.

Она, Ириша, принимает участие в судьбе любимого человека. Одна сейчас, без посторонней помощи, не руководимая никем... Нет, не только это! Она помогает не знающим ее людям в большом, рискованном деле борьбы за справедливость, за революцию, за освобождение от несчастной войны. Боже мой, боже мой, как не может понять этого папа? Что ж делать,— но папа ни в чем ее не разубедит! Нет, нет, дорогой и любимый отец!.. (Мать, Софья Даниловна, почему-то и не возникала перед глазами.)

Шурка... Какие интересные вещи рассказывает она!

Шура много знает, она уже «настоящая», «своя» в организации и, конечно, о многом умалчивает. Даже ей, Ирише, не все скажет. Вот, может быть, когда Ириша вступит по-серьезному в организацию, а не только раз-другой припрятет у себя листовки,— может быть, тогда ее посвятят в партийные дела... Ах, если бы встретиться с Сергеем, долго-долго толковать с ним, спросить его: такая, как она, может идти в организацию?— и сделать так, как он скажет. Ему она верит больше, чем самой себе. Но, вероятно, нужно испытать как следует человека. Что ж,— она готова!

Да разве она не проходила уже испытания? Как сказать! Разбором «Капитала» не занималась? Занималась вместе с Шурой. Брошюру Коллонтай штудировала? Наконец, прокламации разносила? Разносила, еще как!

А кто знает, что она, Ирина Карабаева,— ах, вероятно, это очень плохо получилось!— что она... партийный «литератор»?.. Она сама видела свое «произведение» напечатанным на гектографе в газете-листочке. Газета посвящена была памяти погибшего в Сибири грузина-революционера, о котором все та же Шура говорила, что он замечательный человек.

Она помнит слово в слово свое произведение.

«Был чудесный цветок,— так начиналось оно.— Среди тьмы горел он мятежным огнем. Яркой алой звездой освещал он дорогу вперед к Свободе и Правде...

Был радостен, светел, и народ называл его своим.

Всполошились черные силы: нетопыри, совы и всякая нечисть ночная, налетели и стали тушить. Не могли ни поймать, ни ослабить чудесного света. Вырвали с корнем тогда и далеко среди снега и льда, на угрюмом, безрадостном севере бросили.

Замерзли нежные корни,— был это южный цветок,— и увял потихоньку далеко от края родного. Но дело твое не погибнет, товарищ! Ты умер, но свет твой повсюду горит и кровавой зарей разгорается. Спи спокойно. Мы со знаменем красным скоро к тебе на могилу придем и весть о победе тебе принесем».

...Петербургский Комитет партии заседал в одном из домов на Большом проспекте. Молодежи была поручена охрана заседания. Человек восемь рабочих и работниц, курсисток и студентов превратились в «любовные парочки». Несколько часов кряду она прогуливались по проспекту, нежно прижавшись друг к другу и в то же время внимательно следя за всеми прохожими, вертевши-мися у дома, где заседал ПК.

У Ириши хорошее зрение, она еще издали видит подозрительного субъекта в коломьянковом кителе, — он дважды попадался на глаза в течение каких-нибудь двадцати минут, а теперь вот нагло расположился на скамейке наискос охраняемого дома. Иришино наблюдение передается «по цепи», и одна из «парочек» усаживается рядом с подозрительным субъектом. И когда спустя несколько минут к скамье подходит шатающейся походкой подвыпивший человек и, прося прикурить, быстро, голосом абсолютно трезвым что-то говорит встрепенувшемуся обладателю коломьянкового кителя, — сомнений уже нет: шпики «учуяли» место заседания!

К тому же, — сообщает другая «парочка», — напротив дома упорно стоит извозчик (вот уже более получаса), хотя полиция никогда не позволяла стоять посреди квартала. «Занят!» — лаконически отвечает этот «извозчик» на все обращения к нему, — и это еще больше подтверждает догадку настороженной молодежи.

Ириша волнуется: надо поскорей предупредить ПК об опасности!..

Самая франтоватая из курсисток выполняет это поручение. И вот — пришлось прервать заседание и скрыться. Это было весьма своевременно: оставшаяся для наблюдения «парочка» потом сообщила, что во двор дома прошел вскоре наряд фараонов.

Или — другой случай.

Те же парочки прогуливаются по Кронверкскому. И опять среди них — Ириша. Лето, жаркий день, послеобеденное время. На одном из балконов четвертого этажа, обтянутом с обеих сторон парусиной, под широким, вынесенным вперед навесом от солнца сидит за столом компания, распивающая чай с вареньем. Двое играют в карты: «тысяча» или «шестьдесят шесть». Граммофонная пластинка улаживает слух песнями Вьяльцевой, шалашинской «Блохой» и еще чем-то вроде «Умер бедняга в больнице военной». Сидят без пиджаков, с расстегнутыми воротами, по-дачному.

Это собрался на час-другой большевистский ПК. Кто мог бы подумать!

Охранке была известна только улица, на которой происходило заседание (об этом, как выяснилось потом, донес ей до заседания проникший в ПК провокатор), и по дворам и панелям Кронверкского в тот час шныряли, как гончие, отыскивая «след», агенты генерал-майора Глубусова. И никому из них невдомек было поднять голову вверх и взглянуть пристально на, казалось, бесечно расположившуюся под навесом балкона, хорошо изученную по фотографическим карточкам компанию!..

На ближайшем к пекистскому дому углу «связист» ПК, молодой черномазый рабочий с завода «Феникс», изображал с увлечением чистильщика сапог, и смешно было Ирише наблюдать, как умышленно долго и старательно начищал, по всем правилам искусства, запыленные, с черными резиновыми клинышками по бокам башмаки одного из примелькавшихся шпики, остановившегося возле него.

...Конечно, ни на Большом Петроградской стороны, ни на Кронверкском Ириша в те разы не бывала. Обо всем этом она слышала только рассказы Шуры (ах, какие увлекательные рассказы!). Она вспомнила о них сейчас, и ей казалось, что она сама принимала участие во всех этих происшествиях. Она так живо видела их, переживала их вместе с Шурой, вместе со всеми остальными их участниками, так готова была стать в их ряды, что подмена мысленно Шуры или другой девушки самой собой, Иришей, казалась ей не только вполне допустимой и возможной, но как бы уже и случившейся.

Она любила помечтать. И, стоя сейчас на площадке трамвая, вспоминая чужое прошлое, она тем самым словно думала о своем собственном будущем.

«Вот если бы только увидеть Сергея — живым, свободным, — какая это будет радость большая!.. Что, если бы так: никакой войны, Сергей на воле, и я вместе с ним!? Как хорошо!»

Она всегда думала: вот если бы у нее была сила управлять людскими судьбами и человеческими радостями — уметь исправлять злое и несправедливое, существующее в мире! Эта мечта родилась еще в детстве и выросла с отроческими годами. Перечитывая книги, умышленно пропускала страницы с описанием смерти Андрея Болконского и сохраняла ему жизнь в своем воображении. Так было и с Ленским, которого заставляла в последний момент примириться с Евгением.

Лейтенант Шмидт избегал казни, старик Кропоткин жил среди своего народа. Она мысленно обращалась к тем, кто мог бы все это сделать, и спрашивала: почему же это не случилось? Разве личное счастье людей нарушило бы равновесие изгнавшего их мира?

Еще несколько лет назад она хотела видеть в мире только личное людское счастье, которое, считала, должно быть неприкосновенным у всех. Какие детские мечты! Теперь... она многое, многое поняла теперь!

Как произошло это? На такой вопрос она не могла бы, вероятно, ответить точно, но она безошибочно знала, что научил ее видеть мир или хотя бы присматриваться к нему по-новому Сергей Ваулин.

Очевидно, каждый приходит к одному и тому же убеждению, к одной и той же общей для многих людей мысли — разными дорогами. Она, Ириша Карабаева, пришла к новому пониманию жизни и ее целей прямой, притягательной дорогой любви к человеку, которому не только доверилась, но и поверила. Его идеалы были ясны, благородны и заразительны: счастье для многих и многих миллионов людей — угнетенных, обездоленных людьми, управляющими Россией на потребу монархии, династии.

И вместе с Ваулиным, с его товарищами и друзьями Ирина Карабаева требовала уже от жизни уничтожения романовской монархии и династии, освобождения России от власти ее угнетателей и от обмана ее фальшивых думских защитников. Революция!

А после нее... Но об этом Ирише не приходилось еще думать.

Выйдя из трамвая у Технологического института, Ириша пересекла Загородный проспект и по одной из прилегающих к нему улиц, в конце которой жила Громова, направилась к ее дому. Минут через десять она была уже у цели. Следуя Шуриным указаниям, не спрашивая никого, где находится квартира №28, Ириша прошла на двор и уверенно поднялась на самый верхний этаж по крутой, слабо освещенной лестнице.

Звонка не было,— она коротко постучала в дверь, и ей сразу открыли, как будто ждали ее прихода или случайно в этот момент хозяйка квартиры находилась в прихожей. Там было темно, и не подготовленная к этому Ириша не сразу разобралась, кто стоит перед ней.

— Я к Надежде Громовой,— сказала она.— Здесь, кажется?

— Войдите, прошу.— Неизвестный человек пропустил ее в прихожую и закрыл тотчас же входную дверь.— Сию минуту дам свет, барышня.

Где-то повернули выключатель,— она увидела перед собой двоих мужчин. Один из них был в полицейской шинели.

— По какой надобности пришли?— с вежливой улыбкой оглядывая ее, спросил человек без шапки, но в сером демисезонном пальто, накинутом на плечи.

Другой — пожилой, рослый полицейский с табачно-серыми, тяжелыми усами, кругло загнувшимися книзу,— по-птичьи склонил голову набок, прислушиваясь к ее ответу.

«Обыск!— догадалась сразу Ириша.— Что делать?»

— Мне нужна была Громова,— повторила она, выигрывая время для ответа. И — стараясь держаться как можно спокойней:— Я могу ее видеть?

— Безусловно, барышня!— оставался учтивым человек без шапки.— Как прикажете доложить ей?— Он перемигнулся с тяжелоусым городовым, усмехнувшимся кислыми, слезящимися глазами.

— Если почему-либо нельзя,— в свою очередь постаралась улыбнуться Ириша, прикрывая свое волнение,— если это... не полагается сейчас,— вероятно, это так и есть, правда?— тогда я в другой раз, господа.

— Нет, почему же, барышня...

— Я уеду, меня ждет здесь мой выезд...— отчаянно врала она.

«Господи, что я только говорю? А если они сейчас проверят?.. Ведь еще больше подозрения... меня уличат во лжи»,— подумала она и отступила к двери.

— Выезд?— Полицейский неопределенно гмыкнул и вопросительно перевел взгляд на своего начальника в штатской одежде.

«А может быть, она в самом деле случайно?»— как будто говорил этот взгляд.

— Нет, вы уж входите, барышня,— настойчив был начальник. Он приблизился к Ирише и притронулся к ее руке.

— Куда?— отдернула она свою руку.

Поймав взгляд-приказание своего начальника, полицейский толкнул из прихожей дверь в комнату, и все трое вошли в нее.

Короткая клеенчатая кушетка с глубокой впадиной посередине, остекленный светлый шкафчик, на полках его — в чинном порядке чашки, вазочки, разная посуда, ореховый столик у окна — это была та комната, где проживал, — не знала того Ириша, — несколько месяцев назад Ваулин.

«А где же Надежда Ивановна?» — искала ее глазами Ириша. И она вслух, громко повторила свой вопрос.

— Здесь! — услышала она, обрадовавшись, знакомый голос Громовой. — Это не насчет найма ли прислуги приехали? — приблизился он, и в раскрывшихся дверях соседней комнаты показалась Надежда Ивановна.

— Потрудитесь обратно! — сурово сказал человек в штатском. — Сапожников! — крикнул он кому-то. — Почему разрешил путешествовать ей тут?

— Она сама, так что! — появился за спиной Надежды Ивановны второй полицейский — безбровый почти, со впалыми, глубоко провалившимися щеками и по-рыбьи выпученными глазами больного базедовой болезнью. — Заходи назад! — схватил он за плечо Надежду Ивановну.

— Потише... ты! — огрызнулась она и шагнула навстречу Ирише. — Уж вы извиняйте, барышня, — прожигая ее глазами, скороговоркой говорила она. — Я не виновата, ни в чем не виновата, не воровка я какая, вы не подумайте... и вашей матушке скажите. А ничего у меня краденого не найдут, — с особым ударением произнесла она. — Не глядите, что тут их, сыщиков, пригнало. Скажите барыне-матушке: как волю получу, приду к ней, служить буду, как условились.

— Довольно молоть, Громова! — прервал ее сотрудник охраны.

— Пускай ждет, значит, ваша матушка, — не слушала она его. — Обязательно — как сказала, так и будет. Несмотря что засаду тут сыщики устроили...

— Заткните свой фонтан! Поняли, Громова? — обозлился охранник.

— Я у себя дома, господин хороший! — выкрикнула, подмигнув Ирише, Надежда Ивановна. — А вам говорю, барышня: поезжайте домой, требуйте от сыщиков, чтоб выпустили. Какое такое может быть полное право у него? — с нарочитой, не своей обычной интонацией говорила она, разыгрывая базарную крикунью. — Знай сверчок свой шесток, — да-а! Коли вы, барышня, своему папаше, его превосходительству, пожалуетесь, — ого, что им будет! Дадут по загривку!

Тяжелоусый, с кислыми глазами городской снова коротко, многозначительно откашлялся: он словно пытался что-то напомнить, подсказать своему начальнику, и тот на одну минуту как будто внял его сигнализации.

— Простите, мадемуазель: как ваша фамилия?— жестом пригласил он Иришу сесть на кушетку.

— Что?— повернула она голову в его сторону. (Все мысли были заняты тем, что говорила ей и как вела себя Надежда Ивановна: ведь она подсказала ей, Ирише, как надо держать себя!..)— Фамилия?— переспросила она охранника и перевела взгляд на Громова.

— Так точно: фамилия,— охранник не спускал с нее глаз. Его круглая, с рыжими волосами голова, посаженная на мясистую шею, упрямо придвинулась к Ирише.

— Вот и услышите сейчас, господин сыщик!— управляла Иришей Громова, отмахиваясь от неловко тащившего ее назад пучеглазого полицейского.— Вот и скажите ему, господину сыщику...

— Я — дочь члена Государственной думы Карабаева,— с достоинством сказала Ириша.

— Так это не есть «превосходительство»!— с облегчением крикнул все время сомневавшийся городской и быстро-быстро закивал одобрительно молодому своему начальнику.— Какое же это превосходительство?..— насмешливо и разочарованно закинул он опять набок голову и, сняв вольным движением свою полицейскую фуражку, поиграл ею в руке.

Начальник хохотнул.

— Мой отец — председатель думской комиссии по обороне... он связан с военным и морским министрами!— растерянно и оттого вдруг повысив голос (сама не узнала его: до того он стал резок) выкрикнула Ириша.— Я дочь Карабаева!— хотела она внушить уважение к себе и унижить тем своих врагов.— Я — Ирина Карабаева, дочь...

— Я так и думал,— сказал вдруг спокойно сотрудник охраны.

Ирина и Надежда Ивановна, недоумевая, переглянулись.

Их притеснитель сел теперь на кушетку, заложив ногу за ногу, откинувшись к стене, вынул папиросу и облегченно закурил: никакой неприятности не могло быть впереди,— «подумаешь, Карабаева!..»

Его знобило, он потуже стянул на себе пальто.

— Сапожников!— крикнул он городского.— Что-то холодновато тут... Принеси-ка из кухни дровишек, подкинь в печку. Экономите топливо, Громова! Или мало денег отпускает вам организация? А я инфлуэнцу на ногах переносу,— понимаете? Ну-с, будем пить чай,— с обеда ничего во рту не имел.

— Ох, бедненький!— насмешливо скривила свои тонкие губы Надежда Ивановна.

— Да, да, Громова,— бедненький. Накройте, хозяйка, на стол, можете позвать своих гостей,— улыбался он, играя, как ребенок, своими пунцовыми пухлыми губами, освобожденными на минуту от папиросы.— Или подождать, а? Может быть, вы еще кого-нибудь ждете? Так вы скажите, Громова. Нет? Мужа не ждете се-

годня? Ну хорошо... Сапожников, ставь самовар. Угощение хозяйки: булочки, медовики, пряники... Позовите, Громова, гостей.

Попавших в засаду до прихода Ириши оказалось еще двое. И обе — женщины: старушка из соседнего дома, сторожившая по дружбе громовскую квартиру, куда Надежда Ивановна отлучалась с утра по делам, и молодая русоволосая, с озорными синими глазами работница завода «Треугольник», об истинной цели прихода которой ни Надежда Ивановна, ни сама эта работница не склонны были сообщать сотруднику охраны.

— Значит, я могу уехать? — делая строгое лицо, осведомлялась Ириша, зная уже сама, сколь наивен был ее вопрос.

— Конечно, нет, мадэмуазель, — развел руками сотрудник генерал-майора Глубусова. — Мы ведь еще с вами совсем не потолковали, — помилуйте... У нас еще будет общая беседа с нашей хозяйкой, — не правда ли, Громова?

— Но мне необходимо ехать домой! — бессильно возражала Ириша. — Я требую от вас, господин... господин, — ну, вы какого чина? Ротмистр? Но вы без формы...

— Это неважно, — не менял он позы, развалившись на кушетке. — Я не могу вас отпустить. Простите, — ваше отчество?

— Ирина Львовна.

— Очень приятно. К сожалению, Ирина Львовна, вам придется здесь побыть.

— Они засаду сделали, — угрюмо отозвалась из угла Надежда Ивановна. — Хлеб свой оправдывают.

— Совершенно верно: засаду. Правильно изволили заметить.

— Но когда же вы ее снимете?

— Когда? — посмотрел он на Ирину серьезно. — Это в значительной степени будет зависеть от нашей хозяйки.

— Но я-то при чем? — пыталась вновь наступить Ириша.

— Вот то-то и оно, Ирина Львовна. Это и подлежит выяснению. И если не удастся здесь, то, вы уж простите, — придется в другом месте.

— Где?

— Вы сами можете предположить. Костюк! — обратился он ко второму полицейскому. — Сходи быстренько за колбасой и зеленым сыром: очень люблю зеленый сыр, господа! Костюк, на углу тут продают... Да, простите: вас еще что-нибудь интересует, Ирина Львовна?

— Пускай ваш полицейский позвонит откуда-нибудь ко мне домой и скажет, что я случайно задержана. Мои родные будут волноваться, — вы понимаете?

— Очень хорошо понимаю. Но — нельзя!

— Почему?

— Во-первых, потому, что мой Костюк уже ушел...

— А во-вторых?

— Вообще — нельзя!

— Так что же: меня арестовали?

— Пока — нет.

— Но на каком основании? Что это означает?.. Мой отец поедет к вашему министру, Протопопову,— угрожала Ириша, сама не веря в эти угрозы.— Отвечайте мне правду!

Он хотел что-то сказать ей, но стук с площадки мгновенно поднял его с места. Он бросился в прихожую, закрыв за собой дверь. Из кухни побежал туда же раздувавший самовар безбровый пучеглазый Сапожников.

Этой минутой воспользовалась Надежда Ивановна.

— Любка!— подбежала она к русоволосой работнице.— Вытаскивай! Скорей вытаскивай... ну!

Обе ваулинские записки, хранившиеся последний час в укромном месте девушкиной одежды, мигом очутились под английской блузкой Ириши.

— Если меня не выпустят,— шептала ей Надежда Ивановна,— передайте все, что знаете, кому надо. Вот в это место,— запомнили?

И она назвала одно из явочных мест.

— Только... язык за зубами,— слышите?!

Неожиданно лицо ее стало злым и недоверчивым.

— Я оправдаю ваше доверие, товарищ Надя,— покраснев, сказала Ириша.— Откуда он может знать меня?— метнула она глаза в сторону прихожей.

— Врет. Подловить хочет. А вы держитесь, говорю вам!

Из прихожей доносился шум, ругань и шарканье тяжелых сапог по полу.

— В чем дело?— распахнула дверь из комнаты Надежда Ивановна.— Чай, тут хозяйка, господа хорошие.

За ней выбежала и русоволосая девушка.

— Кого бог несет?

Взглянули обе,— и не хватило от неожиданности сил сдержаться.

— Ох-х!— уронили в два голоса.

Отпихивая от себя налезавшего на него полицейского, и шумел и ругался в прихожей Яков Бендер.

Охранник выхватил из кармана револьвер.

Глава третья

РАБОЧИЕ И СОЛДАТЫ

Семнадцатого октября, в девятом часу утра, на минном заводе Русского общества для изготовления снарядов и военных припасов («Парвиайнен») собралась сходка, после которой рабочие в количестве пяти с половиной тысяч человек прекратили работу и покинули завод.

Позднее к этой забастовке присоединились рабочие других заводов, и к вечеру 17 октября общее число бастовавших достигло примерно двадцати тысяч человек.

Забастовки эти возникли по неизвестным причинам, так как рабочие предприятий прекращали работы без объяснений причин

и без предъявления к администрации каких-либо требований. Лишь путем окольных сведений, полученных через мастеров предприятий и через отдельных рабочих, до администрации доходили сообщения, что забастовки производились в целях протеста против продовольственной неурядицы в столице, порождаемой затянувшейся войной.

Разбросанные по заводам прокламации и произносившиеся на сходках речи позволяют заключить, что коренной причиной забастовки являлась политическая агитация, а за сигнал к стачке был принят листок Петербургского Комитета с.-д. большевиков, начинающийся так: «К пролетариату Петербурга. Товарищи рабочие! С каждым днем жизнь становится все труднее». (Текст при сем.)

Листок не содержал прямого призыва к забастовке, а развивал мысль о невозможности справиться с продовольственными и другими бедствиями иным путем, как уничтожением основной их причины — происходящей «империалистической», как сказано в листке, войны, и призывал к борьбе с ней.

...Так начинался доклад царю министра торговли и промышленности, князя Всеволода Шаховского, о первом дне октябрьской стачки.

Доклад был составлен очень подробно, но в нем умалчивалось почему-то о том, что больше всего должно было заинтересовать Николая. Или, может быть, корректный князь полагал, что для таких дел существует другое ведомство?..

Во всяком случае, приемля долг довести до сведения его величества, своего государя, подробное описание событий на Чугунной улице, Выборгском шоссе, Головинском переулке, Сампсониевском проспекте, где стояли пустыми в тот день фабричные корпуса, — он ни словом не обмолвился о длинном, зеленовато-сером казарменном здании, обнесенном не везде целым деревянным забором — с часовыми на вышке, у ворот и по углам двора. Князь умолчал об этом здании, десятилетиями смотревшем — почти прямо перед собой — на красную кирпичную трубу умолкшего в тот день завода. В противном случае министру пришлось бы уже рассказать, к чему неожиданно привело столь близкое соседство на одном проспекте двух этих зданий.

Во втором из них, не упомянутом в докладе, размещен был тот самый 181-й запасный пехотный полк, из которого ждал случая бежать рядовой третьей роты Сергей Ваулин.

Вечером, накануне знаменательного дня, столь неполноценно отмеченного в министерском докладе, Сергей Леонидович тщетно пытался разыскать в казарме своего друга: после переклички дежурный по десятой роте рапортовал своему начальству о таинственном исчезновении рядового Якова Бендера.

Но Ваулин об этом ничего не знал.

После утреннего учения прапорщик Величко возвращался со своей третьей ротой в казарму по Чугунной улице.

Как изменилась она за несколько часов! Рано утром, когда он, Величко, вел по ней солдат, здесь было тихо и пустынно, а теперь вот: у ворот каждого дома и домика крикливый табор какой-то, на улице тесно от растянувшейся по ней людской цепи, а у «Парви-айнена» — густая, запрудившая дорогу, шумящая толпа, сквозь которую роте прапорщика Величко и не пробиться. Что делать?..

До толпы оставалось всего шагов пятьдесят. Прапорщик Величко оборачивается и, продолжая минуту шагать спиной вперед, бегло оглядывает марширующие следом за ними солдатские ряды. Только три передних несут на плече учебные винтовки с прикнутыми штыками, — тыловые войска русской империи бедны: обучение производится не на ружьях, а на палках, затвором служит большой палец правой руки, а вместо выстрела — хлопок в ладоши.

«Эх, черт побери! — сожалеет сейчас о чем-то прапорщик Величко и трет, по обыкновению, свою надменную горбинку на носу. — Деревенских собак гонять, — вооружение... тоже!» В противном случае что точно сделал бы — не додумал до конца.

На глаза попадается ему шагающий в середине первого ряда черный, лопата-борода в цыганских кудряшках, широкоплечий солдат Исаев, и он ловит его озабоченно-удивленный взгляд, устремленный в сторону гудящей толпы.

«Радуетса, сукин сын! — отводит от него глаза прапорщик Величко. — Погоди ты, конокрад!»

И он вспоминает в эту минуту:

«Ваше благородие, — написано было в записке, — обратите ваше внимание на ваших подчиненых, как они больно страшно терпят нужду. Хлеба получаем мало — один хлеб на четыре человека. Сахару мало, по фунту на месяц, пища плохая — в сортир по надобности не с чем в животе ходить. А если что другое домашние люди пришлют, бывает, — то фельдфебель, шура, сам поест. А если не исправите, то как приедем на позиции — застрелим, и очень даже просто. И фельдфебеля, гадюку, тоже».

Записка была анонимная, ротный командир так и не узнал, кто именно из его солдат ее прислал, но сейчас ему отчего-то кажется — этот самый, насмешливо и радостно усмехающийся Исаев...

«Да и рядом с ним хороши! — недоверчиво шарит глазами по шеренге прапорщик Величко. — Что ж делать? Через шагов двадцать упремся в толпу, — вероятно, забастовщики? Пропустят ли?»

И он громко командует:

— Р-рота, стой!

Отделенные повторили команду, и солдаты приставили ногу к ноге. Прапорщик подозвал к себе одного из городовых, кучкой стоявших на панели.

— В чем тут дело? — спросил он подбежавшего старичка с расчесанной надвое седой бородкой, с прозрачно-кариими живыми

глазками, доверительно подмигивавшими сейчас офицеру. — Что происходит?

— Забастовки, конечно, ваше благородие. Митинг идет, ораторов слушают. Они, рабочие, значит, очень митинги признают.

— Отчего это? — досадливо нахмурил брови Величко.

— Все от того же! — опять многозначительно прищурил старичок городской свои не по летам бойкие глаза. — Пришли с других заводов — снимать с работы.

— Сволочи! — буркнул прапорщик Величко. — На фронт бы их отправить!

— Сомневаюсь, чтоб хотели, ваше благородие. Не такой народ. Вот же... насупотив этого самого бумажки раскидывают! Гляньте, ваше благородие... если служба позволяет.

Словоохотливый — по всему видать — низенький городской вынул из-за обшлага рукава своей черной длинной шинели сложенный вчетверо листок и протянул его офицеру.

К ПРОЛЕТАРИАТУ ПЕТЕРБУРГА —

было набрано жирно.

С каждым днем жизнь становится труднее. Война несет с собою не только смерть миллионам и море горя, она вызывает и продовольственный кризис. Страшный призрак — царь-голод вновь угрожающее надвигается на Европу, и ледяное дыхание его веет ужасом и смертью... война ведется на истощение... довольно терпеть и молчать! —

быстро пробежал листовку прапорщик Величко.

Чтобы устранить дороговизну и спастись от надвигающегося голода, вы должны бороться:

ПРОТИВ ВОЙНЫ.

ПРОТИВ ВСЕЙ СИСТЕМЫ НАСИЛИЯ И ХИЩНИЧЕСТВА

Он отдал обратно прокламацию.

— Если подчиняться всякой дряни, так уж подчиняться! Тут не сказано, чтобы бастовать, — отчего же они?.. — глухо, придирчиво сказал бывший студент-юрист Леонид Величко и посмотрел со страхом, — в первый раз вдруг — со страхом! — на кольхавшуюся впереди него толпу народа. — Почему же это они, в самом деле? — растерянно повторил он.

— Не могу, в общем, знать, ваше благородие.

— Ну... а пропустят они, или придется как-нибудь по-иному? — расспрашивал, а в душе ждал совета опытного полицейского служаки прапорщик Величко.

— Могут и так, могут и не так, — как захотят, ваше благородие.

— А вам-то, полиции, разгонять-то приказано? — стараясь казаться суровым, допрашивал Величко.

— Нет. Мы — пешие.

— Ну, так что из этого? — вскрикнул прапорщик. — Где ваш пристав? Пускай примет меры. Этого требует государственный порядок... закон этого требует, — понятно? Или как ваш пристав

считает? — взбадривал себя «цуканьем» полицейского прапорщик Величко.

Низенький полицейский унтер хитро осклабил маленький, опрятно обросший сединами рот и, прицелившись глазами в тонкие вздрагивающие ноздри растерянно топтавшегося на одном месте офицера, сказал вдруг:

— Да-а, закон... Закон в этом деле — что паутина, ваше благородие: шмель, знаете, проскочит, а муха — увязнет!

И он прибавил — все так же хитро и двусмысленно, как показалось уже прапорщику Величко:

— Принимать меры войска должны. А есть войска?

Прозрачно-карие, озорные глазки старичка городского, ехидно посмеиваясь, оглядели роту.

«Провокатор... пес старый! Не полиция, а мелкие барышники стали... Семишники, — это верно!» — отругал его в душе Величко.

— Эй, ты, полицейский крючок, о чем сговариваешься? Эй, семишник! — неслось в этот момент из толпы по адресу седенького полицейского унтера.

«Семишники» — таково было одно из последних прозвищ столичных городских. Они приобрели его за то, что рьяно снимали с площадок трамвая солдат и, доставляя их в участок, получали за каждого по семи копеек штрафной премии.

— В беспокойство приходят. Думают — на усмирение пришли: шмелем вас признали! — весело ухмыляясь, отошел торопливо к своему патрулю словоохотливый собеседник прапорщика Величко.

От толпы отделилось несколько человек, к ним пристал еще десяток-другой стоявших у ворот разных домов, и вся эта группа двинулась теперь навстречу остановившейся воинской части. Прапорщик Величко молчаливо поджидал этих людей.

Он не оглядывался, но чувствовал за своей спиной напряженный и уже расползающийся по сторонам гулкий шепот солдат, их возбужденность и злорадство. Он не верил своей роте.

А какой другой можно теперь верить?

Вообще их полк — «господи спаси», как говорят старшие офицеры... Тут тебе бывшие дезертиры, тут из разных городов рабочие закрытых властями предприятий, подозрительные интеллигенты вроде солдата его роты — Ваулина, о надзоре за которым есть секретное указание, есть «окопные волки», дважды и трижды за войну побывавшие в госпиталях, бородатые неуклюжие мужики, ратники запаса второго разряда, — словом, дрянь навозная, всякий сброд, а не солдаты!.. Полк через неделю предназначен к отправке на позиции, понохают пороку, тогда сразу дурь из головы выскочит! А что же с ним там будет, с прапорщиком Величко... С Леней Величко?

Мгновенно приходит на память недавнее происшествие в роте.

Она не ответила вдруг на его, Величко, утреннее приветствие. Он повторил его, — и вновь молчание. Тогда, взбешенный, он выхватил из кобуры револьвер и, направляя его в грудь каждого мятежника, пошел вдоль строя, не крича, а уже, как сам чувствовал,

каркая: «Здорово, солдат!» И слышал в ответ слова одной и той же — глухой — интонации: «Здравия желаем, ваш-родие!»

«Тупоумные попугаи!— хотелось ему закричать.— Почему и теперь «желаем», а не «желаю»? Значит — не желаешь вовсе здравия!»

Никто не смотрел ему в лицо, но глаза каждого,— видел он,— готовы были стать двумя мстительными пулями, чтобы пронзить ими его грудь. Впрочем, нет: один встретился с ним взглядом светлых, серо-голубых глаз и ответил за самого себя: «здравия желаю, ваше благородие», но чуть медленней остальных, с нарочитой как будто растяжкой, не глотая слов, с особенной какой-то интонацией, словно намекал на что-то ротному командиру и говорил ему: «Так, так, господин прапорщик,— хороши же вы?!»

Этим солдатом, спокойно смерившим его взглядом, был не так давно присланный в полк Сергей Ваулин.

Память подкидывает этот случай — как лишние смолистые сучья в ненужный уже, затихающий костер; прапорщик Величко старается овладеть сейчас собой, но неотступная мысль об исаевской угрозе, о серо-голубых, холодных глазах рядового Ваулина, о перешептывающихся бог весть о чем солдатах нагоняют на него страх. «Что они будут делать?» — смотрит он на приближающуюся группу рабочих.

И ему вдруг кажется, что эти люди знают уже о суровом его поступке на прошлой неделе, о нелюбви к нему его солдат, о задуманной ими мести. Что эти люди и есть мстители, и вспоминается отчего-то в эту минуту давно прочитанная книга: они потащат его, как уэллсовские кровожадные «морлоки», куда-то вниз, откуда уже не будет возврата.

Он хочет обернуться к своим солдатам и спросить их: «Так?» — словно они знали сейчас его мысли, и тогда вытащить из кобуры оружие. Но он страшится этого поворота головы и стоит на одном месте. Рука заложена за ремень португеи, голова втянута в неестественно приподнятые плечи, как если бы глубоко вздохнул и надолго задержал в груди выдох.

Он чувствует себя одиноким, окруженным со всех сторон врагами.

— Чего надо тут?

— Почему, господин прапорщик, остановились? — в два голоса спросили его подошедшие вплотную люди. (Часть из них прошла мимо него, к солдатским рядам.)

— Я веду свою роту, — сдержанно ответил он, разглядывая рабочих.

— Куда?

— На усмирение пролетариев, полагаю так — а?.. Эх, господин прапорщик, пиль-попль! Как бы вашим солдатам не наклали тут!.. Позволю себе высказаться, — дело тут очень сурьезное.

— Стойте, товарищ, не мешайте, — прервал говорившего выступивший вперед рабочий.

Он был одет, как многие, в черный до колен ватничек, на голове — финская с кожаным верхом шапка, сползшая на затылок, и вокруг шеи дважды обмотанное гарусовое кашне. Оно было такого же цвета — серо-пепельного, как и усы и выющаяся мелкими колцами от висков бородака рабочего.

— Куда ведете роту, господин офицер? — повторил Власов (это был он) свой вопрос и внимательно посмотрел на прапорщика.

— Туда, куда ей полагается идти в этот час. Уж во всяком случае не на усмирение... — сказал прапорщик Величко.

Он отогнул полу своей шинели, вынул из кармана брюк носовой платок, расправил его и не спеша утер им пересохшие от волнения губы. Кроме того, — подумал он, — этот «житейский жест» должен был свидетельствовать рабочим о его, прапорщика Величко, мирных намерениях.

— Это мы видим, что не на усмирение, — коротко усмехнулся рабочий и вяло махнул в сторону солдат.

— Вы не скажите, товарищ! Ружей-то у них почти нет — это верно. Но обыскать, позволю заметить, глянь, и бомбочки-игрушечки незримо под шинелями! — раздался позади все тот же часто придыхающий, почти захлебывающийся голос, уже обративший на себя внимание прапорщика Величко.

— Кто этот дурак? — вспылил он, отыскивая его глазами за спинами стоявших впереди.

— Без ругани, господин офицер! Не дурак, а трудящийся! — спокойно, но угрюмо отозвался кто-то. — Вот он кто...

— Обижать нечего нашего брата, господин офицер!

Впрочем, никто бы точно не мог сказать, кто этот Фома неверующий, все время приглашавший с опаской относиться к прапорщику и его роте. Если спросить рабочих «Парвиаинена» о нем, они сказали бы, что он, вероятно, пришел сюда с группой рабочих других заводов, а если бы спросить о том же последних они конечно бы причислили его к «парвиаиненцам». Разве узнать каждого среди всего этого народа, от множества которого так и распирает эту короткую узенькую улицу?

— Где ваши казармы? — все так же деловито допрашивал рабочий в широком кашне.

— Недалеко, на Сампсониевском, — набирался спокойствия прапорщик Величко у своего сдержанного собеседника, вызвавшего в нем неясную симпатию. — Два поворота отсюда.

— Ага... — что-то соображал рабочий. — Вы, значит, с обучения идете? Постойте тут... мы вам сейчас скажем, — направился он обратно, к раскрытым воротам завода.

— А чего вы, собственно, бунтуете, господа? — вырвалось вдруг у прапорщика Величко.

Как ни странным казалось самому, но он хотел бы продолжить разговор с этим рабочим, обросшим нежной выющейся бородкой, а в ответ — опять голос «дурака»:

— Гос-поди боже мой... да разве это бунт!? Дождетесь еще. Или как понимаете?

Теперь прапорщик Величко успел заметить лицо наглеца: темные, мутные глаза, реденькие, неживые усики, скверный, землистый цвет лица с синеватыми отеками прыщиков.

Минут через пять «парламентеры» вернулись обратно.

— Проходите! — махнул рукой один из них.

Только теперь прапорщик Величко рискнул повернуться лицом к роте: солдаты тихо, но оживленно беседовали с обступившими их рабочими.

— Рота, смирно! — скомандовал он неровным голосом. — Ряды вздой! — И — оглянувшись, успела ли расступиться у завода толпа: — Шагом арш!

Они проходили по узенькой просеке, образованной в обе стороны расступившейся толпой. Она молчаливо провожала их тысячей глаз, в которых были теперь и обыкновенное любопытство и опасливая забота, и немой знак дружбы, и неясный, тревожный вопрос.

Вниз да по речке,
Вниз да по Казанке
Сизый се-селезень плывет.

молодцевато и раскатисто затянул вдруг один из ротных запевал.

Ай да люли, ай да люли!
Сизый се-селезень плывет! —

подхватили припев несколько человек, но не каждый довел его до конца, — уста солдат были сомкнуты угрюмым, выразительным безмолвием.

— Отставить! — повернул голову назад прапорщик Величко.

На углу стоял патруль городских. Полицейские всматривались в лица проходивших солдат с наигранным безразличием привычных стражей улицы.

На Сампсониевском полиция стояла уже целыми отрядами. Она стягивалась к воротам «Нового Лесснера»: оттуда хлынула на проспект новая волна забастовщиков.

Прапорщик Величко мысленно перекрестился, введя свою роту во двор казармы.

Через полчаса начались события, конца которых он не мог уже видеть.

Только ли булки и коржики, пряники из патоки и маховики привлекли сегодня к деревянному забору солдат, столпившихся у каждой дыры в нем?.. Каждому хочется просунуть голову в дыру и своими собственными глазами увидеть, что происходит сейчас вблизи, в какой-нибудь сотне шагов отсюда напротив — у ворот забастовавшего завода.

— Земляк... а, земляк! Пусти хучь на минутку.

— Довольно, понагляделся! Дай другим...

— Ребята, не при!

— Легче, легче... забор повалишь, тюля!
— Тетенька, хлебца!
— Сюда, сюда, тетка...
— Да не напирай ты, слышь!
— Фараонов-то, братцы,— на все российски огороды пугалом ставить!

— Конны али пеши?

— Тетка! А шо той говорун балакав?

Каждый хочет зачерпнуть глазом кусок скрытой от него мечущейся улицы, как истомленный, мучающийся от жажды путник — набрать ковшом первую утоляющую воду.

Торговки сейчас — не только разносчицы булок и пряников, но (а это разбирается мгновенно и с благодарностью) и самых последних, неостывших уличных новостей.

Торговки вертятся в толпе забастовщиков, ловят разговоры, подхватывают долетающие до слуха выкрики быстро сменяющихся ораторов. И, наспех уложив все это в свою первую, свежую память, еще встревоженную суетой, домыслами и воображением,— набросав все это в нее впопыхах, как всякую всячину разных вещей в незакрывающийся коробок, женщины бегут обратно, к забору казармы.

— Воевать не хотят,— вон што!

— А им чего? Им не воевать... они не то, что мы!

— Балда! Темная деревня!

— Вин в политике мало що кумекае! Рабочий класс взагали против войны,— хибя ему ось це понятно?

— Опять же, конечно, с продовольствием, солдатики, не того...

— Племяша моего, Анюты-сестры Ваську, на прошлой неделе пришли ночью и взяли. Слесарем он у «Феникса»!..

— А за что, мамаша?

— За политику, видаты!

— Гляди, ораторов тоже возьмут!

— А жаль, если!..

— Братцы, а почему сегодня насупротив войны кричат?

— А может, к замирению с немцем... а нам еще не сказано про то, а?

— Верно! А господа офицеры не желают про то объявление сделать,— по-вашему, как земляки?

— За шкирку тогда ихнего брата и на цугундер прямо!

— Эх братцы... горнизонту у вас политического нету! Кабы замирение случилось, на что бы фараонов столько пригнали!

— И то дело!

— Горожаночка! А много фараонов?

— Да пусти ты, Быков... морда бычья!

— Солдатушки! Чтой делается; чтой делается, господи!

— Ну, ну!

— Конная полиция! А еще жандармы вышли!..— пришло последнее известие из уст запыхавшейся старушки-торговки.

Бледный, с вытянутыми губами, многозубый рот ее тяжело и бес- сильно разжимался, как у щуки, выброшенной на берег.— Долой, кричат, войну... Не хотим, говорят, чтобы, значит, кровь у народа, как вода, шла... во что!

— Правильно, ребята!

— Кабы каждый полк постановил, и — амба!

— На Чугунной бастуют, на проспекте — два завода...

— А больше нигде, мамаша?

— Что ты, голубок! Барановского завод, говорят, тоже двинулся. «Айваз» загудел на манифестацию.

— На демонстрацию, бабка! — поправил ее кто-то.

— Я и говорю... Такое... такое, сынок, начинается.

— Давай, бабушка, булку куплю! — словно в награду за приятное сообщение сказал один солдат.

— На, милый, выбирай, какую хошь.

— И мне, бабуся!

— Р-расходись! — раздалось вдруг с улицы, и длинный кар- тавый полицейский свисток побежал, приближаясь, вдоль забора.

— Фараоны! — бросились врассыпную торговки, подбирая с земли свои корзинки... — Фараоны... душегубы!

За первым свистком — второй, потом — третий...

— Ишь ты, разгоняют, — сказала старушка со шучьим ртом, торопливо принимая деньги от солдата. — Волки столичные... ироды царские. Тыфу!

В первый момент непонятно было, почему вдруг быстро мот- нула она головой, и вслед за презрительным «тыфу» неестественно далеко сдвинулся набок ее вытянутый рот, почему вдруг высту- пила в углу его кровь, и старушка, качнувшись всем телом к забо- ру, упала на землю.

— Бабаня, чего ты?.. — крикнул ее покупатель — солдат.

Он подался всем телом в пролом забора — нагибаясь, протяги- вая руку вниз, чтобы захватить и поднять ею упавшую женщину.

Кто-то больно ударил его по руке, — он отдернул ее и поднял голову: у самого забора, почти на том же месте, где была только что торговка, стоял, замахиваясь вынутой из ножен шашкой, рос- лый, румяный, с коротко подстриженными бакенбардами офицер- «фараон». Это он расправился кулачищем со старухой.

— Гадюка царская! Солдата бить?! Ты что, сволочь, народ невинный по мордасам лупишь?.. Ребята, братцы! — истерическим голосом закричал солдат. — Наших бьют, братцы... Фараоны бьют.

Выскочивший на крик, вместе со многими из казармы, Сергей Леонидович еще издали увидел: часть забора снесена (открылась взору улица), четверо городских направляли револьверы в безо- ружных солдат, звавших товарищей на помощь.

— Наших бьют! — разнеслось по двору казармы.

— Оружье, оружие бери!

Ваулин не мог бы сказать, как точно произошло все это.

В минуту двор наполнился солдатами, в следующую — вся эта масса ринулась к забору, и, вероятно, потребовалась еще только

одна минута, чтобы уже весь забор был повален, превращен в щепы!

— Долой полицию!

— Бей фараонов!

— Души его... Иуду!

Один из городских выстрелил без промаха в солдатскую толпу. И тогда в ответ грянул почти в один и тот же миг десяток солдатских винтовок.

— Бей их, фараонов, без остатка!

— Давай свободу!

— Да здравствуют солдаты и рабочие!— крикнул полной грудью Ваулин: так, что его услышали в хлынувшей навстречу солдатам лесснеровской толпе.

— Долой войну! Да здравствуют свободные солдаты!

— Да здравствуют наши братья!— неслось из рядов рабочих.

Вырытые из мостовой камни полетели в полицейских. «Иуды», «фараоны» бежали, согнувшись, отстреливаясь из маузеров, в подъезды домов, в ворота дворов, вскакивали на подножку проходившей конки, ища убежища у ее перепуганных пассажиров.

Смешавшиеся в одну толпу рабочие и солдаты овладели проспектом.

Весть о солдатском бунте в минуту дошла до бастующих заводов: с Головинского, с Чугунной и с Выборгского шоссе двинулись сюда новые толпы, сметая по пути полицейские заслоны.

Два опрокинутых вагона конки превращены были тотчас в трибуны для ораторов:

— Братья-товарищи, чего мы хотим? Рабочий класс призывает к борьбе. Мы пойдем на борьбу с царским режимом, за освобождение от него за мир! Наш враг — внутри России... Это — монархия, товарищи! Это — помещики и фабриканты! Они руками обездоленного народа ведут кровавую войну во имя своих собственных интересов.

— Правильно! Сами зад на печке греют, а ты страдай!

— Товарищи!... С каждым днем лоскут за лоскутом спадает обманный покров, под которым враги рабочих и солдат скрывали всю правду о войне. За что кровь проливать в этой бойне?.. За что отдавать свой труд, свое здоровье, свою жизнь... а? За прибыли фабрикантов?! За земли помещиков?! За благоденствие царя и его своры?!

— Верно!

— Помаялись, хватит!

— Долой войну, товарищи! Подымай всю рабочую и крестьянскую Россию против войны! Это не наша война... Наша война впереди... с нашим классовым врагом! Долой романовскую монархию! Долой войну! Да здравствуют наши братья — солдаты! Да здравствует рабочий класс!..

И кто-то вместо речи читал молодым девическим голосом стихи:

Одетый дымом, словно тайной,
Завод — грядущего залог,
Преддверье в век необычайный
И битв решительных пролог.
В дыму, облитый потом, кровью,
Кует мечи он для борьбы,
Чтобы железом и любовью
Разбить оковы злой судьбы!

И, как и раньше, — в ответ:

— Да здравствуют рабочие Петрограда! Долой самодержавие!
Песня:

Вихри враждебные веют над нами...

- Товарищи! Надо поехать во все воинские части!
- Вот это дело!
- На заводы надо — работу бросали чтоб!..
- Только не расходиться, товарищи!
- Никому не расходиться!
- Цепь... цепь держать надо!
- Товарищи, я прочту вам, что пишет всем рабочим наша партия...
- Кака така партия?
- Наша...
- ...давай!
- ...русская социал-демократическая рабочая партия...
- Какая? Какая? Та, что в Думе?..
- ...русская социал-демократическая рабочая партия...
- Дело! Валяй!
- Тише-е-е, товарищи!
- Давай, брат!
- Вот... наша партия... товарищи!.. Перед готовностью страдать за светлое царство социализма никогда не остановится русский пролетариат... Не остановится и перед ужасами настоящей войны... не остановится до тех пор, пока не проведет в жизнь свои заветные лозунги: долой войну! — согласны?
- Долой, долой войну! — неслось в ответ.
- Да здравствует вторая русская революция! Да здравствует демократическая республика!.. Согласны, товарищи?
- Ур-р-а!
- Да здравствует конфискация всех помещичьих земель! Согласны?
- Долой помещиков!
- Согласны, согласны! Давай дальше!..
- Да здравствует восьмичасовой рабочий день. Да здравствует международная солидарность и социализм, товарищи! Согласны?
- Ур-р-р-а-а-а!
- Митинг продолжался.
- Пытавшихся проехать по проспекту, выкатывавших на пролетках и автомобилях с боковых улиц сразу же останавливали.

Сидевших в автомобилях высаживали. Машинами завладевали солдаты.

Они мчались к казармам разбросанных по городу полков — за поддержкой, за оружием, с призывом восстать и выйти на улицу.

Их никто там не ждал. Ими никто не руководил — этими полсанами скрытого, еще отдаленного будущего...

Они стучались в ворота, в которых были еще крепки засовы сковавшей их власти, — полки не решались сломать их и протянуть, как лучшую помощь, железную руку, оснащенную винтовкой.

На Сампсониевском митинг продолжался.

— Ваше высокоблагородие, прикажите вывести учебную команду! — ждал распоряжений дежурный по штабу полка, офицер Гугушкин.

С коротким туловищем, низкой шеей и длинными, но очень кривыми ногами, он походил на громадных размеров щипцы для раскалывания сахара. Над ним подшучивали и называли между собой «поручик О». Виной — все те же кривые дугообразные ноги, между которых можно было вставить круглую букву высотой в пол-аршина.

— О-о... — говорит командир полка, взглянув на него, не ко времени вспомнив шутку своих офицеров. — Н-да, не до шуток сейчас, черт побери, — и полковник Малиновский, обдумывая предложение, переспрашивает: — Учебную, говорите?

— Так точно.

— А что это даст?

«Как будто он не знает... О чем он сейчас думает, эдакий кабанище!» — пожимает плечами поручик Гугушкин.

— Шестьсот человек при оружии! Надежные люди...

— Дай бог, господин поручик... Ну — выводите! А мне лошади! На это было всегда действует, когда на лошади... заметьте, господа! Да, да. Господа офицеры, — несколько человек за мной!

И через пять минут он мелкой рысцой выехал из ворот казармы. Следом за ним торопились пешие ротные командиры. Прапорщик Величко был в их числе.

Солдаты увидели своего полкового командира: он приближался на знакомой всему полку золотисто-пегой, с белым пятном на морде, донской Касатке. Она легко несла его грузное, большое тело, крепко приросшее к седлу.

— Смирно! Солдаты, по баракам — марш! — скомандовал он хриплым, простуженным голосом.

Рот его так и остался открытым после команды, и желтые, вперемжку с золотыми, плоские зубы свирепо оскалились под растянувшейся губой со вздернутыми до скул нафабранными усами.

— К чертовой матери — марш! — в тон полковнику крикнул кто-то в толпе, и передние ряды ее колыхнулись серо-черной волной ему навстречу.

Полковник Малиновский оглянулся на своих офицеров, те —

на ворота казармы: слава богу, поручик Гугушкин ведет по двору первый отряд стрелков... Сквозь колесо его изогнутых ног видны порывевшие сапоги шагающего ему в затылок солдата.

— Построиться!— захрипел Малиновский.— Смирно! А не то свинцом поглажу! Зачинщиков выдать!.. Я вас, сукиных сынов!..— И он привстал на стременах, погрозив в толпу кулаком.

— По господину полковнику — пли!— командовали в ее первых рядах.

— Спокойствие товарищи!— останавливал оттуда же предостерегающий голос.

— Отставить!

Но этот выкрик опоздал: несколько булыжников полетело в грузную, высокую мишень. Один из них раздробил полковнику подбородок, другой сбил фуражку, обнажив его плешистую голову, третий попал в грудь Касатки, и она заметалась, став на дыбы, сбрасывая с себя оглушенного ударом седока.

Она успокоилась тотчас же, как только кто-то крепко схватил ее под уздцы и отвел в сторону, похлопывая по шее.

И ей не оглянуться было на своего хозяина... Десятки рук с остервенением стащили его с седла, и через минуту тяжелое, избитое тело командира полка упало, подброшенное вверх, в наполненную водой канаву, тянувшуюся вдоль всего проспекта.

— За мной!— закричал офицерам прапорщик Величко, размахивая револьвером.

— За мной! — орал бежавший впереди стрелков Гугушкин.

Увидя их, головные из толпы бегом повернули назад — на соединение с ней. Да и вся толпа отхлынула, прижимаясь к стенкам домов, заполнив пустыри кое-где между ними, и потекла густой, спотыкающейся массой по проспекту.

— Не бойсь... остановись!

— Цепь... цепь давай!

— Спокойствие, товарищи!

— Братцы, стрелять будем, если что!..

— Станови-и-и-ись!— боролись с минутной паникой несколько голосов.

Солдат с оружием выталкивали, пропускали вперед. Они выстраивались отдельными цепочками, брали ружья наперевес, продвигались вперед, оглядываясь все время на толпу. Они не знали однако, что точно надо делать, кому в толпе подчиняться. Им не хватало руководителей, начальников.

У опрокинутых вагонов конки шла рабочая «летучка». Решено было не расходиться, ждать возвращения солдат, посланных в полки. Восстание первой казармы сулило надежды на еще большее: на выступление хотя бы части столичного гарнизона в защиту взбунтовавшегося полка. Что за этим должно было следовать — о том никто в тот момент не думал.

— К бою готовься!— командовал поручик Гугушкин.

Стрелки остановились на месте снесенного забора, вполоборота направо — лицом к попятившейся толпе.

— Ребята, не стреляй! — понеслось оттуда.

— Братцы, в кого?! В своих, братцы?!

— Да здравствуют солдаты!

— Долой фараонов!

— По шеям полицию, братцы!.

— Козло-о-ов! Пе-е-етя!.. Я тут!.. земляк твой — Ягор... Брось, Пе-е-етя! — орал кто-то из мятежников-солдат одному из приятелей-стрелков в первом ряду.

— Да здравствует союз рабочих и крестьян-солдат! — полон был крику проспект.

— Слу-ушать кома-анду! — понесся в толпу протяжный голос поручика Гугушкина. — По отде-е-ениям! Сми-и-и-рно!

Откуда-то из-за угла появился отряд конных городских и, вихрем проскакав навстречу поручику, погнал перед собой, отрезав ее от основной массы, толпу человек в двести: солдат, рабочих, женщин, случайных прохожих, застрявших на проспекте, затесавшихся тут же ребяташек.

— Иуды!

— Псы!

Прапорщик Величко, стоявший теперь рядом с Гугушкиным, видел, как падали наземь сбитые с ног, как все бежавшие, толкая друг друга, закрывали руками свои головы, опасаясь удара полицейской шашки.

Совсем недалеко от себя, на крылечке зеленого двухэтажного домика с отвалившейся наполовину ржавой водосточной трубой, он заметил вдруг в кучке людей землистое, угреватое лицо с реденькими, неживыми усиками. Это был тот самый примелькавшийся час назад человек, «бунтовавший» у ворот «Парвайнена».

«Дрянь зеленая! Подстрекатель, хам!.. Мутит всюду... — уже стерег его жестким взглядом прапорщик Величко. — погоди, дрянь, я тебя первого!..»

— Козло-о-о-ов!.. Пе-е-е-етя! Не смей, слышь!.. — надрывался все тот же голос, вырываясь из общего шума.

— Р-р-расходи-и-и-ись! — дал знать о себе полицейский пристав. Он приставил рупором ко рту короткие руки в белых нитяных перчатках. — Очищай улицу!

— Сми-и-и-рно! — старался перекрыть его поручик Гугушкин. — Солда-а-ты сто восемьдесят перво-ого полка-а-а, ко мне-е-ша-агом ма-арш!..

Из толпы, отрезанной полицией, неуверенно, друг друга отыскивая глазами по одинаковым серым шинелям или светло-зеленым гимнастеркам, вышли на мостовую человек двадцать пять — тридцать и, потоптавшись на одном месте, выстроились в две шеренги.

— Принять! — кивнул Гугушкин одному из младших офицеров.

— Я! — козырнул прапорщик Величко.

Он пересек мостовую, быстро шагая к выстроившимся шеренгам. Идя, он смотрел не на солдат, а на стоявшего позади них, застывшего на крылечке мертвого человека. Приближаясь, Величко встретился вдруг с его темными бегающими глазами: они устремлены были сейчас на офицера, и ни на кого больше, — они фамильярно подмигивали ему, голова поддакивающе кивала, а губы, быстро, беззвучно словно что-то подсказывали.

— А, сволочь, перепугался? — вслух подумал прапорщик Величко. — Все вы такие — рабы! Погоди ты у меня!..

— Р-р-асходи-и-ись! — не унимался пристав и, махнув шашкой, повел свой отряд к центру толпы.

— Спасайсь! — дрогнули ее ряды.

— Ни с места, товарищи! — кричали в ответ. — Долой опричников!

— Вон полицию!

— Долой убийц народа!

— Стреляйте, гады... а ну, стреляйте в народ! — взвились женские голоса.

Поручик Гугушкин хотел остановить полицейских конников: они срывали, думал, его собственные распоряжения. Какое дело до забастовщиков?! Важно было отделить от них солдат и загнать их в казарму.

— Господин пристав, отставить! — И он громко выругался площадной бранью. — Назад!

Но было уже поздно: ретивый пристав отделился от своего отряда и врелся, не сдержав коня, в толпу. И тогда второй раз она ответила залпом солдатских винтовок и рабочих «бульдогов».

Никто даже не запомнил лица убитого пристава.

От неожиданности конный отряд врассыпную повернул назад. Испуганные лошади шарахнулись на панели, давя и увеча народ.

— Батальон, пли! — скомандовал поручик Гугушкин и сверху вниз бросил приказом свою длинную руку.

На мгновение он зажмурил глаза, ожидая услышать сейчас грохот карающих выстрелов. И... по упавшему скупому звуку понял: выполнили команду человек пять всего!

— О-ох! — застонал проспект.

— Солдаты! В кого стреляете... Братья!

— Пе-е-е-тя, черт прокля-яты-ый!

— Пли!

Ни звука справа. «Ах, даже те пять человек тоже?!»

— Пли! — выбросил вперед руку поручик Гугушкин.

Но опять: молчат винтовки, и ревет ликующая толпа.

— Ур-ра! Ур-р-р-ра-а-а!

— Да здравствуют наши братья — солдаты!

— Не отдадим свободу!

— Долой войну! Да здравствует мир!

Поручик Гугушкин подбежал к стрелкам, снатужив свои впалые глаза, прыгая, спотыкаясь перед солдатским рядом, заглядывал в низко опущенные лица «своих» людей.

— Что ж ты,— а?.. Что же вы... Бунт?! Как же так,— а?.. Да я тебя, козел вонючий!

— Ну, ну!— угрюмо, сквозь зубы, отозвался стрелок, и поручик Гугушкин уже ничего не ответил на эту прямую угрозу.

Полицейские попытались было возобновить наступление на толпу, но, увидя, что шестьсот стрелков поручика Гугушкина отказались стрелять и теперь повернули винтовки в противоположную сторону,— отступили к переулкам, дожидаясь подкрепления.

Оно скоро прибыло.

— Казаки! Казаки!— пронеслось по толпе, надвинувшейся было до самых казарм.

Казаки сменили галоп на дробь мелко отбиваемой рыси, а доехав до ворот восставшего полка,— и совсем остановились, закупорив prospect. Командир сотни спешился и пошел навстречу Гугушкину.

Четверо полицейских, сбиваясь в шаг от тяжести, пронесли на носилках тело убитого полковника Малиновского. Казачий офицер поморщился:

— Такой атлет... а?— И уже другим тоном:— Давайте отбой, господин поручик. Пока ваши истуканы стоят тут с ружьями, я ни одного казака не пушу в дело.

— Как понимать вас?

— А очень просто. Не хватало еще, чтобы войска его величества вступили в бой друг с другом. Не хватало еще!

— А если?... сумрачно размышлял вслух Гугушкин.

— Что — если? Если не захотят идти в казармы, да?

Гугушкин кивнул головой.

— Ах, вот что!— широко усмехнулся казачий офицер, и на его круглом, свежевыбритом розовом лице просверлились одновременно три смешливых ямочки на щеках и на подбородке.— Это верно: нельзя идти против течения. Такова должна быть мудрость всякого правителя. Но знаете, как несущийся табун останавливают? Вот у нас, в задонских степях... Когда табун несется,— горе тому, кто задумает переть ему напротив! Это обезумевшее в буквальном смысле стадо! Нужно впереди скакать и затем вести за собой.

— То есть?

— То есть вам надо, господин поручик, стать во главе ваших стрелков, покуда они не понеслись еще табуном мятежников, и отвести их в казармы. Если я сейчас начну действовать,— через пять минут они будут у меня в тылу и одним залпом повалят всех моих людей... вот что, господин поручик! Я вижу, с кем имею дело. Давайте, давайте отбой... Да вы не упорствуйте! В противном случае я поверну коней обратно, и ответственность потом будете нести вы. Подальше от греха!

Поручик Гугушкин поспешно отвел своих стрелков. И — правда (он был рад потом в душе): «Подальше от греха».

Рабочих атаковали оттуда, откуда они не ждали нападения: с тыла, со стороны моста и складов Финляндской железной дороги

выскочила вторая казачья сотня. Народ бросился в переулки, и от хвоста до передних рядов толпы по заполненному людьми Сампсониевскому прошла длинная, быстрая судорога смятения и паники.

Сдавленные с обеих сторон солдаты, бросая винтовки, выби-
рались из толпы, устремлялись к казарме, ища теперь в ней при-
юта и защиты.

Сопrotивление толпы было сломлено. К тому же люди черес-
чур долго топтались на узком пространстве проспекта, утратив
первоначальную цель свою и не в силах найти — хотя и получили
неожиданное подкрепление со стороны восставших солдат — пути
для достижения новой цели, к которой, однако, еще не были под-
готовлены.

Посланцы на автомобилях возвращались с пустыми руками.
Толпа забастовщиков таяла с каждой минутой.

Казачий офицер, спровадивший Гугушкина, был доволен: все
обошлось без единого выстрела с его стороны! А что в том, в дру-
гом конце Сампсониевского хорунжий Попов нещадно полосует
сейчас людей нагайками, — так это его «личное глупое дело».
«Казakov по нынешним временам не следует тоже сильно гнуть
против народа», — думал осторожный офицер. И еще неизвестно,
кто больше выиграет в глазах казаков: он или хорунжий Попов.
«Кто прост — тому коровий хвост, а кто хитер — тому весь бо-
бер!» — улыбался он про себя.

Но тут произошло то, что омрачило несколько благодушное
настроение казачьего офицера.

— Куда?! — закричал он, услышав быстрый цокот подков. —
Кто приказал?..

Приказал пристав.

Конный отряд городских, стоявший в переулке, позади ка-
зачьей сотни, лихо выскочил теперь на Сампсониевский и понесся
на остатки толпы. Пристав в круглой и светлой барашковой шапке,
с монгольскими, падающими на короткую квадратную бородку
прямоугольными черными усами мчался впереди. Лицо его было
свирепо. Может быть, это было еще и потому, что он был страшно
кос — как легендарный соловей-разбойник: одним глазом на Ки-
ев, другим на Чернигов!

— Вы у меня, подлецы-архаровцы! — орал он. — Порядок
нарушать?! Прокламации немецкие, — а? А вот это хочешь, а вот
это хочешь?! — гудела в его руках нагайка. — Марш по домам!

— Во... шакалы! А где раньше были? — презрительно бормо-
тал казачий офицер, оставаясь на месте.

...Опасаясь быть раздавленным налетевшей полицией, пра-
порщик Величко вместе с кучкой застрявших на мостовой солдат
подался к панели, к деревьям, заслонявшим двухэтажный домик
с отвалившейся водосточной трубой. В руках он держал револьвер,
и люди, с криком и стоном спасавшиеся от полицейских лошадей,
с не меньшим страхом отводили свои головы от наставленного на
них дула офицерского нагана.

— Осторожно! Ну, чего вы... осторожно!

— Убьет, креста на вас нет!— слышал он вокруг себя.

Он хотел уже спрятать оружие в кобуру, но знакомый выкрик изменил мгновенно его намерение:

— Рабочий класс обижают... Бей фараонов!

— Не слушай провокацию... спасайся!— кричали тут же в ответ.

Прапорщик Величко бросился на столкнувшиеся в крике голоса и опять увидел пренеприятного человека с Чугунной улицы.

«Подстрекает, а сам стрелача!... Наверно, он подстрекает!— мелькнуло в голове у Величко, и он погнался за улепетывавшим во двор примелькавшимся сегодня человеком.— Уж этого обязательно арестовать надо!»

Беглец, не видя погони за собой, остановился и — тогда увидел вдруг бежавшего на него офицера с наганом в руке.

— Стой! Ни с места! Стрелять буду!

В этот момент кто-то в давке толкнул прапорщика Величко в бок, другой — подставил ему ногу, и он упал наземь.

Он вскочил и, видя перед собой спину убегающего «подстрекателя», уже не владея собой, мстя за удар, выстрелил.

Инстинктивно он хотел обернуться: может быть, распознать в толпе обидчиков, но что-то тяжелое, как железный лом, хлопнуло его по затылку, и с неожиданным коротким криком «ма-ма!» прапорщик Величко повалился на мокрую глинистую землю двора.

Через десять минут, когда дворник и городской втаскивали его мертвое тело в сторожку, во дворе не осталось уже ни одного свидетеля этого происшествия. А тот, кто был ранен в плечо выстрелом прапорщика Величко и сидел теперь, бледный, стонущий от боли, тут же, в сторожке, дожидаясь отправки в больницу, — тот действительно ничего не мог показать точно, так как не знал, не мог видеть, кто именно из толпы убил господина офицера.

Полиция и казаки очищали Сампсониевский проспект от «бунтовщиков». В казармах 181-го запасного пехотного полка шла, вне обычных дневных сроков, переключка солдат.

Ни того, ни другого свидетелем Ваулин не был. Он давно уже кружил далеко от этих мест, стоял на площадке прицепного трамвайного вагона, все еще не решаясь пойти прямым путем туда, куда должен был явиться.

Здесь, в трамвае только, он заметил вдруг, что из кармана высовывается предательски большая солдатская ложка. И, чтобы выбросить ее незаметно, он вышел на первой же остановке.

Не знал Ваулин и о том, что через два дня в казарме полка взяли для какой-то цели на особый учет тех, кто был, до службы в армии, шофером. Таких набралось сорок семь человек.

Через день их всех расстреляли: это они ведь правили захваченными машинами, отправленными «бунтовщиками» в другие полки...

О дальнейшем ходе событий в столице князь Всеволод Шаховской докладывал царю так:

«В течение следующего дня забастовочное движение расши-

рилось, и к вечеру этого дня число прекративших работу доходило до 36—37 тысяч.

19 октября наблюдалось дальнейшее расширение забастовки, которая захватила крупнейшие металлообрабатывающие заводы, расположенные на Выборгской стороне. В этот день общее количество забастовщиков составляло около 65 тысяч человек.

20 октября наступило резкое понижение стачечного движения, и, наконец, 21-го все предприятия возобновили работу».

Причины «резкого снижения стачечного движения» князь не знал, как не знал он обращения Петроградского Комитета к рабочим:

«Каждый день приближает грозу на голову правительства и правящих классов,— писали члены ПК.— Недостаток необходимых продуктов продовольствия, хищничество заправил, воров бумажных денег, расстройство путей сообщения — все шире охватывает Россию.

Так пусть же грядущий час народного суда застанет наши ряды сомкнутыми и готовыми к длительной и стойкой борьбе...

Возвращайтесь теперь к станкам, с тем чтобы всеобщей стачкой в союзе с армией повести повседневный штурм за свержение самодержавия, за установление демократической республики, восьмичасового рабочего дня, за конфискацию помещичьих земель. Да здравствует социализм!»

...Встреча была мало приятной для обоих. Заехав в больницу проведать своего Лепорелло, Губонин застал Кандушу растерянным, всхлипывающим от боли, хотя пуля из плеча была уже вынута.

Губонин пожалел его.

А ведь так нужно было хорошенько пробрать его за неосторожные действия! (Вячеслав Сигизмундович все еще думал о разговоре своем с генерал-майором Глобусовым...)

Глава четвертая

«МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ МОНАРХИСТЫ...»

На следующий день после описанных событий позвонил по телефону Родзянко: спросил Льва Павловича.

Карабаева не было дома. Узнав, что с ним говорит жена депутата, Софья Даниловна, председатель Думы, выдержав недолгую паузу раздумья, пробасил в трубку свою просьбу: завтра к десяти вечера он ждет у себя на квартире Льва Павловича. Будут еще — он назвал несколько широко известных депутатских фамилий. А кроме того (и это, конечно, подлежит секрету — сама уже поняла Софья Даниловна) — министр внутренних дел Протопопов.

Никто из чужих не мог бы и подумать и предположить, почему это последнее известие взволновало так радостно Софью Даниловну.

Сидя в кресле мужа за его письменным столом, положив уже слуховую трубку на аппарат, она минуту не отрывала взора от те-

лефона, как будто ждала вот-вот продолжения разговора, нового звонка.

Да, да, это прекрасный, счастливый случай для мужа, для Левушки, сделать то, что признавал не совсем удобным делать в обычном порядке.

Но так ли это невозможно в конце концов?

Разве просьба к министру так уж обяжет ко многому Левушку? Что ж из того, что они теперь политические враги, — господа, да Иришу-то надо спасать?! (Софья Даниловна «с сердцем» передвинула на мужнем столе пепельницу и закусила до боли нижнюю губу.)

Как спасти дочь — этому были посвящены все разговоры вчерашнего дня: с того момента, как позвонил по телефону какой-то неизвестный полицейский чиновник и сообщил о задержании Ириши. А ночь до того была бессонной, полной догадок и тревоги.

Усталый и довольный своей работой за письменным столом, Лев Павлович вошел тихо в спальню, стараясь не разбудить жену. Но она не спала. На ночном столике горела лампочка внутри глубоко охватившего ее сделанного фонариком синего абажура. Было уютно, как всегда.

— Который час? — спросила Софья Даниловна, приподнявшись на кровати.

— Десять второго. А что?

— Я думала, мои спешат. Ириши нет дома... так поздно!

— А где она? — заинтересовался Лев Павлович и, словно проверяя, не ошибся ли, вновь посмотрел на свои часы, кладя их на столик рядом с жениными.

— Я не знаю, Левушка. Меня это беспокоит.

Он разделся, накинул на себя пижаму и пошел мыться в ванную. Но он возвратился раньше обычного — с полотенцем в руках, утирая им по дороге мокрое лицо.

— Может быть, она задержалась, Соня, после театра? Или, может быть, она собиралась куда-нибудь в гости?

— Нет, нет!.. Она говорила мне, что весь вечер будет дома. Но, возможно, она действительно ушла в театр... я уже думала, Левушка.

Но через полчаса эта догадка уже и не всплывала: ясно было — двери театров давно уже закрыты.

— Может быть, Ириша у кого-нибудь на вечеринке? Но тогда она предупредила бы о том по телефону. А если эта вечеринка происходит на какой-нибудь студенческой квартире, где нет телефона? — высказал предположение Лев Павлович. — Хорошо, но разве можно волновать так отца и мать? О нет, с Ириной серьезно надо будет потолковать! Очень серьезно.

Но и единственная утешительная догадка — о вечеринке — была опровергнута неумолимым вращением часовой стрелки: набежало уже три часа, а Ириша все еще не возвращалась. Было от чего волноваться; с ней это никогда не случалось.

— Ложись, Левушка, я дождусь ее,— сказала Софья Даниловна, но он конечно же отверг этот женин совет.

Они оба боялись сообщить друг другу еще одну догадку, хотя каждый из них думал о ней про себя: говорят, идут аресты среди студенческой молодежи!.. (Лев Павлович вспомнил теперь, как рылся на даче в Иришкиных тетрадах и что нашел в них.)

«А если несчастье: попала под трамвай, автомобиль? Или извозчик какой-нибудь наехал?»

Содрогаясь от этой мысли, он явно видел уже, как налетел вдруг где-то на углу пьяный извозчик на его Иришу, как концом оглобли ударило ее в висок (почему-то именно так назойливо все рисовалось!), и она упала без сознания, а потом ее увезли в приемный покой какой-либо больницы... Ох, жива ли его родная девочка? Только бы она была жива и невредима, все остальное менее тяжело для его любящего отцовского сердца!

О том, что могло приключиться какое-либо несчастье, он не рисковал говорить Софье Даниловне, а предположить вслух, что его дочь могли арестовать,— он почему-то не решался.

Если это случилось,— мелькало в голове,— значит, есть какая-то вина в том и его и Сони, а огорчать сейчас жену ему не хотелось. Скажет: «Вот видишь, я недоглядела!» А объяснить ей, что на нем, отце, лежит в этом случае наибольшая вина, то есть рассказать ей уже обо всей истории на даче, считал и раньше ненужным, а сейчас — и подавно.

Он не знал, однако, что многие вещи ей стали известны, с той только разницей, что Софья Даниловна ознакомилась тайком с частью Иришкиного дневника уже здесь, на городской квартире, но боялась сознаться в своем поступке мужу, ожидая его осуждения... К тому же, как удалось ей проверить в другой раз, новых записей в Иришкиной тетради почти уже не было, а те, что и появились, не усугубляли материнской тревоги.

За долгие годы совместной жизни у каждого из них родилась маленькая тайна друг от друга, и как легко стало бы тогда, в длинные часы ожидания, если бы они узнали, что она одна и та же!

Они перешли в кабинет — угловую комнату квартиры, где можно было, никого не тревожа, громко разговаривать и где находился телефон: а вдруг позвонят... позвонят, несмотря на такой поздний ночной час?

Им обоим не хотелось, чтобы, проснувшись, Юрка или прислуга Клавдия заметили, что они, хозяева дома, не спят, что случилось в семье что-то необычайное; чтобы никто не знал, что их дочь не ночует сегодня на своей кровати. Не надо этого!

И каждый из них — и Карабаев и Софья Даниловна — решали в отдельности: если выяснится, что Ириша арестована, то и тогда не следует никому знать об этом. Можно будет придумать причину ее отсутствия, а если дело затянется и через день-другой Ириша не вернется домой, тогда... Но как потечет тогда жизнь всей

семьи, — боже, боже, даже не хочется, не в силах каждый из них об этом страшном думать сейчас!

Тут же, в кабинете, Софья Даниловна сварила на спиртовке кофе, и они оба пили его, сидя друг против друга в глубоких кожаных креслах, и, как всегда, она аккуратно намазывала себе и ему хлеб маслом и, — в особой заботе о муже, — наклонившись к нему, снимала салфеткой с его усов и бороды застрявшие в них крошки.

Он был печален и молчалив. Она накинула на его плечи свой плед, заставила вытянуть ноги и положить их на свое пододвинутое к нему кресло:

— Тебе будет так удобней, Левушка. Боже мой, что она с тобой делает!..

Откинувшись всем корпусом на спинку кресла, он дремал, не в силах бороться с усталостью и сном. Он знал, что впереди, завтра — его день забот, действий, решений, и этим он отблагодарит жену.

К рассвету они перебрались в спальню. Короткий утренний сон у обоих был беспокоен и неровен.

— Я спал только верхней частью сознания, — сказал Лев Павлович, вставая. — Понимаешь, как будто спит только тоненький слой покрова в мозгу, а весь он продолжает работать, думать. Сновидения толпятся в нем, но это уже и не сновидения вовсе, а реальные мысли о реальных обстоятельствах. Конечно же, все об Ирише!.. Ах, боже мой, боже мой...

И Софья Даниловна очень хорошо поняла его.

...Утром, после того как звонил полицейский чиновник, сообщивший о задержании Ириши, Лев Павлович, обрадованный и в то же время огорченный первым известием о дочери, отправился немедленно к тому, кто мог объяснить ему все, кто волен был освободить ее из-под ареста. Визит к генерал-майору Глобусову был мало приятен Льву Павловичу, но — что поделать? — это был кратчайший путь к желанной цели.

В приемной молодой человек с русыми завитыми волосами, откинутыми в обе стороны широким пробором посередине, осведомился, как доложить. Лев Павлович назвал свою фамилию — добавил, что заехал сюда по срочному делу.

— У нас все дела срочные. Такая уж у нас служба, — улыбнулся заячий рот чиновника.

Он пошел докладывать и пропал минут на пятнадцать, показавшихся Карабаеву целым часом. Прошло еще минут десять после его возвращения в приемную, и Льва Павловича попросили к генералу.

Глобусов встретил его, встав с кресла, и жестом предложил сесть у стола.

— Чем могу служить? Впрочем, я, конечно, догадываюсь, — вкрадчиво и предупредительно смотрели на Льва Павловича темные с густой поволокой глаза генерал-майора.

— Я хочу знать все о моей дочери, господин генерал.
— Я позволил себе задержать вас в приемной с той же целью. Я потребовал все сведения и ознакомился с ними.

— Ну, и что же вы мне скажете?

— Расследование будет вестись очень, очень быстро.

— И это все? — не мог скрыть своего раздражения Лев Павлович.

«Будет вестись очень быстро... Значит — сегодня, сейчас Иришу еще не выпустят? Что же она сделала такого? И сколько может продлиться арест?» — хмуро смотрел он на учтивого начальника охраны.

Он был взволнован и зол, ему хотелось наговорить генерал-майору грубостей, оскорбить его, но он, по вполне понятным причинам, сдержал себя. Он обнаруживал свое негодование лишь тем, что угрюмо стянул свои густые брови и барабанил мелкой, нервной дробью пальцами по генерал-майоровскому столу. Ему хотелось, чтобы эта бестактность на официальном приеме была воспринята как угроза! Но генерал-майор смотрел на его барабаниющие пальцы и улыбался: всякий родитель имеет право нервничать.

И, кратко рассказав, при каких обстоятельствах была задержана «курсистка Карабаева», генерал-майор тихо, сочувственно вздохнул:

— Не вспоив, не вскормив — не сделаешь себе врага. Так-то всегда в жизни, Лев Павлович! (Может быть, ему вспомнился сейчас Губонин?)

— Что вы хотите этим сказать? — насторожился Карабаев. — Моя дочь не может быть мне врагом. Так же, как и я ей, генерал!

Лев Павлович не знал глобусовской любви к литературным цитатам, и потому строка из Гете в устах начальника царской охраны немало удивила его.

— О, какое заблуждение! Du glaubst zu schieben, ind wirst geschoben. Ты думаешь, что двигаешь, между тем — тебя двигают самого... Вас двигают самого к этой вражде — время, желания, обстоятельства, среда, — вот какие дела, Лев Павлович!

— Вы берете на себя слишком много, утверждая это в отношении моей семьи! — обиделся Карабаев.

— К сожалению, я имею на это данные. Я поставил вас и известность минуту назад.

— И в ваших «данных» генерал, я не вижу никакого преступления моей дочери. Все построено на какой-то нелепой случайности... на каком-то совпадении фактов, — дрогнувшим голосом сказал Лев Павлович и снял руку со стола, чтобы уже больше не барабанить по нему пальцами. — Я ползаю, что вы должны со мной согласиться... Моя дочь... (он сделал ударение на слове «моя», и Глобусов изобразил полное внимание на своем лице) моя дочь ничего общего не имеет с теми темными людьми, о которых вы мне говорили.

— Не должна — это было бы весьма желательно. Но боюсь, что имеет!

— Сердце отца имеет доводы, которых не может знать разум чужих людей. Разум и ваша подозрительность, генерал!— стараясь быть мягким, ответил Лев Павлович.— Моя Ириша совершенно непричастна...

Это была с его стороны та «святая ложь», в которую он и сам хотел бы поверить.

— Учтите, генерал: с вами говорит сейчас отец, только отец, а не член законодательной русской палаты, который мог бы, понимаете... мог бы, конечно...

Он вдруг почувствовал свою ошибку, предательскую ошибку тона, каким заговорил теперь с врагом своим, и, кляня в душе самого себя: «Разнежничался, упрасниваю, как рядовой обыватель, еще подумает, подлец, что пресмыкаюсь!»— Лев Павлович искусственно — ворчливо и глухо — кашлянул несколько раз горлом и встал с кресла.

Тотчас же поднялся и Глобусов, и Льву Павловичу стало почему-то приятно сейчас увидеть, что генерал-майор заметно ниже его ростом и как-то тревожно, совсем как простые бабы, чем-то перепуганные, держит руки на тяжелом животе.

— Поверьте, я приложу все меры к тому, чтобы моя дочь была как можно скорей на свободе!— снова сошлись у переносицы густые карабаевские брови.

— Одну минуточку, Лев Павлович!— задержал его жестом генерал-майор Глобусов.— Скажите, пожалуйста, вы лишились прислуги и ваша жена ищет другую?— неожиданно спросил он.

Карабаевские брови изобразили искреннее удивление:

— Я вас не понимаю, генерал. О чем вы говорите?

— Кажется,— ясно?

— Никого мы не лишались, кроме дочери,— проворчал Лев Павлович.— И то, убежден, на день-другой только... И никого не собираемся лишаться. Я, право, не понимаю вас! Или, может быть, наша прислуга тоже числится у вас в «революционерах» и «подпольщиках»?

— Благодарю вас за справку,— чуть насмешливо улыбнулся Глобусов.— Она прямо противоположна тому, что изволила показать на допросе ваша дочь.

— То есть?— взволнованно шагнул к нему Лев Павлович.

— Всегда к вашим услугам!— поклоном напыщенной головы простился с ним генерал-майор.

Весь этот месяц шли совещания бюро «прогрессивного блока»; первого ноября возобновлялась сессия Думы, и «оппозиционные» партии готовились к встрече с правительством Штюрмера.

Нечего и говорить, что Лев Павлович был всегдашним, непременным участником этих совещаний, а два из них состоялись у него на квартире. Последнее — не так давно: всего лишь пять дней назад.

...Молодой — под сорок — помещик и граф, земец Полтавской губернии Капнист разводил руками и вопросительно переводил

глаза то на знаменитого кадетского профессора-лидера, то на длинноусого, светлоглазого, с холодным взглядом монархиста Шульгина, отдавая тем равную дань заискивающей почтительности обоим признанным руководителям думского «блока».

— Что действительно ставить в первом заседании? — суетливо говорил он. — Ну, хорошо, — выборы президиума. А потом? Выступление блока? А затем — фракции? Или, может быть, волостное земство? Продовольственный вопрос? Немецкое засилье?

Сидя в кресле, он ежеминутно подтягивал на коленях свои черные брюки, боясь смять на них безукоризненно отглаженную складку, и руку с папиросой держал далеко от себя, сбоку, опасаясь уронить случайно пепел на свой костюм.

В дневник свой Лев Павлович занес:

«Ефремов: Нельзя перейти к мирной законодательной работе. Такой же точки зрения держится и Александр Иванович (Коновалов). Надо поднять вопрос в виде законопроекта о создании парламентской контрольной комиссии над внешней политикой. Не разменялись бы мы на мелочи, господа! К большой программе сейчас до изменения состава правительства — не подходить!»

В. А. Маклаков (Ефремову): Как вы совмещаете веру в ответственное министерство, если не хотите давать советов в сфере исполнительной? Нам больше по плечу министерство доверия.

Милюков: Правительство! Иначе будущий историк скажет, что законодательство остановилось.. Разнобой в Думе, боюсь скомпрометировать парламентаризм. Если хотим идти до конца, надо говорить больше, чем об ответственном министерстве. Но об этом мы говорить не будем.

Я: Всюду своекорыстные интересы. Нам не дают денег, и соглашение с Англией об этом не подписано.

Савенко: Ознакомьте нас с документами, Лев Павлович.

Я: Извольте, я это сделаю потом... потери страны огромны. Над нашей новой союзницей Румынией — призрак Сербии. После объявления Румынией войны — все те же однокольные ветки. Два года побуждали Румынию выступить, но наше положение там хуже теперь, чем тогда, когда Румыния была нейтральна. Запас хлеба в армии истощается, дороги разрушены, произвол и растерянность власти. Протопопов — человек с гнилым сердцем — холопствует, как никакой бюрократ.

Шульгин: Царь берет его за руку, и он принимает запах царя. Вокруг трона никудышники и подстеночные люди!»

«Все оживленно реагируют на слова Василия Витальевича» — такова была ремарка в этом месте карабаевского дневника.

Карабаевский кот, Кифа Мокиевич, бесшумно прыгнул на колени сидевшего на диване знаменитого думского депутата и рыцаря русской монархии. От неожиданности Шульгин вздрогнул, но тотчас же привлек к себе мурлыкающего кота и, уже глядя только на него, засматривая пристально в его сузившиеся, неуло-

вимые зрочки, говорил, обращаясь как будто только к этому маленькому зверьку и ни к кому больше.

— Подумать, подумать надо... — почти театральным шепотом звучал его голос. — Разве это не оскорбление всех нас? Разве не величайшее пренебрежение ко всей нации и, в особенности, к нам, монархистам, это «приятие» Распутина?.. Невольно в самые преданные, самые верноподданные сердца, у которых почитание престола — шестое чувство, невольно и неизбежно... проникает отравы.

— Царь и родина стали в противоречие друг с другом, — продолжал Шульгин. — Наше положение трагично. Мы избрали путь парламентской борьбы вместо баррикад. Весь вопрос в том: что мы — сдерживаем или разжигаем. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину, и если бы мы не сдерживали, толпа давно прорвалась бы. Будем надеяться, что додержимся и спасем царя и родину.

И так же неожиданно, как привлек к себе мягкого теплого кота, он обеими руками сбросил его на ковер.

Никто не знал, как терпеть он не мог кошек, как всю жизнь избегал прикасаться к этим животным!

И, может быть, потому, что сам чем-то — своим характером — был похож на них?

Ему было известно, что кой-кто из «левых» сравнивает его, Шульгина, с виконтом Фаллу, вдохновителем июньских дней 48 года Франции, — и в душе он не отрицал сходства своего со знаменитым католиком и роялистом.

Это был анжуйский (в данном случае — волынский) дворянин тонкого ума, выдержанной воли и с кошачьим характером, идущий бесшумными шагами к цели, которую он себе тайно наметил. Красноречие Фаллу — совершенно медовое на поверхности, хотя бы внутри оно было полно желчи. Гладким и спокойным тоном светского человека он нападает на своих противников с корректной жестокостью. Он опутывает их выражениями мягкими, вежливыми, почти ласкающими, из которых выступают, когда этого меньше всего ожидаешь, отточенные когти. Он остается всегда спокойным, улыбающимся, неуязвимым.

...Лев Павлович записывал:

«М а к л а к о в: Сейчас необходимо, чтобы у руля государственной власти встали разумные люди... Предложим текст австрийской конституции. Это — из источников вполне консервативных.

К р у п е н с к и й: Не выйдет, боюсь, господа. Коротки ноги у миноги под небо лезть! Или действительно хотите революции?

Г о д н е в: Надо не революцию, упаси бог, а резолюцию о нашем отношении.

М и л ю к о в: Надо попытаться найти общую правду, смотреть на будущую нашу декларацию в Думе как на увертюру общих действий, общей воли.

Я: Основной порок нашего управления вскрывается наглядно. Порок режима открылся под ударами войны. Страна накануне порывов к самосуду. Надо в Думе публично сказать: «Берегитесь измены!» Надо правду сказать.

Крупенский: Договорились! Правду каждый понимает по-своему. Правда Льва Павловича или, например, грузина Чхеидзе — для меня не правда. Чистая правда может быть только групповая. Мы сошлись в «блоке» только на уступках. Может быть, кто-нибудь хочет теперь революции?

Шульгин: Так как мы не собираемся на баррикады, то нечего подзуживать и других. Дума должна быть клапаном, выпускающим пары, а не создающим их. В этом смысл всех наших дальнейших действий.

Степковский: Боюсь излишним нашим спокойствием дать стране опередить нас. Надо устроить закрытое заседание Думы и обратиться к короне.

Капнист: Думу распустят, начнутся мрачные репрессалии. А вдруг — революция? Всяко может.

Я: Что касается революции — я большой скептик. Не верю, что сепаративный мир Штюрмера — Протопопова вызовет ее. Массы усталых людей скажут: «Дайте выспаться, вымыться, поесть».

Шидловский (председатель совещания): Снизу говорят: «Кричи!» — а иногда нужно помолчать. Общественные организации окажут большую услугу, если не будут требовать применения форм, которые издали кажутся наиболее действенными. Правительство думает, что мы делаем революцию, а мы ее предупреждаем. Штурмом ничего не достигнем. Иначе мы будем не решающей силой, а одним из факторов; другим будет улица. Мы не пойдем на вызов масс».

Никто не возражал тогда откровенному Шидловскому, и Карабаев был с ним согласен.

Узнав от Софьи Даниловны, что Родзянко приглашает к себе руководителей «прогрессивного блока» для встречи с Протопоповым, Лев Павлович позвонил Милюкову:

— Зачем он позвал к себе министра?

— Думаю, попытка в последний раз договориться.

— Что ж, идти?

— А почему бы и нет?

— Та-ак... Я ненавижу этого человека с гнилым сердцем!

— Разделяя ваши чувства. Но для краткости, как заметил еще Талейран, нельзя жертвовать точностью выражения.

— То есть? — осведомился Лев Павлович.

— Человек с гнилым сердцем — мало и слишком поэтично. Это — сумасшедший политический негодяй, всеми своими действиями провоцирующий уличную революцию...

— На что же надеется Родзянко? О чем думает он?

В ответ Лев Павлович услышал короткий, веселый смешок своего друга:

— Вам известны стишки, а?

— Какие?

— Не известны?— веселился у телефона профессор.—
Послушайте...

Об умном говорят: «Вот голова!»
Но голова другое значит часто.
И в Думе говорят: «Вот Голова»,
Но в смысле уж другом иль —
для контраста!..

— Я запишу эти стишки, они хороши,— улыбнулся Карабаев впервые за эти двое суток Иришкиного ареста.

— Но — не для распространения, прошу вас. *Je laisse cela pour moi et pour vous!*¹ — предостерегал его Милюков.

Надевая шубу, чтобы идти к Родзянко, Лев Павлович, целуя в лоб жену и принимая из ее рук бобровую шапку, угрожающе откашлился:

— Мы ему сегодня скажем... ох, уж разделаем под орех!

— Левушка! — помогала ему застегивать шубу Софья Даниловна.— Я прошу тебя, Левушка, помнить о нашем лосенке... Ведь ты же сам говорил о ней: «Бедный, несчастный лосенок... отрезанный в темноте от матери». Ты обещал мне, Левушка!

Если не шагнуть сейчас за порог, жена увидит навернувшуюся на глаза теплую отцовскую слезу,— Лев Павлович кивнул головой и торопливо вышел из квартиры.

Час назад лифтерша, пожилая сухонькая женщина с ввалившимися щеками, подняла в третий этаж его превосходительство Михаила Владимировича.

Подымаясь в вестибюль по мраморным ступенькам, Родзянко каждый раз кричал ей:

— Баба, подъемку!

Открыв дверцу лифта, она молча ждала, покуда он войдет в него — грузный, широкогрудый и широко расставляющий ноги в глубоких калошах.

Ей всегда казалось, что подымается в клетке с огромным, выпрямившимся во весь рост медведем,— наподобие тех, что стоят, вытянув лапы, в полукруглом вестибюле. И всегда страшилась, всегда чудилось, что, не сдержав тяжести «его превосходительства», клетка оборвется и рухнет вниз.

И подымать сейчас двоих других, хотя и крупны были оба, было куда спокойней и приятней...

Эти люди сошлись у входа в дом.

— Вот где мы с вами встретились! — протянул руку вылезший из автомобиля Протопопов.

¹ Пусть это остается между нами! (фр.)

И когда Лев Павлович пожал ее (с кратким, несколько растерянным «н-да-а»), министр со вздохом, но посмеиваясь сказал вдруг:

— А вы знаете, я уже замечаю: у меня правая рука, как у Столыпина, начинает сохнуть!

И он опустил, как тряпку, кисть и показал ее Карабаеву. «Фигляр! — подумал о нем Лев Павлович. — Какой вздор говорит!»

И тотчас же — о другом:

«Когда сказать об Ирише? Сейчас?.. Надо выбрать подходящий момент...»

Об этом он думал еще по дороге сюда.

То ему казалось, что лучше всего обратиться с просьбой до начала совещания. Он предвидел, что оно может стать бурным, страсти разгорятся, никакого примирения и взаимопонимания не произойдет, и тогда всякая попытка частного обращения к Протопопову станет безусловно неуместной. То, напротив, думалось, что Протопопов будет после этого подчеркнуто внимателен и любезен со своим политическим противником, коль скоро речь пойдет о личном одолжении, и этим захочет еще больше оттенить свое «превосходство» над просителем.

«Пусть так... Черт с ним! — размышлял Лев Павлович. — Пусть унижусь перед ним, лишь бы Ириша очутилась скорей дома».

С этими мыслями, спорившими друг с другом, он перешагнул порог родзянковской квартиры, пропустив вперед себя своего власть имущего спутника.

В кабинете хозяина, где собирались уже все приглашенные, министр, быстро, одним волнистым взглядом окинув присутствующих (все оказались хорошо знакомыми), пошел жать каждому из них руки, одаряя на ходу приветствиями:

— Рад, очень рад...

— Как хорошо, хорошо здесь...

— Мысль... совет... надежда — весь цвет, господа, русского населения!

— Я очень рад, очень доволен...

— И этот камин, который затопили... Я бесконечно доволен...

— Камин — это дружба, открытость...

— Как хорошо, как хорошо!..

Он был в сверкающем мундире шефа жандармов, и высокий синий воротник принуждал еще глубже откидывать назад, что часто делал, подергивающуюся, беспокойную голову.

— Дружба, дружба... Я так рад, господа, поверьте мне. Вот и собрался наконец. И я читаю в ваших сердцах те же чувства...

— Читайте, читайте, батюшка Александр Дмитриевич, — легонько подталкивал его к центральному креслу богатырь Родзянко. — Чтение в сердцах — сие есть давнишняя склонность лиц, надевающих в цивилизованном обществе эдакие мундиры, дорогой

сударь мой! Да-с... Прошу садиться, батюшка... Вот тут, со мной.

Ах, этот «мясник» Родзянко! Он груб и несносен даже у себя дома!

И министр, глядя на черные сюртуки своих думских коллег, полукругом оцепившие его сверкающий мундир, бормочет по-французски:

— Je n'ai pas pensé à mal!.. (У меня не было ничего дурного на уме!)

Он обводит глазами разместившийся перед ним полукруг так хорошо знакомых людей и задерживается на узком, с выпрыгивающими желваками почти под самыми ушами, зеленовато-сером лице депутата Крупенского:

«Вместе с Nicolas еще в кавалерийском училище! Сколько лет!.. Ой, как состарился!.. Он быстрый человек, всегда больше всех знает. Звонил на днях — ах, надо было принять!»

И Крупенский, к радости старого друга, кивает головой:

— Да, да... Идя сюда, зачем вам приносить дурное!

— А все-таки — мундир не того!.. Ну, ладно, ладно. Поговорим о деле, батюшка Александр Дмитриевич! — гудит Родзянко. — Все остальное выведенного яйца не стоит.

— Это верно, — подхватывает министр, найдя опять свою прежнюю улыбку. — Я хотел бы побеседовать запросто, обменяться мнениями, господа. У нас события, господа, в стране. Надо проводить общий курс, — я ознакомлю вас с ним. Я знаю, господа, чего я хочу. Но, господа, — под условием: чтобы ничто не вышло из этой комнаты!

— Пора секретов прошла, Александр Дмитриевич! Я лично не могу дать требуемого обещания. Я должен буду обо всем, что здесь будет происходить, доложить своей фракции.

Милюков стоит позади кресла, облокотившись обеими руками на его высокую спинку, упрямо выставив среброволосую голову. Кажется, он смотрит сейчас поверх своего маленького пенсне, а глаза оттого мутны, скрывают мысль.

Протопопов:

— Ах, вот что! В таком случае я ничего не могу говорить. Я прошу прощения, что потревожил председателя Государственной думы и вас, господа. Что же произошло, что вы не хотите побеседовать по-товарищески?.. Вы меня звали, Михаил Владимирович, вы мне обещали...

— Обещал всех позвать и — выполнил.

— Но в таком случае...

Министр развел руками и переменял позу в кресле, перегнувшись через ручку его к своему соседу Родзянко. Он все еще улыбался, хотя причин к тому не было.

— Вы хотите знать, что произошло? — сорвался с места кадетский лидер и, ко всеобщему удивлению, заговорил быстро, повышенным тоном, чего ждали от него меньше всего. — Я вам скажу, Александр Дмитриевич!.. Вы служите вместе со Штюрмером...

Вы освободили Сухомлинова, которого вся страна считает предателем... Вы преследуете печать и общественные организации. А участие проходимца Распутина в вашем назначении,— это что?!

И — разгоряченный — Милюков, сделав несколько путаных шагов перед полукругом сидевших молчаливо коллег и словно потеряв свое собственное кресло, опустился на кончик карабаевского, который Лев Павлович предупредительно очистил ему, мгновенно передвинувшись на широком сиденье.

Но Милюков тотчас же поднялся и занял свое место.

— Я хотел бы добавить... — тихо сказал Лев Павлович вслед за своим лидером. — То, что произошло позавчера на Сампсониевском проспекте, не может не волновать всех нас. Вы должны понять смысл событий!

— Это очень правильно! — подхватил сидевший рядом Шульгин. — Поймите вы! Мы начинаем говорить для того, чтобы молчали они... рабочие, чернь, улица! Солдаты уже не стреляют. До чего дошло!.. Во время рассеивания рабочих завода «Новый Лесснер» проезжал военный автомобиль, и шофер умышленно направил мотор на взвод жандармов и свалил одного из них вместе с лошастью...

— Я все это знаю, — оживился министр. — Да, военный мотор — зеленый круглый знак № 5802... Я помню даже его номер! Мне обо всем доносят, я за всем слежу, я дал слово государю быть обо всем в курсе. Но чего вы хотите, господа! Я пришел сюда побеседовать с вами, а теперь выходит, что я присутствую здесь в качестве подсудимого. Притом вы можете говорить все, что вам угодно, тогда как мне Павел Николаевич зажал рот: все, что я скажу, завтра появится в газетах! Но я отвечу по пунктам. Что касается Сухомлинова, он не освобожден, а изменена лишь мера пресечения. Ведь правда, Михаил Владимирович?

— Не совсем точная, — постарался унять свой регентский бас нахмурившийся Родзянко. — Он сидит, мил человек, у себя дома под домашним арестом и просит о снятии его. И говорят, сударь мой, что снимут ему. По вашим хлопотам.

— Что же делать, если оказалось много белых мышей и ни одной белой лошади! — вдруг застонал по-шаманьи Протопопов.

— Как... Что это значит, Александр Дмитриевич? — вскрикнуло несколько голосов.

Присутствующие, переглядываясь друг с другом, тревожно посматривали теперь на министра. Он закинул голову глубоко назад, закатил вверх глаза, руки его судорожно сжали подлокотники кресла, он бормотал в полукстазе несколько раз подряд одну и ту же фразу, столь удивившую всех:

— Что делать, что же делать... Так много белых мышей и ни одной белой, ни одной белой лошади!

— Воды! — заворочался обеспокоенно в своем кресле рыхлый, подагричный старик Стемпковский — депутат и доктор из воронежских земских кругов. — Соскакивает малость, — а? Воды!

И сублинный, стриженный ежином, с выпуклыми кукольными глазами секретарь Думы Дмитриюков, хорошо знакомый, очевидно, с расположением родзянковской квартиры, мигом принес откуда-то графин и бокал и поставил их на письменный стол.

Лев Павлович заметил в этот момент, как, скосив глаз, министр внимательно следит за движениями думского секретаря. И когда тот налил воды в бокал, чтобы протянуть его Протопопову, — министр вдруг выпрямился в кресле и, глядя строго на одного только Дмитриюкова, голосом свежим и выразительным сказал:

— Много белых мышей и ни одного белого слона... в сухомлиновском деле, господа! Много доказательств мошенничества, но ни одного — измены!.. Вы что думаете? Я, министр внутренних дел, не знаю, что делаю? Ошибаетесь, господа!

Он гневно выкрикнул эти слова, и тогда случилось нечто, до смешного напомнившее Льву Павловичу сценку из дурных водевилей: дмитрюковская рука с бокалом вздрогнула, и думский секретарь быстро стал пить из него предназначенную для министра воду.

— Может быть, и не знаете, что делаете! — отвечал, вставая и подходя к Протопопову, российский виконт Фаллу, — и все насторожились. — Прежде всего мы должны решить вопрос о наших отношениях. Или вы, Александр Дмитриевич, честолюбец, если вы просто увлеклись блестящим положением, не скрывая от себя, что вы сделать ничего не можете. В самом деле, в какое положение вы себя поставили? Были люди... (Шульгин широким жестом указал на всех присутствующих) были люди, которые вас любили, и были многие, которые вас уважали. Теперь ваш кредит очень низко пал. Вы отрезали себя от людей, которые могли вас поддержать там. Этот разговор, который мы ведем теперь, надо было вести тогда, до того как вы приняли власть. При этих условиях понятно, почему Павел Николаевич не считает возможным сделать секрет из нашей беседы. Завтра же, когда общество узнает, что мы с вами беседовали, оно может предположить, что мы вошли с вами в «заговор», и мы не вас поддержим, а себя погубим. Я допускаю еще возможность секрета, если мы сегодня ни к чему не придем. Только так и можно сказать: «Говорили, но ни до чего не договорились». Но если мы на чем-нибудь согласимся, — тогда обязаны будем сообщать обществу, почему мы нашли возможным согласиться.

Он говорил сегодня тихо, не спеша, но строго и, — как почувствовало все, — с той особой искренностью, на которую можно ответить только такой же откровенностью или, признав себя избалованным и побежденным, ничего вовсе не отвечать.

Таково было первое впечатление от его речи.

Но наиболее умные думские политики, не раз слушавшие Шульгина, не забывали, однако: всегда нужно особо прислушиваться к тому, что говорит он в конце своего выступления — здесь ляжет мысль его. И манера речи, ее артистические интонации пусть не вводят в заблуждение в таком случае доверчивых слушателей!

И потому некоторым из присутствующих было понятно: Шульгин, наговоривший министру много «горьких истин», не закрывает, однако, дверей для взаимных уступок. О нет! Сегодня должен уступить первым он, Протопопов, а там — видно будет... Таково только условие победы над ним.

И тогда кадетский лидер, Милюков, быстро перемигнувшись со своими партийными единомышленниками, порывисто шагнул по мягкому ковру на середину комнаты и отвлек на себя внимание собравшихся.

Он ничего не сказал, но одного этого движения его было достаточно, чтобы все почувствовали предостерегающие, хотя и не произнесенные, слова его — признанного руководителя думской оппозиции.

«Стоп! — словно говорил он всем. — Не обольщаться! Обложили зверя, — нельзя дать ему уйти».

— Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это ответ может быть дан не в обществе, а лицом к лицу, с пистолетом в руках! Я исполняю желание моего государя, я всегда признавал себя монархистом, — за это, может быть, меня не уважают?! — криво улыбался угрожавший Протопопов.

— Ну, знаете, батенька мой! Стыдно вам говорить про то!.. — густо, сердито крикнул камергер императорского двора Родзянко. — Мы все здесь монархисты — пора бы вам это знать!

— Вы пообещали надеть намордник на Думу! Вы говорили, что в Японии одиннадцать раз распускали парламент! Почему бы и у нас этого не сделать?! Намерение распустить Думу — это ваш «coup d'état»!..¹ Разве это не правда? — продолжал наступление Милюков.

— Откуда вы это знаете, Павел Николаевич? Ничего этого я не говорил. Вот так, господа, и получается, — продекламировал он:

Нельзя тебе жить
чтоб языки про тебя не мололи,
Как роз нельзя собирать
и шипы чтоб тебя не кололи!..

— Тут не о розах, Александр Дмитриевич, разговор... — прервал его хозяин. — Вы лучше расскажите нам о Гришке Распутине, о ваших дворцовых приятелях с немецкими фамилиями. Сами расскажите — тогда перестанут всякое молоть. А то, может, не зря и языки про вас чешут: с собакой, знаете ляжешь — с блохами, говорят, встанешь!

— Ах, господа! — вновь запрокинул голову Протопопов, и беспокойный взгляд его устремился к потолку. — Распутин, Распутин!.. со всех сторон о нем. Но почему? J'en ai les oreilles rebattues! (Мне этим уши прожужжали.) Этот человек дает полезные советы, господа. Вот — бороться с очередями у лавок... И он предложил: сквозные проходы в лавках — в одну дверь впускать,

¹ Государственный переворот (фр.).

в другую выпускать и заранее развешивать продукты для отпуска покупателям... Теперь о немецких фамилиях, — я проверил, господа. Все эти Мейендорфы и Бенкендорфы при дворе — они производят вполне казачье впечатление: ходят в папахах. В политику не лезут. Так и говорят: «Я только двери открываю», или: «Я только в шахматы играю». А старик Фредерикс... — Министр стал вдруг весел, подмигнул собеседникам и, разводя руками, закончил: — ...немного выжил из ума. Например, в Ставке он раз чуть в окно не вышел вместо двери!

Все знали: Александр Дмитриевич любит сильно приврать.

Родзянковские слуги внесли кофе и ликер и тем самым прервали на время политическую беседу. Казалось, все были рады этому, — привстали с мест, задвигались по комнате, отводя друг друга в сторону, чтобы потихоньку обменяться впечатлениями. Министр, оставшийся членом думской фракции октябристов, оказался в обществе Родзянко и подошедших к ним депутатов-единомышленников.

— Ну, что вы скажете? — спросил Карабаева очутившийся рядом кадетский лидер.

Он был заметно возбужден и сегодня — азартен. «Облава» на министра сулила немалые политические выгоды его кадетской партии. Он предвкушал их. Маленькие розовые уши Милюкова красно горели, а лицо, обычно подернутое нежным стариковским румянцем на гладко выбритых щеках, было бледно теперь и влажно от проступившего пота.

Милюков понимал: военные неудачи, хозяйственная разруха, министерская «чехарда», распутинское пятно на царском дворце — под династией заколебалась почва. Сейчас, именно сейчас царь должен пойти на уступки: предоставить «прогрессивному блоку», иными словами кадетам, составить кабинет. Быть может, удастся оттянуть время до весны, а там подготовить наступление на немцев, поднять патриотический дух. При этих условиях можно избежать самого страшного, того, что пугает всех думцев: взрыва народного гнева.

А камарилья из Царского в качестве мостика между двором и Думой назначает на пост министра внутренних дел легкомысленного карьериста, ренегата, понимающего язык общественности, но готового воспользоваться этим языком во вред ей.

Милюков видел, что никакое соглашение с новым фаворитом двора не выйдет и, чтобы сразить его, придется направить удар в грудь первого министра, в грудь самого Штюмерера. Время для этого удара, кажется, уже не за горами: до открытия Думы оставалось меньше двух недель.

В уме уже накапливались слова будущей обвинительной речи. Их надо было выстроить в колонны фраз, вооруженных уликами против антипатриотической деятельности руководителя внешней политики и его высоких покровителей.

Джордж Бьюкенен, личный друг, доверительно сообщал ему о своем недавнем разговоре с царем.

«Ваше величество,— обращался к русскому государю великобританский посол,— позвольте мне заявить вам, что у вас есть лишь один безопасный путь в настоящих условиях войны. Вы должны сломить ту преграду, которая отделяет вас от вашего народа, и вновь приобрести его доверие».

И на это император ответил резким вопросом, заключившим аудиенцию:

«Вы хотите сказать, господин посол, что я должен вновь завоевать доверие моего народа или же мой народ должен вновь завоевать мое доверие?!»

Поистине, гибели предшествует гордость и падению — надменность!

Русский посол в Англии Бенкендорф столь же доверительно рассказывал о другом. Он привык пользоваться доверием иностранцев, ему всегда предупредительно сообщали всякие секретные сведения, а теперь при Штюрмере — министре иностранных дел — русскому послу не доверяют.

«Мы не уверены теперь, что самые большие секреты не проникают к нашим врагам. Больше того: мы знаем, что они им стали доступны».

В Швейцарии ему указали на германофильский салон Нарышкиной в Montreux, где сидит специальный штюрмеровский посланец, встречающийся с архитектором Августом Реем, а этот архитектор, как сообщил Бриан, давно значится на фишке как личный агент германского императора.

А в немецкой газете «Neue freie Presse» с удовлетворением писалось, что молодая русская царица и Штюрмер делают все для заключения сепаратного мира.

Раз так,— позволительно будет спросить русскому человеку: «Что же это: глупость или измена?!»

Через двенадцать дней Милюков с трибуны парламента несколько раз бросит эти слова, и страна должна будет понять их. Но как она должна будет ответить на них? Об этом не хотелось теперь думать, а если и задумывался о том,— верил, что Россия поручит ему же ответить за нее самое: он очень любил английскую конституцию и мечтал о ней в царском Петербурге!..

— Почему вы молчите сегодня? — спросил, притронувшись к локтю Карабаева, Шульгин.— Это на вас так непохоже.

Мог ли сказать ему правду Лев Павлович? Ту самую правду, которую ощущал в душе как самооскорбление?

Он давно уже сказал самому себе:

«Я молчу потому, что боюсь. Я боюсь злой мести человека, который может росчерком пера решить судьбу моей дочери. Я его ненавижу, глубоко презираю, ко всему тому, что здесь говорилось ему, я могу и должен прибавить еще очень многое, и это еще больше унизило бы его в глазах всех, но я не волен это сделать... Вот я сказал что-то вначале, и он исподлобья так посмотрел на меня, как будто он уже знает, почему мне следует молчать... Но ведь так покупают молчание? — горько думал он.— Зна-

чит — я куплен? Значит — я поступился чем-то очень важным?»

Эта мысль тяготила его весь вечер.

Но он все время видел перед собой заплаканные тревожные глаза Софьи Даниловны, презрительную улыбку Глобусова, явно издевавшегося над его угрозами «народного представителя», его отцовское воображение проникало в глухое здание тюрьмы и миглом разыскивало там лежавшую на холодном, разрушенном полу, в крошечной темноте Иришу (так и представлялось, в крошечной темноте, потому что не хотел помнить, что и в тюрьме ночь сменяется дневным светом), — и тогда он сам себе прощал свое трусливое молчание.

Сев в сторонку, он наблюдал своих думских соратников. Заняв свои места, они слушали теперь министра: он вытащил из портфеля проект по продовольственному вопросу.

Вот — наверху диктатор: им-то и будет он сам, Александр Дмитриевич Протопопов. Под ним — диктаторы губернские: губернаторы. А затем — купцы, купцы, купцы, банки и биржа. Они-то и должны открыть шлюзы хлебного оборота. И да будут распущены все эти продовольственные комитеты, в которых оппозиционная военщина объединилась с «общественностью». И да не вмешиваются более в дела государства все эти городские и земские союзы!

— Государь сказал мне, что хочет лично меня видеть во главе продовольственного дела. Я ответил его императорскому величеству (закатывая глаза): я употреблю все мои усилия, чтобы вывести страну из тяжелого положения. Если вы меня, господа, не поддержите, я все равно пойду один, — закончил свое слово министр и, прищурив глаза, выразительно посмотрел на металлическую башенку с часами, стоявшую на выступе камина. — Мне некогда, господа! — вдруг выкрикнул он. — Меня ждут дела государства!

И тогда с шумом поднялись все со своих мест: теперь уже не оставалось никаких надежд на соглашение. Такой проект мог составить только «сумасшедший человек»!

Шульгин:

— Александр Дмитриевич, откажитесь от своего поста!

Милюков:

— Вы ведете на гибель Россию! Не мешайте нам!

— Не пугайте меня, профессор... Я сам земец, и земства пойдут за мной.

— Александр Дмитриевич, вы больны, сударь. Идите спать! — раздался знакомый всем грубый бас председателя Думы.

Единственный человек, поспешивший в прихожую вслед за министром, был Карабаев. Наступила минута, которой он больше всего ждал сегодня.

— Александр Дмитриевич... Несколько слов по моему личному делу!

— Вы хотите меня благодарить? — выставив желтые-желтые зубы, улыбался Протопопов.

«Если бы осел мог улыбаться, у него была бы точь-в-точь такая улыбка!» — пришло в голову сейчас Карабаеву.

— Вы хотите меня благодарить? Не трудитесь: я всегда был к вам благорасположен, Лев Павлович. Помните: еще за границей?

— Позвольте... Но я еще ничего не сказал вам! — удивился Лев Павлович.

— И не надо. Ваше сегодняшнее молчание достаточно красноречиво!

— Но я хотел сказать вам...

— А я уже сделал, мой дорогой! — закатил молитвенно глаза кверху министр, влезая в шубу, поданную ему поджидавшим тут же, в прихожей, неизменным лакеем Павлом Савельевым.

— Что именно? — спросил Карабаев.

— То, чего не хотел сделать генерал Глобусов. Он доложил мне, и я приказал освободить вашу дочь. Она уже сегодня должна быть дома. А? Каково? — наслаждался он карабаевской растерянностью. — Ведь я могу быть другом, а?.. Я хотел сделать приятное — вот я таков! Но ваш Павел Николаевич... ах, в нем совсем не говорит сердце!.. Не благодарите! — сыпал он словами. — У меня есть сердце... мягкое сердце. Милюков на моем месте... отправил бы вашу дочь в Сибирь!

Он протянул, прощаясь, руку, которую Лев Павлович, не зная, что сказать, задержал дольше обычного.

Тут же, из квартиры Родзянко, он позвонил по телефону домой. В трубку он услышал голос дочери.

И радость теперь была заглушена никем не услышанным шепотом стыда.

Дочь целовала его и, помогая снять влажную от снега шубу, говорила:

— Золотой мой, хороший... Мне генерал Глобусов все рассказал. Спасибо тебе!

Лев Павлович, целуя, погладил ее по голове и, ухмыльнувшись, сказал, сам того не ожидая от себя:

— И тебе спасибо.

Прошли в кабинет.

— За что — мне? — спросила Ириша, переглянувшись с матерью.

«Боже мой, что она с тобой делает!» — вспомнилась горечь недавних слов жены, и Карабаев сдержанно, но с явной укоризной повторил:

— Спасибо, спасибо тебе, Ирина.

И, не в силах скрыть своего раздражения, обратился внешне равнодушно к жене:

— А где Юрий? (Это и было замаскированное проявление острого раздражения!)

— Он у соседей. Филателия... альбомы, — кратко ответила Софья Даниловна.

Семейный барометр предвещал сильную непогоду, и она,

Софья Даниловна, не знала еще, чем и как можно было сейчас предотвратить ее.

— Я понимаю... Прости, пожалуйста, дорогой, что причинила тебе такое беспокойство,— погладила Ириша руку отца.

— Беспокойство, значит? — исподлобья посмотрел он и, отдернув руку, зажал ею свою недавно подстриженную бороду.

— Дело не в беспокойстве, детка. Мы извели с папой такое, такое горе! Но, слава богу, все позади. Надо радоваться сейчас, а не волноваться... не раздражаться.

— Горьковский ты Лука.

— Пожалуйста — иронизируй. Называй как хочешь, Левушка,— не отступала Софья Даниловна.— Боже мой, она с нами, дома! Это главное.

— Знаешь, Соня, кто распорядился ее выпустить?

— Иришенька рассказывала: генерал Глобусов.

— «Рассказывала»... Ничего вы обе не знаете. Протопопов — вот кто! Господи, зависит от такого негодяя... сумасшедшего. Да и ты хороша! — неожиданно, уже открыто напал он на дочь.— Лосенок... вот тебе и лосенок.

— Левушка!

— Ничего не Левушка. Говорю правду, Соня. То, что думаю. Не привык иначе.

«А час назад? У Родзянко?» — сам себя подколол Лев Павлович.

— Слушаю тебя, папа. Ну?

Лицо Ириши густо покраснело.

«А носик беленький, как и был, почему-то!» — отметил Лев Павлович, и потому, что этот милый отцовскому сердцу, чуть вздернутый носик остался испуганно-беленьким, словно застигнут он врасплох на изменившемся лице, у Карабаева возникает нежная жалость к дочери: к «эдакому ребенку еще», — заговорили всегдашние в Льве Павловиче родительские чувства.

Но голос Ириши сух и требователен; глаза подернуты слезой нескрываемой обиды («Ах, вот что: она еще возражает?»); стоит она перед креслом отца, сцепив руки на пояснице («Такой позы у нее еще не замечал... вызывающая поза!»), — и снисходительная улыбка, готовая было блеснуть в лицо Карабаева, превращается в нескладную, черствую гримасу.

— Левушка... — заметив ее, тихо, предостерегающе произносит Софья Даниловна.

И это дает свои результаты.

— Ну, расскажи, Ирина Львовна, как тебе сиделось? — делает последнюю попытку сдержать свое раздражение Карабаев.— Тебя в чем, собственно, обвинили?

— Не успели еще обвинить. Заподозрили покуда... Но ты, папа, хотел мне что-то сказать?

— Папа тебе и говорит! Что уж ты, Ириша?! — перенесла на нее свой умоляющий взгляд: «Только не ссорьтесь, дорогие!» — Софья Даниловна.

— При чем тут, мама, «вот тебе и лосенок»?

— Вот видишь, Соня, видишь? — словно снимая с себя ответственность за то, что может сейчас произойти, обращался Карабаев к жене. — Твоя дочь придирчива к каждому моему слову.

— Левушка, она достаточно изнервничалась.

— А я? А мы с тобой?

Тут уж Лев Павлович не утерпел, — он вскочил и зашагал по комнате. Шагая, он бесцельно хватал и вновь клал на обычное место различные предметы: коробку с гильзами, присланную ему братом, стеклянные настольные часы, привезенные из-за границы, бинокль в кожаном футляре, книги, отобранные для чтения на сон грядущий.

— Тыр! Бур! Тыр! — подражала его мятущейся походке Софья Даниловна. Она попыталась шуткой прервать начавшуюся семейную бурю.

Но теперь уже ничто не могло остановить Льва Павловича.

— Извольте слушать меня! — прикрикнул он на членов своей семьи. — Садись, Ириша, и внимательно меня слушай.

И он почти насильно усадил ее в одно из кресел.

— Мама уже рассказывала тебе, что мы пережили. Да, это не так просто, милая моя, когда твою дочь бросают в тюрьму. Не так я люблю тебя, чтобы хоть на минуту забыло тебя мое сердце, дочь!

— Ты хотя бы сейчас не беспокой свое сердце, — слышишь? — участливо сказала Ириша.

— Да, да, Левушка. Да, да!

— Я почему-то думаю, — продолжал Карабаев, — что твои рассказы о тюрьме окажутся менее ужасными, чем наши с мамой представления об этом проклятом месте.

— Оно все же не курортное, папа, — улыбнулась Ириша. — Но мало ли что!

— Ах, «мало ли что»? Откуда такое подвижничество? Во имя чего оно у тебя, Ирина? Что ты хочешь сказать этой фразой? Ты! Моя дочь!.. Ведь ты же ссылалась на меня при задержании, — мне рассказал Глобусов. Ты, стало быть, искала защиты в моем имени, — так? В чем же, Ирина, состоит принципиальность твоей политической позиции в данном случае? А? Я хотел бы знать.

— Боже мой, какой такой политической позиции?! — жалобно простонала Софья Даниловна и опасно перекрестила дочь.

— Да, с одной стороны, ссылатся на родство с «буржуазным», видите ли, депутатом Государственной думы Карабаевым — «милюковцем», «империалистом». А с другой — связаться... связаться с самыми анархически настроенными социал-демократами, пораженцами... с какими-то сомнительными личностями, для которых тюрьма — это привычное... и не столь уж презируемое и страшное место в жизни. Ужас, ужас, Соня!.. Ну, что же? — подошел он вплотную к дочери, так что ощутил ногой дрожь Иришиного колена. — Или я, или эти темные личности...

И тотчас же Ирина выкрикнула:

— Папа! Ты не имеешь права так о них говорить!

— Я знаю, что говорю! С этими людьми... вот с этими пораженцами... у меня и у любимых мною людей не может быть ничего общего. Слышишь? Они — мои враги, и я им — враг. Да, да, враг — знай ты это. Стоя посредине между нами, ты не можешь примирить меня с ними. Ни за что и никогда!

— Я и не собиралась... Знай ты тоже.

Дочь произнесла эти слова тихо и с какой-то неповторимой и непередаваемой интонацией: гордости и покорности, задумчивости, твердости и уныния — одновременно.

И эта неожиданная интонация вдруг сбила и обезоружила Карабаева. Она словно приоткрыла для него внутренний сейчас мир Ириши, и этот мир был настолько чист и ясен, что какое-либо насилие над ним показалось бы Льву Павловичу морально недопустимым.

Чего, собственно, он, Карабаев, хочет сейчас от дочери? — спросил он себя в эту минуту. Чтобы тотчас же отреклась она от Сергея Ваулина? (Этот человек все время торчал занозой в ревнивой памяти Карабаева.) Ваулина он хоть видел, немного знает, ну, а остальные?

«Какая-то Шура-студентка, безвестная простолюдинка Громова с Серпуховской улицы, на чьей квартире арестовали Иришу, — остальные-то что за люди, зачем они нужны ей в жизни?» — недоумевал и беспокоился Лев Павлович.

«Смешно даже говорить о них, разве главный вопрос — вот эти люди? Но следует ли сейчас говорить с Иришей о главном?» — заколебался Лев Павлович. Боже мой, он даже не спросил настоящего, что она переживала в тюрьме, как здоровье ее, как обращались с нею служисты господина Протопопова?

Вспомнив о нем, Лев Павлович сказал жене (и этим перевел удачно для себя разговор на другую тему):

— Не успел я даже рассказать тебе, Соня, о сегодняшней встрече... Ну, война объявлена! Окончательно! Нам с ним не по пути.

— С Протопоповым, — пояснила Софья Даниловна дочери. — Сегодня Милюков, папа... вообще «прогрессивный блок»... хотели добиться соглашения с Александром Дмитриевичем Протопоповым.

— Поставив ему предварительно ряд жестких политических условий! — испуганно теперь глядя на дочь, поспешил добавить Карабаев.

Странное состояние!.. Он считал для себя уже обязательным это добавление, как будто сидела перед ним не собственная дочка — домашнее существо, с которым до сих пор вообще можно было не говорить на такие темы, — а побывавшая в тюрьме по революционному делу девушка — уже самостоятельная, уже независимая в своих политических суждениях, и потому он, Карабаев, тоже должен быть точен, высказывая свои политические взгляды.

Ириша впервые в жизни также почувствовала, что отец, любимый отец, — это и есть теперь ее политический противник, что

действительно примирение в этом вопросе невозможно «ни за что и никогда», как объявил он сам, что вот с этого вечера многое, вероятно, изменится в их общей карабаевской семье.

И как же отец несправедлив!

Разве Сергей и его мать, Шура и Надежда Ивановна — это «темные личности»? Да как он смеет, в самом деле!..

Подумав о названных людях, она вспомнила и синеглазую русую Любку с «Треугольника», прятавшую у себя за пазухой ваулинские записки, и убежавшего от полицейских неизвестного человека в солдатской шинели (вероятно, это и был тот самый Яша, о котором сообщалось в записке Сергея Леонидовича), — и к ним обоим — к Любке и солдату — она тоже испытывала теперь приязнь — чувство, какое она никогда не могла бы отдать думским друзьям Льва Павловича.

Вспомнив Любку с «Треугольника», она подумала тут же и о том, что переданные этой девушкой ваулинские записки, к счастью, сохранены ею, Иришей, что она сумела их утаить в тюремной камере, и теперь они лежат здесь, дома, и при первой же возможности она отнесет их по указанному Надеждой Ивановной партийному адресу.

Эта «духовная» осязаемость ее ближайших обязанностей, от своевременного выполнения которых, — понимала Ириша, — зависит и личная судьба дорогого для нее человека и дорогое для него революционное, партийное дело, заслоняла собою и чувство обиды от такой встречи с отцом, и желание самой быть резкой и неуступчивой, и — одновременно — усталость, душевную неподготовленность Ириши к спорам и ссорам. Прежде всего, решила она, надо быть настоящим, верным товарищем тех людей, которые доверили тебе дело своей жизни.

Милый, глупый мой папа, разве мог бы ты уважать свою дочь, если бы она поступила иначе? Мать, — из очень уж эгоистических «семейных» чувств, — могла бы, вероятно. Но ты-то, ты?

Они оба — отец и дочь — вели между собой не только открытый, звучащий разговор, но — и разговор неслышный: без прямых реплик друг другу, но — с вопросами; без ответов на них, но тут же — с возражениями на эти ответы, как если бы они и впрямь услышаны.

И хотя каждый в этом непронизимом разговоре думал свое и о своем, Ириша и Карабаев общались в эти минуты друг с другом с меньшей осязательностью, чем в разговоре открытом: у сердца, говорят, уши есть.

Лев Павлович стал рассказывать о сегодняшней встрече с Протопоповым, но думал в эти минуты об Ирише: «Хватит на сегодня, нельзя перегибать палки».

Ириша, слушая рассказ о Протопопове, вспоминала отцовские слова, обращенные к Сергею и его товарищам: «Мы — враги, и тебе не примирить нас».

Да. Пусть так...

Разные люди — разный мир в душе у каждого.

Она, Ириша Карабаева, скажет отцу — и от имени своих друзей — словами из той вот книги, которая отобрана им сегодня для чтения на сон грядущий. Ириша хорошо помнит эту фразу Стендаля: «Вы хотите, чтобы мы в полдень смотрели на часы, показывающие два часа ночи!»

Сергей Ваулин всегда учил ее верить в то, что полдень новой, лучшей жизни обязательно наступит.

Через несколько дней неизменно следившая теперь за дочерью Софья Даниловна показала Льву Павловичу свежую дневниковую запись Ириши. Наряду с «тюремными впечатлениями» («Боже мой, боже мой!» — все еще не могла успокоиться мать) в дневнике была запись о студентке Шуре.

«Ах, опять все та же Шура. Вот кто, оказывается, продолжает «просвещать» мою дочь», — иронически усмехался Карабаев, взглянув на Иришины листки. В них не названа была его фамилия, но оба суждения большевика Ленина, сообщенные студенткой Шурой, относились, конечно, и к нему, Льву Павловичу. Он не без интереса прочитал «свою» характеристику, данную Лениным после революции 1905 года:

«Не связанная с каким-либо одним определенным классом буржуазного общества, но вполне буржуазная по своему составу, по своему характеру, по своим идеалам, эта партия колеблется между демократической мелкой буржуазией и контрреволюционными элементами крупной буржуазии. Социальной опорой этой партии является, с одной стороны, массовый городской обыватель... а с другой стороны, либеральный помещик...»

Дальше в Иришином дневнике следовали краткие, полусловами, как студенческие заметки о прослушанной лекции, сведения о его, карабаевской, партии. «Ах ты, боже мой, какая эта Шура осведомленная барышня. Насвистанная мадемуазель!» — с раздражением и враждебностью подумал Карабаев о «совратительнице» своей дочери.

«Кадетов, — записывала Ириша, — гораздо правильнее было бы называть конституционно-монархической партией, нежели к-демократической, или, как величали себя, — партией «народной свободы». Они выступали против конфискации помещичьих владений, высказывались лишь за «отчуждение по справедливой оценке». («Ну, почему Ириша должна этим интересоваться?» — недоуменно пожимал плечами Карабаев.)

Кадеты хотели разделить власть с царем и помещиками, не давать власти народу. Массового народного движения, а тем более — рабочего, они боятся, как черт ладана. В конце концов кадеты превратились в партию империалистической буржуазии, и, например, от думских октябристов их отличают только «оппозиционные фразы».

Дальше следовала вторая ссылка на Ленина, мелким почерком переписанная откуда-то Иришей:

«Октябрист, это — кадет, который применяет в деловой жизни свои буржуазные теории. Кадет, это — октябрист, мечтающий в

свободные от грабежа рабочих и крестьян часы об идеальном буржуазном обществе. Октябрист немножко еще научится парламентарному обхождению и политическому лицемерию с игрой в демократизм. Кадет немножко еще научится деловому буржуазному гешефтмахерству,— и они сольются, неизбежно и неминуемо сольются...»

Лев Павлович кисло ухмыльнулся: он вспомнил недавнюю встречу на Сергиевской, в особняке Родзянко.

Глава пятая

ОПЯТЬ В СМИРИХИНСКЕ

Брат сообщал в письме о предстоящем вскоре отъезде Ириши в Киев: пусть погостит она недельку-другую в кругу родственников. «Так надо,— писал Лев Павлович, не объясняя причин,— да и она сама изъявила к тому охоту». Он надеется, конечно, что в семье брата ей будет весело и приятно.

Георгий Павлович, прочтя письмо, отправил его с горничной на женину половину. Татьяна Аристарховна поспешила обрадовать обеих дочерей.

Почти одновременно с письмом принесли срочную телеграмму. Поданная сегодня Теплухиным в Смирихинске, она сообщала, что все наконец благополучно устроилось: Людмила Галаган подписала запродажную, все иные формальности выполнены, и, стало быть, сахарный завод, принадлежавший некогда старому генералу Величко, стал отныне собственностью Георгия Карабаева.

— Шампанского! — вернул он с порога все ту же горничную, и она поняла, что радость барина сегодня необычна.

Еще не случалось ей видеть, чтобы пили шампанское до обеда! Да еще созвав всю семью в кабинет, куда не было привычки звать кого-либо из домашних...

Подпись Людмилы Петровны на запродажной следовало заверить в городе, в смирихинской нотариальной конторе. Путь туда из Снетина, где вот уже несколько месяцев жила высланная из столицы вдова Галаган, предстояло проделать на лошадях. Теплухин договорился об этом на почтово-земском пункте и вместе со своей спутницей ждал теперь, покуда запрягут лошадей.

Но не все делается так скоро, как хотелось бы того. Заведующий пунктом, коновал из кантонистов,— низенький и коренастый, круглобородый седой Абрамка, всеми называемый так — «Абрамка», хотя ему было уже под восемьдесят,— не торопился отпускать ямщика. Ему нужна была помощь; он ставил больному коню «заволоки» и пускал кровь.

Помощник ворчал: ему хотелось до полудня привезти в город пассажиров, получить поскорей на «ханжу», успеть хлебнуть ее перед обедом на общей кухне городского калмыковского двора.

— Не трендыкай! — бесстрастно подымал на него голову Аб-

рамка, что означало: «не разговаривай». — Держи его лучше за холку.

Рослый, с бурым, изъеденным оспой лицом ямщик Юхим, рассердившись почему-то на вспотевшую (пар шел от нее) лошадь, хватал ее за холку и, сам дрожа, кричал:

— Труссы!

Потом этот пузатый, кругленький, — мяч с бородой! — Абрамка заставил его чистить больного коня. Да еще по всем правилам: скребницей, щеткой и суконкой, смоченной керосином.

— Тыфу, холера! — ругался ямщик, да так крепко, что Теплухин поспешил отвести Людмилу Петровну в сторону.

— Ну, скоро там? — кричал он издали.

Ругань в конюшне прекратилась. Старый Абрамка вознаграждал своего помощника: он одаривал его в дорогу копченой седлкой. Это копчение производилось так: сельдь заматывалась в портянку и засовывалась на сутки в навоз.

Последняя задержка произошла уже не по вине здешнего калмыковского наместника. Он вышел из конюшни, шурясь на утреннее зимнее солнце, но теперь застрял в ней торопившийся раньше Юхим. Он вспомнил о том, что, очевидно, давно уже доставляло ему неприятности: одолевали насекомые. Воспользовавшись случаем, он сбросил с себя одежду и накрыл ею потную лошадь. По уверению ямщиков, вши выползают тогда из одежды.

Так он и объяснил прибежавшему за ним негодовавшему Теплухину.

Людмила Петровна поджидала их обоих в станционной избе. Вошел старый Абрамка. Сняв позеленевший от времени кожан, он принялся — в такой ранний, непонятный для Людмилы Петровны час! — молиться. Стоя перед столиком, он раскачивался, наклоняясь вперед, и плавно, размеренно произносил слова молитвы. Людмила Петровна заметила, как он несколько раз искоса поглядывал в ее сторону.

— О чем вы молитесь, дедушка? — полюбопытствовала она.

— А я не молюсь. Это у меня просто такой разговор с богом. Вечный радуется творениям своим. Вечный всегда справедлив и милостив во всех делах... Я говорю так богу: твоя доброта и твое прощение выше неба. Возрадуй душу слуги твоего, потому что к тебе стремится она... Ты справедлив, — говорю ему, — и решения твои справедливы. Господь дает жизнь и смерть. Он хоронит людей и воскрешает их. Господь Саваоф, счастлив тот человек, который верит в тебя.

Она забыла, что он еврей, и думала, что он перекрестится сейчас, — и сама вдруг сделала то же, вынув руку из муфты.

Делала она это очень редко. Но недавно пришло жестокое письмо из Петербурга об убийстве брата.

Она плакала, но так, чтобы никто не видел того в старом отцовском доме.

Приезд Теплухина мало развлек ее. О деле, ради которого приехал вчера Иван Митрофанович, говорили меньше всего:

Людмила Петровна быстро подписала все необходимые бумаги, а чек на задаточную — очень крупную — сумму небрежно бросила в шкатулку с клубками ниток, иглами и тесемками.

Час-другой Иван Митрофанович рассказывал всяческие новости, вместе рассматривали они вытащенную из комода грудку фотографических карточек, на которых запечатлены были различные предки покойного генерала Петра Филадельфовича, сам он и вся его семья. Потом она, Людмила Петровна, криво усмехаясь, поведала своему собеседнику историю высылки из Петербурга и про встречу — такую «дикую» встречу на Ковенском! — с неизвестным человеком, пообещавшим раскрыть тайну смерти ее мужа.

— Ну, и что же?.. — почувствовав озноб, спросил тогда Иван Митрофанович, сразу догадавшись, о ком идет речь.

И стал оживленно, неестественно громко разговаривать, узнав, что Кандушина месть сорвалась. «Но кто скажет, что она не состоится?»

Под вечер он ушел к родным — к отцу своему, фельдшеру Теплухину, безвыездно жившему тут же, в Снетине, и Людмила Петровна, оставшись одна, вынула из ящика секретера тетрадь в красном переплете, спустила тяжелые створы на обоих окнах, как будто опасалась чьего-то подглядывания сквозь обледелые, занесенные наполовину снегом окна, и, придвинув на доске секретера массивную, тяжелую лампу с жарко горящим фитилем, стала писать:

«...А вот Сан-Ремо, отель Belle-vue. Мне восемь лет. Я и Леня вместе с мамой покупаем различные украшения на елку. 25-го утром нас одевают по-праздничному. Я в волнении повторяю свои стихи и рассматриваю работу, которую приготовила в подарок маме. Наконец мы входим в свою гостиную (у нас всегда была своя «suite» — комната). Там сидит и ждет нас мама. Я стараюсь не смотреть на елку, подхожу к маме, говорю стихи, дарю свою работу и целую мамину руку. После этого мы с Ленечкой с восторгом разыскиваем все новые вещицы и безделушки, висящие на елке, и получаем подарки.

И опять отель — через два года. Перед обедом меня ведут к парикмахеру, и он завивает мне волосы в «червячки», в локоны. Я себе страшно нравлюсь в зеркале и хочу всегда так быть причесана, но почему-то говорят, что нельзя. Потом меня одевают в кружевное, специально сшитое платье, в белые чулки и туфли. Мама говорит: «Красотка!» Слышен третий удар гонга, и мы спускаемся в столовую. Там стоит громадная елка. Через весь зал протянуты гирлянды зелени и флажков, на всех столиках цветы, и у каждого в салфетке «сюрприз». Чтобы не быть невоспитанной, скрываю свой бурный восторг.

Наступает вдруг темнота, все лампы гаснут, и зажигается мгновенно елка. Лакеи подают бесконечный обед из двадцати блюд со сладким. Все блюда украшены разноцветными лампочками. Необыкновенных размеров «Somon» с горящей пастью, потом

разные звери, замки, крепости, мосты. Разносят на тарелочках хлопущи, и начинается трескотня. Ленечка особенно усердствует. Потом приносят шампанское. После обеда все выходят в «hall», и начинается бал. Некоторое время мы присутствуем здесь, а затем нас уводят с Леней. (Меня кружит какой-то прижимающийся ко мне старичок с лентой на груди. «Паршивец!» — теперь я могу это сказать...)

...И помню еще петербургское рождество. Страшная чистка и суетня. В кухне дым коромыслом, и туда лучше не ходить. Слоняюсь из угла в угол. Одеваюсь. Леонид тоже. Едем все в церковь Государственного совета. Когда возвращаемся, стол красиво накрыт, садимся ужинать. Зажигается елка, раздаются подарки. Потом зовется вся прислуга. Им всем приготовлено по тарелке сладостей, которые я раздаю (мамы уже нет в живых). Тетя дарит деньги... Все слуги радостны и смущены, смотрят на елку. Я делаю рожу моей любимой горничной Стефе (так, чтобы никто, кроме нее, не видел), она старается не смеяться и потому краснеет. Когда я ей дарю тарелку, шепчу всякую ерунду на ухо: будто Леня сказал, что у нес красивые грудки. (Ах, Леня, Леня!.. Какая нелепая смерть...) Затем все они уходят, и от кучера остается в комнате запах мужика».

Детство вспоминалось легко и просто, еще не ушла молодость, но жизнь представлялась большим неудобным домом (вот как этот теперь — снетинский), большой разбросанной квартирой, и только в детство входила память Людмилы Петровны, как в солнечную, всегда теплую светелку, затерявшуюся среди всех остальных комнат.

Это был придуманный — от тоски, от одиночества — разговор с самой собой.

Надолго ли хватит его, чтобы не помнить своего одиночества? Людмила Петровна боялась этого вопроса.

Шустрый приказчик Кузьменко жил теперь тут же — в генеральском помещицьем доме, где и Людмила Петровна. Он вел, конечно, все хозяйство, собирал аренду с крестьян, вел дела с наезжавшими время от времени какими-то агентами правительственных учреждений.

Землевладение, как и всюду по России, разваливалось, теряло цену; пощипывая бородавку, тоненьким свистящим голосом Кузьменко докладывал, что пришлось уменьшить крестьянам арендную плату вдвое: всех почти мужиков забрали в армию, некому работать на земле, сдавать некому Величину землю.

Людмила Петровна не разбиралась в том: вдвое или только на одну треть снизил Кузьменко арендную плату. Но и не приглядываясь особенно к своему приказчику, она замечала, что он и его ссмыя (двоих сыновей обучал теперь в смирихинской гимназии и, слух шел, купил домик в городе) не могут посетовать на жизнь.

Иногда он приходил и жаловался на правительственных чиновников: они забирали у окрестного населения молочный скот, в то время как жирный, яловый шел на спекуляцию.

«А не все ли мне равно?» — рассеянно слушала его Людмила Петровна, ничего не понимавшая в этих вопросах.

Случалось, от скуки, — заходила, чтоб тотчас же уйти, на кузьменковскую половину дома и — вечером — заставляла там одну и ту же компанию: фельдшера Теплухина, сутулого, чахоточного о. Никодима, безбровую, с лицом как тыква, попадью и мельника Стеценко — остролицего, с крысиными усами и такими же мелкими глазками отменного пьянчужки, обладателя самого лучшего, как удостоверяли все, самодельного аппарата для гонки крепкой «ханжи».

Кажется, кроме войны, была всегда у них одна и та же тема в разговоре за пирогом и наливкой: ругали и в чем-то преступном подозревали местного учителя, сторонившегося их и по прочтении каждого нового номера газеты «Киевская мысль» зловеще и загадочно говорившего соседям: «Куда живот, туда голова сунется. Быть чему-то — амба!»

Что означали эти слова — никто толком не понимал, и, вероятно, поэтому приезжал недавно из города жандармский унтер-офицер Чепур, посетил учителя и учинил в его доме безрезультатный обыск.

Раза три наведывался Назар Назарович и в дом покойного генерала Величко. Цель его приезда была ясна Людмиле Петровне: рыжеусый, выпуклоглазый унтер осуществлял за ней надзор, предписанный приказом из столицы.

Смешно подумать — что мог он писать о ней в своих малограмотных рапортичках!..

Впрочем, если бы она сама составляла их, сама на себя доносила, читать бы их было одинаково скучно: ее жизнь лишена была теперь поступков.

К городу подъезжали в полдень.

Теплухин предложил остановиться в смирихинском доме Георгия Павловича, но Людмила Петровна решила заехать прямо на земскую станцию и оттуда сразу же отправиться по делам к нотариусу.

Через четверть часа сани качнулись на горбатеньком мостике, переброшенном над впадиной уличной канавы, и, расставшись со снежной утоптанной дорогой, лошади побежали в узкий, полный выбоин тупичок заезда в калмыковскую усадьбу.

Широкая спина ямщика Юхима закрывала от его пассажиров, сидевших глубоко под верхом в санях, коротенький путь до крыльца, самое крыльцо и подымавшихся по его ступенькам двоих людей: в шапке и студенческой фуражке.

Обладателем последней был Федя Калмыков.

Федя приехал из Киева за несколько часов до смерти отца.

Он вбежал в дом и сразу все понял: бросившаяся на шею мать — плачущая, с растрепанными волосами, прильнувшая к нему Райка — она вцепилась в его руки и долго не отпускала их; оба Калмыковых — Семен и Гриша, молча кивнувшие ему головой; доктор Русов, держащий в руках кислородную подушку; ка-

кой-то плешивый, с узкой бородкой человек в белом халате, оказавшийся фельдшером.

Стояла вытасченная из родительской спальни кровать с беспорядочно наваленными на ней подушками, одеялами и верхней одеждой пришедших людей.

И — запах валерианки из незаткнутой бутылочки на рояле.

— Идем... идем к нему, сын мой, — траурно-торжественным, истерическим шепотом говорила ему Серафима Ильинична, укаывая рукой на дверь в соседнюю комнату, — наступил горький, горький час, сын мой.

— Я один... Никто не ходите со мной, — нахмурил брови Федя, целуя мать.

Он подошел к доктору Русову:

— Николай Николаевич, что же это случилось?

— Кровоизлияние в мозг. Кроме того — пневмония.

— Ну, и как?

Доктор Русов положил ему руку на плечо и тихонько сжал его.

— А в Киеве-то морозы? — сказал он после минутной паузы, и, как обычно в таких случаях, нарочитость и бессодержательность заданного вопроса заменили тягостный, печальный ответ сочувствия. И глаза Русова смотрели в сторону.

Федя на цыпочках вошел в комнату отца.

Мирон Рувимович лежал на кровати. Голова его была глубоко закинута на подушке, глаза полузакрыты, так же как и обнесенный усами и бородкой влажный рот, пропускавший сквозь себя грудной kloкочущий хрип. Высокая розово-белая грудь его, на которой раскинуты были крыльями мелко выющиеся темно-рыжие волосы, медленно, коротко вздымалась, бессильная сделать полный выдох.

Мирон Рувимович был в забытии.

— Папа... — тихо сказал Федя. — Папочка. Мой родной папочка... — шептал он, прислушиваясь к булькающему, kloкочущему хрипу отца. — Мой дорогой, любимый, родной. Скажи... скажи нам...

Он беззвучно зарыдал, стараясь сдержать свой плач, чтобы его не услышали в соседней комнате. Он ощущал большую, нахлынувшую горячей волной жалость к умирающему отцу. Это чувство толкало его опуститься на колени, взять руку отца в свою и прижаться к ней вздрагивающими, непослушными губами.

Он шагнул к кровати, нагнулся и, осторожно притронувшись к лежавшей поверх одеяла отцовской руке, нежным касанием губ поцеловал ее. Он боялся почему-то, что она — холодная, безжизненная, но рука была теплая, мягкая, надута знакомым по запаху одеколоном, который всегда употребляли у них в доме.

Потом он поцеловал и вторую руку, чуть приподняв ее и прижимаясь губами к широкой ладони, — испытывая блаженную ребяческую радость от того, что ощутил вдруг, к счастью своему, как зашевелились в тот момент пальцы отца, словно он и впрямь пожелал погладить Федино лицо. Феде показалось даже, что

Мирон Рувимович раскрыл свои слепые глаза и скосил их в его сторону.

Федя заглянул в его лицо, — оно ничуть не оживилось. Всегда теплые карие глаза неуверенно, как у всех слепых, перемещавшиеся в узком продолговатом разрезе слегка собранных складками век, теперь глядели из-под них застывшим, помутневшим стеклом, с которого силилась скатиться на ресницы давно набежавшая, уже нечувствительная слеза. Сдвинутый на сторону и потому приоткрытый, параличный рот уродовал знакомые черты любимого, родного лица, — хотелось пальцами стянуть, наложить ровненько одну на другую жалобно искривленные, синюющие губы.

Федя снова прижимался лицом к отцовской ладони, и снова пальцы отцовской руки легким касанием ощущали его щеку.

— Отец мой... отец, — повторял он это слово, отдав себя целиком ему.

Кажется, впервые в жизни оно, это столь привычное слово, раскрывало его чувствам, освобожденным теперь от всего обычного, заурядного, всю глубину своего значения, смысла, все неумиряющие чувственные связи с ним самим — Федей.

Он вдумывался в это слово, как если бы опускался в глубокий, бездонный колодезь — чистый и неожиданно светлеющий, чем больше в него погружаешься.

Это было открытие им новой радости, сделанное в несчастье.

Вошла Серафима Ильинична, — он оставался в такой же позе, как и был.

Только взглянул на мать: не расчувствуется ли, не станет ли еще больше плакать, увидя эту сцену прощания.

Но мать владела собой.

В какой-то момент Федя уловил на себе ее взгляд, и это, как показалось ему, был обычный — заботливый и вопрошающий — взгляд Серафимы Ильиничны, занятой своим сыном:

«Осунулся ты, мой мальчик... Может быть, плохо питаешься?.. Ты ничего не сказал мне об университетских зачетах, — почему?.. Как я рада, что ты приехал... Смотри: у тебя отлетела одна пуговица на тужурке, — я тебе пришью... Ты не простудился в дороге?.. Прости, что мы тебя огорчаем... Дай я тебя обниму и поцелую, мой дорогой сын», — и еще что-нибудь в этом роде.

На минуту ему стало обидно (обидно за отца), что она может думать сейчас о нем, Феде...

Она подошла к кровати и носовым платочком, лежавшим тут же, под подушкой, сняла пот с лица мужа, вытерла его влажный рот, нежно провела рукой по его волнистым, очень мягким, как шелковые пряди, волосам и присела рядом, в кресло, стоявшее у кровати.

— Когда ты получил мою телеграмму? — спросила она Федю.

Он вздрогнул, удивившись, что она ничуть не понизила свой обычный голос: «Ах, какая! Ведь он может...»

Ему казалось, что громкий голос разбудит, испугает уснувшего отца, и это доставит ему излишние страдания.

Он примирился уже с этим мучительным клокотанием и тяжелым свистом, но он боялся услышать стенания и тот мычащий крик, который должен будет, вероятно, издать, как это свойственно паралитикам, его родной, лишенный речи отец.

Но, очевидно, никакой уже голос не мог вывести его из забвения. Мать это знала. Что-то новое появилось в их доме, к чему Федя еще не привык.

Вопрос матери был из тех, которые минуту назад посылали ему взглядом, — и Федя ничего не ответил ей. Когда появился в комнате плешивенький фельдшер с кислородной подушкой, — он вышел в столовую, и дядя, Семен Калмыков, встав, отдал ему свой стул.

Некоторое время все молчали.

Низенький — рядом с братом, унаследовавшим саженный рост старика Калмыкова, — плечистый Гриша, сцепив руки на поясице, ходил из угла в угол медленными, что несвойственно было ему, и мелкими шажками. Он часто шмыгал длинным носом (плохая привычка с детства) так сильно, что острый кончик его загибался, как флюгер, набок. Гриша мысленно, вероятно, с кем-то разговаривал или спорил, потому что в таких случаях, как и сейчас, он не мало раз высовывал кончик языка и быстро облизывал им свои губы.

Семен, стоя у окна, сосредоточенно срезал большими ножами ногти на руке, — он связал себя этим занятием на верный десяток минут.

Райка ушла в кухню поесть чего-нибудь.

Доктор Русов сидел за обеденным столом, навалившись на него всей грудью, подпирая рукой голову, и выжидающе, как заметил Федя, поглядывал на него своими светло-зелеными, как у воробья, глазами.

Николай Николаевич был связан с калмыковской семьей многолетним знакомством, и его встречали здесь не только как врача, но и как друга. Федя понял, чего ждет от него сейчас Русов: хотя бы несколько слов о сыновьях — здоровы ли, что поделявают? Он всегда скучал по ним.

И, отвечая на этот молчаливый родительский вопрос, Федя заговорил первым:

— Вчера как раз я видел Вадима и Алешу. Очень бодры, много успевают. Они ведь замечательные у вас! — искренне думал он так о братьях Русовых.

— А-а... Спасибо, голубчик! — растеклась улыбка по широкому, лунообразному лицу доктора.

Он был очень некрасив — белокожий эфиоп с толстыми губами, с раздавленным в обе щеки приплюснутым носом, на котором, как подтрунивали над ним его собственные дети, не было даже «седлышка» для очков, — захоти он их носить. Но когда улыбался (всегда долгой ребячьей улыбкой, хвальной и поощряющей того, о ком шла речь) — улыбка эта лучами доброты согревала внешне угрюмое лицо Николая Николаевича и мигом сгоняла его уродство.

— Спасибо, спасибо...

Он ни о чем больше не спросил, удовлетворившись краткой весточкой о детях, считая, очевидно, бестактным подробно спрашивать сейчас о них.

Из чувства благодарности к добрейшему и чуткому Николаю Николаевичу Федя принес еще одну дань его отцовскому любопытству:

— Мы вместе были на сходке. Речи при открытии Думы обсуждались. В газетах — белые полосы, а у нас читались вслух: Милюкова, Шульгина и даже Пуришкевича... Алеша ваш выступал. Да еще как!.. И Вадим тоже.

Доктор Русов встал, Гриша Калмыков остановился посреди комнаты, и только Семен не обнаружил как будто и тени любопытства, занятый своими ногтями.

— Да, события — прямо скажем!

Пришлось бы теперь рассказывать все по порядку, но разве время сейчас для этого? — И Федя замолчал.

О чем-то шепотом теперь, словно не желая вторгаться в его сыновьи раздумья, говорили друг с другом в углу комнаты Гриша и Русов. Вероятно — не об умирающем, а о том, что так скупое позволе рассказал им Федя.

И он остался опять один на один со своими мыслями.

Когда пришла из кухни Райка — с виноватым, сконфуженным лицом: «Может быть, нехорошо, правда, кушать, когда папа умирает?» — он привлек ее к себе, ласково похлопал по плечу и, стараясь улыбнуться, сказал (и получилась та же пустая интонация, что и у доктора, когда спрашивал: «А в Киеве-то морозы?»):

— Ну, как дела, четырехклассница?

Она судорожно вздохнула и засопела носом.

Он заглянул в ее лицо, однако тотчас же отвел взгляд, боясь, как бы она не разревелась, встретясь с ним глазами. Но сестра отыскала его глаза и, целуя их жирными — после еды — губами и потом вновь глядя в них, тихо, чтобы никто не слышал, спросила:

— А он еще думает, или это уже просто так? Ему, наверно, не страшно умирать. Слепым, наверно, не страшно: ведь темно же им и тут и там! — неожиданно закончила она. — В темноте и не заметит...

— Ребенок ты еще! — сказал Федя, спуская ее с колен и держа, как любил часто делать, за косички.

Она была очень похожа на отца, и потому Федя испытывал теперь к ней особую нежность.

Скуластенькая, с вдавленными височками, небольшие черненькие глаза, стянутые узким разрезом век, не хрупкая, со смуглой — это уже от матери — тонкой кожей на лице, — Райка напоминала всем этим маленькую японку. Ее так и дразнили в гимназии.

«В темноте и не заметит...— повторял Федя в уме ее наивные слова.— Вот какое дитя!»

Вошел разыскивающий хозяина хромоногий, с тающими морозными сосульками на табачной бороде старший приказчик — остроносый, как птица, Евлантий. Он принес с собою сухую свежесть холода, неустрашимый запах конюшни и ямщицкой овчины. И — ворчливый, громкий, борющийся с одышкой голос всегда обремененного чужими заботами, но недостаточно ценимого человека.

— Тише! — оживился теперь Семен Калмыков, а сам со стуком бросил ножницы на стол.— Я иду, сейчас иду. Не трендыкай тут!

Он увел Евлантия в кухню, но теперь только и расшумелся во всю свою всегдашнюю сварливость понукающий хозяином старый приказчик.

— Хиба я могу послать забильного Ваську? — раздавался на всю квартиру его голос.— Це тильки дурак так скаже!

«Боже мой, о чем они горланят?! — посмотрел вокруг (чувствуя сам, что жалобно), озлился Федя.— Нашли время и место!..»

Он бросился на кухню и прикрикнул на них:

— Замолчите, пожалуйста! Совести нет! Если не щадили человека при жизни — умеете уважать хоть его смерть.

Окрик подействовал, но и приказчик и дядя, оба смотрели на Федю равно непонимающими глазами.

Через минуту он приписал это тому, что оба одинаково почти некультурны, и вспомнил всегдашнюю печаль Серафимы Ильиничны: как тяготила ее жизнь на этом грубом калмыковском дворе!

Но в следующую минуту он винил уже самого себя: может быть, чересчур велик был пафос в его словах, а мысль перед тем была куда ясней и проще!

Ему показалось вдруг, что не его обидели, а он сам обидел этих людей, и ему стало неприятно. Раздосадованный — он возвратился в столовую, ведя с собой за руку жалостно ухмыляющегося дядю Семена.

— Прости меня. Но ведь ты понимаешь...— говорил ему, тяжело вздыхая, Федя.

На сей раз, конечно, дядя все понимал.

Мирон Рувимович умер еще при дневном свете. Грудь перестала дышать и на середине хриплого вздоха издала коротенький осекшийся свист,— как будто вдруг с хрустом сломалась игла, которой проводили по тонкой шелковой ткани.

Через полчаса в доме стали появляться люди, которых меньше всего Федя мог ждать. Он понимал, что их приход связан с предстоящими похоронами, но это и казалось странным, потому что при жизни Мирон Рувимович ни с кем из них не встречался и не знал их голосов.

Всем теперь в доме распоряжался Семен Калмыков. Верней — им руководили какие-то посторонние, чужие Феде люди, которые

почему-то решили, а дядя Семен согласился с ними, что хоронить надо сегодня же.

— Отчего им некогда? Чего они торопятся, бессердечные люди?! — взмолилась Серафима Ильинична. — Ведь это выйдет к ночи — так вора не хоронят!

Она искала взглядом Фединой поддержки, она, конечно же, была уверена в ней: вот он прикрикнет по праву на всех, и никто не решится ему возражать.

Но он, никак не предполагая, что похороны возможны так скоро, никак мысленно не подготовленный к тому, растерялся в первую минуту, не знал, что сказать.

Мать огорченно удивлялась его молчанию, дядя Семен, отведя в сторонку, говорил: «Ну что изменится за ночь? Только больше страдать будет мама. Случилось, — горя не исправить!» И Федя решил наконец: «Это правда, будем хоронить сегодня».

Он подошел к матери, обнял ее и, зная, как дорожит она каждой его лаской, несколько раз при всех поцеловал в голову.

За несколько минут до начала траурной процессии появился в квартире извозчик — «кормилец» — Карпо Антонович. Как всегда, принес на сохранение снятую с лошади упряжь и, как всегда, был во власти большого хмеля, чего и не скрывал.

С волочащими по полу вожжами в одной руке, с кнутом в другой, он бесцеремонно растолкал собравшихся и пробрался к покойнику. Сняв шапку, стал перед ним на колени и присосался пьяными губами к его лбу.

— Уходи, уходи! — отталкивали его с разных сторон.

Тогда он поднялся, уронил на пол вожжи и освободившейся рукой стал выворачивать карман штанов, где находилась обычно дневная выручка. Зажав всю ее в дрожащем кулаке, он распустил вдруг кулак, и деньги — медяки, серебро, бумажки — посыпались на мертвое тело Мирона Рувимовича, а несколько монет упали с него и со звоном покатились по полу.

— Прощай, душа-барин! — бормотал пьяный Карпо Антонович, тряся длиннющей своей бородой. — Посильно, конечно, буду стараться для сирот твоих...

Давно уже зажглись огни в домах, когда траурная процессия двинулась к кладбищу.

Улицы были пустынные, и только попадались на пути стайки мальчишек, катавшихся на коньках. И каждая из таких встречавшихся стаяк некоторое время бежала за процессией, по бокам и впереди нее, — для мальчишек это было случайное развлечение на улице, — затем поворачивала обратно, как только теряла из виду свое постоянное место для катанья.

Был сухой и крепкий, как спирт, морозный вечер. На пустынном безоблачном небе проступали белые, словно крупинки соли, неподвижные звезды.

Памятники на кладбище были занесены снегом. Они стояли вкопанными сторожами, запахнувшимися в широкие исыпанные шубы.

— Вот дедушка,— указал Гриша Калмыков Феде, как только они вступили на главную дорожку, начинавшуюся сразу же от ворот.

Широкий кирпичный домик хранил под цементным полом своим прах родоначальника — Рувима Лазаревича.

Федя не любил кладбища и никогда почти не принимал участия в похоронных проводах, но сейчас без отвращения, бесстрастно следовал за Гришей по кладбищенским дорожкам, зная, что тот, очевидно, ведет его к месту, где через каких-нибудь четверть часа ляжет, чтобы уже никто не троюл его никогда, Мирон Рувимович.

Кладбищенские землекопы возились у свежезырытой могилы. Они работали при дымящем свете факела. Он тщетно облизывал своим вытягивавшимся, как у коровы, бурым на морозе языком спускавшиеся над могилой вишневые ветви. Обледенелые в густой бахrome снега, поблескивавшего, как ватные елочные игрушки, слюдяным порошком,— они только коротко потрескивали, но не зажигались.

Федя был доволен, что летом тут расцветет вишня и наклонит свои длинные сытые ветви над этим памятным для него местом...

Хрустел снег по дорожке, слышны были торопливые шаги и чьи-то голоса: шли осведомляться, готова ли могила принять тело Мирона Рувимовича.

— Паныч, надо бы на ханжу прибавить,— сказал один из упарившихся могильщиков и, утирая рукавом вспотевший лоб, посмотрел поочередно на обоих Калмыковых.— Могила — первый класс, хучь и ночью делана!

Федя вынул и протянул ему деньги. Гриша Калмыков недовольно буркнул:

— Ты расточитель. Это — наследственность...

Неизвестно, кого еще хотел он упрекнуть, кроме Феде.

Через несколько минут все было кончено.

Поздним вечером он ввел мать и сестру в дом. Чья-то заботливая рука приготовила на столе рядом с едой склянку с нашатырным спиртом. Серафима Ильинична не притронулась к ней, но туго завязала голову мокрым полотенцем: начиналась мучительная мигрень.

Серафима Ильинична не плакала, не стонала — ни ночью, ни на следующий день,— Федя восторгался в душе выдержкой матери, ее поведением и был благодарен ей за это.

Она говорила только приходившим ее навестить:

— Теперь нас трое, и мой сын заменит своей сестре отца. Бедный мальчик! Вся тяжесть семьи пала теперь на его голову!..— как будто и впрямь эта тяжесть лежала когда-нибудь на слепом, беспомощном муже, а не на ней самой, Серафиме Ильиничне.

Федя решил пробыть дома несколько дней, а затем вернуться в Киев — продолжать университетские занятия. За это время он побывал у ряда хороших знакомых и приятелей и в первую очередь у Русовых, куда был специально зван.

Он явился туда вечером и застал там постоянных гостей широко радушной Надежды Борисовны и Николая Николаевича: несколько врачей, среди которых был один из уезда; адвоката Левитана с женой; служащего городской управы, бухгалтера Ставицкого, очень схожего лицом с Карлом Марксом, но в пенсне; заведующего земской статистикой — скрюченного, полупараличного украинца, Ловсевича. Полчасом позже пришел сюда же Гриша Калмыков и еще кто-то.

На улице выюжило в этот час, крыльцо докторского домика занесло сыпучим сугробом так, что трудно было открывать парадную дверь и приходилось бочком входить в нее, а в квартире встречала приходящего — еще в коридоре — румяная, если бы можно было ее увидеть, ласкающая теплота хорошо истопленных печек, вблизи которых потрескивали на стене жарко обогретые обои.

Низенькие потолки делали всех выше, чем они были, и гости, не желая «маячить» друг перед другом в небольшой, с одним окном только, столовой, располагались до приготавливавшегося ужина в остальных комнатах квартиры.

Никто не был в претензии на хозяев за то, что некоторое время они сидели только с Федей. Во-первых, все знали о постигшем его горе, и конечно же Русовы, как всегда, должны быть первыми утешителями. И, во-вторых, студент Калмыков передает, вероятно, подробности о жизни Вадима и Алеши, — с этим тоже надо считаться всем добрым знакомым чадолюбивых Русовых.

Так оно и было в действительности.

Федя все рассказал, что знал, о своих друзьях и прибавил, что милую-то речь в Думе, не пропущенную цензурой, оглашал на сходке не кто иной, как Вадим, умело и выразительно ее прочитавший.

— Ах, вот как? — заблестели живые, черного, мягкого огня глаза Надежды Борисовны. — Ведь мы живем здесь в дыре и ничего толком не знаем. А кому, если не нам, надо знать все эти речи?

— Может нагореть еще, — с легкой тревогой сказал доктор Русов, думая в этот момент о своем старшем сыне.

— Твой сын студент, а ты все еще думаешь, что он приго-вишка! — укоряла его вспыхивая Надежда Борисовна.

— Если нагорит, то всей сходке, — успокоил Федя доктора. — Между прочим, некоторые речи я привез с собой, они у меня в кармане, — сказал он. — Я могу вам дать их почитать.

— Что же вы молчите, Феденька? — воскликнула Надежда Борисовна, схватив его за руку. — Это надо всем, всем! Я и ужин задержу, никому не дам, — что вы, что вы! — побежала она оповещать гостей о приятном сюрпризе.

Федя и сам в душе считал, что следует ознакомить всех с запретными думскими речами, и потому сразу же согласился с предложением Надежды Борисовны. Он вынул из кармана и развернул вчетверо сложенные листки желтой папиросной бумаги, на которых густо, без абзацев, лежали машинописные строчки. Ничего, что они немного стерлись на сгибах, а последний листок изрядно истрепался, — все равно Федя помнит почти каждое слово. Еще бы!

Он вошел в столовую.

Все обступили его, и каждый старался сесть к нему поближе, заглянуть в листки, а врач из уезда — лысый, желтоусый Горохов со старческими, свисающими у рта мешочками — даже пощупал листки, как щупают на базаре предстоящую свою покупку крестьяне, с которыми он проводил всю свою жизнь в селе.

Русовская прислуга Христя нарушила, однако, порядок времяпрепровождения, который пожелала минуту назад установить ее хозяйка. Христя внесла одно за другим два огромных блюда с традиционной, любимой пищей докторской семьи: на одном, погруженные в гусиный жир, навалены были белые, величиной каждый в большое ухо, вареники с капустой, на другом — облитые горячим маслом узкие остроконечные гречневые вареники с творогом.

Как можно было устоять против такого соблазна? И Надежда Борисовна конфузливо развела руками, не в силах рассердиться на старательную, победоносно оглядывавшую всех Христю.

— Кушайте на здоровье, — сказала она с певучим украинским акцентом. — Зараз самовар ще подам.

— Нет, уж с самоваром вы, Христя, погодите! — ответил за всех Ставицкий, отбивший себе место рядом с Федей.

Отдали первую дань великолепным Христиным вареникам, Ставицкий — опередив всех остальных гостей.

— Читайте, Иван Игнатьевич, — предложил ему кто-то.

— Позвольте... Может быть, Федя сам хочет? — посмотрел на него поверх очков сидевший напротив Левитан.

— Нет, почему же... Пожалуйста, читайте. Или вы хотите, Захар Ефимович? — догадался Федя о его желании.

Но Ставицкий уже положил перед собой желтые папиросные листки, разгладил их рукой и, глазами призвав всех к тишине, начал:

— «Господа члены Государственной думы!»

— Позвольте, — чья речь? — осведомился один из врачей — хирург Коростелев, задержав на полпути между тарелкой и ртом проткнутый вилкой вареник.

— Милюкова.

— А-а... Ну, ну!

— «Господа члены Государственной думы, — повторил Ставицкий. — С тяжелым чувством я вхожу сегодня на трибуну. Вы помните те обстоятельства, при которых Дума собиралась больше года тому назад, тринадцатого июня тысяча девятьсот пятнадца-

того года. Дума была под впечатлением наших военных исудач. Вы помните, что страна в тот момент требовала объединения народных сил и создания министерства из лиц, к которым страна могла бы относиться с доверием. Вы помните, что власть пошла тогда на уступки. Ненавистные обществу министры были тогда удалены: был удален Сухомлинов, которого страна считала изменником. (Голос слева: «Он и есть!») И, господа, общественный подъем не прошел тогда даром. Какая, господа, разница теперь, на двадцать седьмом месяце войны!..»

Ставицкий запнулся, откашлялся и продолжал:

— «И если прежде мы говорили, что у нашей власти нет ни знаний, ни талантов, то теперь эта власть опустилась ниже того уровня, на каком она стояла в нормальное время нашей жизни. И пропасть между нами и ею расширилась и стала непроходимой. (Голос слева: «Верно!») Тогда ненавистные министры были удалены, теперь число их увеличилось новым членом. (Голоса слева: «Протопопов». Голос справа: «Ваш, ваш Протопопов!»)»

— Голос справа? Идиоты! — прервал чтеца Гриша Калмыков и быстро облизал губы.

— Не совсем... — усмехнулся украинец Ловсевич.

На его лице полупаралитика всякая улыбка казалась ядовитой, кривой.

— Господин министр и после своего назначения не разорвал со своей октябристской партией, а она входит в «прогрессивный блок»!

— Но разве можно отождествлять?... — разгорячился Гриша Калмыков.

Но спор тотчас же был прекращен:

— Постойте, господа!

— Дайте послушать до конца!

— Продолжайте, Иван Игнатьевич!

И Ставицкий, успевший за эту минуту пробежать глазами вперед по листку и читавший до того медленно и не всегда уверенно, боясь стертых букв, продолжал теперь громче обычного и горячо:

— «Не обращаясь к уму и знаниям власти, мы обращались тогда к ее патриотизму и добросовестности. Можем ли мы сделать это теперь? (Голоса слева: «Конечно нет!») Господа! У меня в руках номер «Берлинер тагеблатт» от шестнадцатого числа прошлого месяца, и в нем статья под заглавием: «Мануйлов, Распутин, Штюмер...» Несколько лет тому назад чиновник русской тайной полиции Манасевич-Мануйлов попробовал было исполнить поручение германского посла Пурталеса, назначившего крупную сумму, говорят — восемьсот тысяч рублей! — на подкуп «Нового времени». Вот, господа, на какого рода поручения употребляли не так давно личного секретаря министра иностранных дел Штюмера! (Продолжительный шум слева, голоса: «Позор!») Почему этот господин был арестован одно время? Он был арестован за то, что взял очень крупную взятку. А почему он был отпущен — это

тоже не секрет: он заявил следователю, что поделился взяткой с председателем совета министров. (Шум. Родичев с места: «Это все знают». Шум. Голоса: «Тише, дайте слушать...») Благодаря политике ослабления Думы Штюмер стал человеком, который удовлетворяет тайным желаниям правых, вовсе не желающих союза с Англией. Вот, господа, что писали в немецких газетах...»

— Браво, Павел Николаевич! — заплодировал Гриша Калмыков, и опять на вывороченных уродливых губах Ловсевича, как дозорный, вызванный шумом противника, появилась насмешливая, колючая улыбка.

Чтение продолжалось:

— «Я минуя стокгольмскую историю, как известно, предшествовавшую назначению теперешнего министра внутренних дел и произведшую тяжелое впечатление на наших союзников. Я хотел бы думать, что тут было проявление того качества, которое хорошо известно старым знакомым А. Д. Протопопова: его неумение считаться с последствиями своих собственных поступков! (Смех, голоса слева: «Хороший ценз для министра!» Голос справа: «Ваш лидер!») В его назначении сыграла роль та прихожая, через которую вместе с другими прошел и А. Д. Протопопов к министерскому креслу. Я вам называл этих людей: Мануйлов, Распутин, митрополит Питирим, Штюмер. Это та придворная партия, победой которой, по словам «Нейе фрейе прессе», было назначение Штюмера».

На этом месте Иван Игнатьевич снова запнулся и беспомощно посмотрел на Федю: дальше следовал немецкий текст:

— Пожалуйста... я могу продолжить,— протянул руку к листкам адвокат Левитан при общем одобрении: Иван Игнатьевич читал чересчур монотонно, да и по всему видно было, немножко устал.

— Сейчас,— распоряжался листами Федя.

И прежде чем передать их адвокату, огласил немецкую цитату: «Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich um die junge Zarin gruppiert».

— Это победа придворной партии,— в несколько голосов стали переводить присутствующие, стремясь обогнать друг друга,— ... партии, которая группируется вокруг молодой царицы.

— Так и сказано?! — воскликнул уездный врач.

— А вы как думали?! — торжествующе сказал Захар Ефимович, словно это он сам произносил с думской трибуны милую-ковскую речь.

Он заполучил листки и звенящим, скандирующим каждую фразу тенорком продолжал чтение. Словно перепрягли лошадей и свежей, веселой рысью двинулись в путь по расцвеченной красками дороге после утомительно-медленной езды по ровной унылой местности.

Да и сам Ставицкий слушал не без удовольствия выразительный голос опытного, привыкшего обращаться со словом адвоката.

К тому же представилась теперь возможность закурить трубку, чего давно уже жаждал.

— «... Говорят, один член совета министров, услышав, что на этот раз Государственная дума собирается говорить об измене, взволнованно воскликнул: «Я, может быть, дурак, но я не изменник!» (Громкий смех Думы.) Господа, предшественник этого министра был, несомненно, умным человеком, так же как предшественник теперешнего министра иностранных дел был честным человеком!»

— Что делается, что делается?! — потирал руки от удовольствия уездный врач, подмигивая своим соседям направо и налево.

— «... Когда в решительную минуту, назначенную заблаговременно, у вас не оказывается на месте ни войск, ни снаряжения, чтобы нанести решительный удар противнику, — что это: глупость или измена?!» — звенел уже на всю квартиру страстный адвокатский голос, — да так, что выбежала из кухни встревоженная Христя и просунула голову в дверь столовой.

Да, шумно было сегодня в докторской квартире...

После милюковской речи снова принялись за вареники, а шульгинскую уже читали во время еды, обсуждая заодно и ту и другую.

«Я не принадлежу к тем рядам, — говорил Шульгин, — для которых борьба с властью есть дело, если не сказать — привычное, то во всяком случае давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении та мысль, что даже дурная власть лучше безвластия, эта мысль занимает почетное место. И тем не менее при создавшихся обстоятельствах у нас есть только одно средство: бороться с этой властью до тех пор, пока она не уйдет. Бороться с властью можно и надо, потому что борьба наша, господа, предотвращает революционную борьбу в стране. Мне кажется, что рабочие будут спокойнее и усерднее стоять у своих станков, зная, что Государственная дума исполняет свой долг. И даже тогда, когда в их мастерские будут врываться банды и говорить им: «Забастуйте для борьбы с правительством», — я уверен, рабочие скажут: «Прочь уходите. Вы — или шпионы, или провокаторы, потому что боретесь с правительством Государственная дума, и она борется с правительством за Россию». Так, господа!..»

Да, шумно было сегодня в докторском домике.

И тут Федя нёвольно вспомнил Алешу Русова.

Как-то возвращались со сходки домой, и Алеша говорил ему и брату:

«Вы меня ругаете за мое «мальчишеское», резкое выступление... А я вам повторяю: погодите, придет революция, и этот самый хваленый Милюков будет расстреливать демократию из пулеметов!»

Рассказать сейчас об этом? Или без ссылок на Алешу — повторить его фразу? Вот поднялся бы шум!..

И Федя прикинул в уме, кто мог бы к нему присоединиться. Выходило — никто. Разве только этот украинец Ловсевич, и то не было в этом уверенности.

А уж Гриша, считавший себя с недавних пор «плехановцем», озлобился бы больше всех и, наверно, презрительно обозвал бы Федю «мальчишкой».

Спора собственно и не было. Думским речам обрадовались, хвалили их почем зря, высказывали всяческие догадки:

«Разгонят теперь Думу?»

«Привлекут к ответственности Милюкова?»

«Уйдут Штюрмер и Протопопов?»

«Будут ли в Петрограде рабочие волнения?»

И все опасались одного: для борьбы с Протопоповым будут пущены все средства, какие только можно себе вообразить! Какое ему в сущности дело до будущего России!

А Захар Ефимович потерял бы отличную возможность блеснуть сегодня своим даром слова (когда же, как не сегодня!), если бы не выступил с речью.

И он ее произнес. Отнюдь не повышая голоса, оставаясь сидеть на стуле, обняв за плечи соседа, но, как всегда, жадно смакуя слова, отделяя их друг от друга, — так, что на коротеньких желтоватых зубах в первую же минуту появилась пенистая слюна.

— Россия стоит сейчас как древний Геракл в хитоне, пропитанном ядом крови кентавра, — ударился в мифологию Захар Ефимович. — Он жжет ее! Она мечется в муках своего бессилия. Она взывает о том, чтобы правда русская дошла туда, где она должна быть понята, оценена и услышана. Рассвета еще нет, господа, но он не за горами, и настанет день, — я чувю, — как солнце правды взойдет над обновленной родиной в час победы. Но этого рассвета еще нет. Он потребует, может быть, новых жертв — лучших сынов народа. Подождем, дадим эти жертвы в твердой уверенности, что в конце концов воссияет эта правда. И тот, кто должен услышать и почуять, — почует ее. Дума, господа, в эти тяжелые дни испытаний стоит на страже России, как верный Кочубей. Эх, что и говорить! — скромным, домашним восклицанием закончил свою речь Захар Ефимович.

Его наградили одобрительными возгласами и рукоплесканиями.

— Вот в Думу бы вам! — кивал желтоусый лысый врач из уезда.

Это была самая лестная похвала для смирихинского помощника присяжного поверенного.

«А может быть, придется еще?...» — словно говорили сейчас его выпуклые улыбающиеся глаза, устремленные мечтательно в одну точку.

Он так плавно и хорошо говорил по любому поводу, что невольно иногда хотелось хоть раз услышать его плохую речь!

«Бесструнная балалайка! «Я чувю»... «правда русская»... «дадим, господа, жертвы», — передразнивал его про себя Федя. — Болтун! Ничего не стоит ему язык высунуть и положить на плечо!»

Федя рассердился и захотел как-нибудь насолить смирихинскому Златоусту.

И уже не проверяя себя, не успев подумать как следует, он мрачно буркнул вдруг чужие слова:

— Придет революция, и ваш Милюков будет расстреливать ее из пулеметов. Он, по-вашему, — «правда русская»?..

Уверенности не было в собственном голосе, — Федя с досадой почувствовал это и, не дожидаясь ответа Левитана (к счастью, тот не сразу сообразил, что именно к нему обращался студент Калмыков), вышел в следующую комнату, где уже был расставлен ломберный стол для преферанса, за который торопились усесться партнеры.

Минут десять он понаблюдал игру.

— Что же это: глупость или измена? — шутливо спрашивали теперь игроки своих визави, когда те делали неудачный, на их взгляд, выход картой.

Возвращались из гостей втроем: Федя — впереди, Гриша Калмыков и хирург Коростелев.

Только сейчас доктор вспомнил, что мог бы кое-что и он рассказать интересного Русовым и их гостям. Как же он мог забыть?..

Вчера явился к нему на прием в больницу молодой человек и попросил освидетельствовать место ранения. Рана зажила, но плечевая перевязка под одеждой не была еще снята, и молодой человек спрашивал, долго ли придется ее носить.

Он был очень разговорчив — этот пациент, и доктор Коростелев узнал, что он несколько часов назад только приехал из столицы на некоторое время к родным — «подкормиться», что он — конторщик на одном из петроградских заводов и что ранил его какой-то офицер во время разгона рабочей демонстрации.

Доктор удивился:

«Как? Была такая сильная демонстрация? Вот, живешь, как в дупле, и ничего не знаешь...»

Конторщик рассказал кое-какие подробности и все ухмылялся: «Незримо, винтом-с дело! Нету ни одного человека, который бы, знаете ли...» — и доверительно подмигивал доктору.

Коростелев назначил ему прийти послезавтра: может быть, и разрешит снять повязку. Пациент обещал принести по секрету какую-то рабочую листовку, выпущенную в Питере против правительства и войны. Интересно!.. Господи, что только делается, а ты живешь тут в дупле!

— Вы уж, доктор повнимательней будьте к нему, но листовку верните. Знаете, теперь какое время?! — отозвался на этот рассказ Гриша Калмыков.

— Э, голубчик, это я сам знаю! — поспешил согласиться Коростелев. — Был уже у меня однажды такой случай. Тоже — в плечо ранен, солдат с фронта, здешний парень. Вы учителя гимназии Токарева, наверно, знаете? Ну вот — его брат... Было это несколько месяцев назад. Пользовал я его тут, куда срок ему дан

был на излечение. Хороший парень, но против войны, понимаете, уж как настроен был! Все меня агитировал браковать в воинском присутствии побольше народу, — меня, знаете, зовут часто в эти воинские комиссии. Ну, так вот... Заезжает вдруг ко мне в больницу жандармский ротмистр и — сразу же: «Токарева, солдата, — знаете?» — «А что?» — «Разговоры, доктор, с вами никаких не вел? Только правду!» — «Конечно, вел, — отвечаю ему. — О своем ранении. А что такое?» Слово за слово, — выясняется: арестовали этого самого беднягу Токарева по приказу из столицы как политического и отправили для допроса в Петроград... Нет, что вы, голубчик, я и сам знаю! — принимая Гришин совет, пожимал на ходу Коротелев локоть своего спутника. — Осторожность — мать благополучия. Давно так сказано, голубчик!

Федя не слышал этого разговора.

Шли гуськом по узким, занесенным снегом тротуарам, и Федя шагал впереди, занятый своими мыслями. Когда распрощались с доктором, пошли оба Калмыковых рядом. Намело порядочно, — Гриша проверял палкой глубину снежной насыпи, чтобы не попасть в нее ногами.

— Сюда, сюда, — указывал он путь своей палкой.

Она досталась ему после смерти старика Калмыкова, — палка с роговым набалдашником, длинным и горбоносым, как орлиный клюв. Но ее пришлось подпилить, как так Гриша не вышел ростом в отца.

— Зайдем к Семену: у него, наверно, в железку дуются, — предложил он, останавливаясь у крыльца.

Федя не пожелал.

Дома его ждала телеграмма: из Киева — значилось на бланке. Федя распечатал ее и быстро пробежал глазами.

«Очень прошу срочно телеграфируй квартирной хозяйке разрешила заехать твою комнату твоему другу Николаю Михайловичу Сергееву приехала живу дяди жду тебя ответа

Ирина Карабаева»

Он еще раз, останавливаясь на каждом слове, перечитал сообщение.

— «Что за Сергеев?... Понятия не имею! — недоумевал он. Да и сергеевское имя и отчество ничего не говорило его памяти. Если бы не подпись Ириши, он склонен был бы думать, что на телеграфе перепутали адрес. — И почему Ириша вдруг в Киеве?» — нарастало его удивление.

Укладываясь ко сну, Федя долго еще обдумывал эту телеграмму. Решил: завтра же ответит Ирише и протелеграфирует своей квартирной хозяйке. «Что за Сергеев? И почему она просит за него?» — уже засыпая, не мог он расстаться с этой мыслью.

Утром произошла встреча, которая напомнила ему очень многое.

Федя вышел из дому и направился к центру города, где находилась почта. По пути он решил зайти также в киоск купить газет.

Вчера из-за снежных заносов второй киевский поезд пришел поздно вечером (он прибывал обычно к концу дня), и смирихинцы устремились с утра к единственному в городе газетному киоску старика Селедовского. Из-за отсутствия прессы вчерашний день прошел у всех как-то нескладно, томила неизвестность, а с момента открытия Думы в Петрограде, когда пошли в газетах белые столбцы вместо отчетов, каждый день ждали жадные до новостей смирихинцы чего-то важного, особенного, решающего, быть может, и их собственную судьбу.

Киоск Селедовского стал теперь самым притягательным местом в городе.

Федя несколько раз пытался протиснуться в магазинчик, но каждый раз его оттирали вбок от дверей выбиравшиеся оттуда «счастливики» и те, кто, как и он, ждали на улице возможности попасть в киоск. Наконец, в числе других, подталкиваемый сзади, он очутился одной ногой по ту сторону его порога.

В давке его кто-то сильно толкнул под ребро, — рассердившись, Федя оглянулся, чтобы выругать грубияна, но глаза его в эту секунду остановились на человеке, стоявшем далеко позади, у края панели.

Шапка-«финка», каких не носят здесь... Неживые, натканые в верхнюю губу реденькие волосы. Мутные, разлившиеся во весь глаз, неспокойные зрачки...

Видал ли он сейчас Федю?

«Кандуша!» — хотел крикнуть ему Федя.

И может быть, выскочил бы обратно, на улицу, но под напором людей подался вперед, к прилавку, а вырваться из этой толчеи удалось не скоро.

Когда выбрался на улицу, Кандуши уже не было.

Федя добежал до ближайшего угла, поглядел в обе стороны, прямо перед собой, — нет, не приметить было Кандушиной фигуры.

Он повернул обратно, перешел на противоположную сторону улицы, заглянул, приоткрывая двери, в булочную, писчебумажный магазин, к часовщику, в парикмахерскую, но Кандуши нигде не было.

«А зачем он собственно мне нужен?» — опомнился тогда Федя.

«Но что он здесь делает? Почему он попал сюда?» — не оставляла в покое другая мысль.

Он решил продолжить свой путь.

До почты было совсем недалеко, и, быстро шагая, позабыв о приобретенных газетах, он через несколько минут подымался уже по лестнице в помещение почтово-телеграфной конторы.

Федя толкнул дверь, обитую клеенкой и туго открывающуюся (жалобно скрипел тяжелый дверной блок), и вошел в комнату. Запахло нагретым сургучом, клеем и штемпельной краской. Обдало лицо теплым сквознячком, хлынувшим сквозь открытые окошки служебной перегородки.

Не глядя ни на кого из толпившихся здесь горожан, он присел за столик, на котором лежали бланки для телеграмм, и, вооружившись пером, стал составлять две депеши в Киев.

«Что за Сергеев?» — подумал он снова, дожидаясь, покуда высохнут чернила.

Понес оба бланка к окошечку телеграфистки, для чего пришлось обогнуть перегородку, поставленную квадратом в помещении конторы.

Еще не дойдя до окошка, он увидел знакомую шапку и спину Кандуши, стоявшего вторым в очереди.

Словно боясь, что «Петр Никифорович» снова может исчезнуть, и не доверяя тому, что это действительно он, Федя подошел и тихо стал сзади него, выжидая поворота Кандушиной головы.

Кандуша в протянутой руке держал заполненный телеграфный бланк. Федя прищурил глаза, вытянул, насколько мог, шею и, увлекаемый обычным в таких случаях житейским любопытством, заглянул в белый листок.

Он заметил только несколько слов:

«Ковенский переулочек дом... Межерицкому... ходатайствую... успеха дела... востребования...»

Номер дома был тот же, что и у журналиста Асикритова, «дяди Фомы»! Что такое?

Он положил руку на Кандушино плечо и сказал:

— Здравствуйте, Петр Никифорович.

Федина рука почувствовала, как вздрогнул Кандуша.

Пантелейка оглянулся, наткнулся глазами на студента и, выразив в одно немое мгновение испуг, растерянность, настороженность, наигранную обрадованность, — черт его знает, не разобрать было Кандушиных «египетских» глаз! — приветливо воскликнул:

— А-а... Здравствуйте, Федор Мироныч! Какими судьбами, позволю сказать?

— Я вас хотел спросить о том же, — ответил Федя.

— Долог разговор, — понизил голос Кандуша и загадочно-обещающе улыбнулся. — А вы посреди года в провинции, почему?

— У меня отец умер, — не стал скрывать Федя и нахмурил брови.

— Ай-ай-ай... вот как! Что же это так? Простуда вышла или крови перегорели? Примите, барышня! — просунул Кандуша в окошечко свой бланк.

Он и сам втянулся головой туда, следя за действиями телеграфистки, хотя прямой нужды в том, конечно, не было. Просто — выигрывал время, обдумывая, как вести себя с Калмыковым.

Федя, в свою очередь, не знал, во что может вылиться их встреча. Ну, виделись случайно и разошлись каждый в свою сторону...

Может быть, после пятиминутного разговора Федя так и решил бы поступить, но подсмотренная строчка Кандушиной телеграммы обострила его любопытство, вызвала разные догадки и толкала его на более длительную беседу с его петербургским знакомым.

Вспомнился тишкинский поплавок, письмо Людмилы Петровны в руках этого странного человека, его горячая, иступленная ложь, так счастливо разгаданная, и многое, многое другое пришло на память Феде.

«Кто у тебя в Ковенском да еще в том доме?!» — рвался спросить он Кандушу: тот дом, — он так и стоит перед глазами!

Кандуша получил квитанцию и сдачу — веерок новеньких синих пятикопеечных бумажек, аккуратно собрал их, как колоду маленьких карт, и уступил Феде место у окошка.

— Подождите, я сейчас! — думая, что он может уйти тотчас же, обратился Федя к Пантелейке.

— Ах ты, гос-с-споди, боже мой, конечно, Федор Мироныч!

Он остался стоять тут же, рядом со студентом. Отогнул полу своего пальто и осторожно понес рукой деньги и квитанцию в карман брюк.

— Чего это вы так, как будто вывихнули руку? — заинтересовался Федя его медленными движениями.

— Был ранен недавно-с!.. Долог разговор, — прежним многозначительным тоном сказал Кандуша.

— Да что вы? Где же это так?

Глазами, бровями, ртом Пантелейка молчаливо изобразил: «Да уж, знаете, потом расскажу».

Нет, теперь Федя не отпустит его от себя!

— Господин студент, — спрашивала в окошко непонятливая телеграфистка. — В Киев «Караваевой» или «Карабаевой»? У вас не разберешь.

— Чернила, наверно, расплылись, барышня, я не виноват. Карабаевой. Через «б».

Теперь пришел черед насторожиться Кандуше.

— Вот и во второй телеграмме... — ворчала телеграфистка. Киев, Тарасовская тридцать восемь или восемьдесят восемь?

— Я, кажется, ясно написал: тридцать восемь! — рассердился Федя. — Такого и номера там нет — восемьдесят восьмого!

— А я почему знаю! — резонно ответила барышня.

— Сразу две депеши. И обе срочные, позволю заметить, — сказал Кандуша, когда они выходили на улицу. — Наверное, важные у вас дела, Федор Мироныч. Невесте, может, курсисточке какой?

— Квартирной хозяйке, — небрежно, деланно-скудно отвел его вопросы Федя.

— А я подумал, позволю признаться, хозяйской дочке какой, — приставал тот.

— Какой хозяйской дочке, Петр Никифорович?

— Георгия Павловича дочке, думал... Папаша мой так и величает его — большой хозяин стал, говорит папаша.

— Ах, вот что?

— Ну, да. Я и сообразил так, пипль-попль: не посватал ли Федор Мироныч из богатого племени?

— Чепуха! — отмахнулся с усмешкой Федя.

Он решил выяснить то, что его интересовало:

— А в Петроград возвращаетесь? Или нет?

— Думаю, конечно.

— А скоро, Петр Никифорович?

— Думаю, конечно, — повторил неопределенно Кандуша.

— На завод опять?

— Известное дело: табельщиком. По специальности, Федор Мироныч.

Они подходили к перекрестку двух улиц. Кандуша остановился на минуту и поворотом головы указал на свое поврежденное плечо:

— На заводах во как — кости ломают, Федор Мироныч.

Протянул руку в сторону городского, стоявшего извозничьей биржи, и сердито добавил:

— Вот эти самые. Фараоны.

— Сволочи! — выругался Федя от души.

Пантелейка воодушевился:

— Известное дело: куда иголка, туда и нитка, а куда царь — туда и псарь!

И он рассказал вдруг — ничего не утаивая, подробно — все, что мог, конечно, рассказать о бурном дне на Сампсониевском проспекте.

Но прихвастнул; выходило так, что каким-то образом он и был тот человек, который убил остервеневшего безрассудного прапорщика.

«Оттого и удрал сюда», — подумал Федя.

— Вот меня под сачком и держите, — сказал Кандуша, выпалив невольно, по привычке, одно из обиходных выражений охранки.

— Что значит: я вас «под сачком»? — недоумевая смотрел на него Федя.

Кандуша спохватился.

— Как бабочку, пипль-поплъ! А все от моего чистого доверия к вам, товарищ Федя. От дружбы... от совместного сицилизма, полагаю так!

— Что ж вы думаете: я вас могу выдать, что ли? — В Фединском голосе была обида и брезгливость. — И потом... Говорите, пожалуйста, правильно: «Социализм», а не «сицилизм»... «Сицилизм» — так говорят люди в насмешку, да еще фараоны. Охранка так издевается над революционерами!

И он вдруг пожалел не совсем грамотного питерского «табельщика»: до того растерянно и жалостливо смотрели сейчас Кандушины глаза.

Так разговаривая, они дошли до заезда в калмыковскую усадьбу.

Желая навести разговор на Кандушину телеграмму, но не зная еще, как это сделать, Федя готов был продолжать путь хоть до самой Ольшанки, где жил его спутник. Но тот сам стремительно повернул с улицы в тупичок, взяв под руку студента и быстро бормоча:

— Дело у меня есть к дяде вашему... почтарю, значит. Хотел просить вас, Федор Мироныч: посодействуйте... Собирался сам зайти завтра, когда к доктору пойду на осмотр... Да вот, раз уж тут находимся,— прошу вас, товарищ Федя. Мне съездить кой-куда в деревню надо.

Он и впрямь предполагал на днях отправиться со специальной целью в Снетин, к высланной туда вдове Галаган, но отнюдь не потому торопился сейчас на земскую станцию, в калмыковский тупичок.

На противоположной стороне улицы он увидел своим зорким глазом выходявшего из аптеки старого знакомого: с унтером Чепуром у него не было никакой охоты встречаться в ту минуту, а Чепур сразу узнал бы его и окликнул.

— Посодействуйте...— просил он настойчиво Федю и невзначай оборачивался: не свернул ли сюда случайно и жандармский унтер?

Но, к счастью, унтер Чепур не появлялся.

Они взошли с Федей на калмыковское крыльцо.

В тупичок въезжали сани с Теплухиным и Людмилой Петровной.

Глава шестая

О КОМ И О ЧЕМ ДУМАЛ СЕРГЕЙ ВАУЛИН

Ваулинскую записку следовало доставить по адресу, указанному во время засады Надеждой Ивановной, и на следующий день после освобождения Ириша отправилась на одну из партийных «явок».

В записке Сергей Леонидович сообщал, что готовится к побегу вместе с типографским рабочим «Чиновником», которому просил также назначить место явки. Зная, какое важное поручение выполняет она, Ириша испытывала немалое волнение. О событиях 17 октября ей ничего не было известно. А внезапное появление на Громовской квартире и удачное бегство в ту же минуту какого-то солдата — также ничего не сказало ей, хотя догадывалась, что этот человек, должно быть, связан с партийной организацией. Никаких разговоров с Громовой после того охранник не допустил, а в тюрьме уже Ириша с ней не встречалась.

... На улице она старалась идти походкой праздного человека, часто останавливалась у витрин магазинов, переходила с панели на панель,— она опасалась, не выслеживает ли ее кто-нибудь из шпионов.

Может быть, с этой целью и освободили ее: чтобы напасть еще на какие-либо следы? — охвачена была подозрительностью Ириша.

Она избегала часто оборачиваться, но, переходя улицу, смотрела вбок: не приметит ли вновь лицо «спутника», уже попадавшегося сегодня на глаза. К счастью, ничего как будто не внушало ей тревоги.

Ириша вышла к Пескам, на Суворовский проспект, подошла к разыскиваемому дому, по номеру квартиры — № 6 — сообразила, что, вероятно, квартира эта в третьем этаже, и, оглянувшись в пос-

ледный раз из предосторожности и не заметив ничего подозрительного, стала подыматься по широкой, свежeweымытой лестнице.

На дверях квартиры № 6, над ящиком для писем и газет, приби-та была жестяная синяя пластинка:

Н. М. СЕРГЕЕВ

представительство электр.-технич. конторы
«Прогресс»

Дверь на звонок открыл средних лет мужчина — бритый, в пен-сне на шнурке, с припухшей в уголку, словно ее ужалила оса, нижней губой, с внимательным, спокойным взглядом.

Он скользнул им через Иришино плечо на площадку, как будто для того, чтобы убедиться, одна ли пришла эта молодая незнакомка или вместе с кем-нибудь, и, прихлопнув за ней парадную дверь, попросил Иришу зайти в освещенную прихожую.

— Вам к кому? — спросил он.

— Мне нужно видеть Веру Михайловну, — сказала тихо Ириша.

— Веру Михайловну? Пожалуйста! — громко, может даже нарочито громко, как показалось Ирише, ответил он. — Как передать ей?

— Я к ней по делу. По очень важному делу.

— Хорошо. Подождите, пожалуйста. Пройдите вот сюда.

Он толкнул дверь в ближайшую комнату, ввел в нее Иришу и тотчас же удалился.

Комната — чей-то рабочий кабинет, может быть — этого самого человека, встретившего у порога. На письменном столе — кальки чертежей, инструменты, готовальня, какие-то модели, баночка с тушью. Два плоских длинных шкафа с книгами. На стене — окантованные грамоты и удостоверения каких-то учреждений и технических обществ, выданные на имя «Николая Михайловича Сергеева»: он, оказывается, что-то устанавливал, оборудовал, изобретал. Что именно — Ириша не успела толком прочитать: в комнату вошла невысокая женщина в гладком синем платье.

Если бы Ириша побывала летом, вместе с «дядей Фомом» и Калмыковым, на тишкинском поплавке, она узнала бы в этой женщине с усталыми глазами и застенчивой улыбкой молчаливую спутницу их соседа по столику, привлечшего тогда к себе внимание журналиста Асикритова.

— Вы ко мне? — спросила Вера Михайловна. — Но почему вы, мадемуазель, не обратились прямо в мастерскую?

— В какую мастерскую? — смутилась Ириша. — Меня направили к вам...

— Понимаю. Направили ко мне как к закройщице? Но я не беру теперь работы на дом. Вы хотите сшить платье, вероятно. Обратитесь прямо в мастерскую нашей мадам Софи.

— Да нет же! — перебила ее Ириша. — Совсем не то!..

Она услышала, как заскрипела половица в прихожей — кто-то приблизился к двери и остановился, — Ириша понизила голос:

— Ведь вы — Вера Михайловна, правда?

— Да... Но в чем дело?

— Я к вам от Надежды Ивановны... понимаете?

— Не совсем,— поправляя прическу свою, улыбалась Вера Михайловна.— Кто эта дама — Надежда Ивановна?

«Вот так штука!»— подумала Ириша.

— Это не дама,— улыбнулась и она.— Я к вам от Надежды Ивановны Громовой.

Руки женщины, закинутые к голове, перестали, как будто на одно мгновение, возиться со шпильками, перекладываемыми в темных волосах.

— От Надежды Ивановны Громовой? — удивленно и громко, так, что ее смогли слышать в прихожей, переспросила хозяйка квартиры.— Не припоминаю что-то, мадмуазель...

— Вы не знаете Громовой? — оторопела Ириша.

— Нет, не знаю,— отрицала Вера Михайловна.

— Она живет на Подольской улице!

— Не понимаю, о ком вы говорите, мадемуазель. Эта какая-то ошибка.

— Простите...— пробормотала Ириша и растерянно опустилаcь на стул.— А я была уверена...

Ей действительно показалось, что, может быть, произошла тяжелая ошибка: эта женщина так твердо и спокойно отрицала свое знакомство с Громовой.

Но как же это могло случиться, что ей, Ирише, дали этот адрес и здесь проживает все же Вера Михайловна?.. Распахнуть шубку, вынуть из-за корсажа ваулинскую записку и сказать: «Вот вам»? Но разве можно так рисковать! На стене, в числе прочих, висит в рамке какая-то грамота, выданная ведомством императрицы Марии Федоровны,— что это за квартира и кто эти люди в ней? Нет, надо быть очень осторожной! А может быть, не показывая записки, сказать так: «Громова арестована. Она просила меня сообщить вам». А зачем и это говорить? Если имя Громовой ничего, кроме недоумения, не вызвало в ответ,— зачем же продолжать эту неловкую беседу?

Ириша была сконфужена.

— Простите,— сказала она, поднимаясь со стула,— меня направили к вам... как это могло произойти?.. А где я вас могу найти в мастерской?— уцепившись за какую-то новую мысль, спросила она.

— Мастерская мадам Софи известно где: на Троицкой,— вежливо раскланивалась с ней Вера Михайловна, пропуская к двери.

В прихожей заскрипели половицы, и послышались удаляющиеся, торопливые шаги: кто-то явно подслушивал. Очутившись в прихожей Ириша оглянулась в ту сторону, откуда шло встревожившее поскрипывание, заметила только приоткрытую дверь в одну из комнат, но никого из ее обитателей.

Она переступила порог квартиры — удрученная, со слезами на глазах.

Тремя днями раньше в ту же квартиру № 6 по Суворовскому проспекту позвонил и вошел Сергей Ваулин.

— Я к Вере Михайловне,— сказал он встретившей его женщине.

— Это я,— отозвалась она.

— Мне поручено трубы чистить,— продолжал Ваулин, глядя ей в глаза.

— У нас все чисто пока,— не удивилась странному заявлению солдата Вера Михайловна.

— Хорошо. Меня послал Анатолий к Федору.

— Очень хорошо,— радостно заулыбалась женщина,— Федора нет дома, он будет в четверг.

— А до четверга я буду,— закончил условный пароль Сергей Леонидович и кинулся жать ее руку.

— Ваулин... вы?! Швед?! Здравствуйте, голубчик! — вела его в комнаты Вера Михайловна.— Представьте, я вас по голосу узнала!

— Неужто? Каким образом?

— Ведь всего один раз по телефону звонили: когда Савва Абрамович еще был!

— Да, да,— вспомнил и Ваулин.— Неужели по голосу?

— По голосу... Да вы сбрасывайте шинель, гимнастерку...

— То есть как?

— Все, все сбрасывайте сейчас же.

Он не знал, как поступить.

— Я выйду, а вы переоденьтесь,— распоряжалась Вера Михайловна.— Вот здесь, в шкафу, на нижней полке все уже приготовлено. Все — заранее! Мы вас ждали, но не знали только, когда... Ну, скорей!

— Никого нет в квартире?

— Никого.

— Я мигом! — крикнул ей вслед Сергей Леонидович и принялся переодеваться.

Через минут десять он позвал ее, и Вера Михайловна увидела перед собой преображенного человека — в черных брюках и штиблетах, в синем пиджаке и жилетке, в новенькой рубаше с отложным воротником и темным галстуком.

— Повернитесь-ка,— деловито осматривала его Вера Михайловна.— Все ведь подбиралось приблизительно, не предъявляйте к нам особых требований. Нет, ничего,— осталась она довольна.— Как будто все сносно. Вот только рукава немного коротки.

— Ладно, ладно,— доволен был и Ваулин всем.— Накормите чем-нибудь, если есть, и, ради аллаха, расскажите все, что и как!

Она принесла ему колбасы, хлеба, шпрот, несколько печеных холодных картофелин и начатую коробку хороших папирос «Осман». Они доставили особое удовольствие Сергею Леонидовичу: он закурил, прежде чем начать есть.

— Сейчас никто не придет? Нет? Рассказывайте... Все, что знаете, рассказывайте! — торопил он Веру Михайловну, возясь с едой.— Ведь я четыре месяца ни гугушеньки не знаю!

Он был оживлен и весел. Радостен и бодр, несмотря на одолевшую его усталость после столь бурного, рискованного дня.

— Четыре месяца почти полной неизвестности!.. Для вас они, понимаете, позади, вам нужно оглядываться на них... А для меня — они передо мной, впереди они. В одну ночь, в один час я должен узнать их, чтобы встать с вами рядом, плечо к плечу.

— А вы думаете, что я все знаю, — скромно сказала Вера Михайловна. — Вот придет Федор, и вы наговоритесь вдосталь.

— Федор? Сюда?.. В самом деле... он? Николай Михайлович? — А вы ничего и не заметили? На дверях-то чья карточка? Он здесь живет.

— Вот как?

Никогда раньше Сергей Леонидович не знал квартиры Федора. Впрочем, этого, кажется, никто почти не знал, даже в тесной группе передовых работников организации. А тот, кому и был известен домашний адрес Федора, не считал нужным сообщать о нем другим: Федор был на особой конспирации и на собраниях Петроградского Комитета не появлялся. Он был связан только с русским бюро Центрального Комитета, где работал до ареста и Ваулин.

Вера Михайловна была права: с Федором они наговорились вдосталь.

Он пришел поздно вечером, и Сергей Леонидович с удивлением услышал, как еще в прихожей он деловито спросил жену:

— Швед здесь? — И, получив утвердительный ответ, добавил: — Глупо было бы не воспользоваться таким замечательным случаем.

Он знал уже, очевидно, все, что произошло сегодня на Сампсониевском.

— Николай Михайлович! — выскочил ему навстречу Ваулин. Они обнялись.

— Поздравляю. Имею полномочия приветствовать. И сообщить кое о чем. Вера, — обратился Федор к жене. — Чайку бы нам на спиртовочке, — а? Как ты на это смотришь? Подогреть только? — тем лучше!

За столом он внимательно выслушал рассказ о побеге, о случае с торговкой-старушкой, зарубленной полицейским, о подробностях солдатского бунта.

— Старушка старушкой, конечно, — усмехнулся он. — О ней сегодня весь город говорит, все сердобольные буржуа. Да только кое-кто «помоложе» здесь руку свою приложил, — к вашему сведению это, Сергей Леонидович!

Он снял на минуту пенсне (лицо сразу стало помятым, заспанным словно), медленно помассировал у глаз и скулы, сгоняя усталость с лица, и, вновь оседлав свой нос стеклышками, добавил:

— Стихия, как сами понимаете, тоже имеет свои законы. Революционная — тем паче не входит в число исключений. К вашему сведению, Сергей Леонидович, мы там распространили три сотни наших листовок!

— Среди лесснеровцев?

— Это само собой. А еще, повторяю, — среди солдат вашего полка. Для вас это новость — я вижу. Но факт остается фактом.

— Понятия не имел! — сконфузился Ваулин. — Ни разу ничего в казарме не замечал!

— Это и хорошо, с другой стороны! — подхватил Федор. — Значит, солдаты научились не болтать зря, прятать то, что полагается.

— Ах, досадно! — поморщился Сергей Леонидович и растерянным взглядом обвел обоих товарищей.

Вера Михайловна добродушно улыбалась, Федор — снисходительно, как показалось.

— Что ж тут досадовать? Напротив, мне думается, — серьезно сказал он, — надо радоваться за организацию.

— Я и радуюсь за нее! — живо перебил его Ваулин. — Разве я об этом, товарищи?! Мне жаль, что я-то в этом деле был ни при чем. Почему не через меня налаживали, — а?

— Здравствуйте пожалуйста! — заворчал Федор. — Этого еще не хватало. Человек и так на подозрении, а тут ему еще новое дело поручай! Для чего? И его подвести, и все дело поставить под угрозу. Рассудили же вы, Сергей Леонидович!

«Прав, черт возьми! — думал Ваулин. — Разве я бы на их месте не так же поступил?»

Но все же досадовал, что, находясь в полку, ведя осторожную агитацию среди солдат, ничего в то же время не знал, не подозревал, что тут же, рядом, ведет кто-то другой работу — более важную, более нужную.

Теперь уже, на свободе, ему показалось, что чересчур осторожничал в полку, что можно было гораздо больше сделать, чем он делал там. И, может быть, так мало делая, следовало еще раньше дезертировать оттуда, вернуться какими угодно путями в подполье, в среду связанных между собой товарищей, которым мог бы принести значительно большую помощь.

Он был недоволен собой и омраченно сказал о том Федору.

— А зачем же папиросную коробку ломать? — неопределенно ответил тот. — Я вас, дорогой мой друг, привык видеть в более спокойном состоянии. А еще солдат, воинский чин! — громко смеялся он, подмигивая жене. — Коробочку-то жаль, пригодилась бы, а вы ее вон как!

Действительно, не замечая, что делает, Ваулин намусорил на столе, изорвав картон на мелкие кусочки. Хозяин аккуратно смел их со скатерти на подставленную к ребру стола ладонь и бросил в пузатый глиняный горшочек, служивший пепельницей.

— Спать! — уже другим тоном сказал он. — Надо вам хорошенько выспаться, любезный член Петербургского Комитета! Из трех наших комнат одна сегодня ваша. Вот эта самая, вот этот диван.

— А при чем же тут член ПК? — встрепенулся Сергей Леонидович. — Что вы хотите этим сказать?

— То, что и сказал уже. Имею поручение сообщить — при первой же встрече с вами: товарищ Швед кооптируется в состав ПК и его исполнительную комиссию. Довольны?

— Серьезно? — покраснел от радости Ваулин. — Так кто же меня введет в курс дела в таком случае? Когда?

— Утром. Завтра, — немногосложен был ответ.

Как ни утомлен был, заснуть сразу не удалось. Теперь только, когда остался один, события дня обступили его, требуя, чтобы о них вспомнили, отдали им память.

Вспомнилась рабочая толпа на Чугунной улице и замешательство молоденького ротного командира, поваленный забор у казармы и бегущие с криком солдаты, гул лесснеровских забастовщиков. Вспомнилось вчерашнее минутное свидание с «торговкой» Громовой, унтер-офицер Ларик — с голосом зычным, нараспев; трамвай, кружение по городу, очереди у лавок, бегущие газетчики.

Да, надвигается, уже надвинулся долгожданный исторический вихрь — и это первые его дуновения. Ставшая совершенно нестерпимой, невыносимой удушливая тяжесть разнузданного владычества Распутиных и Протопоповых — это предгрозовая духота, предвестник, канун бури.

Но историческая буря не приходит сама. Ее нужно... организовать («организовать бурю» — так нельзя сказать, — мысленно поправил себя Ваулин). Но другое слово не находилось.

Да, «организовать»... И на плечи «члена Петербургского Комитета» большевиков легла немалая ответственность. Ваулин ощутил прилив бодрящей, освежающей силы...

В комнате было темно, и во всей квартире тихо, и только последние ночные трамваи, пробегавшие быстрым обычного, от времени до времени вбрасывали в комнату звон и лязг и короткие синеватые отблески электрических вспышек, высекаемых на влажных уличных проводах.

Раза два вскакивал на потолок широкий шарящий луч автомобильных фар. Это останавливалась у перекрестка, против окон квартиры, машина, а Ваулин тревожно поднимал голову с подушки, прислушивался, ожидая невесты чего.

Снилась в эту ночь дочка Лялечка, сидящая на солдатских нарах; Савва Абрамович Петрушин — будто едут они с ним в трамвае, и оба в солдатской новенькой форме; Нева, затянута льдом, и на ней много-много людей с факелами, и во сне беспокоился Сергей Леонидович, как бы не треснул лед и не провалились бы люди в реку.

— Двадцать лет назад, дорогой друг мой, — говорил Федор Ваулину, — супруги-физики Кюри открыли новый элемент — радий. Найдена была возможность превращения одних химических элементов в другие. Замечательное свойство это — радиоактивности! Вы ведь знаете, наверно?... Из мельчайшего количества радия непрерывно выделяются какие-то невидимые лучи. Они действуют на фотографическую пластинку даже через черную бумагу, надежно предохраняющую ее от обыкновенных световых лучей. Ничтожнейшее количество радия выбрасывает из себя в секунду несколько миллиардов электронов и атомов гелия со скоростью в пятнадцать тысяч верст в секунду! Вы понимаете, — а?.. Представьте себе громадный

арсенал, наполненный взрывчатыми веществами, которые взрываются не все сразу, а непрерывно одно за другим, бомбардируя окружающее пространство... Сила, сила! Вот с чем могу я только сравнить энергию Владимира Ильича!

Это было сказано в конце беседы о Владимире Ильиче Ленине.

Неделю назад возвратился из Христиании пробравшийся туда для связи с эмигрантами-большевиками член русского бюро ЦК и привез оттуда копии нескольких ленинских писем. Большинство из них было адресовано товарищам, обосновавшимся в Скандинавии, но одно, написанное месяц назад, касалось прямо петербургской организации.

Было утро, спущена стора на окне, но свет нарочно не зажигался: как будто никого не было в квартире. Федор раскладывал перед Ваулиным узенькие, подклеенные ленточки мелко исписанной бумаги, сворачивавшейся трубочкой, словно ее только что сняли с катушки.

Где хранилась вся эта скопированная переписка — Ваулину неудобно было спрашивать, но он уже догадывался, кто был ее постоянным хранителем.

Все в образцовом порядке, и только нужно напрягать зрение, чтобы разобрать бисерный, как бусенец, почерк Федора — техника и чертежника.

«События в России,— писал Ленин в одном из прошлогодних писем, неизвестных ранее Ваулину,— вполне подтвердили нашу позицию, которую дурачки-социал-патриоты (от Алексинского до Чхеидзе) окрестили пораженьством. Факты показали нашу правоту!! Военные неудачи помогают расшатывать царизм и облегчают союз революционных рабочих России и других стран. Говорят: что «вы» сделаете, если «вы», революционеры, победите царизм? Отвечаю: (1) наша победа разожжет во 100 раз движение «левых» в Германии; (2) если бы «мы» победили царизм вполне, мы предложили бы мир всем воюющим на демократических условиях, а при отказе повели бы *революционную войну*».

В другом письме было:

«... Наше отношение к революционерам-шовинистам (вроде Керенского и части эсдеков-ликвидаторов или патриотов), по-моему, не может быть выражено формулой: «поддержка». Между революционерами-шовинистами (революция для победы над Германией) и революционерами-пролетарскими интернационалистами (революция для пробуждения пролетариата других стран, для объединения его в общей пролетарской революции) — пропасть слишком велика, чтобы тут могла идти речь о поддержке».

— Имеющие уши да слышат! — неизвестно на кого сердился Федор.

Сентябрьское письмо, отправленное всего лишь месяц назад, Сергей Леонидович прочитал дважды:

«Главным партийным вопросом в России был и *остается* вопрос о «единстве»,— указывал товарищам Владимир Ильич.—

...Примиренчество и объединенчество есть вреднейшая вещь для рабочей партии в России, не только идиотизм, но и гибель партии, — предупреждал он петербуржцев. — Ибо на деле «объединение» (или примирение и т. п.) с Чхеидзе и Скобелевым (в них гвоздь, ибо они выдают себя за «интернационалистов») — есть «единство» с ОК, а через него с Потресовым и К⁰, т. е. на деле *лакейство* перед социал-шовинистами.

... Самое больное место теперь: слабость связи между нами и руководящими рабочими в России!! Никакой переписки!!!... Так нельзя. Ни издания листовок, ни транспорта, ни спевки насчет прокламаций, ни посылки их проектов и пр. и пр. *нельзя* поставить без *правильной* конспиративной переписки. В этом гвоздь! ... Две трети связи, минимум, в каждом городе с руководящими *рабочими*, т. е. чтобы они *писали* сами, *с а м и* овладели конспиративной перепиской (не боги горшки обжигают), сами приготовили для себя каждый по 1—2 «наследнику» на случай провала. Не доверять этого интеллигенции, одной. Не доверять. Не могут и должны делать руководящие рабочие. Без этого *нельзя* установить преемственность и цельность работы, а это главное.

Кажись, все?

...О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей! Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Надо вытащить *с и л к о м* деньги (о деньгах Беленин поговорит с Катиным и с самим Горьким, конечно, *если не будет* неудобно) от издателя «Летописи», коему посланы две мои брошюры (пусть платит; *т о т ч а с* и побольше!). То же — с Бончем. То же — насчет *п е р е в о д о в*. Если не наладить этого, то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне, вполне.

Жму крепко руку, тысячи лучших пожеланий...

Ваш Ленин».

Уже со всеми говорили, приняты меры, — сказал Федор в ответ на тревожный вопросительный взгляд Ваулина. — В такой нужде — Владимир Ильич, а говорят, даже партийной библиотечкой там пользуется за плату! И никто не может убедить его поступать иначе...

Со слов скандинавских товарищей, поддерживавших все время связь с Берном, Цюрихом и Женевой и передавших теперь вести о Ленине в Петербург, Федор рассказывал Сергею Леонидовичу все, что удалось только узнать.

... У ЦК не было, как у петербуржцев, своей типографии. Точнее говоря, не было своей наборной с русскими шрифтами. До первой революции у партии была своя большая наборная в помещении, арендованном на долгий срок, но с оригинальным условием: арендный договор прекращался в случае революции в России. Когда этот пункт договора, к великому изумлению домовладельца, получил законную силу, редакция немедленно уехала в Россию, и наборная была ликвидирована. К счастью, в Женеве сохранилась маленькая частная наборная с русским шрифтом, принадлежав-

шая старому украинскому эмигранту под кличкой «Кузьма». Не будь его, пришлось бы, вероятно, пользоваться мимеографом.

Кузьме суждено было играть крупную роль в распространении большевистских идей, и о нем рассказывали эмигранты подчас подробней, чем о ком-либо другом.

Квартирка из двух крохотных, невообразимо грязных комнатшек, сплошь заставленных ящиками со старым, изношенным шрифтом, связками неразобранного набора, полками, книгами, тисками. Тут же, на газовке, пуская пар к потолку, кипит неизменный украинский борщ, валяются объедки хлеба, торчат бутылки из-под спиртного. И среди всего этого хлама — крупная фигура маститого старца с длинной белой бородой. Кузьма держался изолированно, не примыкал ни к какой партии. Насмешничал над эмигрантами, собиравшимися вокруг своих вождей. Однажды выпустил открытку со своим изображением, перед которым нарисованы были свиньи. Подпись: «И у меня свое стадо. Кузьма».

Он набирал решительно что угодно и для кого угодно. Работал Кузьма один или с каким-нибудь помощником. В последнее время у него появился и стал обучаться набору маленький, плюгавый бывший писарь из русского консульства, выгнанный оттуда за пьянство и неприличную физиономию.

Неожиданно приехала, говорят, к Кузьме откуда-то жена, прозванная Лениным «Кузьмиха», — старая ворчливая баба. Она навела порядок в конуре и стала пилить чудака мужа за то, что он связался с «аховыми сочинителями», вместо того чтобы жить как все «порядочные люди».

Особенно она возненавидела большевиков, и выход очередного номера ЦО прямо зависел от благорасположения «Кузьмихи».

Недаром Ленин требовал особых извещений: каков «бюллетень настроения Кузьмихи и шансы на успех».

«Что же это с номером?.. — волновался он. — Или Кузьмиха повернула решительно против нас? Торопился я с № 44 ужасно, не успел выправить статей, не видел корректуры — и вдруг застопорило».

Нажимал, рассказывали, Ленин из Берна или Цюриха вовсю. Каждое новое событие, каждая новая подлость социал-патриотов подхлестывала и без того кипучую его энергию.

— Помните Жореса? — сказал в ответ Сергей Леонидович. — Четыре года назад он торжественно провозглашал в Базеле:

*Fulgura frango,
Mortuos tango,
Vivos voco!*

Не помните? Когда началась Балканская война... «Низвергаю громы, бужу мертвых, зову живых!..» Один лишь Ленин делает это, а не краснобаи!..

Передавали также товарищи об одном случае, происшедшем

в Швейцарии. Можно было, казалось иным, избавиться от безденежного положения, в котором пребывал ЦК.

После одного из рефератов Ленина к председателю собрания подошла какая-то дама и выразила свое горячее сочувствие докладчику, особенно — его лозунгу о поражении царизма в войне. Она заявила о своем желании материально содействовать успеху такой агитации. Из разговора выяснилось, что она говорит не только от своего имени, но и от имени одного богатого лица, живущего в Польше. Предлагалась регулярная поддержка — очень крупная сумма, вполне достаточная для того, чтобы организовать большое издательство и разом ликвидировать все финансовые затруднения. Ничего необычного не было в предложении денежной помощи на борьбу с царизмом да еще со стороны людей, принадлежащих к угнетаемой в России национальности. Но Ленин с иронической улыбкой отказался самым категорическим образом от этой помощи.

Тысячу раз был прав Владимир Ильич! Надо было, как он, понимать всю ту атмосферу шпионажа и подкупа, которая царила в международных отношениях и специально — вокруг революционных организаций. Ленин оградил партию от малейшей тени каких-либо подозрений.

В ответ на информацию Федора Сергей Леонидович рассказал все то об эмигрантском житье-бытье, что узнал от Саввы Абрамовича Петрушина. И прежде всего о Ленине.

Среди большевиков-эмигрантов находились люди разного материального достатка. В женевской, например, группе состоял даже один товарищ, обладавший (по жене) очень крупными средствами, предоставленными им (в значительной доле) в пользование партийной организации. Некоторые товарищи (правда, немногие) были владельцами мелких заведений — кефирных, химической чистки, иные содержали «общедоступные столовые». Конечно, доходы от этих промыслов были невелики, но все же владельцы их жили гораздо лучше, чем вся остальная масса эмигрантов.

Многие из них бедствовали в полном смысле слова, ютились на чердаках, хронически недоедали, хворали, существовали только потому, что им помогали эмигрантские кассы взаимопомощи. Большинство таких бедняков составляли интеллигенты. Квалифицированные рабочие получали более или менее постоянную работу в швейцарских промышленных и коммерческих предприятиях, а остальные перебивались случайными заработками прислуги, няни, официанта, батрака у швейцарских крестьян, чистильщиков улиц, переписчиков, репетиторов в буржуазных семьях, статистов в театрах, натурщиков...

Владимир Ильич и Надежда Константиновна принадлежали к так называемой «средней» материальной категории. Но все же сугубое безденежье — явление в их жизни не редкое.

Ленин читал в таких случаях платные рефераты, а Надежда Константиновна искала уроков или хотя бы даже переписки — надписывать конверты в какой-либо рекламной конторе. Владимир

Ильич ни за что не хотел допустить, чтобы партия, которая сейчас действительно бедствует, хотя как-нибудь тратилась на него. Приходилось во многом себя ограничивать: например, из материальных соображений Ленин затруднялся возобновить членство в жевевском «Société de lecture», хотя он весьма ценил библиотеку этого общества и состоял в нем давно, с 1904 года.

Он был одним из самых аккуратных абонентов организованной эмигрантской партийной библиотеки. Он вполне одобрял и ценил заведенные в ней строгие порядки, обеспечивавшие правильный кругооборот книг и сохранность редкостных экземпляров и архивных источников. С книгами он обращался чрезвычайно бережно, и если надо было для работы сделать на чужой книге пометки, то делал их слегка карандашом, чтобы потом без труда можно было стереть резинкой.

— Многие думают,— передавал Сергей Леонидович слова Петрушина,— что великий человек и в личных своих делах, в домашнем быту должен быть тоже каким-то особенным, непохожим на других людей. Это не верно. По крайней мере Ильич был в этом отношении самым обыкновенным «знакомым» человеком. У него бывали разные настроения, бывало, что и «нервы» иной раз сдавали, и волновался он не раз перед чтением своих рефератов. Иногда он писал самые обыкновенные, «житейские» письма, с непременным «поклоном» от Надежды Константиновны («Надя очень кланяется»), справлялся о здоровье, вспоминал заинтересовавших его людей. Он не забывал даже прислать к сроку открытку с новогодним поздравлением.

Особенным в Ленине было, пожалуй, именно то, что в нем внешне не было ничего особенного. Но его необычайная чуткость к людям, отзывчивость, простота и великая скромность в отношениях не только с товарищами (с членами ЦК и рядовыми большевиками — равная), но и вообще с людьми, будь то какая-либо знаменитость или самый простой человек, были исключительно велики и наглядны для всех. Поистине это была простота необычайного человека.

... Крупнейшие силы партии отброшены были в эмиграцию, ссылку, тюрьмы. Состав ЦК за последний год изменялся несколько раз. Подпольная «техника» захватывалась охранкой, следовавшей по пятам всех большевистских дел. Но число участников организации, рабочих, росло с каждым месяцем.

— Было ясно,— рассказывал Федор Ваулину,— что революционное движение приобретает массовый, народный характер, но что организации, к стати сказать, следует сейчас зорко приглядываться к провокации, густо насаждаемой департаментом полиции: чем объяснить столь частые провалы, аресты наиболее деятельных рабочих, замеченную слежку за теми даже, кто находится на особой конспирации?..

... Новостей — куча. В голове — как вещи в новой квартире,— думал о себе Сергей Леонидович. Но уже следовало их расставить в порядке, начать ими пользоваться. И прежде всего — выяснить

у Федора: где же на первое время будет он, Ваулин, жить, где будет его настоящая квартира (он понимал, что здесь ему долго не оставаться) и с каким паспортом в кармане он будет ходить по улицам?..

А затем еще: где и когда он увидится с членами ПК?

На все эти вопросы у Федора был готов ответ.

На новое местожительство Ваулин переедет сегодня же вечером. Это квартира в Лесном у типографского рабочего Михайлова — «Вани-печатника», которого он хотя и не знает, но у него сейчас самое удобное место.

В Лесной к Ваулину явится кто-либо из членов исполнительной комиссии и свяжет его с ПК. Это произойдет, вероятно, завтра, так как вследствие происходящих сейчас забастовок рабочих ПК должен будет собираться почаще.

А что касается паспорта, то он уже изготовлен, и Ваулин может убедиться — изготовлен не плохо. Уходя из дому, Федор протянул Сергею Леонидовичу замусоленный, потрепанный паспорт с необходимыми на нем отметками полицейского участка, выданный на имя освобожденного от воинской повинности уроженца города Вильно Леонтия Иосифовича Кудрика, тридцати лет.

— Запомнить бы только! — рассмеялся Ваулин. — «Леонтий Кудрик» — а?..

Но... чертовское совпадение: он действительно был уроженцем города Вильно! Это вызвало неожиданные, быстро промелькнувшие в голове воспоминания о детстве.

Мать, Екатерина Львовна, рассказывала ему:

«А ты родился в каюте корабля, на котором отец твой был капитаном».

«Какой это был корабль? — спрашивал он, мальчик. — Большой? Красивый?»

«Это был плот, — отвечала она. — Много-много бревен, связанных веревками, и на этом плоту — шалаш. В нем твоя мать плавала с отцом. Отец стоял у большого руля — эдакого длинного бревна, затесанного на конце веслом. Называл он его опочиной и направлял этим рулем плот по стремнину реки Вильи».

И дальше, не то по рассказам матери, не то по сохранившейся детской памяти, рисуется большой лесопильный завод на реке Вилье, в городе Вильно. Отец там ворочает бревна, а он, пятилетний мальчуган Сережка, бродит среди пил, цепей, вагонеток, вертится около какого-то полуголого дяденьки, который огромной лопатой забрасывает в пылающее жерло котлов опилки...

Однажды пришли на квартиру полицейские, и отец куда-то исчез. А он, Сережа, и мать остались жить на окраине города. Мать с утра до вечера уходила шить в какую-то мастерскую, а вечером приносила пестрые лоскутки, обрезки ленточек, деревянные катушечки и остатки вкусного обеда с хозяйского стола.

В летний день, когда ему, Сереже, исполнилось уже восемь годков, играя с детьми в палисадничке у дома в «извозчика» и «барина», он увидел вдруг знакомую фигуру шагавшего по ули-

це человека — в длинном сером пыльнике, рыжего, сутуловатого, с голубыми, как у Сережи, глазами. Ваулин приехал из далеких краев, из Уральской области, от киргизов и казаков: «Там жить лучше, хлеба больше. Приволье большое, много земли, можно корову держать».

И вот уже — железнодорожная будка: где-то далеко-далеко от привычных мест. Кругом — неоглядная степь, на десяток верст — ни души. Здесь поселяется с семьей Ваулин — старший ремонтный рабочий дороги. Летом — горячий колкий ветер, жара, пыль. Зимой — беспредельные тысячепудовые снега и страшные, пугающие детское воображение бураны. Здесь умирает вскоре отец, и Екатерина Львовна становится через год женой народного учителя.

Воспоминания расслабляют человека, — Сергей Леонидович гонит их прочь. Он прячет паспорт в карман и думает о том, что предстоит теперь делать «Леонтию Кудрику». Много — ох, как много дела впереди...

Он один в квартире, он никому не откроет на звонок — так велено ему. И, проходя по прихожей, он досадует, что скрипят здесь половицы и что скрип этот может услышать кто-нибудь на площадке.

В рабочей комнате Сергеева он увидел висящий на стене телефон и подумал в ту же минуту об Ирише. Стоило только снять трубку, назвать хорошо запомнившийся карабаевский номер, — и, может быть, сразу же, вот сейчас он услышит знакомый голос девушки.

Желание было очень сильно, он схватил уже слуховую трубку, но тотчас же одумался: кто его знает, может быть, разговоры по карабаевскому номеру подслушивают? Охранка многими ведь по разным причинам интересуется, и вдруг он так неосторожно свяжет эти два телефонных номера!.. Навлечь подозрение на квартиру Федора — поступок недопустимый! И Сергей Леонидович устоял против соблазна.

Новости, принесенные вечером друзьями, опечалили. Стало известно об аресте «связистки» Громовой, о засаде на Подольской улице. В ту же ночь было арестовано еще несколько партийных товарищей, в том числе один, у которого хранилась касса выборгского районного комитета.

Переезжать сегодня в Лесной, к печатнику Михайлову, оказалось невозможным, так как не удалось с утра связаться с ним, предупредить, и Ваулину придется поневоле задержаться здесь на день-другой.

— Сие не входило в наши планы, — откровенно сказал Федор, и Сергей Леонидович понял, что не трусость же, конечно, говорит в нем, а разумная осторожность.

Эта же чувство руководило женой Федора, когда через день (было воскресенье) неожиданно появилась в квартире девушка в нарядной шубке, нерешительно отрекомендовавшаяся как посланница Надежды Громовой.

О нет,— так не приходят незнакомые люди по делам организации! Если действительно посылала, то почему девушка не знает пароля? И как она могла прийти от Надежды Ивановны, когда та вот уж три дня как арестована?.. Что-то тут неладно, пахнет провокацией или, в лучшем случае,— печальная, недопустимая путаница.

Вера Михайловна была убеждена в верности первой догадки, но симпатия, которую вызывала к себе незнакомая девушка с широко открытыми светло-кариими глазами, заставляла почему-то предполагать и другое. Впрочем, разве в охранке все агенты обязательно должны быть внешне отталкивающими, с подозрительными, неприятными лицами?.. И Вера Михайловна не поддавалась возникшему на минуту чувству приязни: Ириша была взята на подозрение, потому что Громова впопыхах забыла дать ей пароль.

В тот момент, когда она выходила, Сергей Леонидович в щель полуоткрытой двери увидел Ирину. Еще мгновение — и он выскочил бы в прихожую, окликнул бы по имени, подбежал бы к девушке, но заметивший движение Ваулина, ничего не понимавший Федор схватил его за руку и удержал на месте.

— Что с вами? — спросил он, как только захлопнулась за Ириной дверь.

— Это она... моя невеста,— просто и для самого себя неожиданно произнес это слово Сергей Леонидович.— Вы можете верить ей.

— Вот оно что? Чертовщина какая!.. Вера, слышишь: это его невеста!

Вера Михайловна разволновалась:

— Что же делать? Позвать ее, вернуть?

— Я догоню... поговорю на улице... пять минут...— думал вслух Ваулин.

— Глупости! Вам сегодня вечером переезжать отсюда, а днем вы никуда не покажетесь,— рисковать хотите? Уж лучше вернуть ее сюда,— склонен был поддержать жену Федор.

«Сюда? Отсюда позвонить даже не решался, дабы не подвергать опасности сергеевскую квартиру!..»— Сергей Леонидович покачал отрицательно головой:

— Нет, не надо.

— Вы опасаетесь? Кто она? — спросила Вера Михайловна.

— Дочь Карабаева.

— Карабаева?.. Какого? Думского?

— Того самого. Но это ничего не значит,— поспешил Ваулин рассеять удивление своих друзей.— Она — наша. Она в студенческой организации. Ирина выполняет партийные поручения. Ее знает Лекарь, например...

— Достаточно, если ее знает член ПК Ваулин! — улыбнулся Федор.

— Я догоню ее, верну!

— Не ты, Вера! Пожалуй, я сделаю.

— Ну, так скорей! У нее какое-то поручение от Громовой, а мы тут еще рассуждаем! — убеждала Вера Михайловна.

Этот довод должен был разрешить все сомнения, но Сергей Леонидович настоял на своем: звать сюда не надо, он требует так поступить и просит только обсудить, кто добудет громовскую записку и кто поможет ему встретиться с Ириной.

Вера Михайловна вызвалась наладить оба эти дела.

Глава седьмая

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕВИКОВ ПОСТАНОВИЛ...

Первым, кого встретил в Лесном, был Андрей Петрович Громов.

Сразу и не узнать было его. Отпустил усы и рыжеватую бородку клинышком, волосы на голове подстрижены кружочком, как у подрядчиков или трактирных официантов. А лицо — все такое же, еще более похудевшее: маленькое, серокожее, с розовыми, просвечивающимися ушами — тончайшими, как у младенца.

На двукратный стук в дверь Сергея Леонидовича он распахнул ее перед долгожданным «гостем» и ввел его в комнату.

— Вот это дело! Давно не виделись... — жал он руку Ваулину. — Заходите, садитесь да говорите скорей, как величать вас теперь?

— А хозяева где? — оглянулся по сторонам Сергей Леонидович.

— Хозяйка у соседей, а хозяин должен скоро прийти. Паспорт ваш?

— Леонтий Иосифович Кудрик, — прищурился весело глаз, отрекомендовался с поклоном Ваулин.

— Ну, а у меня тоже есть фальшивка. Только не для Ваньки, а для полиции. Ваньку почти что с детства знаю. Так что можете смело меня по имени, по-настоящему... Здесь первое время жить будете, — продолжал Громов. — Деньги — вот, пятьдесят целковых, — протянул он их Ваулину. — Затем еще насчет явок, да... Квартира — «почтовый ящик», чтобы сообщить в ПК, — Гусев переулоч, четыре, зубной врач Сокальский. Завтра — комитет. В Новой Деревне, на Коломягском, у булочника Кузьмина. Вы его должны хорошо знать: прошлый год три раза у него собирались.

Он напомнил Ваулину точный адрес.

Громов вообще был точен и деловит. И покуда ни сообщил всего, о чем должен был известить нового члена ПК, — ни о чем не спрашивал того, ничего о себе самом не говорил. Возможно, он торопился — говорить о самом главном, покуда они находились в квартире только вдвоем.

«Знает он о жене или нет?» — думал, слушая его, Сергей Леонидович, а сам оглядывал комнатенку, соображая, где же предстоит ему тут разместиться, на чем придется спать: ни кровати, ни диванчика в этой комнате не было.

Андрей Петрович словно читал его мысли:

— Полотнянку складную Ванька поставит тут. А сам с супружницей — в той (он махнул рукой на дверь), в спальне... Про Надю мою не знаете, — а? — наконец заговорил он о личных делах, но ничем внешне не показал своего волнения.

— Знаю, — сказал Сергей Леонидович соболезнующе. — Охранка взяла.

— Взяла-а... — угрюмо-ленивым тоном повторил Громов, глядя исподлобья. — Нас не перешибешь, — сверкнули вдруг его глаза, — да и охранка, знаете, не репу сеет... Волков грудью кормит!

Иногда как и на этот раз, он говорил загадками и поговорками, — Сергей Леонидович выжидал конца его речи.

— Крупного зверя вскормила, матерого... Нас всех продавал! Хотя... не вырастала еще та яблонька, чтобы ее черви не точили. Что, нет? Море не выпьешь — так и пролетариев всех не продашь... Мирона Черномазова признали бы сволочью? — неожиданно выкрикнул Громов, наклонившись через стол.

— Да что вы?! — готов был подскочить на стуле Сергей Леонидович.

— Он и есть. Почти с поличным.

— Да не может это быть!

— Не может, не может!.. — передразнил сердито Громов, и его горбатое адамово яблоко на узеньком горле заходило — вверх-вниз — как маленький поршень.

Низенький, уродливый человек с кривым, рассеченным носом, с умными черными глазами, вжигавшимися в собеседника, встал теперь в памяти Ваулина.

Черномазов? Страстное острое «перо ПК», как называли его многие, партийный организатор в страховых кассах... Мирон Черномазов и охранка — чудовищно!

Если бы не такой человек, как Громов, сказал это, — Сергей Леонидович отказался бы поверить.

— Как же это? — требовал он подробностей, но стук в дверь помешал их сегодня выяснить.

В комнату вошел молодой человек в темном ватнике чуть ниже колен и суконной круглой шапке, отороченной облезлым дешевым мехом. На плечах и на шапке лежали быстро тающие хлопья снега. Он выпал за то время, покуда Ваулин и Андрей Петрович сидели в доме.

Хозяин квартиры дружелюбно кивнул своему старому знакомому и с нескрываемым любопытством, но без удивления посмотрел на Сергея Леонидовича.

— Будьте, как говорится, знакомы, — сказал Громов. — Это и есть Ваня, а это...

— Кудрик! — поспешил назваться Сергей Леонидович.

— Кудрик, Леонтий Иосифович! — выдержал «экзамен» Громов. — Твой это, Ваня, постоялец. Прошу любить и жаловать.

— Любить — за этим дело не станет, а вот жаловать как, Андрей Петрович? — жестом обвел хозяин и протянул руку гостю.

Она была холодная, клейкая от пота, и, словно понимая, что это может быть неприятно другим, Михайлов не сжимал ее при рукопожатии, а, протянув вялую руку, тотчас же стыдливо ее отдернул. Сергей Леонидович незаметно для него брезгливо вытер свою ладонь о штаны.

— Чайку бы попить...— сняв верхнюю одежду, сутился молодой хозяин, ища глазами чайник на привычном месте.

— Взяла твоя Ольга,— разъяснил Громов.— Кипятку пошла брать к соседям. Ну, как дела? — расспрашивал он.— Отнес или не вышло?

— Отнес. Оттого и опоздал домой маленько, Андрей Петрович. Все в аккурат сделано,— быстро скосил он глаз в сторону нового гостя. «Потом, может?»— молчаливо спрашивал он.

— Говори все,— распоряжался Громов.— От Леонтия Иосифовича у нас с тобой секретов быть не может,— понятно?

— Очень даже! — весело ответил Ваня.— Жениху, значит, отнесено,— продолжал он.— Но какой случай был, Андрей Петрович! Ой, случай!..

— Кто это жених? — спросил Сергей Леонидович, перебив разговор.

«Женихом» оказался,— как объяснил Громов,— некий студент Салазкин, член организации. Живет он теперь на Николаевской, в новом, еще не достроенном доме, заселяемом небогатыми жильцами. А до этого Салазкин жил где-то в конуре вместе со своим товарищем-студентом. И вот в один прекрасный день Салазкин — человек тихий, стыдливый, углубленный в науку,— объявляет изумленному другу, что женится и уезжает из квартиры — в разгар зачетов, изменяя науке! «Повенчали» Салазкина с довольно пожилой партийной работницей и... оборудовали у них на Николаевской типографский станок. Туда-то и приходят товарищи — Ваня и другие — печатать прокламации. Шум «вечеринок» и моторов находящегося при доме большого гаража отлично помогает работе печатников.

Коротко рассказав об этом Сергею Леонидовичу, Громов напомнил хозяину квартиры:

— Что за случай был,— а?

Он ничего не пропускал мимо ушей, он был пытлив, по-своему придирчив к каждой мелочи. Эту черту его характера Ваулин давно уже заметил и старался, как мог, перенять ее у опытного конспиратора Андрея Громова.

— Набрал я, значит, Андрей Петрович, вчера и сегодня гранку и — в аккурат ее веревочкой, петелькой! Чин чином все. Идти, значит, уже с работы,— я эту штуковину возьми и запрячь за пазухой. И незаметно, конечно, придерживаю: руку вроде к сердцу прикладываю. Ну, так и иду в меланхолии вроде. А рядом со мной еще человек пять по коридорчику. Бац — остановочка! Василий Иванович, метранпаж наш, стоп, говорит, дело есть. «Какое такое дело?» — думаю. «Заработать, говорит, друзья, желаете?» А сам руку мне на плечо кладет и не снимает. Ну, думаю, про-

пал я! Истинное дело, пропал!.. Старый-то черт, Василь Иванович, подсмотрел, наверно, и нарочно разговор повел... Доставит к хозяину, — иначе как же? Руку я от сердца, конечно, вниз, чтоб подозрений не было, — верно, Андрей Петрович?

— Тебе видней! — повел бровью Громов.

И вдруг телом чувствую: шрифт, батеньки мои, за пазухой-то рассыпался, — а? Василь Иванович поверх очков глядит на нас, все больше на меня, что-то говорит насчет ночной смены, а в ушах у меня шум, уши — ровно ветром забило. А свинец-то до ремня на брюхе упал, оттянул рубаху, во что!.. Переступил я с ноги на ногу, а шрифт, батеньки мои, помаленьку кап-кап на пол. Буквочка за буквочкой! «Что делать? — думаю. — Так, думаю, вся гранка, господи, прости!» Схватился я руками за живот, а Василий Иванович мне: «Чего, говорит с тобой, Ваня?» А я корчусь, корчусь... Простите, говорю, такие, говорю, дела требуют, а сам в отхожее спасаюсь. Вон какое дело было, Андрей Петрович... Жениху-то только шрифт достался. Заново, выходит, по такой случайности надо набирать им. Они сами там сделали наборную кассу и научились набирать: студент самый и другие, — пояснял Ваня Кудрику.

Сергей Леонидович внимательно наблюдал Ваню-печатника. Русский, широколицый и курносенький, с васильковыми, весело постреливающими глазами, с захлебывающимся по-детски звонким голосом, когда много, как сейчас, говорил, — он понравился, был симпатичен Сергею Леонидовичу, и мокрая безжизненная ладонь его не вспоминалась.

Жена Вани Михайлова оказалась ему в пару. Такая же невысоконая, светло-рыжеватоенькая, тоже курносенькая, с шустренкими, лихорадочными глазками, хохотунья, — она похожа была на мужа, как сестра.

«Петушок и курочка — цесарки!» — дружелюбно окрестил в уме Сергей Леонидович эту пару.

Они оба по-одинаковому даже пили чай — наливали его в блюдце и на ладони подносили его ко рту; оба, сидя на табуретках, болтали ногами, как дети. И, как дети, оба с любопытством поглядывали на малоразговорчивого своего «постояльца» и с почтительностью, с некоторым испугом даже прислушивались к тому, что говорил им Громов.

А он строго-настрого наказывал востроглазой Ольке: ни одна душа не должна знать, что ночует тут Леонтий Иосифович Кудрик, — ни одна, понятно? А если случайно зайдет кто в дом и увидит, — сказать, что «дядя» приехал по делам в столицу, что торгует «дядя» всякой продуктовой мелочью.

— А чей они будут дядя: мой или Вани? — спрашивала хохотунья.

— Ну, пускай — твой, Оля! — впервые за вечер улыбнулся Андрей Петрович, подмигивая ей.

Он вскоре ушел, не забыв удостовериться по-хозяйски в прочности и пригодности внесенной в комнату складной кровати для Ваулина, и Сергей Леонидович остался в обществе незнакомых

людей. Вскоре и молодая пара покинула его. Закрыв дверь за собой, «цесарки» долго шептались в своей комнате.

История с Ваниным шрифтом напомнила Сергею Леонидовичу случай, происшедший с ним самим. Это было несколько лет назад, когда жива еще была Надя, покойная жена. В то время они жили на разных квартирах, оба — на Васильевском острове.

В комнате Ваулина хранился недавно привезенный ящик со шрифтом, предназначенным к отправке гельсингфорской партийной организации. Шрифт почему-то долго не забирали, а его необходимо было переправить в другое место: в те дни Ваулин ждал очередного обыска. Тащить на себе ящик, к тому же плохо сколоченный, было явно неудобно. Звать извозчика — навлечь на себя подозрения. Надо было нагружаться самому. Задача была не из легких: разместить на себе все содержимое ящика, да так, чтобы не перетягивало ни на одну сторону и чтобы можно было влезть в пальто. Пришлось употребить в дело старые брюки, завязав крепко концы их так, чтобы получился двойной мешок. В каждую половину его вошло фунтов по тридцать. Концы брюк были перекинuty через шею и повисли по бокам туловища. Карманы пиджака и пальто были также наполнены шрифтом, — пальто едва застегивалось на одну пуговицу.

Он шел к Наде. Осенняя слепая ночь матерински любовно покровительствовала еле двигавшемуся конспиратору. Дорога в конце Острова была покрыта подмерзшими кочками грязи, о которые спотыкались ежеминутно ноги: он шел петливой походкой пьяного человека. Через каждые 40—50 шагов Ваулин опускался на землю, вызывая смехок случайных прохожих.

Ему и самому становилось смешно.

Но тогда... это было по-своему романтично и привлекательно! Надя так и оценила его крестовый путь до ее квартиры и, не страшась возможных последствий, спрятала у себя под кровать его изумительную ношу.

Через три дня после первой встречи с членами Петербургского Комитета в Новой Деревне Ваулин написал листовку ПК: воззвание ко всем рабочим Петрограда.

«26 октября состоится суд над теми из наших товарищей матросов, кто захотел включить свои силы в революционное движение рабочего класса. Им осмеливаются угрожать смертью за то, что они и в душных казармах сохранили ясность революционного сознания. Несмотря ни на какие угрозы военного положения, товарищи матросы не захотели, не смогли быть бессловесным орудием в руках шайки грабителей, упивающихся никогда не виданной прибылью, барышами от устроенной ими всемирной бойни...

Товарищи матросы и солдаты, — заканчивалось ваулинское воззвание, — мы заявляем свой голос возмущения против смертельной расправы с вами. В знак союза революционного народа с революционной армией мы останавливаем заводы и фабрики. Над вами занесена рука палача, но она должна дрогнуть под мощным протестом восстающего из рабства народа. Долой суд насиль-

ников! Долой смертную казнь! Да здравствует стачка протеста! Да здравствует единение революционного пролетариата с революционной армией!»

Остановить фабрики и заводы,— о нет, это не было пустой угрозой... В точно назначенное число, спустя всего лишь пять дней после закончившейся стачки на Выборгской стороне, началась новая рабочая забастовка, охватившая около ста тысяч человек. Теперь бастовали уже во всех районах города: большие знаменитые фабрики и маленькие мастерские, как, например, шорно-столярные или граверные.

На огромном теле Петербурга омертвевали один за другим, день за днем, его отдельные участки, угрожая жизни всего организма столицы. Она с испугом, надеждой и враждой (всякий — по-разному) смотрела на свои окраины: не понесут ли оттуда снова, как в памятный, далекий январский день, алые полотнища восстания?

Слово «революция» теперь произносилось вслух, и министр Протопопов приказал спешно обучить полицейских пулеметной стрельбе. Другие министры оценили события морским английским термином: «dirty weather»,— говорили они редакторам газет, что означало: «грязная погода», батенька!.. Да, грязная политическая погода накануне открытия Думы. Депутаты съезжались со всех концов России, кто познатней — бежал за новостями к своему председателю, а тот, протягивая руку к окну, к улице, озадачивал русских парламентариев: «Боюсь, господа что нас по первому абцугу отправят гулять!»

Тогда и министры и депутаты устремили взоры на бесстрастного доселе начальника военного округа,— и генерал-лейтенант Хабалов приказал закрыть несколько заводов, а в ворота остальных ввел войска. Рабочих, что помоложе, арестовывали на квартирах и препровождали под конвоем в воинские присутствия.

Другой генерал — генерал-майор Глобусов — не уступал в рвении первому, но все же слово «революция» не сходило с уст петербуржцев.

... В эти дни собрались члены Петербургского Комитета. Пришли не все, кто должен был. Двоих, оказалось, арестовали, иных не успели предупредить о месте собрания, которое пришлось менять несколько раз из-за усиленной слежки. Но присутствовало несколько человек из районов — люди, большинство которых Сергей Леонидович не знал до сих пор.

С чувством какой-то особой внутренней собранности шел на это заседание ПК Ваулин, и все же ему хотелось,— сознавался сам себе,— чтобы и заседание не затянулось: через два часа, в семь вечера, он должен наконец увидеть Иришу!..

Добрейшая Вера Михайловна все устроила, как обещала, и сегодня вот в Ковенском переулке Ириша ждет его. Сергей Леонидович мысленно повторял многократно номер дома и квартиры, где живет Иришин родственник, журналист Асикритов. Позвонить и сказать: «Из «Вечерней биржевой» к Фоме Матвеевичу». Ладно!

...В сенях его встретила пожилая — высокая и плечистая — женщина с заголенными по локоть толстыми руками. С них стекала вода и мыльная пена. Из кухни шел сыростный теплый запах стирки.

— Кого надо? — угрюмо спросила женщина.

Ваулин назвал пароль.

— Посторонись, медведица! — появился за ее спиной Андрей Петрович, вышедший навстречу приятелю.

— Кто такая? — заинтересовался Ваулин, проходя по кухне и сбрасывая здесь хлюпающие, протекающие галоши.

— С трикотажной Керстена... Будет когда у нас, большевиков, гвардия, — ухмылялся Громов, — Марфу взводным поставим! Большевистский дух в больших телесах... Про победы наши кумекаем: шутка, сто тысяч как одного подняли?! — оживлен был сегодня Андрей Петрович.

С этими словами он вошел, ведя за собой Ваулина, в просторную чистую комнату с белыми, как в провинции, стенами. Она одна и составляла всю квартиру трикотажницы Марфы и ее мужа.

Оба окна были завешаны одеялами, дневной серый свет, просачивавшийся в щели с боков, был недостаточен, и на столе, посреди комнаты, горела большая керосиновая лампа. Каждые пять минут фитиль ее вытягивался вверх, коптил, и севший за стол Громов каждый раз по-хозяйски прикручивал его.

Сергей Леонидович уселся на свободное место, рядом с одним из членов ПК — на кованом сундучке, который тот вытащил из-под двуспальной Марфиной кровати. Сидевший в центре стола Скороходов дружелюбно подмигнул ему. Незнакомый человек с курчавой белокурой головой сказал улыбаясь:

— Товарищ Швед?.. Приятно видеть!

И — в ответ на удивленный взгляд Сергея Леонидовича:

— Я вас знаю: и вообще и в лицо. Прошлый год у Паниной, на лекциях, когда меньшевиков тузили, — а? Забыли, значит... Ну, да не в том дело. Яша — Чиновник — про вас рассказывал.

— Яша?.. Где рассказывал? — насторожился Ваулин.

— Передал поклон, — у меня он сейчас проживает. Приятель мы с ним.

— Ах, вот как! Бежал, значит? — обрадовался за товарища Сергей Леонидович.

Белокурый — докладчик из района — начал свою речь. После него выступил другой, потом третий — знакомый Ваулину еще по прошлогодним сходам.

Было одно общее в речах и репликах всех: времена таковы теперь, что легко поднять тысячи рабочих против правительства и войны: вот и в эти дни подняли, за десять дней — второй раз, — ну, а дальше что и как?

Ораторы ни в чем не оспаривали решений партийного комитета, поднявшего на ноги стотысячную армию, — они ждали теперь указаний: что дальше ей делать?

— В Питере не сто тысяч пролетариев, а больше! — подал голос ваулинский сосед по сундучку.

— Выходит — продолжать? — крикнули ему из угла.

— Выходит! — круто насупил он мохнатые растрепанные брови, просившиеся под гребешок. — Ежели ты наковальня — терпи, брат, а ежели молот — то ударяй, и все тут!

— Это верно, конечно, про молот! — отозвались с мест.

— У нас так на «Лесснере» думают, — продолжал ваулинский сосед.

— Ты или все, Григорий? — поддел его Андрей Петрович под легкий смехок присутствующих.

Ваулинский сосед сердито усмехнулся узким, чуть вдавленным ртом и сорвавшимся, хриплым тенорком выкрикнул:

— А когда же это Григорий против своего рабочего класса шел? Бывало такое?

— Бывало, брат! — отрезал Громов. — Чего греха таить?

— Факты на стол! Докажи!

— А очень просто!.. Никак не дальше как на прошлой неделе было. ПК решает: «Кончай стачку — к станкам. Дали знать о себе, пошатал режим, а дальше пока — не зарывайся». Не зарывайся — понятно? А ты, словно конь, закусил удила и-и-и... понесся! Мы говорим: «кончать», а ты своим лесснеровцам кричишь: «На улицу!» Куда, к черту, на улицу?! В одиночку ваш завод так бы и скосили, — понятно тебе?

— А через пять ден опять же народ подняли...

— Прости за слова, Григорий: дурак ты что ли? — не вытерпел Андрей Петрович. — Другой раз не скажешь так про тебя, не скажешь! Как будто башка на плечах, — а?.. Или, может, она у тебя шкатулка только для твоего языка, и ничего больше? Язык ей хозяин, а не голова — языку? Не так?

Все засмеялишь, и вместе со всеми и сам желтоглазый, сивый Григорий.

— Горяч, горяч на язык... — продолжал Андрей Петрович. — «Через пять ден опять народ подняли»... Сказал тоже! И правильно, что через пять! А почему? Чтоб доказать! Доказать буржуазии, царю, охранке, что, когда нужно, мы, питерские рабочие, опять схватим их за печенку. Но, брат, когда нам нужно, — понятно? Нам, а не им.

— Верно! — одобрили сразу несколько голосов.

— На то есть тактика!

— В ножки кланяюсь, а я-то не знал про это! — иронически развел руками Григорий.

— Я же говорил: кончать надо сейчас стачку. А меня не слушают... почему не слушают? — запротестовал вдруг скороговоркой один из молчавших до сих пор членов ПК. — Осторожно надо теперь, не так часто, товарищи.

Сергей Леонидович вскинул на него глаза.

— ...силы нужно собирать, не дергать рабочих! Особенно женщин теперь много повсюду, в каждом цехе женщины — нервный народ, — выпалил пекист и утер лоб аккуратнo сложенным носовым платком.

Он переходил с места на место, обращаясь то к одному, то к другому из товарищей, заглядывая в их лица, ища сочувствия.

Латыш — он говорил с заметным акцентом, коверкая некоторые слова. Плотный, приземистый, с рыжими, по-змеиному выгнутыми усами, в очках с золотой оправой и синими стеклами — Черномор (такова была партийная кличка Яна Озоля-Осиса, василеостровского кооператора) сразу бросался в глаза: узнав, кто он, шпики легко могли бы идти за ним по пятам, не боясь потерять из виду.

Черномор недавно только стал принимать участие в работе Петербургского Комитета, и потому Сергей Леонидович был мало с ним знаком: любопытно было присматриваться к нему.

— ...Говорили? А по-моему, Ян Янович, вы раньше не на том настаивали, — вяло усмехнулся Скороходов.

— Вы плохо меня слышали. Выньте ватку, Александр Кас-торович. У вас болят уши, но я же не виноват?

У Скороходова действительно болело ухо. Он дважды за это время, — заметил Ваулин, — вынимал из него пожелтевшую ватку и, смачивая какой-то жидкостью, флакончик которой хранил в пиджаке, водворял ватку обратно. Боль была, вероятно, очень сильна: он сидел молчаливо, подставив ладонь под ухо, с опущенными глазами.

— Дайте мне слово, — сказал Сергей Леонидович, обращаясь к председателю, и, встав с низенького сундучка, подошел к столу.

Все замолчали и с любопытством посмотрели на него.

В дверях кухни он увидел в этот момент прислонившуюся к косяку старую работницу Марфу: она тоже хотела его послушать.

Это было кстати. «Буду говорить для нее, чтоб поняла, — подумал Сергей Леонидович. — Проще...»

— В чем суть вопроса? — начал он. — Что нам нужно решить? Да решить так, чтобы рабочий класс принял это решение как свое собственное?... Мы говорим с вами «рабочий класс», хотя далеко не весь он, всем известно, состоит в нашей партии большевиков, и не мало настоящих пролетариев плетется еще за меньшевиками и их высокими покровителями. Но мы — комитет, партийный комитет той единственной в России организации, которая и может только вести рабочих по правильному пути борьбы за свои интересы. За интересы своего класса — в этом «гвоздь!» — с охотой повторял он сейчас любимое словцо Ленина. — Да, в этом, товарищ Григорий... В этом, товарищ Черномор! — нашел он взглядом их обоих, и все, как он и хотел, поняли, с кем пойдет сейчас спор. — Повторяю, товарищи: надо делать так, чтобы наши решения стали решениями рабочей массы... Что произошло в последние дни? Давайте посмотрим...

Марфа переступила порог, на цыпочках пробралась к освобожденному месту на сундучке и, подтолкнув Григория, присела. Андрей Петрович укоризненно, от плеча к плечу, покачал головой:

«Шла бы на кухню: ненароком постучится кто?» — но она сварливо махнула на него рукой.

— Давайте посмотрим, — говорил Сергей Леонидович. — Семнадцатого забастовали тысячи выборжцев...

— Не только выборжцы! — обиделся за свой район белокурый курчавый парень. — У нас, на Песочной, машиностроительный Семенова весь в стачке!

— Всяк кулик свое болото хвалит. Тише, дай послушать!

— Не бастовать не могли — вы это знаете, товарищи. И нас поддержали. Поддержка пришла, откуда пока и не ждали. Взбунтовались наши солдаты. Я ведь был свидетелем, товарищи. Я-то ведь сам...

— Ну, ну, дальше! — отрезая конец его фразы, хмурым особым тоном оборвал его вдруг Громов, и Сергей Леонидович понял, что говорить ему о бегстве из полка почему-то не следует. Почему? «Осторожен до мелочей» — подумал он о Громе.

— Взбунтовались солдаты. Первая ласточка, — правда? А раз первая — значит, не последняя. Но вы знаете, чем все это дело кончилось. Что сказал наш ПК тогда? Возвращайтесь, — сказали мы, — к станкам. Придет время, и всеобщей стачкой, вместе с революционными солдатами, пойдем, когда надо будет, в последний штурм. Каждый прожитый день работает на нас. Почему, товарищ Григорий, нельзя было тогда больше тянуть стачку?

— А ну-ну? — словно подзадоривал тот.

— Потому что она сделала свое дело. Больше, чем можно было ожидать (на солдат-то никто не надеялся?), а тянуть ее каждый лишний день — значило потерять силы и потерять, главное, цель, ради которой все и делали. ПК правильно подумал: надо стихийное волнение превратить в короткий удар!.. Теперь, товарищи, — о сегодняшних делах...

Пересохло в горле, — Сергей Леонидович хлебнул холодного чаю из чьего-то стакана на краю стола и, поглядев в сторону Марфы: слушает ли она все так же внимательно, — продолжал:

— ...Подняли сто тысяч народу. Верно. Надо было поднять? Надо! Разве кто-нибудь из нас, большевиков, не понимает, как тем самым ударили мы опять? Вовремя остановили первую стачку и — ударили потом второй! И еще больше народу собрали. Правильная у нас тактика? Правильная! За короткий срок такое землетрясение режиму устраиваем!.. Вот и идем, товарищи, толчками, и когда хлынет лава — надо быть готовым. Сто тысяч бастуют! Никто не отступает? Нет? Пока не устали — надо еще шире взять. Тут товарищ Григорий, может быть, и прав. А Ян Янович, — так, кажется? (Ваулин натолкнулся взглядом на синие в золотой оправе очки) — не все, по-моему, уразумел. Оба они в разных случаях не той дорогой пошли. А ведь идем-то на гору, — а?

И если на гору подыматься — то не только ногами, но и головой: думать надо, как лучше!.. Теперь еще об одном — самом главном, пожалуй. Мы все ждем революцию и — скажем без хвастовства! — делаем ее с вами. Наши лучшие товарищи учат

нас: когда она придет, она вырастет в социалистическую. Факт, на меньшем не примиримся! — шутил он, чувствуя, что его хорошо и доброжелательно слушают. — Но революцию делать надо, жареные голуби в рот не влетают. И потом вот что... Кто думает, что может быть «чистая» социальная революция, руками одних только рабочих, — тот фантазер, и не больше. Одиннадцать лет назад у нас была уже революция — буржуазно-демократическая. Это был ряд сражений всех недовольных классов и групп населения. Всех недовольных, а не только рабочих, но руководил движением пролетариат.

— Что верно — то верно! — поддержал Григорий. — Во памятка...

Он отогнул на шее косоворотку и выставил напоказ глубокий шрам от сабельного пореза.

— ...Теперь о том, что будет, товарищи, — старался не потерять нити своих мыслей Ваулин. — Вот несколько деньков назад посчастливилось мне прочитать кусочек одной статьи. Напечатана она в газете нашего Центрального Комитета, в Швейцарии. Номер пришел сюда, да не целиком, жаль, а разрезанной полоской. Взял я ее (вспомнил о Федоре и сделал паузу, чтобы случайно не проболтаться) ... и вот читаю. Примерно так в ней сказано...

— А кто писал?

— Секрет, что ли?

Товарищи переводили глаза с ваулинского лица на его руки, словно ждали, что вот вытащит он сейчас из какого-нибудь кармана эту самую газету и покажет ее.

— Терпение, товарищи, — улыбнулся Сергей Леонидович. — Газету, как вы понимаете, при себе не ношу. Но помню хорошо, что там есть. А там примерно вот что говорится — как раз по нашему вопросу... Думать, сказано в той статье, что мыслима социальная революция... без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее предрассудками, без движения несознательных пролетарских и полупролетарских масс против существующего гнета, — значит, говорит наш Ленин, отречься от социальной революции...

— Ленин?

Было от чего всем оживиться!

— Да, Ленин это пишет. Не кто иной, как он. Ленин над такими фантазерами смеется, издевается.

— А чего на меня все смотрите, товарищ Швед? — воспротивился его взгляду Марфин сосед на сундучке. — Можно подумывать... — И он досадливо пожал плечами.

— Знает кошка, чье сало слопала! — вызвав смехок, отпустил Громов по адресу заерзавшего Григория.

— Да, Ленин издевается над такими людьми, — продолжал Сергей Леонидович. — В той же самой газете. Вот, говорит он, выстроится в одном месте одно войско и скажет: «Мы за социализм», а в другом — другое и скажет: «Мы за империализм» — и это будет социальная революция! И верно — чепуха! Сушая чепуха, то-

варищи. И если в девятьсот пятом году мы имели союзников — вольных или невольных, на час или на сутки, — то теперь у нас их еще больше. И с каждым днем больше будет. Вот, по-моему, это надо понять. И надо показывать им пример... пример поведения, вести за собой. Верно это, товарищ Черномор? — задевал он того. — Что надо сейчас в первую очередь делать? — шел Сергей Леонидович к концу своей речи. — Расширять движение и бороться за солдатскую массу. За крестьянских людей — иначе говоря... Вы знаете: вчера на Путиловском мы устроили митинг. Вызваны были конные жандармы для разгона. На призыв рабочих проходившие мимо ополченцы бросились со штыками на жандармов и прогнали их к черту!.. Вот вам, товарищи, второй случай за неделю, когда солдаты на нашей стороне. Дождемся: и весь гарнизон выступит против режима... Карл Маркс, когда встречался с новым, интересным ему человеком, всегда сначала хорошенько присматривался к нему, «щупал зуб», как говорил. Так и мы: «щупать зуб» должны каждому факту — кого куснет он?

Ваулин допил глотками чужой чай и отошел в угол — довольный и немного возбужденный своей речью.

— Налить? — подошла к нему со стаканом в руке Марфа.

Он улыбнулся и качнул отрицательно головой.

— Что предлагаете? — спросил Скороходов: в голосе была поддержка и дружба.

— Как быть с забастовкой — я уже сказал, Александр Кастанович. Но у меня есть предложение и по другому вопросу. Пришло время выпустить газету — это мое глубочайшее убеждение. Надо подготовить всю технику этого дела, но по-настоящему обсудим ее в следующий раз...

И Ваулин только вкратце пояснил свою мысль.

Решение о судьбе стачки было принято: продолжать.

Пора было уже всем расходиться, и Сергей Леонидович затопился: отсюда, с Крестовского острова, до Ковенского — поряdochное расстояние.

Он вышел на улицу вместе с Черномором и Андреем Петровичем.

Глава восьмая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАУЛИНА. ИРИНА КАРАБАЕВА

Наконец-то Ириша увидела его.

Он вошел в комнату в сопровождении «дяди Фома» — нетерпеливый, с ищущим взглядом, с блуждающей улыбкой вокруг рта.

Он протянул руку ладонью вверх, и когда ее коснулись похлодевшие от волнения Иришины пальца, он второй своей ладонью накрыл их и так минуту держал ее руку в своих руках.

Кто первый из них обоих произнес одно и то же слово приветствия?..

— Здравствуйте...

Кажется, они одновременно отвели друг от друга глаза и обернулись к молчаливому свидетелю их встречи. Асикритов ответил веселой ужимкой.

«Вы думаете, я ничего не понимаю?»— говорила она, и все трое рассмеялись.

Маленький, пучеглазый, юркий — Фома Матвеевич метался по комнате подпрыгивающим игрушечным чертиком: он собирал в свой портфель какие-то листки, газетные вырезки, рукописи, в великом беспорядке валявшиеся в разных местах его обители.

— Вы меня простите. Пожалуйста, простите,— тараторил он,— но я должен уходить. Сейчас, сейчас уйду... Дела, понимаете... У каждого свои дела, Иришенька, ты не возражаешь,— а? — ехидно подмигивал он ей.— Я на часок... Сейчас, сейчас иду...

И, повозившись в комнате, он ушел, не попрощавшись.

— Ирина...— шагнул к ней Сергей Леонидович.

— Что? — тихо сказала она. Лицо ее было бледно и глаза опущены.

— Ирина...— мягко повторил он, приблизившись.

Она откинула голову и, вытянув быстро руки, крепко положила кисти ему на плечи. Крепко — словно сдерживала его угданное движение.

— Нельзя?...— так понял он и послушно выпрямил плечи.

Тогда по-детски приподнявшись на цыпочки, она потянулась к его лицу и заглянула в него. Глубоко-глубоко в настежь открытых глазах ее светился, как будто упав внутрь, рыжеватый короткий луч смеха.

— Кому... нельзя? — обдала она его лицо теплом своего дыхания.

Ваулин не успел произнести в третий раз ее имени,— кто раньше из них почувствовал губы другого?!

— Вот и все! — сказала она просто и обняла его за шею.

— Мы не виделись с лета,— говорил тише обычного Ваулин, не отпуская ее.

Он привлек ее снова к себе и стал целовать глаза, лоб, виски. Длинные косы, заложенные венцом, упали теперь с ее головы, и одну из них он обмотал вокруг своей шеи.

— Ну... это что делается? — краснела Ириша.

И, стараясь быть строгой сказала:

— Отдай, Сергей, мою косу.

Ваулин в ответ поцеловал ее волосы.

— Хотя... что уж тут! Снявши голову, по волосам не плачут,— шутила она.

...Как он жил все это время? Думал ли о ней? Что дальше будет с ним? — Он коротко рассказывал о себе, Ириша слушала, но потом вдруг перебила его:

— Я порядочная свинья! Ведь я ничего вам еще не сказала о вашей дочке!

— «Вы»... «вашей»? — укоризненно смотрел Сергей Леонидович.

«Ты» не сразу удалось им в этот вечер, и каждый раз ониправляли друг друга.

Она рассказала Ваулину все, что знала о его родных. Она заходила к ним несколько часов назад, — Екатерина Львовна просила поцеловать его в лоб.

Он выслушал ее, успокоился, что мать и Лялька здоровы (вот с деньгами плохо только...), и тут же, из вежливости, осведомился об Иришиной семье.

Ба, вот штука: она забыла ему рассказать о самом главном-то происшествии! Ведь она-то сама была арестована, — известно ему это?.. Боевое крещение!

И, вскочив с места, Ириша стала в лицах передавать всю историю засады и освобождения из тюрьмы.

Ваулин выслушал и сказал:

— Теперь надо быть очень осторожной. Второй раз твой отец уже не поможет.

— И не надо! — зарделась она.

— Как это «не надо»?

— Разве я буду лишена твоей помощи и дружбы твоих товарищей?.. Вот и все! — сказала Ириша так же просто и убежденно, как после первого поцелуя.

Это был ответ для Ваулина сразу на несколько невысказанных вопросов. Он еще только собирался их осторожно ставить, он думал о них не без волнения: «Понимает ли, что может ее ждать?» — но вот ключ найден — двери не ломаются: все разрешено как будто с предельной, радующей ясностью, — подумал Сергей Леонидович с благодарностью.

— Мы будем вместе? — спросил он. — Всюду?

Она прижалась к нему и ответила:

— А теперь... помолчим. Минутку.

И они провели минуту в тишине, чувствуя дыхание свое, но не видя друг друга.

Это была последняя ночь, проведенная Ваулиным в Лесном, на складной кровати у «цесарок».

На следующий день, как условлено было вчера, он пробрался на Васильевский — к служившему на Большом проспекте Озюлю: тот должен было вручить Сергею Леонидовичу для нужд ПК несколько случайно приобретенных «железок». Это было настоящее богатство!..

(Существовало в подполье три категории паспортов: «железка», «копия» и «фальшивка». «Железка» — вид на жительство некогда здравствовавшего обладателя, после смерти которого мещанские старосты, а в деревнях — волостные писари, славившиеся взяточничеством, продавали эти паспорта. Такой вид на жительство ценился очень дорого. По нему можно было жить весьма долго и спокойно. В столице установлен был порядок, в силу которого при прописке снималось три копии: одна для старшего дворника,

другая шла в адресный стол, а третья — в то место, откуда был выдан «вид», — с секретным запросом полиции: существует ли такое лицо? Конечно, ответ от взяточников получался положительный.)

Получив от Черномора широкий конверт с «железками», Сергей Леонидович, сопровождаемый до двора товарищами, вышел по черному ходу из кооператива.

Было пасмурно, силился упасть вялый, недолговечный снежок. В выбоинах двора было полно грязи. Она и так уже набилась в рваные, хлюпающие галоши Ваулина и сушила простуду.

Он подумал об этом сейчас и, сделав несколько шагов, остановился: на прилавке кооператива он видел галоши, пусть Черномор устроит ему эту покупку. И Сергей Леонидович повернул обратно.

Он хотел уже потянуть на себя обитую железом дверь черного хода, как она в этот момент открылась, заслонив его со двора, потому что, боясь быть ушибленным, Ваулин отскочил в сторонку.

Побежал и скрылся за поворотом к арке шустрый человек в серой бекеше.

Минуту назад, разговаривая с Озодем, Ваулин заметил этого человека в магазине: у «бекешки» сильно косили навстречу друг другу глаза — так, что они всю жизнь, казалось, без напряжения видели всю нижнюю половину разъединявшего их длинного носа.

«Что-то украл, наверно...» — почему-то подумал об убежавшем Сергей Леонидович и вошел в кооператив.

Черномор был удивлен.

— Ничего не произошло, — успокоил его Ваулин. — Устройте мне, Ян Янович, пару галош подходящего размера.

Через три минуты они поблескивали на его ногах, шагавших по проспекту.

Путь домой лежал через Петербургскую сторону. Сергей Леонидович свернул на малолюдную Девятнадцатую линию, решив пройти ее до конца, до Малого, и оттуда переправиться по Тучкову мосту.

Проходя мимо госпиталя Финляндского полка, он невзначай обернулся и почти сразу же увидел человека в серой, с лисьим воротником, бекеше.

«Дважды встречаешь — не верь, трижды — спасайся», — так-то была поговорка в подполье, и Сергей Леонидович насторожился. Конечно, все могло на сей раз оказаться случайностью, но...

Пересекая Средний, он снова оглянулся: «бекеша» следовала по пятам.

Предстояло выяснить ее намерения, — Сергей Леонидович изменил маршрут и перешел на левую сторону проспекта. «Бекеша» свернула туда же, только на правую панель. Но косоглазый шел теперь не один: рядом с ним шагал, разговаривая, какой-то

человек в коротком темном пальто, в высоких русских сапогах, с палкой в руке.

«Откуда он взялся? Вероятно, шел Девятнадцатой линией, и я не обратил на него внимания», — подумал Сергей Леонидович.

Он все еще не выбрал, куда держать путь. Одно для него стало ясно: если это шпики, то они «брали» его в кооперативе. До того он как будто не замечал за собой слежки. Но шпики ли все-таки?

На углу Восьмой он сел в вагон трамвая, шедшего к Дворцовому мосту, в центр. И тотчас же человек с палкой на ходу вскочил в прицепной — на первую площадку, а «бекеша», замешкавшись, — на вторую. Теперь уже не было никаких сомнений: Ваулина преследовали!

На второй же остановке сквозь стекло двери он увидел косоглазого, очутившегося на площадке вагоновожатого.

«Ого!» — встревожился Ваулин. Он понял: за ним не только следят, но хотят сразу же «взять» при первом удобном случае.

Медлить уже нельзя было, — Сергей Леонидович, в нарушение всех правил трамвайной езды, протиснулся на заднюю площадку, отбросил незаметно для стоявших тут железную застёжку, скреплявшую обе половинки заградительной решетки, и выжидал минуты, когда открыть ее и выскочить.

Он слышал звонки и шум встречного трамвая. И когда тот приблизился, Сергей Леонидович распахнул решетку и, быстро спустившись на одну ступеньку, прыгнул на землю. Он едва не угодил под колеса встречного вагона. Еще одна секунда — и Ваулин вскочил на подножку его. И только удивился в тот момент, почему она так высоко от земли...

Это мчалась, непрерывно звоня, служебная трамвайная платформа. На задней площадке, где очутился Ваулин, никого не было. Он оглянулся: маршрутный желтый трамвай уносил его преследователей к набережной Невы. Сразу ли заметят они его бегство?

Без остановок домчался он к Малому, соскочил с платформы и, сохраняя степенный шаг обычного пешехода, направился к Тучковой набережной.

Было часов пять, и оставалось ходу еще минут на пятнадцать до квартиры Вани-печатника — в одном из домиков на Малой Спасской, тянувшейся вдоль лесного незаселенного участка. И вдруг на углу Муринского проспекта и Антоновского переулка, у последнего перекрестка перед своим жильем, Сергей Леонидович увидел одного из своих преследователей.

Шпик стоял, опершись на палку, и смотрел сейчас в сторону переулка. Рядом, у ворот маленького дворика, — извозчик, подвизывающий торбу с овсом высокой гнедой лошади. Никогда здесь извозчики не имели стоянки, — все стало яснее ясного!

Ваулин круто взял вбок, шмыгнул на Парголовскую, убегая к Лесному институту.

«Квартиру открыли... Кто? Как? Куда двинуться?» — одни и те же мысли сменяли друг друга, как в чехарде. Хотя бы на не-

сколько минут укрыться куда-нибудь и там уже подумать, что делать!

Он побежал в рощу, прилегавшую к Политехническому институту и раскинувшуюся позади Спасской улицы. Отсюда вела узенькая утоптанная просека, которой можно было выйти к домику Вани-печатника. «Э, нет!» — сам себе ответил Сергей Леонидович, отмахнувшись от коварного соблазна.

Какой-то верховой ехал навстречу, — Ваулин бросился в глубь рощи и, увидев вдруг скат в канаву, бегом спустился в нее. Он чуть-чуть не наткнулся грудью на человека в бекеше с лисьим воротником!

— Легче, дьявол!

— Стой! Руки вверх! — зашипел чей-то голос.

Ошарашенный, ничего не понимающий, Сергей Леонидович исполнил чужое приказание.

Наверху проскакал верховой. Внизу — тягуче-медленно протекала минута молчаливого выжидания.

— Стой!.. Кто будешь? — шипел все тот же голос, а обладатель его, рослый мужчина, держал перед животом Ваулина «бульдог».

— Нищий... — сказал Сергей Леонидович. — У меня нечего грабить.

— Митрич, брось! — схватил за руку товарища человек в бекеше. — Свой это!

— А ты откуда знаешь? — не доверял Митрич.

— Знаю: третьей роты это! Дезертир тоже... нашего полка.

«Вот те на!» — удивился Сергей Леонидович.

— Товарищ Ваулин, — не правда ли? — положил ему руку на плечо человек в бекеше. — Еще по виду — сомневался, а как услышал голос — сразу признал. Опускайте руку... нате вам мои пять! — пожал он с размаху ваулинскую руку. — Удивляетесь? Я вижу!

Сергей Леонидович взгляделся в сумерках в его лицо — заросшее рыжей щетиной, с длинными мглистыми бровями. Задумываться теперь над тем, где он видел этого человека, уже не приходилось: казармы полка, но... при каких обстоятельствах?

Неужели он знал фамилию этого солдата, назвавшего его «товарищ», а теперь забыл? И почему на нем та самая бекеша? Она немного коротка на нем и узка в плечах. Или он, Ваулин, ошибся: та самая ли бекеша?.. И что за странное вообще происшествие в канаве?

— Айда! — сказал Митрич. — Чтой-то вас я не помню, солдат! — пробурчал он Ваулину. — Беглый тоже? Жить есть где? А нам — нет! Может, часы купишь? — неожиданно добавил он и показал серебряные закрытые часы с брелочками и ключиком на кожаной цепочке. — Дешево отдам: хотя на билет в Кострому...

— Нет, — покачал головой Сергей Леонидович. — Не требуется.

— Ну, нет — так нет! — надвинул на голову серую шляпу дезертир и подтолкнул своего товарища: — Тепло теперь небось стало в шубейке? Айда, Миколай!

Они выбрались из канавы в темнеющую чащу кустарников, оставив Ваулина одного.

Он сделал несколько шагов по вязкому дну канавы и на изгибе ее натолкнулся — сразу же — на распластанное тело мертвого человека: висок его был проломлен и залит кровью. Мертвец лежал в одном нижнем белье: его ограбили...

Оглядываясь по сторонам, Ваулин нагнулся над трупом: это был шустрый, косоглазый шпик!

В следующую минуту Сергей Леонидович бежал уже по проезжей дороге к Политехническому. И ему с трудом потом удалось вернуть себе свой обычный шаг, чтобы не обратить на себя внимание встречающих прохожих.

...Итак, косоглазый подкарауливал его на лесной дорожке, а второй шпик — дожидался на перекрестке? Вот оно что!.. Третьего пути не было к Ваниному домику: возвращаясь домой, он обязательно попал бы в руки охраны.

Сергей Леонидович понимал, как счастливо избежал опасности. И только ли одной этой? А разве не мог он подвергнуться участи убитого и ограбленного шпика, если бы не этот случайно повстречавшийся дезертир с рыжей щетиной и колючими бровями? Кто из них стал убийцей: этот ли парень, спасший, быть может, ему жизнь, или его спутник по скитаниям — силлоголосый солдат «Митрич»? А может быть, один другого стоит?

Как ни был занят мыслями о самом себе, долго еще не мог отделаться от мрачных впечатлений: все время перед глазами маячило окровавленное лицо убитого охранника.

... В десятом часу вечера он постучался в подвал на Лиговке. У входа — кривыми буквами вывеска: «Сапожник».

— Кучеров дома? — спросил он, когда открыли дверь.

— Не приходил еще с работы Кучеров.

Хозяин — черный, лохматый инвалид на деревяшке — окинул Сергея Леонидовича маловыразительным, полусонным взглядом.

— Я подожду его, — сказал Ваулин, спускаясь по ступенькам в комнату.

— Ждите, — односложно разрешил хозяин.

— Вася, кто там? — раздался из глубины комнаты вялый женский голос.

— Человек, — все так же кратко ответил он. — Спи.

Сапожник проковылял к своей низенькой табуретке, обитой на сиденье куском просиженной, ввалившейся кожи.

На полу, у его ног, валялись колодки, башмаки, оторванные каблучки с торчащими в них гвоздями. Рядом, на стуле, — ворох кожаных кусочков, заплаток, сапожные инструменты. Небрежным взмахом руки он все это сбросил со стула и молчаливо придвинул его к незнакомому гостю, а сам занялся набивкой подошвы на чей-то порывевший потрескавшийся сапог.

Керосиновая лампочка на столике бросала вокруг мелкий, зыбкий свет. В конец комнаты он почти не доходил. Там, придви-

нутые вплотную друг к другу стояли две кровати: поперек их разместились ко сну жена сапожника и двое ребят.

В тишину сонной, душной комнаты входил только (очевидно — привычным, нисколько не тревожащим ее стуком) короткий, мягкий и глухой удар сапожного молотка, да верещали на стене «ходики» с фунтовой гирькой на веревочке. Сам хозяин был безгласен, словно камень.

Когда Сергей Леонидович, вынув папиросы, закурил, сапожник, перегнувшись в его сторону, все так же молчаливо протянул руку к коробке, взял папироску и прикурил от лампы.

— А поздно приходит Кучеров? — решил в этот момент заговорить с ним Сергей Леонидович.

— Бывает разное, — последовал ответ, и — опять молчание.

— А дождусь я его сегодня? — возобновил Ваулин неудавшуюся беседу.

Сапожник, держа гвоздик во рту, развел только руками. Сергей Леонидович решил больше ни о чем не спрашивать — ждать.

Так, в молчаливом ожидании, прошел добрый час.

Ваулин ничего с утра не ел, — томил голод, по всему телу растеклась усталость. Когда же придет наконец «Кучеров», — Андрей Петрович?!

Он работал теперь не то слесарем, не то механиком в какой-то маленькой ремонтной мастерской, а где она, какие сегодня часы он занят в ней, да и сразу ли должен возвратиться домой, — ничего этого Ваулин не знал.

А если не удастся его сегодня повидать, — как будет тогда с ночевкой? И конверт с паспортами надо ему на всякий случай передать, — не носить ведь «железки» в кармане!

«Ходики» показывают начало одиннадцатого, — того и гляди, сапожник скоро выпроводит его и уляжется спать.

Думая обо всем этом, Сергей Леонидович незаметно для самого себя задремал, откинувшись на спинку стула.

Он не слышал короткого стука в дверь и того, как поднялся, чтобы открыть ее, ковылявший на деревяшке хозяин.

— Тс-с-с!.. — приложил тот палец к губам.

«Кто?» — одними бровями спросил Андрей Петрович, не переступая порога.

Бровям ответили приподнятые плечи сапожника, но — ничего определенного: кто его знает...

«Буди!» — так понял сапожник громовский жест, а сам Андрей Петрович решил постоять в тамбуре.

Сергей Леонидович проснулся, ощутив легкий хлопок по коленке:

— Извиняюсь, не ночлежка это и не вокзал!

— Простите меня, — вскочил Сергей Леонидович. — Не пришел еще Кучеров?

— Пришел! — сбежал вниз по ступенькам Громов, узнав голос своего приятеля. — Что случилось? Чего так поздно, Леонтий Иосифович?

Ваулин покосился в сторону хозяина. Лохматый черный человек, глубоко зевая, ухмылялся теперь.

— Ну и загадку дали! — заговорил он совсем другим тоном. — А я думал: может, шпичок припелся да овечкой прикинулся.

— Спасибо на добром слове, — усмехнулся Сергей Леонидович. — Неужто сходство нашли? Шпичок? Оттого и молчали?

— Оттого и молчал.

— Горе для него — молчать, — кивнул на сапожника Громов.

— Незаметно что-то! — сказал Ваулин.

— Э, кто бы знал! Заговорить может человека — такой это любитель до разговора. Но, когда надо, — подавится своими словами, а молчать будет! Артист Вася!

— Как наказывали вы мне: партийное послушание — понимаю это дело!

— В организации? — тихо спросил о сапожнике Ваулин.

— Шестой год знаю, — ответил Громов. — Велел я ему: пику-да, калека, не рыпайся, угол сдавай — кому я скажу. Слушается меня! Вашего Ваньки Ольга — сестра приходится ей, — показал он рукой на свернувшуюся калачиком на кровати спящую хозяйку. — Всю семью знаю... Ну, да разве о том разговор? — прервал Андрей Петрович самого себя. — Что стряслось?

Они отошли в уголок, и Сергей Леонидович, как мог кратко, рассказал о сегодняшних злоключениях.

— Та-а-а... — протянул в раздумье Громов. — Стараются, сукины дети, гончих выпустили. Но кто только нюх дал? — вот что!.. Ишь ты, на вас облаву замыслили. Почуяли, твари!

Он стал вдруг хвалить, что бывало с ним редко. Ваулина за вчерашнюю речь, за ясность и правильность позиции и, прищурив глаз, посмотрел на Сергея Леонидовича:

— Факт, — вожак... Все районы так и говорят: «вожак», — бечь надо.

— Верно? — искренне удивился, но и обрадовался, взволновалось, Ваулин.

— Угу. А сказать правду? — прищурил в очередь другой глаз Андрей Петрович.

— Какую? — заинтересовался Ваулин.

— Вот я вас как будто давно знаю, — сказал Громов, — да и видел я на своем веку в партии людей-людишек — хороших людишек, ничего не скажу. У интеллигентов что... Уважаю, конечно. Очень. И вас всегда уважал, конечно. Но до сего времени думал: живет в партии, большую пользу ей делает, — а от сердца все это или от головы? От сердца — наш брат, рабочий, беднота. Ну, другого и быть не может! Про вас думал: головой он только, сам по себе живет, — такой, значит, умственный еж!

Сергей Леонидович улыбнулся такому неожиданному сравнению.

— А еще летом, сей год, пригляделся я к вам: нет, думаю...

— Не еж? — тихонько поддразнился Ваулин.

— Нет, думаю, что-то не так, брат Громов! А за последнюю неделю — гляжу: откупорился вроде человек, прет из него и других хватает. Бывает же такое!

— Бывает,— сказал уже серьезно Сергей Леонидович.— Бывает... это я не о себе говорю, не подумайте!.. Спасибо вам, Андрей Петрович, за науку.

— За что? — нахмурился Громов: он редко хвалил других и не любил, когда его хвалили за что-нибудь.

— Многому я у вас учился — вспомните!

... Сапожник уже спал рядом с женой. Погасив свет, Ваулин и Лекарь, не раздеваясь, разместились ко сну в громовской каморке.

Она была узка, без окошка. Чтобы поместиться в ней на ночлег, пришлось оставить открытой настежь дверцу и положить через порог тюфячок, на котором и лег, выставив ноги в комнату сапожника, Андрей Петрович. Гостю он отдал свою складную кровать, занимавшую почти всю площадь каморки.

Лежа на животе, лицом к Ваулину, Андрей Петрович шепотом говорил ему:

— Ну, сегодня переспите... бездомный вы мой! Но сидеть тут вам нельзя.

— И нельзя,— соглашался Сергей Леонидович.

— Я и говорю про это. Добывать новую квартиру надо. А где сразу найдешь? Главное чтобы без риска, понадежней, да на плотный срок... У Ваньки прописались?

— Временная прописка.

— Все равно, Сергей Леонидович: ежели нащупали они вашу квартиру, не бывать вам больше «Кудриком». Я думаю, вам и самим понятно.

— Возьму «железку»! — решил Ваулин.

— И то дело! Утречком выберем: с иногородней пропиской,— а?.. Ну, а поселиться где? Сразу не найдешь,— повторил Громов и на минуту умолк, ища про себя решение вопроса.

— Где ваша мастерская? — спросил Сергей Леонидович.

— На всяк случай это? Понимаю... На Седьмой Роте, хозяина Петра Спиридонича Волкова спросите, не доходя дома «Помещик».

Следующая ночь прошла в скитаниях по городу: с ночевкой дело не устроилось.

Сергей Леонидович бродил по улицам до самого утра. Он пересек столицу вдоль и поперек, из осторожности ни разу не проходя по одной и той же улице. Если бы не вынужденность такого скитания, его стоило, пожалуй, предпринять, чтобы увидеть сейчас ночной Петербург.

В разных частях города Ваулин наблюдал одно и то же: очереди у продовольственных лавок, которые откроют только утром; мелких торговцев съестным и «ханжой»; огни больших и малых кабаков; рыщущих повсюду проституток; полицейский патруль;

нищих всех возрастов; дворников в армяках у ворот с бляхой на груди.

Петербургская ночь была все такой же, как раньше,— знакомой: и морозный, туманный ветер с моря, и попеременно дождь со снегом, и пустынные во всю ширь торцы проспектов, как будто еще больше раздвинувшие стоящие в струнку дома, и слышимый в ночной тишине всплеск воды в каналах и реках.

«Но вот такого не было еще несколько месяцев назад»,— подумал Ваулин.

Он подходил от очереди к очереди (их почти сплошь заполняли женщины), прислушивался к беседам,— и всюду разговор был один и тот же: «Когда же, господи, все это наконец кончится?!»

Мысль о долгой, неудачной войне засасывала в свою воронку человека. Теперь он сразу находил соседа, думавшего равно.

И потому городские Петербурга в тревожном ожидании стояли теперь на посту по двое: рядом, спиной друг к другу, чтобы видеть все.

Днем Громов указал Сергею Леонидовичу его новую, хотя и временную квартиру.

— Позвольте...— воспротивился Ваулин.— А не подведу ли я своей персоной товарищей?

— Ни вы, ни они вас. Паспорт у вас новый, «железный»,— раз? А пока вы там будете, приходить туда никто больше не станет, печатать прекратят,— два!— загибал Лекарь пальцы на руке.— И вообще предлагаю слушаться нашу исполнительную комиссию,— три!.. А еще: Ирину свою позвать туда можете,— вот и четыре!— неожиданно закончил он.— Ее, кажись, Ириной звать?

— Ирина... Оброс я порядочно!— смешливо пожаловался Сергей Леонидович при упоминании ее имени.

— Ничего. Борода — что трава: скосить можно!— деловито сказал Громов и повел его к знакомому парикмахеру.

Забота о нем Андрея Петровича искренние трогала Ваулина.

У студента Салазкина и у его мнимой жены, Марии Эдуардовны, на Николаевской он прожил несколько дней.

Начался ноябрь: открылась Дума, и газеты стали выходить с длинными, белыми в ряд колонками. Над этими белыми типографскими пустынями красноречиво висели не убранные цензурой заголовки: речь депутата такого-то...

Но речи печатались на машинках и с удивительной быстротой распространялись думскими друзьями по всей России. Взяв у отца, Ириша доставила их на Николаевскую,— Сергей Леонидович засел писать «ответ». Ему никто из Петербургского Комитета еще не поручал этого дела, но он не сомневался, что написать сейчас листовку необходимо, что бросить ее в рабочие кварталы и солдатские части — единственно правильный путь большевистского участия в «думских прениях».

Ириша и Женя Салазкин, наклонившись над его черновиками, спешно, но аккуратно, стараясь по крупней выводить буквы, переписывали составленный им текст.

Ваулин ходил из угла в угол, дожидаясь окончания этой работы, — он еще раз начисто проверит текст. Относясь всегда с большой ответственностью к написанию листовок, он привык все тщательно обдумывать и считал, что обсудить коллективно необходимо.

«Но с кем тут советоваться? — мысленно улыбался он, глядя на молодых своих помощников. — Зелены еще!..»

Он решил немедленно отослать листовку на Гусев, на «квартиру-почту»: пусть переправят Федору или Скороходову, — и Мария Эдуардовна приготовилась уже отправиться «на прием» к зубному врачу Сокальскому.

— «За годы преступной империалистической бойни...» — диктовала себе и студенту Ириша.

— Есть. Дальше! — повторял фразу Салазкин.

— «Государственная дума... не раз громогласно и торжественно выражала свои верноподданные чувства»... Написали, Женя? «...царскому престолу». Дальше! «Депутаты Государственной думы...»

— Стоп! — вмешивался вдруг Ваулин. — Добавьте тут же: «и ныне остаются верными холопами монархии»... и продолжайте!

— «...Но теперь они, чувствуя, как горит почва под ногами господствующего режима, стремясь ввести в обман народные массы, пытаются сделать вид, что они ведут ожесточенную борьбу с царскими министрами». Написали, Женя?

— Пожалуйста, за меня не беспокойтесь!..

— «Они требуют министерства «общественного доверия». Но что выиграет пострадавшая страна, если в кресло Штюмеров сядут Милюковы, с еще большей охотой готовые гнать народ на смерть во имя прибылей помещиков и капиталистов»... Я вчера отцу то же самое говорила... — смущенным взглядом посмотрела Ириша на Ваулина.

— Ну, и что же он? — усмехнулся Сергей Леонидович и, перестав ходить, остановился подле ее стула.

— Рассердился и сказал, что я «просто испорченная девчонка стала»!

— Тоже... довод!

Салазкин тонкой и узкой, почти девичьей, рукой ударил себя по лбу.

— Кто ваш отец, Ириша?

— А вы не знали? Член Думы Карабаев.

— Что-о?..

Низенький, худенький Салазкин, с торчащими острыми ключицами, со вздрагивающими плечами, с короткими отрывистыми жестами, беспокойно задвигался на стуле.

— Вот оно что, Ирина... Вы в такой семье... и социал-демократка! Гм...

Ириша ощутила его удивление как упрек. Ей показалось, что студент перестал ей в чем-то с этой минуты доверять. Покраснев, она перевела взгляд на Ваулина, и широко открытые глаза ее как будто говорили ему в испуге: «Люби меня. Ведь ты не уйдешь от меня оттого, правда?»

Сергей Леонидович понял это тревожное «оттого» и горячо ответил:

— Жень, а при чем здесь семья? С каких это пор революционеры так судят?

Она поблагодарила его глазами.

Салазкин дружелюбно притронулся к Иришиной руке.

— Я ведь не то хотел сказать, ей-богу!.. Ну, давайте, товарищ Ириша, дальше. И она продолжала диктовать...

Вчера студент Салазкин погасил электрическую лампочку, зажег свечу и при мерцающем свете ее читал Сергею Леонидовичу свою «фантастическую поэму».

Юношеская мечта была неожиданна и своеобразна: уничтожение сна, мешающего долголетию человека. Политическая мораль поэмы — так и рабочий класс должен пробудиться для сокрушающего царизм восстания.

Стихи Салазкиной были во многом наивны и несовершенны, но чем-то они понравились Сергею Леонидовичу.

Он любил лирических поэтов, восхищался горьковским «Буревестником», любил долгими часами помечтать. О последнем... не созная бы, пожалуй, никому: чаще всего ему казалось — «не время для революционера!» С годами он понял свою ошибку. «Умственный еж!» — припомнились в эти дни громовские слова, и сам над собой посмеивался.

— Так и буду называть теперь: еж, ежище! — грозила улыбающаяся Ириша.

Он был старше лет на десять, а то и больше, он был «совсем взрослый», а в себе самой Ириша не раз обнаруживала — в поведении, привычках, в манере держаться на людях и даже в позах, за что ругала всегда мать, Софья Даниловна, — в себе самой обнаруживала, искренне каждый раз сокрушаясь, что-то от подростка, от девочки в коричневом гимназическом платье, хотя была уже два года курсисткой.

Не доверяя в душе своей взрослости, она старалась держаться при Ваулине как можно строже, с излишней, напускной серьезностью и молчаливостью. Это часто озадачивало его, потому что до взаимного объяснения на Ковенском он не уверен был в ее любви к нему, и эту внешнюю сдержанность Ириши он склонен был иной раз объяснить отсутствием с ее стороны желанного чувства.

Иногда же, напротив, он радостно удивлялся ее шуткам и бившему через край веселью, но с деланным видом бесстрастного человека, не шелохнувшись, стоял на одном месте и, чтобы не выдать себя, опускал глаза, когда она неожиданно близко подходила к нему, беседуя, брала его за руку и не отпускала ее, и он чувствовал тогда волнующее прикосновение ее груди и плеч, запах ее

кожи, мог видеть линии ее тела под просвечивающейся блузкой, ощущал теплоту ее рта. И все это смущало Сергея Леонидовича.

«Он у меня красивый и умный,— награждала она Ваулина наилучшими качествами.— Я его очень люблю, и он меня любит,— в сотый раз мысленно повторяла она, желая доставить себе самое приятное, что могла только.— Мы будем вместе, непременно вместе, и с нами его Лялька...»

Она была благодарна Ваулину за то, что так просто, доступно говорил он о сложных, как показалось бы ей раньше, вещах, и она сама теперь так же просто и легко осознавала их.

«Не всякий профессор так понятен, как мой Сережа»,— думала Ириша.

Ей стыдно, очень стыдно было бы сознаться, но из всего того немногого, что она читала, например, о Карле Марксе и самого Маркса,— легче всего запомнилось, что у этого великого человека был плохой почерк, из-за которого его не приняли в Лондоне на службу в дирекцию какой-то железной дороги! Помнила еще, что он тогда, за двадцать пять лет до своей смерти, сильно нуждался и писал о том своему другу Энгельсу:

«Жена моя изнервничалась от всех этих дрызг, и доктор... заявлял неоднократно, что не ручается, что не будет воспаления мозга...— вздыхала Ириша, читая эти строки,— ...но и купанья ей нисколько не помогут, так как ее преследуют ежедневные заботы и призрак неизбежной конечной катастрофы... а летняя одежда детей ниже пролетарского уровня».

И она живо, со всеми подробностями рисовала себе все семейные бедствия великого человека, обещая самой себе так же внимательно и усердно ознакомиться когда-нибудь с его историко-философскими доктринами.

И, думая так, она вспоминала, что ей предстоит вскоре зачет по истории экономических учений — предмет для нее скучный, профессор, лысый, с желтой ассирийской бородой, читает не менее скучно, что хорошо было бы жить сейчас в одной квартире с Сергеем, призвать его на помощь, и тогда все эти проклятые меркантилисты, физиократы и представители классической школы, все эти непонятные Кольбер и Серра, Франсуа Кэнэ и Тюрго, Давид Юм и Адам Смит с их сложными трудами быстро улеглись бы в ее памяти...

— Ириша! А вам нравится моя поэма? — спросил ее Салазкин.— Только правду!

— Нравится поэма... честное слово! — чистосердечно сказала Ириша.— Стихи нравятся, а содержание...

— Что содержание? — нахмурился Салазкин, и, увидя неожиданную союзницу, закивала дружелюбно Мария Эдуардовна.

— Я не хотела бы быть на месте вашего героя, Женя... Я не хочу лишаться сна! — простодушно запротестовала Ириша.— Отнимите у человека надежду на сон, и он сделается самым несчастным существом на земле. Да ведь это самое питательное блюдо на пиру природы,— вспомните эти слова, Женя!

Ей с трудом давался «Капитал», но процитировать сейчас хорошо знакомого Шекспира или других классиков она могла легко.

— Баю-баюшки-баю... — ласково поглаживал ее голову и шутил Ваулин.

«Я не очень глупая? Нет?» — смущенно засматривала она в его глаза, и они отвечали ей на многое, многое...

А часы показывали неумолимо приближение ночи, — надо было кончать разговоры, прощаться.

— Если сможешь, — завтра?.. — спрашивал он в прихожей.

— Ну конечно! — обещала Ириша прийти.

— И к Ляльке, может быть, успеешь? Спасибо тебе.

— Все будет сделано, товарищ Емелин! — по-солдатски поставила она руку к шапочке и засмеялась.

«Емелин» — под этой новой фамилией, значившейся в «железке», он прописался на Николаевской.

Но завтра ей не удалось прийти к нему, а на следующий день их свидание уже стало невозможно.

Глава девятая

ПРИХОДИТСЯ ПОКИНУТЬ ПЕТРОГРАД

Сергей Леонидович уцелел случайно: будь он в этот час дома, на Николаевской, и не задержись до поздней ночи за городом, где происходила вчера встреча членов ПК, — быть бы и ему арестованным.

В полночь пришла полиция, забрала студента Салазкина и его «жену», шрифт и все приспособления подпольной типографии.

Обо всем этом «товарищ Емелин» просил немедленно сообщить, и, как видит Ирина Львовна, все выполнено. Хочет ли она, в свою очередь, передать что-либо «товарищу Емелину»? Как только представится возможность, он, доктор, это сделает...

Сидя в зубо врачебном кресле в приемном кабинете доктора Сокальского, Ириша с дрожью слушала его негромкий, монотонный голос.

— Теперь вы понимаете, почему я позвонил вам и попросил приехать? Вы не удивились сразу?.. Вы можете застонать? Пожалуйста, раз-другой, как будто бы вам больно. На всякий случай: у меня в гостиной еще три пациента — настоящих! — так пусть слышат, — деловито говорил доктор.

— А-а-а-а!.. — протяжно вздохнула Ириша, получив счастливую возможность выразить испытываемую ею боль от полученного известия. Но при всем том она не могла скрыть, как счастлива, что арестован не Сергей. — А-а-а... — весело звучал ее голос.

— Вот так, хорошо... Через минуту еще раз прорепетируйте, пожалуйста, — подсказывал он, и ей невольно стало уже смешно. — Подумайте, что вы хотите передать вашему другу, Ирина Львовна. Рот можете пока закрыть: никто сюда не смотрит, — все тем же вялым тоном, без тени улыбки сказал Сокальский.

Войдя в роль пациентки, Ириша, откинувшись на подголовник кресла, минуту сидела с покорно открытым ртом,— сейчас она прикусила губу, чтобы вдруг не прыснуть от хохота.

«Боже мой, какая дура... Чего мне смешно стало? Плакать надо»,— через секунду укоряла она себя, и ей казалось уже, что доктор, который мог бы улыбнуться, видя ее глупо открытый рот, не улыбался только потому, что она была неприятна ему своим легкомысленным поведением, что этот серьезный пожилой человек в старомодном пенсне, явно связанный с революционной организацией и столько делающий для нее, недоверчив к ней, Ирише, и, вероятно, даже презирает ее и потому смотрит сейчас вбок, в окно.

— Простите меня,— прошептала она.

— За что? — повернул к ней остриженную ежиком, сидящую голову доктор Сокальский, и она увидела в его круглых голубиных глазах неподдельное удивление.

— Я ошиблась... я не то хотела сказать, доктор,— пробормотала она.— Передайте Емелину,— уже твердо сказала Ириша,— пусть побережет себя. Может быть, ему следует на время куда-нибудь уехать... Я так боюсь за него. Ведь его затравят здесь, доктор! Пусть друзья его подумают об этом.

Она и не предполагала в тот момент, насколько совпал от сердца шедший совет с трезво принятым решением ПК о Ваулине.

Было постановлено, чтобы он скрылся из столицы недели на две, ибо ясно было, что охранка какими-то путями все время идет по его следам и провал на Николаевской, больно ударивший организацию, тесно связан с этим. Товарищу Шведу надо было выйти из полосы слежки, ему нужно было устроить в Петербурге «прочную», хорошо законспирированную квартиру, а последнее не так легко было сделать в короткий срок. Уехать следовало подальше, пожить среди людей, которые не вызывали бы пристального внимания полиции, да и сами не обнаруживали бы особого любопытства к появлению незнакомого доселе человека.

Об ожидающемся отъезде Ваулина Ириша узнала во второе свое посещение зубо врачебного кабинета на Гусевом: об этом просил сообщить ей Сергей Леонидович. Он еще не знал точно, куда отправится: в Тулу, Курск или Киев, где у него есть знакомые («Явки!»— сообщила Ириша), но как только выяснится, он даст ей знать об этом.

О, теперь она знает, что передать ему, что сделает она сама!

Если «Емелину» удобен Киев, пусть отправляется именно туда: она поедет с ним, она облегчит ему пребывание там, она поможет всем, что будет в ее силах... Доктор! Она умоляет непременно, непременно сказать о том «Емелину»!

Дома она стала готовить почву для своего отъезда «на недельку» в гости к дяде Жоржу. Она ждала возражений, подробных расспросов, почему вдруг сейчас захотелось ей ехать в Киев, но Софья Даниловна, переглянувшись с мужем, ласково одобрила немерение дочери.

— Надо встряхнуться, надо встряхнуться, курсисточка моя! — обнимал ее за плечи Лев Павлович и, думая, что Ириша ничего не замечает, подмигивал — больше, чем следует, — жене.

Он был очень занят эти дни. Жизнь протекала в Таврическом дворце, в думских кулуарах, до поздней ночи — в заседаниях на квартирах политических единомышленников. Не хватало времени вести даже свой политический дневник, а уж о семейных делах — подумать некогда...

Кто-то из друзей предрекал, что вот вызвали теперь духов из бутылки, с которыми, может быть, и не справиться:

— Глядите, страна уже скоро будет слушать тех, кто левей, а не нас!

Но Лев Павлович этого почти еще не замечал и, главное, — не особенно верил в это.

Вчера явились в Думу военный и морской министры, Шуваев и Григорович. Они произнесли короткие, «воинские» речи, смысл которых в общем сводился к тому, что русского солдата мало убить — надо еще повалить, как говорил еще до них давненько прусский король, — они благодарили «народных представителей» за поддержку армии и флота. Это было неожиданно, потому что ложа правительства была демонстративно пуста.

Когда министры спустились в зал, их окружили депутаты и провожали до дверей аплодисментами. Шуваев оказался среди карабаевской фракции и, пожимая руку Милюкову, говорил:

— Благодарю вас, господин депутат!

Марков-второй грозился донести на министра царю, — он кричал, вскочив на кресло, и в этот момент, больше чем когда-либо, похож был (а сходство необычайное было!) на Петра Первого в гневе. Над ним подшучивали потому.

У Родзянко после милюковской речи были крупные неприятности. Наседал Штюмер, требовавший решительных мер против депутата, «позволившего себе упомянуть в недопустимом сопоставлении имя ее императорского величества, государыни императрицы Александры Федоровны», за что «эта речь может стать предметом судебного разбирательства». Писал о том же вислоухий рамоли Фредерикс, напомнивший председателю Думы, что он носит звание камергера двора, но упершийся Родзянко, мстивший за то, что ему не разрешили недавно приехать в Ставку, отверг домогательства министров.

Он был теперь не один среди отмеченных дворян России — «сам» Пуришкевич, знаменосец самодержавия, истерически кричал с трибуны на министров:

— Поезжайте немедленно в Ставку, упадите к ногам государя императора и, если вы честные русские люди, умоляйте его поверить всему ужасу распутинского влияния и тогда измените курс своей политики!

В Думу теперь стекались приветственные телеграммы и резолюции одобрения от земского союза, от Всероссийского союза городов, от собравшихся явочным порядком кооператоров в Моск-

ве, от военно-промышленных комитетов, врачебных обществ, совета присяжных поверенных, дамских благотворительных кружков.

На Бассейной в миллионной квартире, с аккуратно спущенными тяжелыми шторами, в интимном кружке думских соратников и кадетских цекистов составлялся устно список нового правительства во главе с Родзянко. Конечно... если только... — И все пугались этого «если» и трезвели.

Но как в лихорадке ходил теперь самый «трезвый» доселе из всех — дворянский крестоносец Шульгин:

— Раскачались, раскачались мы, Лев Павлович... Чтобы удержаться, придется взять разгон. Знаете, на яхте... когда идешь, скажем, левым галсом — перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход... Теперь уже так просто нам не удержаться... Всего можно ожидать, отступать поздно... Если власть на нас свалится (так и сказал «свалится»), придется искать поддержки расширением «прогрессивного блока» налево.

— Куда же... налево? — от неожиданности заикнулся Карабаев.

— Я бы позвал, — не удивляйтесь! — во всяком случае, попробовал — Керенского... В качестве министра юстиции, допустим... Надо вырвать у революции ее главарей. Иногда это бывает не так трудно — нас учит история!

Это «полевение» было тем более удивительно, что подлинный, давнишний соратник и глава всей партии Льва Павловича — Миллюков — поучал в то же свидание своих думских союзников другому:

— Суть правильной политики, приспособленной к действительному уровню массы, должна, господа, заключаться, как говорил еще Гладстон, «в доверии к народу, ограниченном благоразумием»... Благоразумием, господа! Только нечестивые думают, что Коран — это собрание новой лжи и старых басен, — будем истинными «магометанами» программы нашего «прогрессивного блока»!

И все думские «магометане» были ему послушны.

— Боже мой, все смешалось в доме Облонских! — шутил, разводил руками Лев Павлович, рассказывая ночью о думских делах всегда ждавшей его ко сну Софье Даниловне, а она с тревогой смотрела на синеватые мешки под его глазами: «Господи, как бы почки у него не разыгрались...»

Через агентуру оппозиционных великих князей (и кой-кого из послов), от князей через Пуришкевича и Родзянко, под великим секретом, в числе очень немногих, знал Карабаев и то, что происходило в эти дни в стане врагов. Стилем крепким, «ядренным», а иной раз схожим с воровским жаргоном, писал свои телеграммы царю Григорий Распутин:

«Вот бес-то силу берет, окаянный. А Дума ему служит. Там много люцинеров и жидов. Запросы. Папа, Дума твоя, что хошь, то и делай. Какеи там запросы о Григории. Пушкиевич ругался дерзко. Ваша победа и ваш корабль, и никто не имеет власти на него

сести. Решайте вместе, совет благих — разум святых. Бог укрепит вас, несмотря на злые языцы».

«...Все страхи ничто время крепости. Воля человека должна быть камнем, только крепость своих подержите. Сердечно беседуем с Дмитричем, придет многова расскажет».

«...Древность события нашего правда. Простяков бог прославит, а вы знаете на Гороховой нет тренья. Вы знаете репа хороша когда зубы есть, ужасно мне больно, что я без зубов. Папа, ты сказал моих никто не тронет, не обидит, а для чево это все. В темноте никто друг друга не видит и бог глаза закрыл. Что скажет Александра Дмитрич то будет, а вы его еще раз кашей покормите. Ваше солнце, а моя радость. Григорий Новый».

— Березовой бы ему каши, да чтоб дух из него вон! — рычал и ругался, как конюх, камергер двора Родзянко и грозил вдаль пудовым бурым кулаком.

Кто-то сплетничал, что он в курсе великокняжеских и генеральских тайных замыслов о дворцовом перевороте, который должен, мол, возвести на престол Николая Николаевича «Длинного», и что сам он, Родзянко, будет при нем премьером. Потом стали говорить, что сплетня эта пущена протопоповским другом-избраником — генералом Курловым, замешанным в убийстве Петра Столыпина. Но кто мог знать, сплетня ли это, выдуманная протопоповским окружением?..

Над великим же князем Николаем Николаевичем, в свою очередь, иронизировали: это он-то первый, оказывается, открыл некогда на свою погибель Гришку Распутина!

У князя заболела легавая собака в Першове, — он приказал ветеринару, чтобы собака выздоровела. По шущему велению дела не выполнишь, — ветеринар телеграфно выписал из Сибири знакомого «заговорщика» Распутина: он-то и «заговорил», спас княжескую собаку. А после собаки — захворавшую невесту князя, герцогиню Лейхтенбергскую. И — пошло с тех пор! Великий князь и герцогиня знали пристрастие Алис к гипнотизму (подвизался раньше при дворе Филипп, потом Папиус и другие), — так попал тобольский мужик в покои государыни, а теперь «Длинный» губы кусает от роковой ошибки.

Поговаривали о многом. В том числе и о том, что Думу разгонят, а некоторых депутатов предадут суду и что Протопопов станет министром-диктатором.

Слухи переплетались с действительностью и мало чем отличались от нее.

В Думе все считали и чувствовали, что сейчас делается история, — но какая только?..

Так думал и чувствовал и Лев Павлович Карабаев.

Он целиком был поглощен событиями Таврического дворца, и потому, когда дочь однажды попросила его достать через канцелярию Думы два билета в Киев (билеты на поезд дальнего следования трудно стало добывать), — он не заинтересовался даже, почему нужны Ирише два билета, а не один, и кто еще едет, кроме

нее. Пожалуй, в первый раз он изменил себе как любящий отец и внимательный семьянин.

Билеты лежали уже в Иришиной сумочке, все было сговорено, при помощи друзей, с Ваулиным, сегодня вторник, а в четверг поезд вывезет их из Петербурга.

Ириша отсчитывала часы с еще большим нетерпением, чем было это в тюремном доме на Шпалерной.

Наконец наступила последняя ночь, отделявшая ее встречу с Ваулиным.

Глава десятая

СЕГОДНЯ НОЧЕВАТЬ НЕГДЕ БЫЛО...

Эту ночь Сергею Леонидовичу суждено было провести там, где он и не предполагал быть, но куда попасть давно стремился.

С вечера он бродил по городу, — сегодня ночевать негде было: ни у сапожника на Лиговке, ни у булочника Кузьмина в Новой Деревне, как в прошлый раз, он больше не решался, чтобы не подводить товарищей.

Завтра днем на паровозе товарного поезда, опекаемый незнакомым ему железнодорожником, членом большевистской организации (все устроили друзья), он проберется в Вырицу и сядет там в вагон №5 пассажирского поезда, идущего в Киев. В поезде его встретит друг и любимый человек...

Перед этим предстояло только одно дело: как только откроется утром «салон мадам Софи» на Троицкой, он должен прийти туда и получить от Веры Михайловны новый заготовленный паспорт и толику денег, отпущенных ему партийной кассой. Да, кроме того, та же Вера Михайловна должна передать ему одну из киевских «явок». Впрочем, это не наверно, потому что неизвестно было, в Петербурге ли в данный момент тот товарищ из представительства ЦК, который один только знает «явки» в других городах России. Если не удастся связаться с этим товарищем, то условной почтой «явка» через несколько дней будет сообщена Сергею Леонидовичу в Киев.

Все устраивалось очень хорошо, — считал он, — но вот единственно, что казалось ему мало удачным в разработанном друзьями плане, это необходимость попасть при дневном свете на Троицкую, в центральную часть города, где можно натолкнуться черт знает на кого... Однако ничего не поделаешь: вероятно, не было у товарищей другой возможности организовать это дело, — рассудил Ваулин.

Была еще одна забота, но, правда, о ней успеется подумать и не сейчас: где остановиться в Киеве, если не повезет с собой «явки»?

«Да что гадать? — говорил самому себе Сергей Леонидович. — Изыщем место».

И тут вспомнилась Ириша, ее уговоры ехать именно в Киев, ее обещание помочь, — и Сергей Леонидович уже был почему-то уверен, что все обойдется.

В думах обо всем этом он исколесил всю Петербургскую сторону, стараясь идти боковыми улицами, и по кособокому Конному переулку вышел в конец Кронверкского проспекта и по проспекту — к площади. Он шел, держась низенькой ограды парка, глубоко надвинув шляпу, опустил голову вниз, потому что место было освещено и потому для него — опасно.

Навстречу, напевая песенку, мчался какой-то клетчатый фуфлыга в пенсне и с тоненьким стеклом в руке, который он на ходу подбрасывал и виртуозно ловил за набалдашник. Сзади фуфлыги брел на костылях, поджав по-собачьи подбитую ногу в байковой обмотке, пожилой офицер с узенькой бородкой-метелочкой; надвигалась высокая, увеличенная в размерах дама в старомодной, толстившей ее зеленой ротонде с невыветрившимся запахом нафталина, а за ней показалась худошавая женщина в матерчатой поношенной шляпе. Она вела по бокам двух маленьких девочек.

Девочки болтали о чем-то, забегали вперед, стараясь взглянуть друг другу в лицо, оттягивали руки бонне, повисая на них, мешали ей идти, наступая на ноги, и Сергей Леонидович еще издали слышал, как она сердито призывала их к порядку.

— Ванда, н-ну!.. Лэля, штой ты?! — мучительно шипела она с каким-то нерусским акцентом.

«Лёля... почти Ляля,— тоскливо подумал Ваулин о своей дочке.— Лялька ты моя...»

Он только сейчас, казалось ему, сообразил, как близок отсюда ее дом, хотя, странствуя в этих краях, держа путь к Троицкому мосту, он не раз подумывал, что дом этот так недалеко, что пройти хотя бы мимо него, увидеть издали знакомое окно — и то была бы некоторая радость. Но путь лежал в другую сторону.

Чтобы не столкнуться на узкой панели с плавно шествовавшей зеленой ротондой, он сошел на мостовую и минуту задержался на одном месте.

— Н-ну, Ванда-а!.. — шипел нерусский голос.— Ох, Лэля, штой такое?.. Какая прыгунья... бабушка скажу! Не, не, дети, не пойду с вами больше в гости...

— А я хочу-у! — услышал в пяти шагах от себя знакомый голосок Сергей Леонидович и — замер на месте: да ведь это она, его Лялька! «А эта старая карга называет ее Лэля...» — как ни был потрясен внезапной встречей, не сдержался и обругал в душе «старую каргу», бонну.

«Лялька!»

Он увидел теперь ее личико с лисьим, как был у Надежды, подбородком, все тот же, прошлогодний вязанный синий капор и все ту же, сшитую бабушкой, шубку, из которой заметно выросла, и черные гамашки.

«Лялюська!» — хотелось ему броситься к дочери, окликнуть ее, схватить на руки, но он мгновенно подавил в себе это желание и — не шелохнулся.

Подпрыгивая на одной ножке, как все дети на улице, которым надоедает, что их ведут за руку и не отпускают от себя, шая

вместе со своей подружкой, ни на кого другого не обращая внимания, она прошла мимо сошедшего с панели Ваулина, оставив в его ушах щебетание своего голоса.

Все это продолжалось одну минуту. В следующую — Ваулин стоял уже у ограды Александровского парка: он готов был тотчас же последовать за детьми, они шли медленно, и он мог несколькими шагами догнать их, — и что тогда оставалось делать?

Сергей Леонидович выждал, покуда они отделились на некоторое расстояние, и пошел следом к Большой Дворянской.

«Лялька... Лялюсенька!» — только и повторял он непрерывно ее имя в уме.

Взгляд его был прикован к маленькой спинке, к поворотам головы, к путаным шажкам идущего впереди ребенка. И он твердил себе одно и то же: «Моя дочь... вот это моя дочь. Вот такая... моя... моя Лялюшка».

Он как завороченный, потеряв осторожность, необходимую теперь больше, чем когда-либо, дошел медленной, откровенной походкой выслеживающего человека до угла Малой Дворянской, свернул на нее и вдруг остановился только тогда, когда шедшие впереди него дети в сопровождении боины скрылись в двери стоящего в глубине пятиэтажного дома.

Взглянув на него, Сергей Леонидович пришел в себя. Он круто повернул назад и ушел.

Но часа через три он снова появился здесь. И уже твердыми шагами, минуя ночного дворника, направился в ворота дома, где жила с внучкой Екатерина Львовна. Он поднялся по черному ходу на третий этаж и, отказавшись звонить, дабы не услышали квартирные хозяева, постучал в дверь кухни, ожидая встретить только прислугу.

И все благоприятствовало больше, чем он мог ожидать.

— Кто там? — услышал он знакомый голос.

— Шура, откройте мне. Свои... — торопил он.

Она приоткрыла дверь, увидела его, ахнула, не издав звука, схватила за рукав и не знала, что делать.

— Голубчик... Сергей Леонидович...

Он не дал ей договорить...

— Я на минутку... можно? — засмагивал он через порог.

Шура, оглянувшись, потянула его за собой:

— Скорей! Прислуга в столовой... Хорошо, что я тут была!

Вот и коридорчик, заставленный сундучками и всякой рухлядью, и дверь в комнату матери. Шура втолкнула его туда и вошла сама.

Было темно. «Спит...» — подумал Сергей Леонидович.

— Кто это? — раздался голос приподнявшейся на постели Екатерины Львовны.

— Не беспокойтесь... Я, Шура.

— А что случилось?

— Не беспокойтесь... хорошее, хорошее, Екатерина Львовна.

Девушка, не зажигая света, на цыпочках шагнула к ее кровати и нагнулась к старухе:

— Все хорошо... хорошо, я вам говорю! Только не волнуйтесь, дорогая... только не волнуйтесь, Екатерина Львовна.

— Да вы так говорите, Шурочка, да и сами волнуетесь, что мне хоть с кровати вскакивай! В чем дело?

— Хорошие известия от вашего сына!

— Еще новые? Через Иринку? Разве после этого дня видели Иринку... когда ж это?

— Я самого его видела! — шла Шура к цели «на рессорах», чтобы сразу не огоршить старуху. — И вы можете.

— Да зажги ты свет, ради бога! — перешла на «ты» вдруг Екатерина Львовна от охватившего ее волнения и радости. — Где же он... где Сережа? Ну, как же это так — а?.. Сереженька, боже ты мой! — шепотом сказала она горячо.

Вспыхнул свет, и она увидела сына.

Она протянула к нему руки, и Сергей Леонидович схватил их и дважды поцеловал мать в губы, в щеку.

— Я на минутку только, на одну минутку к вам... — шептал он, легко присаживаясь на кровать. — Соскучился уж больно! — сознался Ваулин. — Потянуло... и все тут!

— Ой, как хорошо, как хорошо! — присела перед ним на корточки Шура.

— Дочку погляди-ка! — как будто обиделась за внучку Екатерина Львовна. — Нет дня, чтоб о тебе не спрашивала. Папа да папа, да где он, — пустила она слезу, но тотчас же улыбнулась — виновато и весело.

— Я уже видел ее! — кратко рассказал Ваулин о сегодняшней встрече и на цыпочках, чтобы не разбудить Ляльку, подошел к ее кровати.

Шура вышла, прошептав, что скоро вернется. Старуха встала, набросила на себя, поверх сорочки, пальто и вооружилась пенсне и пластинкой вставных зубов, опущенных на ночь в стакан с водой. Поправила абажур на лампе и заткнула замочную скважину кусочком бумаги: чтобы не виден был свет из коридорчика.

— Спит и ничего не знает, маленькая... — шлепая туфлями, очутилась она рядом с Ваулиным. — Утомилась, крошка, ходила, понимаешь, на именины с соседней девочкой. Я и то беспокоилась, что поздно вернулась... Любопытная какая — вся в тебя, Сереженька.

— Да ну? — с удовлетворением ждал он подробностей.

— Ей-ей! Бабушка, говорит, я сны видела: кто это мне их показывает?

Отец и бабка беззвучно рассмеялись.

— Петровская часть тут рядом, — пожарная команда: при-выкла Лялька видеть лошадей в упряжке... или извозчика на улице. И вот увидела на днях незапряженного коня, без телеги — и как закричит мне: баба, баба, иди сюда, смотри — разломанная лошадь!

— Разломанная... разломанная, — не сдержался и уронил хохоток Сергей Леонидович и сразу же испугался.

— Ничего, она крепко спит,— успокоила Екатерина Львовна.— Ну, что скажешь, вот она у тебя какая!

Сергей Леонидович улыбался рассказам матери. Все было ему приятно здесь. И то, что увидел наконец родных людей. Что мать не раскисла при встрече с ним и так хорошо себя держит. И что у Ляльки румяное, здоровое лицо и каштановые густые волосы ее подстрижены челкой. Что в комнате хотя и бедно, но очень чисто и дочкины игрушки лежат в углу в образцовом порядке. Что мать, говоря об Ирише, называет ее «Иринка» — с ласковой и дружеской фамильярностью старшего человека, и что живет тут же верная, преданная им всем Шура, которой он не знает, как быть благодарным... Что вот теперь, повидав их всех, вобрав в свою память всю успокоительную нежность этой встречи, радость свидания, по которому тосковал не один месяц,— он может продолжать свой путь, как странник, с новой силой, утолив томившую его жажду.

— С Иринкой любовь? — спрашивала мать.

— Любовь,— отвечал Сергей Леонидович.

— Поженитесь?

— Поженимся.

— Вот оно что...

— Вот оно что! — повторил вслед за ней шепотом Сергей Леонидович.

В другое время он никогда бы так не разговаривал с матерью: не своими собственными, а ее словами и интонациями... Но подобно тому как русский, говоря с иностранцем, плохо знающим его язык, невольно и сам начинает коверкать слова, думая, быть может, что так лучше его поймут, так и Ваулин сейчас, экономя время и желая, чтобы матери все было понятно и ничто бы не вызвало сомнений и потому не огорчало старуху,— упрощал донельзя разговор с ней.

— А как жить думаете? — допрашивала она, не стесняясь присутствия Шуры.

— Хорошо думаем! — улыбнулся Сергей Леонидович.

— Я не про то. Разве жизнь это у тебя? Волк травленный, и тому легче!

— Эй, пей, пей-гуляй, наша жизнь — копейка! — пробовал отшутиться он. В самом деле, не говорить же сейчас о том, что и сам всерьез не мог еще разрешить, что не раз порождало немалые, тревожные раздумья?

— Не балагурь, Сереженька,— неожиданно строго, как показалось ему, сказала Екатерина Львовна.— Не мальчик... вон височки сединой подкрашены!

— Это же не от старости! — заступилась Шура.

— А я сказала: от старости? Возраст его лучше других знаю. То-то и оно, дорогие мои. От страдательной жизни, от мучений, от непосилья биться за других. Разве я такая дура уже, не понимаю? Покойный Иван Никанорыч (она говорила о втором муже), когда переехали в город, всегда говорил мне о Сереже: растет, Катерина,

самый что ни на есть революционер. Посмотришь, Катерина... Так оно и вышло,— рассказывала она девушке.

— Вы должны гордиться этим! — вспыхливо ответила та.

— И горжусь! — сказала старуха. — Сама понимаю. Мученик ты у меня, Сергей.

И в том, что назвала его сейчас полным именем, Ваулин увидел не только обычное обращение к себе, — нет, признание его, Ваулина, матерью. Впрочем, он и раньше в этом не сомневался: она никогда не порицала его за революционные убеждения.

Но ему показалось, что мать начинает вдруг его славословить, ставить на ходули, как склонны делать это все матери в отношении своих детей, что это нехорошо, а сейчас, в присутствии такой же, как и он, революционерки, курсистки Шуры — вдвойне нехорошо, — по-обывательски звучит все, — и он досадливо сказал:

— Перестань, мать... перестань. Мы не святые и в мученики не напрашиваемся. Правда, Шура?

— Да ты не один: я обо всех вас говорю! — сообразила, как ответить, Екатерина Львовна. — Когда же теперь увидимся, Сереженька? — переменяла она тему разговора, видя, что он взялся за шпатель.

Ему было трудно ответить на этот вопрос, и он, вздохнув, пожал только плечами.

Часы показывали без четверти двенадцать, — пора было уходить.

— Поймай! — вдруг вспомнила о чем-то мать. — Возьми ты одежду свою!

Она открыла сундучок и вытащила оттуда его костюм и пальто. Сергей Леонидович обрадовался в душе своим вещам.

— Берегла. Хотела с Иринкой передать, да запомнила в последнюю минуту. Ты уж прости, Сереженька.

«Я даже не спросил как следует, на какие средства они живут, — упрекнул себя Ваулин. — С лета ничего не давал им! Прогнала бы лучше все эти вещи!»

Он высказал свою мысль вслух. Мать и Шура переглянулись.

— Не беспокойтесь, — сказала девушка. — Кое-что Екатерина Львовна продала... деньги были, а кроме того... — Она замялась, покраснела, но потом, быстро овладев собой, добавила: — Наша студенческая группа знает, что она делает, Сергей Леонидович!

Он понял, пожал ей руку.

— Говорят, среди наших провалы? — шепнула она. — Ириша с вами едет... счастливая Иришка.

— Будьте и вы осторожны, слышите? — назидательно сказал Ваулин. — Впереди еще будут большие дела, уверяю вас. Приеду — увидимся, Шура.

— Не забудьте про меня, — просила она, заглядывая в его лицо влажными миндалевидными глазами. — Я хочу настоящей работы.

— Будет! — пообещал он.

— Ну, переодевайтесь скорей, я выйду пока, — шмыгнула Шура к себе в комнату.

Сергей Леонидович мигом облачился в свое платье, указал рукой Екатерине Львовне на сброшенное.

— Продай, мать. Дорожить им нечего.

Он ждал Шуру, чтобы вместе с ней пройти по черному ходу на улицу. Надо было выждать, покуда погаснет на кухне свет и прислуга уляжется спать. Парадный ход был уже закрыт, и ключ хранился у хозяина.

Шура пришла, но с плохими новостями: хозяйская прислуга Маня, черт бы ее побрал, поит чаем на кухне своего частого гостя...

— Не пушу! — взволновалась Екатерина Львовна. — Герасим это, младший дворник... нюх у него полицейский!

— Да, да, — кивала головой Шура. — Подозрительный человек.

— Еще бы, Шурочка! Летом еще Ляльку нашу выспрашивал: а что, говорит, папа к тебе ходит? Может, вечером ходит? Шельма! — выругалась старуха.

— Через десять минут ворота закроют... — размышлял Ваулин, как поступить.

«Не рисковать же? Черт его знает, что за тип этот дворник Герасим! Знаем мы этих дворников, все хороши... — думал он. — Вот так штука — попал в мышеловку! А если со мной даже ничего не случится, если улизну, а он донесет, что видел... гадости могут им такие устроить. Как можно было так рисковать? — рассердился он на самого себя, но сразу же подчинился другой мысли: — А еще ничего не случилось ведь — чего же я в самом деле?! Пока никто не знает, что я здесь, — чего же бояться?.. Но, значит, мне придется быть здесь до утра, покуда не откроют ворота: часов в шесть, вероятно? — соображал он. — Ничего другого не остается как будто?»

Прошло еще полчаса тщетного ожидания, не уйдет ли дворник, и все было решено: сундучок и три составленных стула превратились в ложе для Сергея Леонидовича (узенький корытешка-диванчик показался менее удобным). Не раздеваясь, он улегся и, неожиданно для себя, быстро уснул — в пригравшей, тепло натопленной комнате.

Он не слышал, как в темноте тихонько подошла мать и накрыла его поверх пальто своим ватным одеялом.

...В комнате горел теперь огонь, плакала разбуженная Лялька, держа в руках маленькую подушечку; зловеще разметались седые космы лихорадочно дрожащей матери, трое рослых полицейских наполнили, словно растоптав ее, ночную комнату, четвертый, чужой человек в штатском, в серой бекеше без погон, наклонясь над ним, Ваулиным, — так, что вот-вот уколот своими рыжими иглистыми бровями лицо, — говорил ему с ехидной улыбкой: «Вас-то нам и надо, Сергей Леонидович!»

Он встал и увидел, что где-то мчится поезд, к стеклу вагона

прильнула Ирина... «Папка... па-а-па! — тянулась к нему из кровати плачущая Лялька. — Иди ко мне, папка! — требовала она, и говорил «прощайтесь!» кто-то из полицейских. Бросилась мать на шею, рядом с ребенком он увидел вдруг неизвестно откуда взявшуюся Веру Михайловну... «Простите меня! — крикнул он ей. — Потянуло сюда — и все тут!» — растолкал он полицейских и, тяжело дыша, хватаясь руками за что-то твердое, открыл глаза, проснулся.

В комнате было темно и тихо.

— Сон! — с облегчением вздохнул Сергей Леонидович. — Фу-ты...

Несколько минут он лежал с открытыми глазами, всматриваясь в темноту комнаты, ища очертания знакомых предметов, — словно хотел еще проверить себя.

Он коротко кашлянул, чтобы услышать свой голос, и тогда вдруг донесся шепот восторженной матери:

— Что ты, Сереженька?

Он понял: мать всю ночь не будет спать, чтобы вовремя разбудить его и выпустить на улицу. Он с благодарностью и нежностью подумал о ней и, не желая тревожить, прикинулся спящим.

Засыпая вновь, Сергей Леонидович поймал себя на странном желании: снится неприятный сон, он прерывается, человек дремлет опять и хочет вот, чтобы сновидение возобновилось. Это потому, что человек знает уже, что это только сон, что он не страшен уже и в действительности все — совсем иное...

Так думал теперь обрадованно и Ваулин.

Вечером, когда поезд на Киев остановился на станции Вырица, в вагон № 5 второго класса вошел новый пассажир и занял свое место в крайнем купе, где разместились курносый старик священник с рябой женой и барышня с толстыми косами, заложенными венцом на голове.

Священнослужитель и его страдающая одышкой супруга удивились, как быстро разговорились этот новый пассажир, очень напоминавший иностранца, шведа больше, и эта красивая, симпатичная на вид девушка из хорошей семьи, — они видели, что провожали ее на вокзале почтенная, заботливая мать и брат-гимназист в новенькой шинели.

Когда «швед» и барышня вышли вскоре в коридор, священник, перекрестясь, помянул дьявола и зло посетовал на разложение добрых нравов среди русских людей.

— Как тебя называть? — спрашивала Ириша под стук колес. — Если бы ты знал, как я волновалась!..

— Николай Михайлович... запомни. Николай Михайлович Сергеев, — отвечал Ваулин на ее вопрос.

Она не удивилась, как не удивлялась «Емелину» несколько дней назад.

Но он сам сегодня утром поражен был изрядно: ему вручили

«копию» с паспорта «Федора»! Почему так? Оказалось, что ничего другого приготовить в короткий срок не удалось, все «железки» уже был розданы другим. «Но как же можно было так скоро получить эту безупречную «копию»? — недоумевал он.

И тогда вдруг блеснула догадка, и он уже ни о чем не спрашивал, — Сергей Леонидович понял тогда, кто ведал в их организации «паспортным бюро».

Глава одиннадцатая

ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕТВЕРО

Ему было неприятно и докучно, он испытывал такое же чувство неудобства и беспокойства, как только что постригшийся человек — от мороза улицы и колючих мелких волос холодило затылок. А в смирихинском доме Георгия Карабаева, в обычно пустовавшем кабинете его, было натоплено сегодня сверх меры, — здесь старались угодить Ивану Митрофановичу.

Доверенное лицо Карабаева, его правая рука во всех делах — он выслушивал теперь хозяйственные новости, которые рассказывал ему управляющий махорочной фабрикой. Новостей, собственно, не было никаких: все шло, как и прежде, вполне благополучно, вот только в сушилке следует переоборудовать кой-где завалившиеся дымоходы, но это, в общем, чепуха и на работе фабрики никак не отразится.

Заложив руки в карманы, медленно, вразвалку, Теплухин ходил из угла в угол большой комнаты. Со стороны могло показаться, что он что-то напевает, и от его беззаботной — внешне — угрюмости веяло безразличием к любому серьезному делу. Да это и верно было в данном случае.

Управляющий, Соломон Евсеевич Пинчук, так и расценил эту теплухинскую малоразговорчивость, — он встал, чтобы попрощаться.

— Когда уезжаете, Иван Митрофанович? — спросил он.

— Сегодня.

— Счастливого пути вам, удачи.

На плоском, без фаса, бритом лице Пинчука лежала растерянность отвергнутого собеседника: он устал от замкнутости и безразличия Теплухина.

Соломон Евсеевич снял пенсне и, по привычке, хотел опустить его в нагрудный кармашек, но все еще, очевидно, не мог свыкнуться с тем, что пиджак перелицован, что кармашек теперь справа, — и рука с пенсне обшарила смешливо всю левую сторону.

«Зачем ему пенсне? — подумал, усмехнувшись, Иван Митрофанович. — Разговаривал со мной — как будто бухгалтерские ведомости читал, а теперь прячет пенсне, и без футляра — запялется!»

До Пинчука приходил с докладом управляющий суконной фабрики, волынский поляк Борджик — молодой высокий человек под пятьдесят. Он просидел целый час: и дел было много

(рядом с грубошерстной надумал предложить Георгию Павловичу строить еще войлочную фабрику), и любил, кроме того, побалагурить Борджик.

У него были мутные, словно плавающие в какой-то жидкости, умненькие глазки, золотистые крупные усы и желтая — посредине черноволосой головы — лысина величиной с медаль. Он рассказывал анекдоты.

Должен был еще приехать из Ольшанки старичок Бриних, — но, может быть, и не приедет, а прибудет только на вокзал, к поезду, так как сильно занят на заводе: сегодня сдают кожи интендантству.

Но не чеха Бриниха ждал сейчас Иван Митрофанович и не его телефонного звонка. Позвонить должен был другой человек.

«Но позвонит ли он!» — сомнение все время брало Ивана Митрофановича.

Беспокоило еще то, что, как назло, телефон был не совсем в исправности: от времени до времени желтая коробка на стене давала короткий, робкий прозвон, словно не хватало силы для соединения. Иван Митрофанович злобно поглядывал на телефон.

— Ну, чихни уже, черт... чихни!

Он заваливался с ногами на диван, много курил, брался за чтение книги, потом бросал ее, бродил по комнатам, останавливался у каждого зеркала и зеркальца, чтобы увидеть себя. В одном он был приятен себе, и это его успокаивало, другое — желтило и делало маловыразительным его лицо, он был хуже, чем представлялся себе, — и это раздражало Теплухина.

От папирос, от нетерпеливого томительного ожидания кружилась голова. Он чувствовал тяжесть, напоминавшую ощущения человека перед тем, как, сидя в неудобной позе, он засыпает в душном вагоне.

И когда раздался наконец долгожданный длинный звонок, Иван Митрофанович, сбросив с себя эту тяжесть, прыжком очутился у телефона.

— Ждете? — спрашивал Кандушин голос.

— Как условились вчера, Пантелеймон! — удивившись спокойствию своему, ответил Иван Митрофанович.

— Буду, — кратко сказал Кандуша.

— Когда?

— Как условились вчера, Иван Митрофанович. Как условились: аккуратно в час дня. Ждите.

Только теперь, повесив трубку, Теплухин понял, что зря все утро волновался: Пантелейка *должен* был прийти, и почему надо было думать, что он прибежит раньше назначенного времени?

Иван Митрофанович повеселел.

Он вышел на кухню, где жила сторожиха с семьей, велел сварить купленный вчера кофе, приготовить завтрак посытней, прищелкнув пальцами, сунул рубль на конфеты огненно-рыжей сторожихиной девчонке и возвратился в кабинет. Он проветрил комнату — выгнал в форточку осевший, как облако, папиросный

дым и с удовольствием вдохнул в себя сухой морозный воздух.

Иван Митрофанович пришел теперь в состояние того особенного возбуждения, при котором, предчувствуя успех или хотя бы надеясь на него, человек начинает думать стремительней и ярче, когда он преображается даже внешне и в каждом жесте своем, движении ощущает силу предвкушаемой удачи. Вот, кажется, рукавом тряхнуть — так легко все можно будет сделать!

«Согласишься, согласишься ты! — иногда вслух выкладывал свои мысли Иван Митрофанович. — Мой будешь, Пантелейка! Мой! Люди больше верят глазам, чем ушам. Мало ли что ты скажешь, а доказать силен ты? А я скажу — мне поверят. Пойми ты, ехидина, мне ведь больше доверия будет».

«А вдруг он пойдет, чтоб открыться? Вот возьмет и решит это? — соскальзывала боязливо теплухинская мысль в невеселую сторону, и тогда опять он чувствовал шершавый холодок на затылке и на минуту испытывал то докучное, мучительное состояние, в котором пребывал с утра. — А ведь позвонил, придет... Значит — страхи напрасны и глупы, чего же я?» — тотчас же успокаивал он себя.

И впрямь, все страхи рассеивались, и к Теплухину возвращалась уверенность в предстоящем успехе.

Он вспомнил в этот час Георгия Павловича.

«Что бы ни делали, — поучал Карабаев, — старайтесь, как говорят немцы, попасть в «головку гвоздя». Короткий удар в головку — и забьете скорей!»

«Ему лучше знать: у него гвоздильный завод на Демиевке!» — общучивал, улыбаясь, Иван Митрофанович карабаевские советы. Но сейчас, пожалуй, они были совсем кстати. Сделать предложение Пантелейке следовало прямо и точно, — решил он и с тем поджидал уже своего старого знакомого.

И подобно тому как, готовясь принять придиричвого гостя, наводишь порядок в доме, следя за тем, чтобы каждая мелочь в нем была чиста и на своем месте, — так и Теплухин торопливо изгонял теперь все мрачное из своих мыслей, готовясь к разговору с врагом своим Кандушей.

Весь день после столь неожиданной встречи, всю ночь Кандуша не знал уже покоя: перед глазами, в памяти — земская станция, раскрывшаяся дверь из остекленного коридорчика и... на пороге Теплухин и Людмила Галаган.

Теплухин сразу увидел его: воткнул в него свои рысьи глаза, но ничем виду не подал, что знакомы.

Вдова Галаган не сразу узнала: он отвернулся от нее к стене.

Желтые бумажки промысловых свидетельств, висевшие над столом; в черных рамках — вышитые пестрым гарусом изображения двух львов с неестественно загнутыми хвостами; тройка ретивых вороных в заливчатской нарядной упряжке, бородатый

богатырь-ямщик с той же тусклой репродукции — все это побегало, закружилось тогда перед Кандушиными глазами. Он сиделся, сообразить, что может произойти вот сейчас: от встречи его и этих троих людей.

Один из них — студент Калмыков — в тот момент, на счастье, отсутствовал, но мог появиться в любую секунду: студент ушел в комнаты — вызвать своего дядю — почтосодержателя. Надо было воспользоваться его отсутствием и прошмыгнуть как-нибудь во двор, а потом уж найдется объяснение, почему так поступил.

И Кандуша вялой походкой безучастного ко всему человека, бочком, пользуясь тем, что Людмила Петровна в сопровождении своего спутника направлялась ко внутренней двери калмыковской квартиры, шагнул по направлению к кухне.

Но тут-то Людмила Петровна оглянулась, его лицо бросилось ей в глаза, она удивленно вскрикнула:

— Он! Господи, он!.. Каким чудом вы здесь? — отшатнулась сначала, а потом подбежала к нему и схватила за руку.

«Так? Все как будто бы так было?» — вспоминает он.

В самом деле, — рассуждал он после встречи, — что страшного они могут ему сделать? («Они» — это был и Теплухин, и студент Калмыков, и Людмила Петровна.) Что может стрястись непоправимого? Да ничего, пипль-поплы!

Вдова Галаган расскажет, что видела его в квартире какого-то «инженера Межерицкого», где собрались распутницы, а значит — и люди из охранного!.. Но кому же она станет рассказывать и с какой целью?

Теплухину? Не страшно это: тот и так, слава богу, все про него, Кандушу, знает, да молчит, и его не удивишь.

Студенту? А зачем станет она не бог весть как знакомому студенту исповедаться о том, что путалась с распутинской компанией, — срамить только себя?

И раз она ему ничего не откроет, то почему он станет ей рассказывать про встречу с Кандушей на тишкинском поплавке, про разговор на Невской набережной?.. Нет, студента он провел за нос: развесив уши, слушал, голуба, историю о том, как пострадал «Петр Никифорович» недавно в Питере от полиции...

Так и выходило на первую поверку раздумий: встреча хоть и досадна и неприятна, конечно, но ничего нет в ней страшного, о чем следовало бы по-настоящему волноваться.

Однако... ночью не спалось, и не клопы отняли сон, а беспокойные мысли...

— ...Каким чудом вы здесь?

Кандуша взглянул на нее и, кажется, не нашелся сразу, что ответить. Ему показалось тогда, что в голосе Людмилы была как будто даже радость, — а может, почудилось в тот момент?..

— А вы откуда? — вопросом на вопрос успел он только ответить, как показался в дверях студент Калмыков со словами: «Дяди нет, скоро придет...»

Студент увидел Теплухина и удивился. И совсем уж обомлел, глаза вытаращил, когда обернулась на его голос Людмила Петровна.

— Боже, какая встреча! — воскликнула она.

И каждому из этих четверых людей подумалось, вероятно, что вот именно *этот*, такой-то, не может знать *всего*, что связывало троих остальных. Конечно, именно это обстоятельство, — считал Кандуша (а так судили, вероятно, и остальные повстречавшиеся), — сдерживало всех от столкновения, которое бог весть чем могло закончиться.

Все старались скрыть свою растерянность, но никто из них не хотел уже терять друг друга из виду.

— Заказывайте лошадей обратно, Людмила Петровна, — сказал Теплухин.

— Мы еще увидимся, — поспешно выдавил из себя Кандуша, не обращая ни к кому в отдельности, и бочком, натолкнувшись на массивное черное кресло, вышел на крыльцо.

Но когда спускался — догнал его Иван Митрофанович.

— Пантелеймон! — окликнул он его. — На одну минуту... Быстро! Нам надо встретиться. Очень серьезное дело, — слышишь? Коли я говорю, значит — не сомневайся. Тебе же польза будет.

— А вам? — спросил Кандуша.

— Нам обоим, слышишь?

И они условились о встрече, и Теплухин не возвратился сразу в комнаты, а, к удивлению Кандуши, походкой праздного человека стал прогуливаться по двору.

«...Так? Все как будто так было?» — вспоминает Кандуша и снова перебирает в памяти каждую минуту и каждый чужой жест и взгляд и в разный час по-разному толкует их для себя.

...Они стояли друг против друга — оба довольные, что их оставили наедине.

— Боже, какая встреча... какая встреча! — несколько раз повторяла Людмила Петровна, и Феде казалось, что каждый раз — с новой интонацией, как с новой музыкальной ноты, по звуку которой он должен был разгадать скрытый мотив, скрытое значение ее слов.

— Я приходил к вам в Петербурге, но вас уже не было, — сказал он. — Я хотел вас видеть.

— Да, да, — криво усмехнулась она. — Мне пришлось уехать.

— И я не знал, где вас искать! — вырвалось у Феде.

— А вы хотели меня искать? Для чего?

Нервно и капризно вздрогнули ее тонкие, серьгою вырезанные ноздри, уголки рта проколола ироническая улыбка, вспугнувшая немного Федю.

«Надо забыть все, что произошло там, в Петербурге, между нами, — казалось ему, говорила эта улыбка. — Мне неприятно. Держите себя скромней, господин студент!»

Но он только и думал сейчас о том, что случилось с ними обоими в петербургской асикириковской комнате, он был сейчас в пле-

ну этой сладостной, волновавшей мысли и... растерянно, борясь с учащенным дыханием своим, переспросил:

— Для чего?

Он хотел отвести свой взгляд, но сделал не то, что хотел: заглянув в ее разбурявшееся на морозе лицо. В больших серых глазах, мгновенно принявших прежнее выражение холодного любопытства, не ждавших этого Фединого взгляда, он уловил вдруг ту же мысль, то же воспоминание, что и его волновало. Он был счастлив!

— Мне нужно заказать лошадей на обратный путь,— сказала Людмила Петровна.— Где почтосодержатель?

— Он должен через несколько минут здесь быть. Куда же вы поедете?

Федя окинул взглядом комнату для проезжающих.

— Нет, я без вещей,— поняла его Людмила Петровна.— Я обратно в Снетин.

— Завтра? — с надеждой в голосе спросил Федя.

— Сегодня.

— А я думал...

— Вы много думаете. Не устаете от этого? — засмеялась она.

— Нет! Я все время думал... все время, Людмила Петровна! — особой интонацией голоса напомнил ей Федя, о чем именно он думал.— Неужели сегодня уже обратно?

— Да, так решила.

— И нельзя перерешить?

— Не собираюсь. Мне к нотариусу — и больше нечего делать.

— А если лошадей сегодня не будет?

— Вы мне поможете их достать!

— Вы уверены в этом?

— Вам придется доказать, что я не ошибаюсь в вас!

— Я не смею послушаться вас, но... если все-таки все лошади в разгоне?

— Вы говорите со мной как почтосодержатель... казенно!

— Я внук и племянник почтосодержателя! — шутил Федя.

— Вот поэтому я вас и прошу, только поэтому! — смеялась и шурила она глаза.

— Я думал о себе лучше.

— Напрасно!.. А вы-то надолго сюда? Вы ведь в Киеве учитесь, почему вы здесь? — заинтересовалась Людмила Петровна.

Он должен был объяснить ей истинную, печальную причину своего неурочного приезда сюда, но решил скрыть ее.

Ему казалось, что, узнав о постигшем его несчастье, Людмила Петровна, естественно, изменит весь тон, в каком шел у них разговор: тон короткой шуточки, интригующих намеков, необнаруженных, скрытых воспоминаний о том, что стало теперь в их жизни интимным и грешным; и что поведает он, Федя, сейчас о другом событии в своей жизни — очень грустном и тоже интимном,— и Людмила Петровна, как всякий бы человек на ее месте, начнет выражать соболезнование, смутится, пожалеет о своей непринуж-

денности, веселости, а возвращаться к этому тону их разговора будет уже неловко.

И Федя, подавив в себе вздох при мысли о свежей могиле отца, отвечал:

— Очевидно, — судьба, что я здесь!

— Так же как и то, что я приехала, — сказала Людмила Петровна.

— Правда? — воскликнул Федя обрадованно: он увидел небо отверстым!

— Я совсем не ждала этой встречи... — задумчиво сказала Людмила Петровна, пододвигая себе кресло и садясь в него. — Как странно!

— Да, странно. Я тоже не мог предполагать еще десять минут назад, что так случится, — подошел Федя к ней.

— Кто этот человек в финской шапке, который только что вышел отсюда? — неожиданно спросила она. — Вы его знаете?

— А что?

Федя не знал еще, как ответить.

— Вот уж не думала, что я его здесь увижу...

— Так вы о нем сию минуту говорили? — раздосадовался Федя. — А я думал...

— Опять думали? Ох вы, милый... упрямец! — пожурела его Людмила Петровна.

— Значит... вы о нем!

— Да, о нем. Подите догоните его! — вдруг попросила она.

— Его? Зачем?

«Неужели он не врал? — ревниво подумал Федя о выскользнувшем из комнаты Кандуше. — И лошадей хотел нанять куда-то в уезд. Что же это? В Снетин, к ней?.. Но ведь врал, врал! — вспомнил он, как поймал на лжи Кандушу, читавшего чужое письмо на поплавке. — А что же есть тогда между ними?.. И Теплухин вышел — зачем?»

— Скажите, Федор... Федор... — она забыла его отчество.

— Миронович — подсказал он.

— Скажите, Федор Мироныч, что я хочу его видеть. Обязательно!

— Вот как?!

— Ну, пожалуйста, быстрее!

— Вы настаиваете?

— Да, да... Мы еще с вами поговорим.

— Сегодня?

— А может быть, и сегодня и завтра, — сказала она многозначительно, и это неожиданное, обещающее «завтра» после того, как решила раньше по-иному, сдвинуло Федю с места.

— Иду! Значит... еще увидимся, правда?

— Да, я этого хочу, — тише обычного произнесла Людмила Петровна.

Он высочил в коридорчик, оттуда на обнесенную снегом веранду — чуть не упал, поскользнувшись у порога.

Отсюда он увидел сутулую спину удалявшегося по переулочку Кандуши. Догнать его — было делом одной минуты: Федя побежал было за ним, но тотчас же остановился, — окликнул Иван Митрофанович:

— Куда это вы, Федя, бегом? Погодите.

— Я сейчас, Иван Митрофанович... Мне нужно догнать!

— Кого?

— Видели в комнате господина в финской шапке?.. Насчет лошадей...

— Пойдите! — удержал его за руку Теплухин. — Ничего не понимаю. Зачем вам бегать?

— Ваша спутница попросила.

— Она?

— Да, она! — заметил Федя, как нахмурились теплухинские брови.

— Оставьте это дело, — сказал Иван Митрофанович. — Чепуха все это, блажь!

— Чья блажь?

— Моей спутницы. Нам надо с ней торопиться, надо по серьезному делу, а тут еще задерживайся! Пойдемте обратно.

— Ну, а этот человек?.. Я ведь обещал!

— А кто он такой? Кстати, вы-то его знаете? — заполз в Федины глаза нарочито безразличный взгляд Ивана Митрофановича.

— Нет! — быстро соврал Федя, сам не зная в ту минуту почему.

— Ну, вот видите, — улыбнулся с облегчением Теплухин. — А бегаєте, как мальчик! Пойдемте обратно.

— А вы?

— Что я?

— А вы тоже не знаете? — спросил Федя.

— Кого?

— Да вот этого человека?

— Понятия не имею, дорогой Федя, — развел руками Иван Митрофанович. — Пойдемте, отыщите вашего дядю — пусть даст лошадей, — торопил его Теплухин. — Я уж во дворе искал его, да не найти.

«Так ты не знаешь Кандушу? Напрасно! — думал Федя. — А у него письмо к тебе Людмилы, — откуда оно? Знал бы ты только, и если бы она знала?! Увидимся и сегодня и завтра... — повторил он в уме ее обещание. — Черт, да я же по-настоящему влюблен! Я ее люблю, я о ней думаю! Федька, балда ты, осел вифлеемский, разве ты этого не чувствуешь? — обращался он к себе во втором лице и отвечал: «Чувствую!»

— Идите в дом, — сказал он Ивану Митрофановичу. — А я отыщу дядю.

Семена Калмыкова нашел в ямщицкой избе.

Тут шла перебранка между старостой Евлантием и ямщиками, ссорившимися друг с другом: кому в какую очередь и куда ехать.

Семен, человек слабохарактерный, принимал то сторону одного, то другого. Матерщинили после каждого слова ямщики, — он тоже от них не отставал и старался кричать больше всех.

Кухарки Матрены давно уже никто здесь не стеснялся. Рябая, будто на ней горох молотили, вечно беременная, с уродливо опущенными грудями, прозванными в насмешку «церковными колоколами», — она толкалась у давно не беленной русской печи, орудуя деревянными лопатами и почерневшими ухватами.

Мал мала меньше кухаркины дети — косопузенькие, рахитичные и подозрительно разномастные — ползали на ямщицких нарах, покинув свой отгороженный закуток.

В избе густо пахло кислыми щами, обильно выкуренной махоркой, дегтем, овчиной, сбруей, — Феде было трудно дышать здесь.

У него было такое ощущение, что вонь избы плотно оседает на его шинели, на всем его платье, на руках, лице (того и гляди, принесешь ее в дом, где ждет его Людмила Петровна, — осторожничал он), и Федя почти насильно вытащил Семена Калмыкова в сени.

— Дядя, там пришли просить лошадей.

— Никаких лошадей сегодня! — махнул рукой Семен. — Ты, кажется, слышал, что тут за ярмарка?

— А завтра?

— Сейчас я ничего не могу сказать. Завтра — посмотрим. А тебе чего хлопотать? Кому это надо ехать? — удивленно посмотрел на него Калмыков.

Но Федя уже был во дворе.

«Кому... — усмехнулся он. — Скажи тебе — и ты мне все испортишь!»

Действительно, стоило только сказать, что лошади нужны дочери генерала Величко, и Семен бы уже расстарался: память о покойном Петре Филадельфовиче, всегдашнем покровителе калмыковских дел, тепло жила в этой семье.

«Сегодня лошадей нет», — скажет Федя, возвратясь в дом. Важно — не быть пойманным во лжи, чтобы не переменяла к нему отношения Людмила Петровна, захоти она справиться у Семена.

«Человека того не догнал», — советует он во второй раз. Но, приготовившись к этому, Федя вдруг подумал, что Теплухин может его выдать — просто так, чтобы посмеяться над ним, унизить в глазах своей спутницы — и он решил было простоять на морозе несколько лишних минут, в течение которых якобы выполнял поручение Людмилы Петровны, но тут же пожалел этого времени, проведенного без нее, и побежал в дом.

«А если Теплухин проболтается, скажу, что он сам меня удерживал почему-то!» — прикинул в уме Федя.

«А почему в самом деле удерживал? — подумал он теперь, открывая двери в калмыковскую квартиру. — Сказать ему про Кандушу и письмо или нет?»

Глава двенадцатая

ЧЕК НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

В прихожей Кандуша разделся, заглянул в зеркало, поправил гребенкой прическу и учтиво спросил Ивана Митрофановича:

— Куда прикажете?

— Прошу сюда,— указал Теплухин на дверь кабинета.

— Ага...— поклоном головы ответил Кандуша и шагнул не вбок, а прямо перед собой — в бывшую карабаевскую гостиную.

— Нет, сюда, сюда! — думая, что он ошибся дверью, вторично указал на нее Иван Митрофанович.

— А я — посмотреть, минуточку посмотреть! Пустует квартира — сирота покинутая... Правда, Иван Митрофанович? Как скажете? Посмотреть разрешается,— а? — сыпал слова горошком Кандуша, обходя уже все комнаты и нигде долго не задерживаясь.

— О, пожалуйста! — догадавшись теперь об истинной причине Кандушиного любопытства, сказал Теплухин. — Это летняя резиденция господина Карабаева. Кто-нибудь захочет приехать — дом наготове. Лучшей дачи не надо. Посмотри, какой тут сад спускается к реке.

Они подошли к ошпаклеванной на зиму стеклянной двери, выведившей на огромную террасу, аккуратно очищенную от снега.

— Во какой сад! Не сад, а садище!.. — поражал сегодня Теплухин своей разговорчивостью, да еще по таким, казалось бы, пустякам. — Вот там, налево, за поворотом, — разные усадьбные постройки, конюшня, ледник, оранжерея, и все наготове, а квартира пустует. Собственно, хозяин в ней тот, кто живет здесь: владельцев круглый год нет.

— А кто живет? Есть тут кто-нибудь? — выпытывал Кандуша.

— Есть. Сторожиха, дочка ее, кот да собака, — успокоил его Иван Митрофанович. — Нам никто, Пантелеймон, не помешает и не услышит. Понятно?

— Очень даже!

Они возвратились в кабинет.

— Я сейчас... — сказал Иван Митрофанович, покидая гостя.

Через три минуты рослая румяная сторожиха внесла на большом подносе кофейник и приготовленный завтрак и сразу же ушла, так и не увидев гостя, потому что он стоял спиной к ней и сосредоточенно рассматривал в ту минуту висевшую над диваном картину.

— Прошу садиться, — хозяйничал Иван Митрофанович, наливая в чашки из кофейника. — Один, знаешь, государственный деятель — Талейран — говорил так про этот напиток: кофе, говорил он, должен быть горяч, как ад, черен — как дьявол, чист — как ангел, и сладок — как любви! Каково, — а? — старался он быть как можно веселей. — Хорошо сказано!.. А вот молочник. Или ты, Пантелеймон, как тот государственный деятель, — больше черный уважаешь, — а?

— Мне — с молочком: излишнее, позволю сознаться вам, сердцебиение избегаю,— вот что! Черный кофе, Иван Митрофанович, теперь много потребляют — чтоб по причине сердца не брали в солдаты. Еще бельма себе ставят, махру пьют, шерстяные нитки пропускают под кожей для заражения...— тоже разговорчивостью в ответ платил Кандуша, дожидаясь, покуда хозяин первый пригубит и глотнет горячий кофе: а ведь черт его знает, что может капать в кофе такой человек, как Иван Митрофанович,— казнит и не поморщится!..

— А ты все знаешь! — поддерживал разговор Иван Митрофанович.— Все проделки дезертиров... а?

— Все, позволю себе заметить! Хе-хе... Все...

Теплухин вспомнил в эту минуту амурскую «колесуху» и отчаявшихся каторжан, прибежавших к тем же средствам,— он быстро отогнал это неприятное воспоминание и сказал:

— Кушай...

— Благодарю, Иван Митрофанович.

— ...да начнем наш разговор... Или как ты? Может, еда помешает тебе серьезно думать? Знаешь, есть такие люди...

«Много церемоний с ним. Чего в самом деле? Оглушить его, а там посмотрим!»— утвердился в своей мысли Иван Митрофанович и приготовил уже в уме первые слова, которые скажет вот сейчас Пантелейке.

— Гос-споди боже мой, да разве мне трапеза обязательна? Амины! — отодвинул Кандуша чашку и положил обратно на тарелку взятый на вилку кусок ветчины.

— Аминем твоим квашни не замесишь! — недовольно улыбнулся Теплухин его жесту.— А замесить дело надо... дело,— понимаешь? Так вот... Деньги получить хочешь? Я дам денег,— неожиданно для собеседника громко и твердо сказал Иван Митрофанович.

По растерянному выражению Кандушиного лица он понял, что тот никак не подготовлен был к такому прямому вопросу. Пантелейка потянулся на стуле, потом плечи его опустились, руки, лежавшие на чайном столике, теребя салфетку, медленно, заторможенно сползли вниз, веки замигали. Он молчал.

— Вздохни и вымолви! — мягко посмеивался Теплухин.— Много воздуха набрал в себя — разорвать может!

— Смеетесь,— угрюмо потупил глаза Кандуша.

Лицо его посерело, как жесть.

— Да нет, я серьезно. Очень серьезно. Пантелеймон Никифорович,— впервые назвал его полным именем Теплухин.— Даю деньги. И не малые.

— За что?

— Деньги, Пантелеймон, слепы: за что отдаешь — не видят.

— Ну, а человек?

— Человек видит, что ты прав. Даю деньги, чтобы забыли мы с тобой все,— понятно? И чтобы ты всегда помнил, что ты их взял! — открыл свои намерения Иван Митрофанович.— Карты

розданы, Пантелеймон Никифорович. Играем в открытую, в колоде больше нет.

— А что козырь? — стиснув зубы, заиграл желвачками на лице Кандуша.

— Козырь? Ум, понятливость — вот что козырь! Соображаешь?

— По мере скудных сил, Иван Митрофанович!

— Скудных... шутник ты, вижу, Пантелеймон! У всех умных людей много общего, брат. Скажи: меня дураком считаешь, нет?

— Гос-споди боже мой, что только скажете!

— Ну вот. И я твою башку ценю. Ты знай: ценю!

— Боитесь... — криво усмехнулся Кандуша своим собственным мыслям. — Остерегайтесь чего-то.

— Конечно, остерегаюсь! — весело сознался Иван Митрофанович. — Скажи я иное — все равно не поверишь. Не так? Я остерегаюсь, да и ты святого не корчи! Ну-ну, не изображай невинность! — все с той же обезоруживающей веселостью, но с угрозой в голосе сказал Теплухин в ответ на удивленное поджатие Кандушиных губ. — Ведь карты на стол выложены, все масти видны. В свой страх не веришь... а хочешь, мы эту карту разыграем? Нечистоту! Хочешь?

Нет, Кандуша еще не собрал себя всего, не подготовлен был к такому прямому разговору, хотя мог ждать его, идя сюда. Он никак не предвидел, однако, теплухинского предложения о деньгах, оно свалилось, как снег на голову, ввело в смущение и расстроило обдуманый раньше план Кандушиного поведения.

Надо было выиграть время: спрашивать, а не отвечать. Кандуша задвигал кончиком носа, как принюхивающийся зверек, и осторожно сказал:

— Чего хотите, Иван Митрофанович?

— Спокойствия. Для нас обоих — спокойствия!

— Гос-споди боже мой, а разве не имеете его?

— Имею.

— Ну, так что же еще?

— Имею, а вот хочу еще большего.

— Вот и выходит, позволю себе заметить, жадность какая! — воскликнул насмешливо Кандуша. — Сытых глаз, пипль-поплъ, на свете нет!

И сам думал в этот момент:

«Боишься. Вижу — ох, как боишься! А мы тебя еще пощупаем... Деньги, деньги — вот вопрос! Сколько! За что? Раскрой ротик, куколка, «а-а-а», язычок высунь, все выложи, губастый волк!» — смотрел он исподлобья на Теплухина.

Иван Митрофанович, прервав завтрак, закурил, поковырял спичкой меж зубов — долго, сосредоточенно, как будто забыл обо всем остальном и был поглощен только этим занятием.

Такое неожиданное равнодушие собеседника немного смутило Кандушу. Верный своему решению не говорить ничего лишнего,

он тоже замолчал и медленными глоточками принялся допивать остывший кофе.

— Ну, так как все же? — прервал молчание Иван Митрофанович. — Сообразил ты? Подумал, — а? — нарочито вялым, безразличным тоном спросил он, расставшись наконец с зубочисткой.

— О чем, Иван Митрофанович?

— О деньгах... О деньгах, друг мой. Сытых глаз, говоришь, на свете нет? Это-то верно, — нараспев произнес Теплухин. — Оттого всюду взятки берут. Куда ни глянь — всюду берут. И ничего, в порядке вещей, — а? — насмеялся он над кем-то третьим, отсутствующим. — Недаром, брат, теперь в разных ведомствах так и говорят: помилуйте, батенька, перо... обыкновенное перо — и то в себя чернила берет, а как же нам насухо делать?! Вот видишь?

— Преступление это, Иван Митрофанович! Карать надо. Взятка!

— Выгодное и удачное преступление называется добродетелью, Пантелеймон. Неудачное, глупое — вот это взятка!

— Хороша добродетель, пипль-поплъ!

— Тебе предлагаю истинную добродетель.

— Я на преступление не пойду... — бормотнул Кандуша.

— Ты бы перекрестился еще! — высмеивающим взглядом посмотрел на него Иван Митрофанович. — Святоша какой... Евангелиста Матвея какого-нибудь вспомнил бы еще, а?... Бодрствуйте и молитесь, мол, чтобы не впасть во искушение. Дух, мол, бодр, а плоть немощна!

— Не пойду. Никак не пойду, — твердил Кандуша.

— А я тебе и не предлагаю никакого преступления.

— Как так? Предлагаете!

— Какое же!

— Не осведомлен, покуда еще не осведомлен, но предлагаете, Иван Митрофанович! Вы такой человек, что и бога слопаете!

— Невесомой пищи избегаю употреблять, — усмехнулся Теплухин. — А тебе вот что скажу: хитришь и упрямствуешь! Знаешь, про таких, как ты, говорят: на слепого очков не прибежешь. И верно: кто не хочет понять, тому не объяснить... Напрасно, напрасно, Пантелеймон! Играем, я тебе уже говорил, открытыми картами.

— Не вижу я ваших, — уклончиво сказал Кандуша.

— Изволь!

Иван Митрофанович привстал, поднял быстро стоящий между ними столик с кофейником, чашками и закусками, отставил его в сторону, а свой стул придвинул вплотную к кандушиному. Теперь они сидели колено в колено.

— Изволь, — повторил Иван Митрофанович. — Рассуди все, Пантелеймон. Ты вроде — государственный чиновник, служащий департамента полиции. Ты нетерпим к взятке — такой ты, брат, чистый да с честными принципами. Ладно. Забыв все, приветствую, Пантелеймон, такого безупречного служаку русской поли-

ции. Ты не усмехайся: я ведь не в шутку это говорю... За что я предлагаю деньги такому человеку?

— А верно: за что? — не скрывал своего любопытства Кандуша.

— Вот именно: за что?.. За то, чтобы он перестал быть верным служакой и передался бы врагам полиции? За это? Нет, деньги-то я предлагаю за другое: оно и отношения никакого не имеет к твоему исполнению служебных обязанностей. Дело тут — наше, частное. Дело взаимное. Но... вот что. Я хочу помочь государственному чиновнику Кандуше. Хочу удержать его от преступления и не выдать, брат, того преступления, которое он уже совершил!

— Да что вы, господи боже мой, говорите? — вскрикнул Кандуша и поднялся со стула, но Иван Митрофанович, схватив за руку, почти силой усадил его на место.

— Говорю то, что ты слышишь!

— Какое же я преступление по службе делал?

Он увидел близко-близко устремленные на него теплухинские рысьи глаза. Зрачки их по-кошачьи то суживались, то расширялись, — им могло быть больно от такого напряженного состояния, от того, что взор сведен был к одной близко поставленной точке, но Иван Митрофанович не отводил глаз, и Кандуша вынужден был принять этот поединок столкнувшихся взглядов.

Но ненадолго — на десяток секунд: что-то знакомое, неожиданно знакомое увидел он в гипнотизирующих теплухинских глазах и, устранившись, скосил свои в сторону. По сходству взгляда ему вспомнились сейчас хорошо изученные *покоряющие* глаза петербургского «старца», и он готов был даже признать, что один теплухинский глаз, как и у того, — со вздрагивающим желтым узелком, которого раньше почему-то не замечал.

— На Ковенском! — ударил в «головку гвоздя» Иван Митрофанович. — Ты хотел раскрыть фамилию человека, о котором ты не имеешь служебного права никому ничего говорить!

— Вы это знаете, гос-споди боже мой?..

— И не только это.

— Плохо знаете! — спохватился Кандуша. — На испуг берете, Иван Митрофанович... Пожалее!

— Ой ли? Что обещал рассказать госпоже Галаган? Откуда ты мог взять сведения о человеке...

— О вас! — уязвил его Кандуша.

— Да, обо мне! — положил ему руку на плечо Иван Митрофанович. — Обо мне... Откуда взял, как не из тайного, но официального источника? Кто позволил? Начальник разве тебе позволил?

«Да я подслушал вовсе!» — хотел отпарировать удар Кандуша, но уже не посмел.

— Но это еще не все... — продолжал его более сильный противник. — Ты, Пантелеймон, помог бежать из тайной квартиры департамента полиции женщине, которую, — сам понимаешь, — не зря туда привезли для разговора и не зря потом наказали высыл-

кой за участие в офицерском заговоре!.. Ты, может быть, тем самым помог тогда прятать концы в воду. Ты, Пантелеймон Никифорович Кандуша, тайный сотрудник департамента полиции, особо доверенное лицо известного в департаменте чиновника Губонина... ты — соучастник, пособник антиправительственного дела, скрывший свое преступление от начальника! — медленно, раздельно, с холодной торжественностью в голосе произносил Иван Митрофанович. — Если все это станет известным — Пантелеймон Кандуша отправится туда, куда Макар телят не загонял, — понятно тебе? Послушайся меня, Пантелейка! — впервые сегодня назвал он его этим неуважительным именем, видя, что враг уже сломлен, что удар по нему оказался сокрушительней, чем мог предполагать. — Говорил я тебе, что играем с открытыми картами? Козырная масть — вот она! — ткнул он себя в грудь. — Сколько у тебя на руках моего, — а? Мало, совсем мало! Короткая у тебя игра... Самое большое что? Ведь большего не придумаешь, чем есть, а? Но что получится — рассуди? Я останусь, а ты себя сгноишь. Да и так сразу тебе поверят? Шалишь! Если бы я не знал, что ты донесешь на меня вдове Галаган, верно, другое дело было бы: ты в стороне, а мне — выпутывайся, как можно! Но теперь я все знаю и... не прощу! — был он больше чем откровенен.

— Вы уж до конца... до конца, Иван Митрофанович! — просил теперь Кандуша. — Чего же вы остановились? А ну... ну!

Теплухин верно понял его состояние: Кандуша обессилевал с каждой минутой. Как он мог защищаться? Удар пришелся по самому больному и незащищенному месту.

«А ну еще, посмей-ка!» — так ведет себя во время драки человек послабее, которого тузят, а он только угрожает, что вот-вот размахнется и тоже ударит, но все знают, что он пузе всего боится именно этого, рискуя уже потом быть сбитым наземь кулаком расвирепевшего, беспощадного противника.

Кандуша был похож сейчас на такого храбрящегося, поддразнивающего человека, бессильного что-нибудь сделать.

«Никуда ты не уйдешь от меня, — едва скрывая свою радость, думал о нем Иван Митрофанович. — Тебе некуда от меня уйти. И зачем я только так волновался раньше? Никуда, никуда не уйти ему!»

Он вспомнил в эту минуту свой давнишний разговор с Губониным на скамейке здешнего, смирихинского летнего сада над обрывом, вспомнил, что сам был в таком же положении, как сейчас Пантелейка, что тягостно было думать, собирать для защиты свои разбежавшиеся мысли в присутствии умышленно замолчавшего врага-победителя, что таким же неожиданным молчанием измучивал его тогда опытный охранник Губонин, — и Теплухин не то-ропился теперь с ответом.

— Двухязычный вы, Иван Митрофанович: из одного рта у вас и тепло и холодно! — не выдержал казни молчанием Кандуша. — Не разберешь вас, позволю себе заметить!

На крупных, отстегнутых губах Теплухина появилась улыбка.

— А чего не разобрать-то?

— Помыслов ваших.

— Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, как у Екклезиаста сказано! — смеялся Иван Митрофанович. — У тебя ведь тоже были свои помыслы? Отказываешься от них? — быстро перешел он на сухой, строгий тон.

Кандуша молчал.

Теперь он понимал, больше чем когда бы то ни было, что действительно этот человек казнит — и не поморщится! Схватил он его, Кандушу, и не выпустит, пипль-поплы!

Вываться? Пожалуй, можно было бы еще вываться, но уже меченым, с неустранимыми следами от его цепких рук: может, ошибка Кандушина на ноготок, а перескажет Теплухин с локоток.

Ошибка... Ох, какая черная ошибка вышла с этой вдовой Галаган! Ведь суждено же было поскользнуться на такой корочке, пипль-поплы!..

— Отказываешься? — переспросил Иван Митрофанович. — Говори!

Он вынул из жилетного кармана часы, открыл крышку и посмотрел на них, потом перевел взгляд на Пантелейку, притронулся к нему рукой.

Кандуша следил за его движениями.

— Как доктор вы... Пульс, может, вам? — усмехнулся он с горечью.

— Нет, — язык, Пантелеймон! Язык!.. Это, знаешь, та часть тела, брат, по которой медики распознают болезни телесные, а мы с тобой — душевные!.. В последний раз спрашиваю: отказываешься?

Кандуша беспомощно развел руками.

— Вам быть военным прокурором, позволю заметить, Иван Митрофанович...

— Благодарю, не собираюсь пока. Тебе две или три?

— Чего это? — искренне не понимал Кандуша.

— Денег, с твоего разрешения! Деньжат. В придачу к твоему спокойствию! — беззлобно насмеялся уже Иван Митрофанович. — Я вот не решил еще: две тысячи или три? Как ты считаешь, — а? Две или три? Ведь сытых глаз на свете нет, говоришь? Я ведь не обманывал, когда говорил про деньги. Ну, мне некогда, друг мой. Руку, Пантелеймон, руку! Ну?

Он встал и протянул, вплотную сдвинув пальцы, натянутую ладонь свою — желтоватую, с резко очерченными линиями.

— Мир и согласие? Ну?

И крепко — так, что охнул Кандуша, — сжал его безнадежно опустившуюся навстречу, горячую руку. Руку укрощенного врага.

Теплухин вынул чековую книжку, присел к столу заполнить ее.

— На предъявителя. Можешь получить в киевском банке, на Крещатике.

Он вышел из-за стола, держа в руке синий чек.

— Садись, пиши, — сказал он. — Чего так смотришь, как ба-
ран на новые ворота? Расписку... расписку пиши! Такого-то числа
я, такой-то, получил от такого-то, действующего по доверенности,
выданной в городе Киеве Георгием Павловичем Карабаевым и за-
регистрированной у нотариуса такого-то, — все это я тебе скажу
точно, — получил три тысячи рублей за оказанные услуги.

Кандуша послушно выполнил все, что продиктовал ему Иван
Митрофанович.

«Письмо!..» — был убежден Кандуша, что и письмо потребует
безжалостный победитель, но этого не случилось; значит — сту-
дент Калмыков ничего не разболтал!..

— А мне, позволю заметить, какая же расписка насчет ваших
действий? — опасливо спросил Кандуша.

— А вот она! — весело ответил Иван Митрофанович, протя-
гивая ему чек. — Можешь ее хранить, если ты дорожишь моей
подписью. Однако рекомендую вместо одной этой бумажки полу-
чить из банка много других — казначейских...

— Но значит... по правде будем жить, Иван Митрофанович?
Без обмана, извиняюсь за слово?

Теплухин в ответ прижал руку к сердцу и кивнул головой.

Глава тринадцатая

ЛЮБОВЬ ПРОДОЛЖЕННАЯ

Случайная связь с Калмыковым всегда стояла в
памяти Людмилы Петровны. Все было полно такой неожидан-
ности, что походило на какое-то наваждение... Впрочем, сознавала
Людмила Петровна, оно началось еще до того, как очутилась
в комнате журналиста Асикритова: оно началось там, наверху, где
пировал тобольский «старец», рыжая актриса Лерма и этот низень-
кий толстячок с всклокоченной, выющейся бородкой и бегающими
разноцветными глазами — противный человек, фамилии которого
она так и не узнала.

Ей стыдно бывает теперь вспоминать волновавшие ее ощу-
щения, всю грубую простоту и настойчивость которых она испыты-
вала тогда впервые в жизни с такой болезненной силой. Она не
могла устоять против них и — бежала...

Зачем она пила в тот вечер? Куда сатана не может сам пойти,
туда посылает он гонцом вино, — разве неправильно это сказано?..
Но, боже мой, никогда раньше вино на нее так не действо-
вало!

Она помнит: сначала в комнате их было трое, потом Фома
Матвеевич куда-то вышел и больше уже не возвращался, и она
осталась вдвоем со студентом. Он напоминал ей чем-то застрелив-
шегося Сергея, покойного мужа. Тоже скуластенький, с темно-си-
ними глазами, с мягкими черными усиками. От него тоже пахло
вином, — но, может быть, это ей тогда показалось?

На столе возилась кошка и два рыжих с темными пятнами котенка: они лакали молоко из асикритовской тарелки, залезая в нее лапками. Комната была ярко освещена, виден был весь царствовавший в ней беспорядок жилья-холостяка.

Помнит,— она попросила студента выгнать кошек: они мешали ей, нервировали, ей хотелось, чтобы ни одно живое существо, даже эти безобидные маленькие животные, не было здесь сейчас, словно они были в состоянии что-либо подглядеть и вызвать у нее стыдливость.

Она поступала так, как будто знала уже, что должно будет случиться.

— Потушите свет,— приказывала она.— Белая ночь великолепна. Ну, сядьте рядом, расскажите что-нибудь... За мной погоня была... я вам уже говорила, кажется! Ну вот... я опьянела немножко. Можно мне облокотиться на вас? Можно?.. Вы меня не ругайте, ради бога... Не будете ругать?

Они оба молчали, и не было сказано ни слова и тогда, когда она провела вдруг трепетной рукой по его мягким волосам раз, другой, третий, а он обнял ее неуверенно за плечо.

Потом, глубокой ночью, когда она уходила, студент нежно поцеловал ее руку.

— Знайте, я вас люблю,— сказал он как будто в оправдание.

Она должна была бы снисходительно улыбнуться в ответ на эти ни к чему не обязывающие теперь слова случайного любовника, но она помнит, что поступила почему-то иначе. Она поцеловала его в глаза и ушла, нисколько не сердясь на себя.

Людмила Петровна и впоследствии ни разу не укоряла себя за случившееся. Длинными зимними вечерами в снетинской усадьбе, перебирая в памяти свою жизнь, она не так уж редко вспоминала синеглазого студента. Она не умела объяснить себе, почему это так происходит, но иногда ей казалось, что то, что случилось у нее с Калмыковым и было так неожиданно, могло, однако, случиться без того, чтобы показаться им обоим неожиданным.

Почему это? — спрашивала она себя.— Ведь они так мало, совсем мало знают друг друга, считанное количество раз виделись, вели разговор самый незначительный?.. Нет, она не могла понять, почему так думала о себе и об этом студенте, но все же думала именно так и сама тому приятно удивлялась.

Въезжая на санях во двор почтово-земской станции, она по какой-то ассоциации подумала на одну секунду о студенте: «Вот здесь живут его родители», но тотчас же отдала свои мысли другим вещам, и образ Калмыкова не утвердился в памяти. Она привыкла вспоминать о нем тогда, когда находилась наедине с самой собой, и очень дорожила этой интимностью своих мыслей. Увидев его, она почувствовала давно незнакомую ей радость, которую смущалась как-либо проявить, и поняла вслед за тем, что эта пятиминутная встреча — только начало более длительной.

Ее жизнь в последнее время лишена была цели, теперь почувствовалось,— она была накануне того, чтобы вновь обрести ее.

Но какова должна быть эта цель,— Людмила Петровна в тот момент еще не знала.

К тому же ей пришлось столкнуться с двойной неожиданностью: в одной и той же комнате она увидела вдруг и Калмыкова и того таинственного, странного человека из Петербурга, который посулил открыть тайну смерти ее мужа.

...Было от чего растеряться! Но, кажется, никто этого не заметил? Людмиле Петровне было бы неприятно, если бы дело обстояло иначе.

По ее просьбе Федя пошел снимать номер в гостинице, так как сегодня не уехать было, а Людмила Петровна вместе с Теплухиным отправилась по делам к нотариусу.

По секрету от Ивана Митрофановича условились, что через три часа встретятся в гостинице.

Смешно сказать, но Федя никогда не был там за всю свою жизнь в Смирихинске. В какой-то степени это было свидетельством его целомудрия, потому что ни для кого в городе не было секретом, что хозяйка «России», хромоногая, молодящаяся и всегда подкрашенная госпожа Флантикова, сдавала номера не только приезжающим в Смирихинск, но и местным жителям, преимущественно из молодежи, и не на сутки, а только на часы интимных вечерних встреч.

Это знал и Федя Калмыков и потому с некоторым смущением подымался во второй этаж гостиницы, где, как указал ему коридорный, жила хозяйка.

— Вам надолго номер? — спросила она, пряча от взглядов молодого человека очки, к помощи которых прибегала только что, занятая чтением истрепанных выпусков бульварного романа «Дочь почтальона».

Стараясь изобразить на лице деловую озабоченность и даже серьезность, чтобы, упаси бог, госпожа Флантикова не заподозрила его в легкомысленных намерениях, и в то же самое время готовый подкупить ее почтительностью и светскостью тона, что, как угадывал, должно было особенно польстить стареющей вдове известного когда-то подпольного адвоката,— Федя объяснил, что номер нужен не ему, ибо он здешний, смирихинский житель («Еще бы, я знаю!»— удостоверила с жеманной улыбкой Флантикова), а остановится в гостинице на сутки-другие приехавшая из уезда дама.

Прежде чем сказать, имеется ли свободный номер, хозяйка гостиницы осведомилась, на чью фамилию придется записать комнату, и Федя назвал Людмилу Петровну Галаган.

— Ах, очень приятно! — сказала Флантикова. — Как же, как же, я знаю. Это дочь покойного генерала Величко. Красавица,— скажу я вам, господин Калмыков! Влюбиться можно!.. Четвертый номер я вам дам, очень хороший номер. Сейчас же велю протопить, вам хорошо там будет,— подчеркнуто произносила она слово «вам».

— Не мне это нужно! — настойчиво сопротивлялся Федя. — Госпожа Галаган придет часа через два.

— Ах, я рада буду ее увидеть! Но вы тоже, надеюсь, еще зайдете к нам? Если нужно будет посидеть, поговорить — можно пойти в номер самовар, достать закуски! — очень живо обнаружила свое гостеприимство хозяйка гостиницы. — Заходите, пожалуйста, к нам.

«К нам, к нам! — передразнил ее в уме Федя. — Старая сводница!»

Изобразив на лице участие и соболезнование, она спросила вдруг, долго ли страдал перед смертью его отец, как чувствует себя сейчас Фебина мать, — и ему пришлось что-то буркнуть в ответ, и было уже неудобно сразу же уйти, а Федю тяготил этот вынужденный разговор.

Но еще более неприятны были ему ее двусмысленные, как показалось, расспрашивания о Людмиле Петровне: по какому делу приехала она в Смирехинск, да не знает ли случайно, правда или нет, что у нее была, говорят, какая-то история в Петербурге или где-то на фронте, куда, помнится, ездила сестрой, не выходила ли замуж Людмила Петровна — ведь такая интересная женщина; да где ее брат — студент, брат частенько, — тут же разбалтывала она чужие секреты, — частенько заглядывал кое с кем в «Россию», когда приезжал из отцовского дома в город.

«Ф-фу!» — отдувался Федя.

— Вы возьмете ключ? — вынула она его из ящика стола.

— Нет... да, впрочем, н-нет, — сбивчиво ответил Федя, не зная еще, как поступить.

— Берите вы! — казалось, уже потешалась над его смущенным видом госпожа Флантикова, и он платил ей в душе ненавистью.

Он собирался откланяться, но в этот момент без стука в дверь вошел в комнату широкоплечий, выше среднего роста рыжеусый военный в чине полковника с двумя «Георгиями» на груди.

Еще не доходя до стола, за которым сидела Флантикова, он бросил на него небрежным взмахом ключ от своего номера и хриповатым баском сказал:

— Ухожу обедать. Если придут ко мне люди — передайте им, сударыня.

Он мельком взглянул на Федю и, повернувшись, вышел, застегивая на ходу свою офицерскую, с меховым воротником, зеленую бекешу, подбитую лисой.

— Боевой и в чинах... фронтовой офицер! — отрекомендовала его госпожа Флантикова. — А раньше, представьте себе...

— До свидания, — не дослушав, распрощался с ней Федя и вышел вслед за офицером.

Ключа так и не взял с собой, а Флантикова совала его в руки.

«Где-то я его видел раньше», — подумал он о полковнике с двумя «Георгиями», но где — вспомнить сразу не мог, да и не старался к тому же, занятый своими мыслями.

В условленный час он вновь подымался по деревянной лестнице во второй этаж гостиницы, в самом начале которого находился № 4.

По Фединым расчетам, Людмила Петровна должна была уже быть дома. Он распределил за нее время: ну, сколько уйдет на посещение нотариуса? Потом — обедать, конечно, будет в чиновничьем, у Семена Ермолаича, — и все ведь? Какие еще дела у нее могут быть здесь?

Сердце его радостно екнуло, когда он увидел, что дверь четвертого номера слегка приоткрыта.

«Пришла, пришла!» — заволновался он.

Федя подошел к двери и коротко постучался, — никто не отвечал. На повторный стук тоже никто не откликнулся.

Федя вошел в комнату: в ней никого не было. Топилась печь у самого входа — шипели мокрые поленья, на полу лежал ворох соломы, стояла бутылка с керосином, которым, очевидно, разжигали дрянные дрова, валялась кочерга.

Умывальник, зеркало над ним, ореховый столик с двумя желтыми плюшевыми креслами по бокам, у одной стены — такой же диванчик, у другой — высокая, с металлическими шарами, кровать с незастеленным матрацем, обитым двумя кусками неоднородной материи, — такова была комната. Все показалось очень неудобным, — Федя состроил досадливую гримасу.

С огорчением заметил, что дрова сырые и плохо горят в печи, и заботливо подумал, что Людмила Петровна продрогла, должно быть, в пути и захочет тепла. Присев на корточки у печки, он подбросил в нее соломы, стал раздувать в ней огонь, орудовать кочергой, поднятой с пола. Нет, не годился он в истопники: солома мгновенно сгорела, а дрова даже перестали шипеть, — печь замирала!

Для удобства Федя сбросил с себя студенческую шинель и возобновил свои неудачные попытки уже при помощи керосина.

«Любовь... Любовь, голубчик!» — посмеивался он над самим собой в роли незадачливого истопника.

За этим сомнительным по результатам занятием застала его вошедшая в комнату молодая смазливая женщина в длинном и плоском украинском чепце, спущенном до затылка, и с лунообразными дешевыми серьгами в открытых ушах.

— Виткиль такой помощник взявся? — сказала она с певучим полтавским акцентом.

Глаза ее, темные и влажные, как спелые, свежесмытые вишни, смеялись и с удивлением смотрели на Федю.

— Шо, не горить? — спросила она. — А ну, давайте, паныч, я попробую.

Женщина присела с ним на корточки, отобрала у него бутылку, плеснула смело керосину в печь, закрыла сразу же ее дверцы, и в печке через несколько секунд загудело.

— Потухнет, все равно потухнет, — выразил сомнение Федя.

— Ось побачим! — весело сказала она. — Хозяйка казала, шо якась барыня тут будэ. Так хіба вы барыня? — лукаво поблескивали глаза коридорной.

Своим вопросом она напомнила о Людмиле Петровне, на минуту забытой им, — и Федя поднялся, выпрямился и отошел быстро в сторону, словно боясь, что кто-нибудь увидит его сейчас рядом с этой служанкой гостиницы.

— Здесь будет жить одна дама, — глухо произнес Федя, откашливаясь горлом, ища свой естественный голос. — К ее приходу надо, понимаете, все оборудовать здесь как следует.

— Зараз усе будэ зроблено, — пообещала коридорная и, наладив печку, пошла за постельным бельем и скатерткой на стол.

«Но где же Людмила! — поглядывал он каждые три минуты на часы. — Пора было бы прийти, кажется...» — укорял ее Федя.

Заслышав шаги в коридоре, он быстро накинул на себя шинель, застегнул ее на все пуговицы, — принял вид человека, который сам только что зашел сюда и не успел освоиться.

Но шаги обманули: это прошли мимо дверей какие-то постояльцы гостиницы, и кое-кто из них кричал «Фросю»: так звали, вероятно, — сообразил Федя, — украинку с курносым смазливym личиком.

Через пять минут раздались новые шаги, и Федя опять насторожился, и не зря: они остановились у его двери, потом чья-то рука потянула ее на себя, и в комнату вошла хромающая, переваливающаяся набок, как ямщицкий калмыковский староста Евлантий, госпожа Флантикова, а за ней — знакомая уже Феде коридорная служанка с подушками, простынями и одеялом.

— Вот как? — сказала госпожа Флантикова. — Вы настоящий паж, господин студент. Вашей дамы еще нет, а вы уже на часах!

«Да, она сейчас должна быть», — успокаивал себя Федя и делал безразличное лицо.

— Через минуту все будет готово. Фрося, постели аккуратно, застегни пуговочки на наволочке. Нет, дай лучше я сама сделаю, — распоряжалась хозяйка гостиницы. — Пепельницу сюда принеси: видишь, господин студент курит!

— Хіба он тоже тут будут жить? — стрельнула глызами украинка.

— Это вас не касается, Фрося! — голосом назидательной ханжи, не менее лукавой, чем ее служанка, остановила ее госпожа Флантикова.

Чувствуя, что излишняя угрюмость и серьезность может показаться уже глупой, Федя улынулся в ответ:

— Ах, любопытная какая вы, Фрося!

Она стелила постель, взбивала подушки, и он подумал о ее руках: мыла ли она их после бутылки, не будет ли пахнуть постель керосином, не загрязнит ли Фрося белоснежную полотняную

простынь, которую, как и все постельные принадлежности, госпожа Флантикова, по ее уверению, предоставила (из особого уважения к вдове Галаган) из своего собственного шкафа.

Феде стало почему-то неловко наблюдать, как женщины для другой женщины, с которой он был уже близок, и это для всех тайна, готовят в его присутствии постель: как будто, открыв ее его взору, они показывали не только будущее ложе Людмилы Петровны, а обнаженную ее самое. Он и в этом поступке «сводницы»-хозяйки усмотрел покоробившую его двусмысленность и, попросив разрешения позвонить по телефону, что на самом деле ему не нужно было, вышел из номера и — сразу же — из самой гостиницы.

Выйдя на улицу, он поглядел в обе стороны: не идет ли наконец Людмила Петровна? Продав ее некоторое время возле гостиницы, он решил отправиться к тому дому, где помещался чиновничий клуб, и там встретить ее.

Мороз крепчал, прохожих становилось все меньше и меньше на улицах, они торопливо шагали, почти бежали, растирая себе уши, дыша в приставленную к носу ладонь, наставив воротники пальто, а Федя, не в пример остальным, шел замедленной походкой бог весть отчего замешкавшегося человека, которого и свирепый холод, видимо, не может освободить из плена одолевших его раздумий.

Когда пересекал пустынную Базарную площадь, с которой исчез даже стоявший всегда здесь на посту городской, — сзади услышал вдруг мягкое шлепанье копыт бегущей лошади и через полминуты — знакомый окликнувший голос:

— Сидайте, паныч: пидвезу домой!

Карпо Антоныч приглашал в рыжие санки-«козырки».

Остановившаяся — его, Федина, — лошадь (как странно: он только сейчас впервые осознал, что это его собственная лошадь — гнедая, белогубая, с седой звездочкой на морде) нетерпеливо вскидывала голову и попеременно подымала передние ноги, словно и она торопила своего хозяина принять приглашение.

— Нет, поезжайте! — улыбнулся обмерзшим ртом Федя и почувствовал тогда, как успели уже обледенеть на морозе его мягкие усики.

— Воля ваша, — не настаивал извозчик. — А я — до дому! Собака — и то в конуру просится.

И проехал мимо Федя.

Добрых полчаса прождал он на морозе у здания чиновничьего клуба.

«А может быть, ее нет здесь и я напрасно трачу время? — негодовал он. — Мерзну, как идиот, а она сидит где-нибудь в другом месте... или уже в номере?»

Он решил еще раз пройти мимо клубного подъезда — до угла улицы, а потом... потом, — он так и не знал, собственно, что следует сделать потом.

«Нельзя так насмеяться надо мной! — раздражался Федя. —

В самом деле... Думает, что я паж какой-то!» — приписывал он Людмиле Петровне слова жеманной Флантиковой.

Дойдя до угла и обернувшись, он увидел вдруг вышедшую из клуба Людмилу Петровну. Она была не одна: с ней прощался Теплухин.

«Наконец-то!» — обрадовался Федя.

Но возликовал преждевременно.

Теплухин побежал к извозчицкой стоянке — «вот был бы для Карпа Антоныча пассажир на целковый, нечего было уезжать с биржи!» — и Федя приготовился уже догонять Людмилу Петровну, однако неожиданное обстоятельство пресекло его решение: из клуба быстрым шагом вышел человек в папаше и военной бекешке и, взяв под руку Людмилу Петровну, пошел с ней в сторону гостиницы «Россия».

«Вот те на! Кто же это! И почему они вместе? — рассердился еще больше Федя. — Боже, как она к нему прижимается... Ах, при чем тут холод, мороз?! — озлобленно глушил он свою собственную мысль, пытавшуюся было оправдать Людмилу Петровну. — Знаем мы эти штуки, сами не маленькие! Они там любезничали, а ты тут замерзай на посмеище!.. Мальчишка я, что ли?»

Федя шел теперь позади них шагах в тридцати. В такой мороз никто не оглядывается, можно спокойно следовать за ними, — правильно рассудил он, и, приблизившись еще на некоторое расстояние, он узнал по спине и широким плечам того самого офицера, которого несколько часов назад встретил в комнате Флантиковой.

Он вспомнил его закрученные кверху, растрепанные в концах рыжеватые усы, высокомерный тон, жирный, бульдожий басок, красовавшиеся на груди георгиевские кресты, почтительность, с какой говорила о нем хозяйка гостиницы; он приписал ему мгновенно, как это часто бывает в таких случаях, еще несколько внешних черт — может быть, и выгодных для этого офицера, но потому и вызывавших в нем, Феде, чувство еще большей неприязни, так как в нем самом этих черт не было, — и по склонности своего вспыльчивого характера и присущей ему иногда мнительности Федя приревновал вдруг Людмилу Петровну к незнакомому полковнику.

К тому же долгое ожидание на морозе породило ту обидчивость и раздражительность, которая сейчас легко, безотчетно усиливала Федину ревность.

Любовь — кузнец подозрений. Любящий всегда верит тому, чего боится. Он всегда преувеличивает опасности для своего чувства, требующего нерушимой взаимности. Так было и с Федей Калмыковым.

Он приревновал сейчас к незнакомому офицеру. Но почему? И только ли к нему одному?

Он строил тысячи предположений, чтобы утвердить свои подозрения, и в каждое из них верил, как если бы в них уже и в самом деле убедился. Он верил в каждое из них, не дав себе труда

поставить их в мыслях рядом одно с другим,— может быть, они опровергали бы тогда друг друга?

Он мало знал любимую женщину и, казалось бы, не имел оснований подозревать ее в чем-либо предосудительном. Он не знал, наконец, ее чувств к нему, он только хотел, чтобы они возникли,— и все же именно потому, что мало знал о ней достоверного, что сам неуверенно держался с ней,— он допускал все, что угодно; он подозревал ее в чем-то нехорошем, оскорбительном для него и ревниво измышлял для того факты, которые должны были уже доказать ее виновность.

Он говорил себе: да, она очень порочна и любовь его несчастна потому...

Она — легкомысленная женщина, на это, кажется, намекала эта «всезнающая сводница», хозяйка гостиницы? Ох, Людмила Петровна, Людмила Петровна!

Она имела какую-то романтическую историю с Теплухиным,— писала же она ему письмо, которое, выдав за свое, читал ему, Феде, этот мозгляк Кандуша! И что-то темное есть в ее отношениях с этих странным человеком: помнится, как на петербургском поплавке он иступленно говорил о своей страсти к ней, намекал черт знает на что, а сегодня, увидав его, она явно смутилась и потребовала потом, чтобы Федя позвал его к ней...

Да, она порочная, скрытная женщина... с извращенными, вероятно, наклонностями! А теперь... теперь еще этот широкоплечий «жеребец»-полковник,— ведь «подцепил» ее в клубе... подцепил? И он тоже живет в гостинице. И, может быть, номера их рядом!

Воспаленное воображение Феде рисовало картины, одна другой страшней и необузданней.

«Да, да, она очень, очень порочна! — говорил он себе, вспоминая, как главное доказательство ее греховности, белую ночь в аскритовской комнате.— Разве честная женщина позволила бы себе такое?! Какая тут, к черту, «романтика»,— просто разврат!»— клеймил он самыми грубыми словами Людмилу Петровну. Клеймил за то, что — до этой минуты отчаяния и раздражения — считал чуть ли не высшей радостью в своей жизни.

«Нет, нет,— гнал он прочь робкую мысль в защиту Людмилы Петровны.— Если она могла со мной, и так быстро, то почему она не может с любым?..»

Он без удержу взвинтил себя до того, что готов был подбегать и тут же, на улице, сказать ей что-нибудь резкое, оскорбительное, после чего их встреча стала бы немыслима, конечно. Но мешало присутствие третьего человека, наглого рыжеусого «болвана» (ему казалось, что только это мешает сейчас), и Федя решил, что если не здесь, на улице, то уж в гостинице он сумеет защитить свое достоинство любящего человека.

По дороге, вблизи гостиницы, встретился вышедший из квартиры какого-то пациента доктор Русов.

— В такой-то морозище? Что вы шлендраете на улице, да еще с постным лицом философа? — не то всерьез сердился, не то делал вид, что сердится, доктор Русов. Он был обвязан, как школьники, башлыком, на ногах валенки.

— В киоск хочу, к Селедовскому за газетами,— соврал Федя, а сам посматривал в сторону гостиницы: вот они уже вошли в подъезд!

— Куда там газеты?! — махнул рукой доктор. — В такой мороз — поезда с опозданием... Приходите лучше вечером в помещение чиновников: там сегодня концерт и прочее... «Общество разумных развлечений» — знаете? Надежда Борисовна хлопочет, хлопочет!...

— А если я не один приду? — загадочно сказал вдруг Федя и сам в тот момент не поверил, что может прийти сегодня в концерт вместе с Людмилой Петровной, — а ведь именно ее имел в виду.

— Тем лучше. Надо, надо поразвлечься вам, — серьезно сказал доктор Русов и, заложив руки в кожаных варежках за спину, побрел домой.

Федя не спеша поднимался по лестнице: за сегодняшний день он изучил уже здесь каждую ступеньку.

— Вас, паныч, ожидают, — сказала повстречавшаяся в коридоре украинка.

— А что такое? — сухо спросил он.

— Балакала про вас: був тут студент чи не був?

«Только и всего? — подумал Федя. — Так можно и про лакея своего спросить!» — не покидала его придирчивость, хотя где-то в глубине души шевельнулось неясное чувство надежды и радости.

Он постучал в дверь номера и вошел в него.

— О, боже, какой вы дед-мороз... молодой дед-мороз! — смеясь, говорила Людмила Петровна, идя ему навстречу. — Румяный... щеки покрасило вам, усы такие седые, а уши... уши-то ваши! кончики совсем побелели! Послушайте, вы, кажется, отморозили свои уши, сударь?

— Спасибо, что еще... молодой дед-мороз. На уши наплевать! — криво усмехнулся Федя и не притронулся к своим ушам, хотя ощущал холодный зуд на хрящиках и хотелось, подув на ладони, зажать руками и согреть ледяные уши.

— Ну, вот еще — наплевать... Уши, знаете...

Людмила Петровна приложила к ним свои теплые ладони, чуть-чуть сдавила его голову — но так, что минуту Федя перестал даже слышать, и стала растирать его уши.

— Никто любить не будет, никто любить не будет, ага! — шутила она, дергая его за холодные мочки ушей.

Он знал эту бабью примету и, не желая того, улыбнулся.

— А что нужно сделать, чтобы меня любили?

— Я сейчас научу! — весело сказала она. — У нас в снетинской округе есть такое старое поверье: парень должен прогулять в лесу три ночи без сна — полюбит его тогда облюбованная девушка.

— А если просто... на морозе? — съязвил Федя.

— Не годится! — поняла его намек Людмила Петровна. — Но только помните, — приложила она палец к губам. — До лесу дойдешь ночью — не крестись. В чашу зайдешь — не молись. Сорви лист с дерева — к сердцу приложи. Грудью на землю ляг и думай. Вот что надо думать, Федор Мироныч... Коханна моя, коханна. Сушу лист я под самым сердцем — сушу думу по твоей любви! Чур! Сушу раз, сушу два, сушу три дня — присушу, чур! Войди, коханна, в плоть мою, в тело, в кровь, как вошла уже в душу, в сердце, — чур!.. Главное, Федор Мироныч, «чур» не забывайте сказать, а иначе все пропало, — смеялась она.

— Я готов тысячу раз сказать его... если бы только в этом заключалось все дело! Увы...

Он снял шинель и фуражку, но не знал, куда положить их: в номере — ни вешалки, ни гвоздя.

— Сюда, сюда, — указывала ему Людмила Петровна на плюшевый диванчик, где лежали и ее вещи: шубка, котиковая шляпа и пуховые гамашы. — Я вас еще не поблагодарила, Федор Мироныч, за это милое пристанище.

— Не стоит благодарности, — вежливо, но угрюмо ответил он, снова вспомнив о рыжеусом полковнике, который где-то живет рядом и посетит конечно же это «милое пристанище».

Она уловила недовольство в его голосе и вопросительно посмотрела на Федю:

— Что с вами, сударь?

— Ничего, — прикидываясь спокойным и безразличным, упрямо сказал он и отвел глаза, чтобы она не увидела в них наигранного презрения.

— Ой ли?

— Я замерз, по правде сказать.

— Шел по улице малютка, а малютке... двадцать лет! — пропела она две строчки из распространенной песенки популярного куплетиста Сарматова. — Тащите кресла к печке. Не беспокойтесь — я сама возьму себе. Я привыкла все сама брать! — с особой интонацией сказала Людмила Петровна и слегка прищурила один глаз.

На ней был шерстяной, английского покроя, синий костюм с узкой модной юбкой. Она стесняла, укорачивала шаги Людмилы Петровны, и когда она проходила по комнате, Федя слышал, как иногда терлись одна о другую икры ее ног в шелковых чулках.

Сидя в придвинутых креслах перед утихающей печкой, отрыв дверцу ее, они грели вблизи огня свои руки и ноги, хотя в комнате уже было тепло, а сидеть долго так: согнувшись,

наклонившись к огню — было не совсем удобно уставшему телу.

Но, казалось, измени Людмила Петровна эту позу, перестань она ворошить кочергой золотые, с синим дымком, уголья в печке,— и перестанет тогда говорить, замолкнет, опомнится и оборвется тогда на полуслове ее неожиданный для Федя рассказ. Невольно, вероятно, для самой Людмилы Петровны он походил на исповедь...

«Родная, любимая, хорошая... прости ты меня, негодяя, осла вифлеемского!» — самыми нежными сейчас словами называл Федя в уме Людмилу Петровну и самыми уничтожающими ругал он себя.

Теперь он знал почти все, что могло его интересовать.

Поручик Галаган, жизненное смятение Людмилы, ее уход на фронт и возвращение оттуда, офицерская компания в Петербурге, встреча с Кандушей среди распутинцев и его таинственные обещания, — вот и стало ясно теперь, кто такой Кандуша, и Федя с ужасом подумал о нем, с испугом и отвращением.

В ее рассказе ни разу не упоминался он сам, Федя, но он уже не ждал этого и не огорчился: коль скоро все рассказано ему — значит, он и есть тот человек, которому она хочет довериться!

И чтобы убедиться в том лишний раз, он спросил осторожно, всей интонацией своего голоса показывая, что не придает никакого значения заданному вопросу, — кто такой этот офицер, с которым возвращалась из клуба?

— А вы откуда знаете? — удивилась Людмила Петровна.

Он сказал, что видел издали ее с ним на улице.

— Этот человек не прочь был в свое время на мне жениться, — усмехнулась она, и с таким безразличным видом, что Федя почувствовал радостно, сколь неопасен оказался ему молодцеватый полковник. — Этот человек — знаете кто? Неужели вы не встречали его здесь года три-четыре назад? Ведь это бывший жандармский ротмистр Басанин! В самом начале войны он перешел из своего ведомства в действующую армию и вот теперь — герой-войска.

— Ах, черт возьми, а я-то никак не мог вспомнить, кто это?

Действительно, как можно было забыть жандармского ротмистра Басанина?

В маленьком городке он был в числе тех, кого обязательно знали в лицо все жители Смирихинска. Как знали они исправника, например, председателя окружного суда, покойного старика Калмыкова, городского голову, знаменитую долговязую проститутку Елку, настоятеля местного собора или городского сумасшедшего — слюноточивого Гоплю, для насмешек которого все остальные смирихинские знаменитости были уравнены с прочими, ничем не замечательными гражданами...

Басанина Людмила Петровна встретила во время обеда в клубе: оттого и задержалась. Судьба забросила его вновь в Сми-

рихинск: он принимает участие в формировании запасных воинских частей, расположенных в губернии, и уезжает сегодня же куда-то дальше.

Полковник Басанин уже не интересовал теперь Федю.

Он думал о другом — умиротворенный, успокоившийся, обнадеженный.

Любовь... Да, он хотел быть любимым сидящей рядом с ним женщиной, от которой он получил все прежде, чем узнал ее.

И он вдруг сказал ей о своем чувстве — тихо, серьезно, опустив голову, и — сам испугался того, что так быстро все это произошло.

— Как это может быть? — тоже серьезно и тоже тихо спросила Людмила Петровна.

Он не знал, как давно ищет она ответа на этот вопрос.

...Час назад она сидела за обедом в обществе двоих мужчин, из которых каждый в свое время пытался говорить ей о своих чувствах, а полковник и сегодня смотрел на нее тоскующими, печальными, но блудливыми глазами собаки, которой посчастливится авось схватить кусок мяса.

Людмила Петровна была оживлена, много и весело говорила за обедом, ее настроение передалось и сотрапезникам. Между прочим, она напомнила полковнику, что когда-то в этом самом клубе она просила его за Ивана Митрофановича, и он — тогда еще жандармский ротмистр — был, кажется, любезен и не чинил препятствий к устройству Теплухина на службу. (Мужчины медленно кивнули друг другу головой, свидетельствуя как будто: один — готовность, мол, и впредь быть полезным, другой — признательность за такое внимание, — и оба выпили по бокалу вина за здоровье Людмилы Петровны.)

Она без скуки проводила с ними время, но ее мысли были отданы в тот час Калмыкову.

В разговоре она несколько раз — и по каким-то случайным, незначительным, казалось бы, поводам — произносила его фамилию. Собеседники не придали этому значения, а ей было приятно называть вслух, называть для самой себя его имя и знать, что в этом есть уже какая-то ее собственная маленькая тайна, о которой никто сейчас не может догадаться.

И оттого, что никто не мог предположить этой тайны, с каждой минутой ей казалось уже, что эта тайна значительней, чем могла думать раньше, что с Калмыковым действительно связывает ее уже что-то сокровенное и большое, о чем он сам, пожалуй, не подозревает.

Она еще не знала, как назвать свое влечение к нему, но однажды так случайно возникнув, оно все время существовало, а теперь и росло.

Ей приятно было сознавать, что сейчас он ждет ее (вероятно, в гостинице), что он обрадуется встрече с ней. Она сама ждала с любопытством и волнением этого момента, но она не торопилась уходить из клуба, оттягивала момент этой встречи, зная, что все

равно она состоится, а в тоже время состояние нарочитого выживания было сладостно Людмиле Петровне.

И вот сейчас, когда Калмыков признался ей в любви, она спросила не столько о его чувстве к ней, сколько захотела услышать ответ на свои собственные чувствования, в которых не могла раньше разобраться.

— Как это может быть? — спрашивала она его и тем самым проверяла самое себя.

— Не знаю, — сказал он. — Не знаю. Но я вас люблю по-настоящему! Вот... что хотите!

— Увидели и полюбили — так, что ли?

— Если хотите — так!

Он бросил в печь папиросу, которую только что закурил, и, передвинув кресло, сел так, чтобы видеть прямо перед собой Людмилу Петровну.

В комнату вошли темные сумерки, но в ней не нужен был теперь свет.

— Любовь всегда имеет цель, Федор Мироныч.

— Да, одну цель.

— Какую? — наклонилась она к нему.

— Любовью!.. Любовь имеет целью любовь! — сказал Федя горячо. — Другой цели нет. Я хочу, чтобы меня любили.

— Я тоже, тоже...

— Вы тоже? — не мог совладать он с волнением. — Это — самое важное в жизни. Так было, так будет всегда, Людмила Петровна.

— Но вы очень стремительны, — попыталась она насмешливо улыбнуться, но это у нее не вышло: голос звучал нежно и взволнованно.

— Я не виноват: такова сила моих чувств. Зачем я буду прикидываться черепахой?

— ...когда я быстроногий Ахилл? Так? — рассмеялась Людмила Петровна, и Федя вслед за ней.

— Вот именно! — придвинулся он к ней. — Вы спрашивали: как это может быть? Любящий всегда угадывает человека, которого полюбил. Знаете... в людском хаосе кружатся, вероятно, половинки одного целого: стоит им набрести друг на друга, прикоснуться в жизни одна к другой — и тогда... когда они находят друг друга... когда они сливаются...

— Это было уже у нас с вами, хотите вы сказать? — вдруг посмотрела она долгим, открытым взглядом в его глаза.

— Что... было? — не смел Федя подумать, что она будет так откровенна.

— Все. Все конечное между мужчиной и женщиной, — просто сказала она. — В людском хаосе, как вы говорите, мы набрали друг на друга. Я тоже это чувствую. Половинки... пусть так. Вы ничего не сказали о белой петербургской ночи... почему? Мне не стыдно ее — знайте это. Помните? Но вот... мне нужен обратный путь чувств: утро, день, ночь...

— Я прошел уже этот путь в душе...
— А я не хочу, чтобы вы шли по нему один.
— Мне спутники не нужны, Людмила Петровна!
— А спутница? Я?.. Ты много куришь! — сказала она вдруг и выдернула из его рук портсигар, который он собирался открыть. — Глупый!..
Он был счастлив.

Глава четырнадцатая

ДЕВЯТЬ ТОЧЕК

У дяди Жоржа, кроме автомобиля, была еще «кушук» — коляска с кучером позади. В нее впрягали статного, серого в яблоках жеребца, ставшего известным всему Киеву. Георгий Павлович предпочитал автомашину, и на коляске старинного типа (и потому бросавшейся в глаза) ездила преимущественно тетя Таня, Татьяна Аристарховна, два раза катавшая Иришу по городу.

Два громадных, пятнисто-серых дога с больно ударяющими хвостами, задень они случайно человека, сопровождали Татьяну Аристарховну, когда она совершала променад по улицам.

Десятилетнего кузена Костеньку одевали в костюмы такого же цвета и покроя, какие носил и отец, и Костенька совсем уж теперь походил на точный слепок с Георгия Павловича; детальному сходству мешало только отсутствие цыганских карабаевских усов. Георгию Карабаеву доставляло особое удовольствие лицезреть себя в уменьшенном виде.

Огромная, в десять комнат, квартира, занимавшая весь второй этаж, с двумя парадными ходами, потому что соединили две самостоятельные раньше квартиры, — была меблирована по эскизам известного русского художника, и, как было это еще в провинциальном, смирнинском доме, двери всех комнат были открыты, каждая комната спокойно смотрела на другую и стерегла ее, каждая дружелюбно созерцала своих соседок, и все вместе — уверенно и услужливо — своего создателя и хозяина.

— Та дверь крепче всего заперта, которую можно оставить открытою! — афористически поучал своих домочадцев Георгий Павлович.

У карабаевской семьи были теперь, помимо обычной прислуги, среди которой повар Михей был особо отмечаем хозяевами, свои врачи (для взрослых и второй — для Костеньки), парикмахер — мужской и дамский, свои портные и сапожники, свой фармацевт из польской аптеки, который мог доставать любые лекарства, и ряд людей других профессий, услуги которых почему-либо могли понадобиться карабаевской семье.

О том, как живет она, водительствоваемая дядей Жоржем, обо всем этом Ириша сообщила в письме к своим родителям. Но она

ничего определенного, кроме того, что он «служит у дяди Жоржа и часто бывает здесь в доме», не могла написать им о старом знакомом Карабаевых — об Иване Митрофановиче. Между тем Теплухин был именно тем человеком, которым Георгий Павлович дорожил больше всего, считая его наилучшим приобретением за последние годы своих больших удач.

Георгий Карабаев умел ценить своих людей. Выслушав возвратившегося из Смирехинска Ивана Митрофановича и получив от него заверенные нотариусом документы, он сказал:

— Мне кажется, что теперь я имею возможность сделать вам приятное. Я давно решил это сделать, но теперь представляется удобный случай.

— То есть? — спросил Теплухин.

— Освободился семнадцатый номер, — я велел управляющему домом никому не сдавать этой квартиры. Я вам предлагаю эту отличную квартирку: там три комнаты. Оставьте вашу Прорезную улицу и переезжайте сюда. Не все еще, не все, Иван Митрофанович!.. — готовил Карабаев новый сюрприз. — Вам придется еще одобрить гарнитур мебели, который я лично рискнул выбрать для вас по своему вкусу. И я хотел бы, чтобы вы заплатили за него из тех денег, сумма которых обозначена на этой бумажке... Я хочу таким маленьким подарком поддержать свою большую дружбу, которую питаю к вам.

И Георгий Павлович, подойдя к Теплухину, обнял его за плечи и, приветливо улыбаясь, вложил в боковой карман его пиджака какой-то конверт.

Выйдя из карабаевского кабинета, Иван Митрофанович не без любопытства посмотрел на вытащенный из конверта чек: на нем значилась сумма в пять тысяч.

«Да три из твоих денег Пантелейке отдал, итого — все восемь!..» — холодно усмехнулся он про себя.

Некогда, отбывая каторгу, он пристрастился, уподобляясь многим другим каторжанам, к наркозу фантазии: причудливая игра воображения скрашивала действительность. Грани между реальным и вымышленным пересекались, и Теплухин жил тогда двойной, приподнятой жизнью.

Как все на «колесухе», как все замурованные в казематах Шлиссельбурга и Петропавловки, как все тюремные узники, Иван Митрофанович мечтал о свободе. Но о свободе — как о мести тем, кто ее отобрал у него.

Но в жизнь его пришел, как Мефистофель, безусый человек с голым шишковатым черепом и круглой голландской бородкой, — и выбор между мечтой и действительностью был сделан.

Иван Митрофанович не любил утешать себя, но все же, вспоминая свои отношения с Губониным, начиная с первой встречи в иркутском замке и кончая последним свиданием в Петербурге, он невольно старался уменьшить свою вину перед неизвестными ему людьми. «Да, неизвестными, потому что, — говорил он себе, —

я не предал никого, кто был со мной связан, кто доверился бы мне, а я обманул бы его, используя его доверие».

И тех, что пострадали, он никогда не видел даже в лицо!..

Так было, когда купил себе досрочное освобождение ценою выдачи неизвестной ему киевской организации, так случилось и этим летом, когда неожиданно для Губонина сообщил ему, со слов солдата Токарева, о подпольной деятельности большевиков в лужском военном госпитале.

Все эти люди были ему чужды и неведомы. Он мог печалиться о них ровно столько, сколько, например, мог жалеть безыменных солдат, о смерти и ранении которых читал, уже привыкнув к тому, в военных сводках фронта. Да еще с той только разницей, что в последнем случае человеческие жертвы ничем ему лично не были полезны, и потому он мог желать от сердца, чтобы их было поменьше, в то время как в первом — он ограждал свою собственную жизнь и потому был особенно безразличен к судьбе других людей. Свою собственную ему удалось уберечь за эти годы, — и ничего другого он не желал для себя.

«Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Он часто повторял эти слова и в них находил всегда оправдание своим поступкам.

Но за последнее время он больше, чем кто бы то ни было из круга карабаевских людей, предчувствовал политическую грозу и потому не мог избежать волнения. Он не представлял себе степени ее силы, времени ее прихода, но что такая гроза грянет — Иван Митрофанович уже был в том уверен. И потому, что не представлял себе всего этого, — не было страха перед чем-то неизбежным, роковым. Может быть, было только смущение...

И в такие моменты заглядывания в будущее Иван Митрофанович снова фантазировал, но уже по-иному, чем некогда.

Вот, мечтал он, что-то изменится в стране, придут, может быть, к управлению ею такие люди, как Родзянки и Карабаевы, и тогда уйдут конечно же Губонины и Глобусовы, а к тому, кто встанет на их место, явится тишком он, Иван Митрофанович, и попросит отдать ему, как милость сердца, листок бумаги, заполненный в иркутском замке в час отчаяния и душевной слабости. (Ведь это единственный документ его политического поступка!)

Его поймут и простят, мечталось так, а может быть, и посочувствуют как жертве былых политических условий, и он докажет всей последующей жизнью, что действительно был жертвой.

В таком состоянии предчувствия и внутреннего смущения Иван Митрофанович пребывал теперь все дни, и мысль занята была одним: когда это что-то начнется, — как бы только не опоздать тогда и кинуться немедленно в Петербург на спасение своей биографии бывшего революционера-каторжанина.

Иногда обдуманный им план спасения изменялся, и тогда Иван Митрофанович надеялся уже на самого Губонина, который должен, пожалуй, помочь.

«Утаит он на всякий случай «своего человека» — мало ли, как повернутся дела потом?» — старался не терять спокойствия Иван Митрофанович.

...Естественно, что ни одна встреча теперь не могла обойтись без политики. И хотя Георгий Павлович звал гостей, желая лишь ознаменовать приобретение сахарного завода обедом, — приглашенные, встретившись друг с другом в розовой карабаевской гостиной, сразу же заговорили о злободневных событиях.

Самой последней новостью, взбудоражившей умы карабаевских гостей, была только что полученная из Петербурга телеграмма в газеты об отставке премьер-министра Штюрмера и о назначении на его место Трепова.

Вся кулинарная изобретательность повара Михея рисковала быть незамеченной сегодня: до того увлечены были все петербургской телеграммой.

Знаменитый киевский адвокат с двойной фамилией, он же председатель местного комитета партии кадетов, и не менее известный на юге России молодой миллионер-сахарозаводчик, меценат и либеральный вольнодум Терещенко, впервые посетивший сегодня дом Георгия Павловича, — выслушивались остальными с особым вниманием.

Знаменитый киевский адвокат был осторожен в выводах и называл уход гофмейстера-немца моральной победой своей партии и, в частности, победой Милюкова. Принесет ли назначение нового премьера коренное изменение политики — уверенности в том не было, но «что-то» может, однако, произойти, и вся суть дела, по его мнению, заключается в том, как отнесется к приходу Трепова думский «прогрессивный блок». Его, личное, мнение таково, пожалуй, что следует «замаскировать спокойствием» нового премьера, нужна, пожалуй, передышка в борьбе с правительством — хотя бы на некоторое время.

— Знаете, по пословице, — говорил он, — вечер покажет, каков был день... Меня интересует, как поведет себя Родзянко.

— Как его поведут... В этом большом и жирном дворянском теле ни щепотки соли! — с брезгливой улыбкой ответил Терещенко. — Признаться, я не верю в такие перемены: что в лоб, что по лбу. Что начало криво расти, то не выпрямится, — снисходительно-иронически сказал Терещенко.

Помощник присяжного поверенного, воспользовавшись паузой, длинно и скороговоркой поспешил изложить свое мнение о текущих событиях.

При всех обстоятельствах и со всякими собеседниками он говорил одним и тем же — докторальным — тоном, с гомерическим количеством цитат, имен, цифр и терминов. Казалось, собеседник был ему безразличен, даже не нужен: сам он никого не слушал, увлекался только своей собственной речью.

— Какое бы ни образовалось правительство, ему следует напомнить, господа, изречение Сперанского: не то хорошо, что ново, но то полезно, что согласно с нравами и потребностями народа. Высшая добродетель правителя — знать своих. Но, к сожалению, есть истины, как отметил еще Вольтер, не для всех людей и не для всех времен, господа!.. — лил молодой адвокат обильный дождь цитат. — Я не доверяю Трепову. Нет, не доверяю, господа... Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь, как сказал Гоголь о Собакевиче. Трепов — это *danaum fatale munus*¹. Дары врагов — не дары и никогда выгоды не приносят. Да, да... Дума должна добиваться сейчас отмены законов, проведенных в порядке восьмидесяти седьмой статьи: в порядке царского указа. Шутка ли, господа! Таких законов за восемь лет, с девятьсот шестого по тысяча девятьсот четырнадцатый, издано всего шестнадцать, а за время этой войны — триста восемьдесят четыре!.. А? Что? Пойдет на это Трепов? Но вот наши признанные политики хотят, очевидно, с ним считаться, маневрировать. Тактика, тактика... Я понимаю, может быть, их. О Фердинанде Кобургском говорили: он блоха, усевшаяся на том месте Европы, которое ей чесать неудобно. Я представляю себе сейчас, господа, что приблизительно так же думают о Трепове наши признанные политики. Но я... я против, я против!

Терещенко, конечно, тоже был против Трепова, но то, что таких же воззрений держался вызывавший неприязнь молодой, но изрядно лысый, пучеглазый адвокат с дегенеративно-впалым лбом и сложенными, как будто для свиста, мокрыми губами, было ему почему-то неприятно.

— Мне кажется, что ваша партия сейчас на распутье, Николай Дмитриевич, — обратился он к адвокату с двойной известной фамилией.

— Да, я слушаю вас, — отозвался тот с таким подчеркнуто внимательным видом, как будто все то, что до сих пор говорилось, не относилось к нему и потому он не обязан был, собственно, не только отвечать на это, но и, пожалуй, внимательно слушать.

Стоя посреди гостиной и склонив набок напوماженную темноволосую голову с безукоризненным английским пробором, Терещенко, чуть грассируя, говорил спокойным мерным голосом, в котором было сейчас столько же душевной скуки, сколько и гражданской печали, насмешливого задора — сколько и уважительного отношения к слушателям.

Все обратили внимание на его манеру поглаживать свою руку во время речи: от кончиков пальцев до кисти и каждый палец отдельно, словно он надевал на них тугие кольца или натягивал на руку узкую перчатку.

— Уступит правительство, произойдет действительное обновление кабинета? Что ж, это будет торжество тактики Милюкова, то есть парламентской борьбы. А если нет, позволю себе спро-

¹ Роковой дар данайцев (лат.).

силь? Не умеет голодная толпа бояться и ждать. Она страшна, толпа,— говорил Терещенко, глядя исподлобья темными глазами на дам, любовавшихся его легкой и крепкой фигурой спортсмена.— Массы народа заставят политических главарей сделать то, о чем те сегодня, вероятно, и не помышляют. С главами партий, имейте в виду, бывает как и с головами змей: хвост их двигает вперед!

Все тем же голосом, но еще более понизив его и немного нараспев, он стал читать на память недавно написанные блоковские стихи:

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршуи кружат
И смотрит на пустынный луг.
В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, иа, иа грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплатанной и древней.—
Доколе матери тужить?
Доколе коршуину кружить?

— «Шумит война, встает мятеж...» И вовсе «не все образуется» так мирно и безболезненно, как мерещится то в Петербурге почтенному профессору Павлу Николаевичу! — язвительно сказал он, совершенно явно стараясь поддеть спокойно выслушивавшего его адвоката с двойной фамилией.

— Неужели, Михаил Иванович, вы ждете настоящей революции?

— А почему бы и нет? — усмехнулся Терещенко. Ему вдруг захотелось эпатировать собравшееся здесь общество, а главное — молодого адвоката с дегенеративным черепом.

— Очень странно, Николай Дмитриевич! — шепнул адвокат со «свистящими» губами своему старшему коллеге.

Тот повернул к нему лопатку своей бороды и посмотрел серыми усталыми глазами:

— Пресыщенность. Любовь к сильным ощущениям, Денис Петрович. Он думает, что революция — это американские горы в Луна-парке: три минуты щемящего страха, а потом благополучный спуск, гарантированный администрацией парка. Как бы не так!

Николай Дмитриевич разгладил пожелтевшие у корней от табачного дыма седые усы и сосредоточенно гмыкнул: надо было обдумать ответ этому кокетничающему с революцией миллионеру-снобу. Впрочем, особенно раздражать его ни к чему, — рассудил знаменитый киевский адвокат, вспомнив, что только вчера звонили к нему по поручению Терещенко и спрашивали, не может ли взять на себя ведение искового крупного дела.

Но ответить все же на «баловство» Терещенко необходимо было. «Я-то ведь — не только председатель совета присяжных поверенных города Киева, но и руководитель кадетской партии здесь, а собравшееся сейчас общество не так уж безразлично для нее». И Николай Дмитриевич, осторожно отбирая слова, заложив палец за борт наглухо застегнутого сюртука, как делал это на выступлениях в судебной палате, встал с кресла и произнес речь.

— Бесспорно, — заявил он своим баском, зная, что его должны хорошо слушать, — бесспорно, нас ожидает после войны грозное народное движение. Но именно потому, что оно будет грозно-стихийным, мы должны прилагать все усилия, чтобы вложить в него разум, план, организующее начало. В борьбе с движением правительство очутится в безвоздушном пространстве, ему не на кого и не на что будет опереться, и вся надежда и все спасение будет в сплочении существующих политических партий и общественных организаций. Нравственный кредит правительства равен нулю. В последний момент, охваченное ужасом, оно, конечно, ухватится за нас. И тогда нашей задачей будет не добивать правительство, что значило бы поддерживать анархию, а влить в него совершенно новое содержание, то есть прочно обосновать правовой конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством, несмотря на все, необходимо чувство меры. Народная мысль и без того имеет опасный уклон в сторону анархизма, отрицания всякой власти. Война же потребовала во имя государственной идеи от массы страшных, невероятных жертв, которые неизбежно в темных, неуравновешенных умах подорвали самую государственную идею. Это явление необходимо предусмотреть и заранее определить свое отношение к нему, чтобы не смешивать с явлениями действительной политической революции, которая, вероятней всего, придет, наступит... А в общем —

И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло,

вспомнился мне, господа, как и Михаил Ивановичу, другой поэт — Владимир Соловьев. Будем помнить об этом и будем надеяться, однако, на лучшие времена.

Разговор на эту тему продолжался еще долго. И в розовой с «Людовиками», и в зеленой гостиной, украшенной шелковыми панно со сценами на них из мифологии, и в соседней комнате — карабаевском кабинете, куда забрел, прельстившись обществом молодежи, Терещенко и откуда вышел малоразговорчивый, искавший, как всегда, уединения компаньон Карабаева по донецкой шахте и лесным угольям — Арий Савельевич Бронн.

— Кажется, большой день получился: так много интересных речей... — подошла к нему Татьяна Аристарховна. — Скоро будем обедать, не глядите буквой.

Она была в черном глухом платье из панбархата с длинным шлейфом. Оно худило ее и делало выше ростом. Да и прическу

с сегодняшнего дня Татьяна Аристарховна переменяла, последовала наконец за общей модой, на что раньше не решалась: круглую, на валиках, прическу заменила гладкой, с пробормом посередине, как у сестер милосердия, а концы волос завila крупными кольцами, скрепленными на затылке большим черепаховым гребнем, утыканным бриллиантками чистейшего сверкания. Прическа была ей к лицу и очень молодила.

— Вы сумасшедшие красивы! — пробормотал, даваясь словами, Бронн. — У него такое счастье в руках... — не называл он Георгия Павловича по имени. — Вы такая строгая сегодня и красивая... Боже мой, что мне делать?!

— Правда? Любуйтесь, Арий Савельевич, если это доставляет вам удовольствие, — мягко сказала она и хотела уже отойти, но он, прикоснувшись к ее руке, умолял остаться на месте.

— Я уеду. Я это твердо решил. Когда коммерсант теряет сердце — этого даже самый лучший поэт не в силах выразить в стихах. Иначе я заплатил бы тысячи, чтобы он написал поэму о моей любви. Вам кажется все интересным сегодня, а я слушаю все разговоры тут, но ничего не слышу: я не перестаю о вас думать — вы это хорошо знаете.

Она знала, что уже давно Бронн влюблен в нее. Конечно — безнадежно, иначе и не могло быть.

Но как-то случилось так, что, сразу не сказав о том мужу, она и впоследствии ничего ему не говорила, и между ней и Бронном возникла тайна, которая не всегда была ей неприятна. Сегодня — в особенности, потому что Татьяне Аристарховне хотелось, чтобы заметили ее новое платье и прическу, чтобы отметили ее красоту, а это первым сделал Бронн, если не считать девочек. Но Катя, Ирина, Лиза — это все свои, а вот он... он всегда внимателен, предан, — брал бы пример с него Жоржа! Или Жоржа так увлекся сегодня политикой с Терещенко, что ничего не замечает?

Она с благодарностью посмотрела на Бронна.

— Старый вы холостяк... жениться бы вам, сколько раз я говорила!

У него были совсем коротко острижены усы, они, как черноседой грим, растянулись во всю губу. По углам ее зажимали криво прорезанные годами крупные собачьи морщины, спускавшиеся на выбритый, но всегда отливавший синевой квадратный подбородок.

Черные, с поволокой, глаза — жестокие и печальные — прятались в мешочках припухших век. Ослепительно белая, с напухшими венами, женственная рука никогда почти не расставалась с заморской сигарой, которую посасывал, превращая до конца в нераспадающийся пепел.

— Пойдемте со мной, Арий Савельевич.

Он поплелся за ней из одной гостиной в другую и снова попал в карабаевский кабинет.

То, что там происходило, несколько вывело его из состояния обычной апатии, а через несколько минут и совсем заинтересовало.

Очевидно, он пришел к середине какого-то странного спора. Но по какому поводу?

На стене был приколот кнопками большой развернутый лист бумаги, перед которым стояла вооруженная карандашами группа карабаевских гостей, в том числе и Терещенко, и знакомая Бронну домашняя молодежь.

— Попробуйте, попробуйте! — командовала всем тут племянница Георгия Павловича. — Дам вам сколько угодно времени.

Он придвинулся и с недоумением посмотрел на приколотый лист бумаги, привлечший общее внимание. На листе были нанесены тушью девять жирных точек в таком порядке:



— В чем же дело? — невольно улыбаясь, спросил он.

— А-а, пожалуйста, пожалуйста! — потянула его за рукав, как старого знакомого, Лиза Карабаева. — Ириша такую загадку задала, что никто не может разрешить. Ни вот тот... — с шаловливой гримасой указала она пальцем в спину Терещенко, — ни Иван Митрофанович. Никто, никто! Арий Савельевич, вы умница... попробуйте!

— В чем же дело? — повторил он свой вопрос и оглянулся на хозяйку дома, но Татьяна Аристарховна с удивлением пожала плечами.

— Лиза, объясни.

— Это такая загадка, мамочка... Ириша тут поспорила вот с этим (она все с той же ужимкой показала на спину Терещенко)... сначала она с ним состязалась в стихах Блока: кто больше знает, потом они, мамочка, поспорили... что-то не помню, насчет не знаю какой революции будто бы... потом Ириша возьми и загадай ему загадку...

— Вы что-нибудь поняли, Арий Савельевич? Я — ничего! Но в чем же дело все-таки? — требовала объяснений от дочери Татьяна Аристарховна. — В чем именно эта загадка?

— А вот, мамочка... Ириша ее вспомнила, Федя Калмыков ей во время экзаменов в Смирнинске загадывал... Понимаешь, мамочка, — видишь эти точки? Да? Ну вот, надо понимаешь, соединить их четырьмя прямыми линиями, не отнимая карандаша от бумаги. Не отнимая, Арий Савельевич! Вы так пальцем по воздуху не проводите! Уж так, как вы, пробовали вот тот самый (опять в сторону Терещенко), да ничего не выходит, ей-богу!

— А о чем они спорили?

— Кто, мамочка?

— Ириша и Михаил Иванович.

— А-а... О политике, мамочка.

— А точнее ты не можешь сказать?

— Нет, это неинтересно, мамочка, а вот загадка...

— Ну и девочка!

Татьяна Аристарховна подошла к гостю-миллионеру.

— Вы, погляжу я, так увлеклись Иришиной шарадой, что совсем покинули гостиную.

— Да, представьте себе! — поклонился он хозяйке дома. — Принимая во внимание наш спор с Ириной Львовной, в которой я обнаружил незаурядного агитатора, особенно хочется разрешить самому эту любопытную загадку. Ирина Львовна вложила в нее какой-то аллегорический, сказал бы я, смысл. Философский даже. Ведь правда, Ирина Львовна?

— Если вам угодно, — раскраснелось Иришино лицо. — Я кстати вспомнила это. Я ведь не такой образованный оратор, как вы, и совсем неискушенный агитатор, а вот эта задача приходит мне на помощь, чтобы доказать всем вам...

— Что доказать, Иришенька? — не переставала улыбаться тетка.

— Что без революции невозможно уже теперь разрешить ни один вопрос. Какой бы перед людьми ни стоял, тетя Таня! — с неожиданной запальчивостью сказала Ириша.

— Вот как? — удивленно, но беззлобно пожала затянутыми в бархат круглыми плечами Татьяна Аристарховна. — В самом деле? А разве папа твой тоже так считает? (Этот довод казался ей неопровержимым.) Имея такого папу, следует, Ириша, к нему прислушиваться и целиком полагаться на его мнение. Не правда ли, Михал Иванович?

— Никто не может быть великим человеком для окружающих его домочадцев, и Лев Павлович также... — дипломатично сощурил он по привычке глаза. — Или — как говорят французы: *il n'y a pas de heroes pour son valet de chambre...*¹ Но Ирина Львовна имеет свое мнение, и я ему не так уже враждебен в конце концов. Каждое понятие может иметь свое различное толкование.

— Ага, вы отступаете! — воскликнула Ириша.

— В разрешении вашей каверзной задачи — да. Как я ни соединяю эти точки — всегда остается одна незатронутой. А иногда даже две! Я отступаю, Ирина Львовна, и жажду узнать наконец это дело.

— Я тоже! — в один голос сказали Арий Савельевич и Теплухин, не на шутку увлеченные неподатливыми девятью точками.

— Ну, приготовьтесь... Вы увидите, как все это просто! — с таинственным видом подошла Ириша к стене, на которой был приколот белый лист бумаги.

Все расступились. Она взяла со стола длинный красный карандаш и стала объяснять:

¹ Нет барина, который лакею казался бы героем... (фр.)

— Дело в том, что вы все допускаете одну и ту же ошибку. Психологическую, сказала бы я... Проведите, как вы уже делали, карандашом со всех четырех сторон по крайним точкам,— что получается?

— А в середине одна не будет задета!

— Конечно. Но вот посмотрите на образовавшийся рисунок. Она начертила его:



— Получается прямоугольник, замкнутая геометрическая фигура,— правда ведь? Вы даже пытались вести первую из четырех линий по диагонали,— и все равно какая-нибудь из боковых точек не будет задета. Значит — решение не найдено.

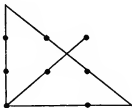
— Так в чем же суть? — нетерпеливо спросила Татьяна Аристарховна. — Господа, мы скоро пойдем к столу...

— Одну минутку, тетя Таня!... Вы и не найдете никогда решения в пределах этой замкнутой фигуры. А вы все ищете его именно здесь — и потому ошибаетесь! Вы прикованы к этим очертаниям, вы... психологические рабы их!.. Рабы!

— Ирина! — остановила ее Татьяна Аристарховна, как будто оскорбленная этим неуместным словом «рабы».

— Нет, отчего же? — поняв ее замечание, добродушно улыбнулся Терещенко. — Это довольно правильно в данном случае.

— А вот смотрите! — быстро провела карандашом Ириша. — Вот что нужно сделать,— видали? Ведите с первой точки вверх!



— Фу-ты, как просто, господа!

— Действительно... верно.

— Своего рода колумбово яйцо!

— Надо выйти за пределы замкнутой фигуры, рвануться выше ее обычных очертаний, и все то, что казалось невозможным, будет разрешено, Михаил Иванович. Теперь вы понимаете, к чему я клонила в нашем разговоре? — разгорячившись, спрашивала Ириша.

— Да, да, Ирина Львовна.

— В пределах этого прямоугольника, замкнутой фигуры жизни, лежат все те вопросы, о которых мы с вами говорили. Этот прямоугольник — как тюремная решетка: пока ее не разломаешь — не будет свободного разрешения всего того, что волнует людей в нашей стране. Вот что я хотела сказать... Тут тебе и политика, кто ею занимается против нашего режима бесправия. Тут вам и вопросы долга, сострадания к людям, гибнущим из-за войны, — разве я не права? В пределах наших условий не найти настоящего, справедливого решения!.. Вы рассказывали мне много интересного про вашего друга Александра Блока. «Роза и крест» написана под вашим влиянием, вы говорите? Я очень люблю стихи Блока... Он говорил о своем поколении, а мы, современная молодежь, можем как-то и к себе самой отнести эти строки:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуты не в силах ничего...

Мы помним, Михаил Иванович!

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

— Хорошо читаете, Ирина Львовна, — похвалил холодно меценат.

— Вопросы долга, патриотизма, дружбы, семьи, совести, любви... Да, семья и любви, — вспомнив о себе и Ваулине, с особым подчеркиванием произнесла Ириша эти слова, — всего этого теперь не разрешить счастливо без ненужных для человека страданий. Ведь каждый из нас столкнулся в жизни с каким-нибудь из этих вопросов! Надо вырваться за пределы привычных очертаний жизни, они давят всех, эту решетку надо разломать, и тогда придет для всех великолепная свобода... Вот вам моя задача! — вдруг закончила она, смутившись отчего-то, и крупным размашистым почерком написала быстро-быстро слово

ЗА-ДА-ЧА

на исчерканном, приколотом к стене листе бумаги.

— Я всегда вам говорил, — идя рядом с хозяйкой к обеду, бормотал ей грустный Арий Савельевич. — Жизнь наша — точка и еще менее. Надо спросить, — усмехнулся он, — у Дениса Петровича, кто первый это изрек: Арий Бронн или Сенека?

После обеда горничная подала Ирише только что полученное письмо.

Она сразу же признала Федин почерк, но штемпель на конверте — «Снетин», да и сам конверт — розовый, дамский, с вы-

давленной на нем монограммой «ЛГ» с переплетенными буквами — несколько ее удивил.

Еще больше удивил ее текст Фединога письма. Оно было довольно сумбурно:

«Задержан в пути жизни счастьем. (Это слово было написано все прописными буквами.) Поэтому вернусь к киевским будням не раньше, чем через неделю. Это будет разлука с тем, чем дышу теперь. Говорят, разлука уменьшает малые страсти и усиливает большие, как ветер задувает свечи и раздувает пламя. Никаких свечей, ибо я объят целым пожарищем!

Напиши все-таки, кто такой Н. М. Сергеев, — интересно. Увидишь Ивана Митрофановича — скажи ему, что тот человек, по фамилии Кандуша, которого он видел у дяди на станции, — подлец, шпик, и он хранит письмо одно, адресованное Ивану Митрофановичу. Это целая история, когда-нибудь расскажу.

Обнимаю (конечно — только дружески!). Зачем ты в Киеве, — а? Тут снег до самых окон, но он стережет счастье!

Ф. Калмыков».

В этом письме было много непонятно Ирише, но больше всего ее озадачило упоминание Кандуши, и притом в таком странном и неприятном сочетании.

Какой Кандуша?.. Неужели тот самый заводской табельщик, который иногда заходит к ним в дом, ведет себя очень скромно, ходит с Юркой на рыбную ловлю? Почему он подлец и шпик? Глупости! — прервала она свои мысли. — Почему? Это неважно, а вот если он действительно из охраны... ужас какой! А мама с ним так любезна: землячок, землячок... Вот тебе и землячок!

Не задумываясь пока над всем остальным, что было в письме, она пошла разыскивать Теплухина, надеясь у него получить дополнительные сведения о Пантелеймоне Кандуше.

В зеленой, «мифологической» гостиной за двумя ломберными столами царствовали карты. В центре одного стола сидел дядя Жоржа, в центре другого — посасывающий только что обрезанную пахучую сигару Арий Савельевич. (Терещенко уже уехал.)

Обычно малоразговорчивый, апатичный, Бронн, раздавая небрежно скользкие атласные карты, цедил теперь сквозь зубы больше слов, чем Ириша слышала из его уст за весь этот день.

— Это то сражение, которое я, к сожалению, всегда выигрываю. И всегда банк, всегда банк...

«Где он?» — искала глазами Ириша Теплухина.

— Девять... вот видите? Не точек, а очков! — слабо усмехнулся Бронн, заметив Иришу и покосившись в ее сторону. — Когда я был в Германии, один немец — такой, знаете ли, король среди крупье — рассказывал мне. Кант, знаете, и Гегель, несмотря что

философы,— а? — любили, оказывается, играть в карты... Но виноват, мадам: девять опять!.. Да, так что я говорил? Ага, Моцарт был страстный охотник до бильярдной игры,— все-таки игра, господа! Лессинг любил лото и фараон, а знаменитый Шиллер — так тот прямо говорил, что, по его мнению, человек только тогда вполне человек, когда играет. Это мне все рассказывал мюнхенский крупье. Господа, я не шулер, но у меня опять девятка!..

За столом Карабаева помощник присяжного поверенного с вытянутыми, как для свиста, губами говорил соседу, известному в городе доктору-общественнику:

— Вот пошла — замечаете? — молодежь... Максималисты, а не молодежь! Взять хотя бы сегодняшний случай. (Ириша поняла, что идет речь, очевидно, о ней, и потому прислушалась.) Судят о том, о чем не имеют права. Я помню, мы в свое время занимались театром и литературными процессами,— это так развивало наш ум! Нет, нет, Георгий Павлович я пропущу на сей раз: предчувствие — не повезет! Да... судили, говорю, по всем правилам устава уголовного судопроизводства. Алеко — из «Цыган», Карла и Франца Моора — из «Разбойников», графа Старшенского, помню, из гауптмановской «Эльги», Хлестакова, Раскольников, конечно... А теперь?

Ириша вышла из гостиной и обошла всю квартиру, но Теплухина нигде не было. Не искать же его в кухне?

Но оказалось, как сообщила повстречавшаяся горничная, что именно там, верней — в людской, рядом расположенной, он и находится сейчас.

Минут пять назад пришел по черному ходу какой-то скромно одетый человек, по виду — схожий с мастеровым, и спросил Ивана Митрофановича. Он был так настойчив в своей просьбе, что пришлось вызвать Ивана Митрофановича, и вот они сейчас беседуют о чем-то в людской. А сама она, горничная, идет к вешалке за теплухинской шубой и шапкой, потому что послал Теплухин, наме-ревающийся, по-видимому уходить.

Можно было, конечно, отложить разговор с Теплухиным, но Ирина рассудила иначе.

Иван Митрофанович мог ждать кого угодно, но не Кандушу!

Пантелейка стоял, чуть согнувшись, у неостывшей плиты и попеременно грел руки, прикладывая их к теплему белому кафелю. Повар Михай и его дородная помощница, сидя за столом у окна, заканчивали в безмолвии свой поздний обед. Шипела в судках на плите вода для мытья посуды.

Кандуша сразу и не заметил перешагнувшего порог Ивана Митрофановича.

— Ох, ты... а я и не слышал, гос-споди боже мой!

— Гм, не слышал? У прогневанных богов шерсть на ногах! — враждебно усмехнулся Иван Митрофанович. (Час назад, за обедом, он слышал это изречение в устах впалолобого адвоката и теперь повторил его — как будто кстати.)

Но Кандуша его не уразумел. Ему даже показалось, что Теплухин «под мухой» и потому говорит так непонятно.

— Здравствуйте, Иван Митрофанович.

— Ну, здравствуй. Откуда ты?

— Из провинции, как вам известно. Сегодня только. Проездом, конечно.

— А зачем пожаловал?

— По делу-с!!

— Мне сейчас некогда.

— И мне тоже, осмелюсь заметить! — с обеспокоившей дерзостью сказал Пантелейка.

— По какому это опять делу?

Кандуша скосил глаза в сторону невольно прислушивавшихся повара и его помощницы. Увидев Теплухина, она, оробев почему-то, встала и так — стоя — продолжала еду.

Иван Митрофанович оглянулся и жестом пригласил Пантелейку в людскую.

— Говори.

— Сюртук хорош больно... — с искренним любопытством рассматривал его Кандуша. — Опять же галстук — шелк! Богаты стали, вижу... Денежки — что голуби, пипль-поплы! Где обживутся, там и ведутся, позволю заметить.

— А ты к делу переходи, — уже мягче прежнего сказал Иван Митрофанович. — Ты-то сам... деньги в банке уже получил? Или как распорядился?

— Об этом и речь, Иван Митрофанович.

— А что такое?

— Сегодня, по прибытии, сразу в банк зашел.

— Ну, и что же?

— Обидели вы меня! — выпалил вдруг Кандуша, метнув исподлобья колющий взгляд.

— Чем? — удивился Теплухин.

— Сами знаете, Иван Митрофанович... Не можете не знать. Совесть надо — вот что! Вот гляжу я на вас — крупная, позволю сказать, птица стали. Со средствами, видно. А разве большие птицы зернышками пробавляются? На махонькое зернышко клюв открывают, — как скажете?

— Ну, ты... птичник нашелся! Чем я тебя обидел?

— А как же? В банк захожу, там поглядели-поглядели чек ваш и — пожалуйста! Все, говорят, будет правильно, и деньги вы, господин хороший, получить сможете, только тот, кто выдал вам чек, формальность одну не выполнил. Сам же, говорят, ее назначил нам, а не выполнил. Какую такую формальность? — спрашиваю. А это, говорят, мы сказать не вправе: а может, вы, прощения просим, жулик и все такое подделывать можете?

— Ха-ха-ха! — расхохотался Иван Митрофанович.

— Чего вы? — оторопел Кандуша.

— Понимаю, все понимаю! Ты прости меня: я, наверно, забыл особый гриф... секретная такая отметка моя... забыл я ее поста-

вить. А ты думал, что я тебя надул? Расписку взял — и надул? Ай-ай-ай, сударь мой!

Он кликнул из кухни горничную и велел ей принести шубу.

— Спустимся во двор, я зайду в свою квартиру и мигом все тебе сделаю.

Он был рад, что все оказалось такими пустяками, а он было уже начал волноваться из-за неожиданного появления Пантелейки. Кандуша, видел он, тоже не скрывал своей радости.

— А теперь второе дело, — ухмыльнулся тот. — Думал: не расскажу, пипль-попль, если взаправду обидеть хотели. Но вот, благодарить позволю себе, по-иному вышло... Людмила Петровна то на другой день после вашего отъезда заявила-то ко мне в Ольшанку! — неожиданно сказал он.

— Да что ты?! — проткнул его своим рысьим взглядом Теплухин. — Наболтал, гляди?

— Гос-споди боже мой, за кого принимаете? Не увидала-с она меня. Как услышал ее голос — скрылся у баткиного соседа.

— Пойдем, расскажешь все по дороге. Выходи, выходи, я — сейчас.

Он пропустил вперед себя Кандушу, направившегося к черной двери, а сам сделал несколько шагов навстречу поджидаемой горничной, посланной к вешалке. И — столкнулся на пороге кухни лицом к лицу с Иришей.

— Кандуша!.. — невольно воскликнула она, увидев на мгновение его лицо в тот момент, когда он закрывал за собой дверь на площадку.

Но он не слышал ее возгласа и спокойно исчез.

— Почему этот человек здесь? — схватила она за руку Теплухина. — Зачем он к вам приходил?

— Это сын нашего рабочего-кожевника из Ольшанки. Почему он вас так интересуется? Вы что, — знаете его, Ирина Львовна?

— Знаю. Зачем он сюда приходил? — упрямо повторила свой вопрос Ириша.

Иван Митрофанович внутренне насторожился:

— Он просил за своего отца: обычное житейское дело.

— Вы с ним сейчас уходите?

— Да, на одну минуту. Оформить кое-что. А в чем дело, Ирина Львовна? — старался говорить он как можно веселей и непринужденней, влезая в шубу, принесенную подоспевшей горничной.

— Можно вас на одну минуту сюда? — увела его Ириша в коридор, где никто не мог их слышать. — Вы знаете этого человека, Иван Митрофанович?.. Давно? С каких пор?

— Да как сказать, собственно?.. Знаю и не знаю. Ну, так же как сотню других, которых видел в своей жизни случайно раз-другой, — уклончиво ответил Иван Митрофанович.

— Он шпик из охраны! — горячо, так, что выступила непрошенная слеза в глазу, сказала Ириша. — Остерегайтесь его.

— Вот так штука!

Она увидела побагровевшее во всю ширь теплухинское лицо, на котором, как нащепка, смешно выделялся теперь уцелевший от краски смущения шафранный коротенький нос.

Иван Митрофанович втянул на секунду к зубам свои мясистые губы и тотчас же разжал их наигранной улыбкой искренне недоумевающего человека.

— Боже мой, а вы откуда знаете?

— Знаю, Иван Митрофанович!

— Удивительно, право! Во-первых, этот парень мне никак не страшен: я даже не помню, когда я его до сегодняшнего дня видел...

— Не помните?.. — теперь удивилась уже Ириша: она держала в памяти Федино сообщение, из которого могла вынести совсем другое заключение.

— Конечно, не помню, Ирина Львовна... А во-вторых, каким образом вы можете знать, что он шпик!

— Странно... не помните... — размышляла она вслух.

— Откуда все-таки? — допрашивал Теплухин.

Она, закрыв рукой первые строки, показала ему конец Федино письма.

— Вот, Иван Митрофанович...

— Действительно, странно... — стараясь не выдать своего волнения, хмуро и медленно произнес он. — Надо будет подробно расспросить Калмыкова.

— Обязательно, Иван Митрофанович! Как только придет.

«Но почему он пишет, что вы Кандушу видели неделю назад, а вы Кандушу не помните?» — чуть было не спросила еще она, но, сама не зная почему, не задала этого вопроса сейчас.

Вероятно, потому, что Иван Митрофанович в этот момент торпливо пожал ей руку и, надевая шапку, сказал:

— Спасибо, однако, за сообщение. Мы еще поговорим об этом... Любопытно, любопытно, Ирина Львовна!

И — удалился.

Случилось то, что не могло не случиться.

Ни она, ни Сергей долго не решались включить свет и нарушить столь же долгое молчание хотя бы одним словом, как будто после всего, что произошло, уже не могли существовать старые слова: должны были заново родиться какие-то другие, ни разу еще не сказанные.

Сквозь обледеленое оконное стекло падал искривленный лучик прильнувшего к нему света из дома на противоположной стороне. Он не рассеивал комнатной темноты и только серебрил носок Иришиного сапожка, всегда казавшийся ей отлакированным: до того чисто были натерты носки обуви суконной подкладкой галош.

Она смотрела на этот серебящийся сапожок, одиноко стоящий у металлической ножки Фединой кровати, и, чувствуя свою стыдливую и счастливую в то же время улыбку на губах, думала, что первый раз в ее жизни башмаки у кровати стоят порознь.

Она хотела, чтобы Сергей увидел сейчас ее улыбку,— тогда, может быть, легко и просто придут к ним обоим новые и замечательные слова...

Глава пятнадцатая

УБИТ РАСПУТИН

В прошлом — ноябре — месяце Государственный совет, палата русских сановных старцев — эта тугая, непрогнившая пробка для мало-мальски прогрессивных поползновений Думы — принял резолюцию 105 голосами против 23 о «темных силах», вредящих государству, и значительно меньшим большинством, но большинством немалым — о смене правительства.

В старом Великом Новгороде собрались дворяне и приняли обращение к царю: «Здесь, в Новгороде, где зародилась Великая Российская Держава, в тяжелую годину еще небывалых в истории Русской земли испытаний, должен раздаваться твердый, нелицемерный голос первого сословия, предостерегающий Государя от того опасного пути, на который влекут его лукавые советники».

В Петербурге говорили, что это обращение написал неизвестный литератор из «Нового времени» на квартире Родзянко.

«По всей Земле Русской,— свидетельствовали новгородцы,— от подножья Престола (намек на великих князей) до хижины бедняка, не смолкает трепет тревоги народной. Из уст в уста передают зловещее слово: «измена». И остается у народа одна надежда: правдивый голос его избранников, обращенный к мудрости и силе духа своего Государя. Но если, к величайшей скорби народной, Государственная дума и Государственный совет не будут услышаны и являющиеся врагами общественного блага правители, которым страна не верит, будут подкапываться под устои народного представительства, если светоч, озаряющий тернистые, кровавые пути к величию и счастью родины, будет затуманен,— настанет мрак разнужданных страстей и неудержимой злобы. И тогда — Престол, Россия и ее упования будут ввергнуты в пропасть, в глубине коей погибнут лучшие силы и надежды России, ее честь, ее целость, ее достоинство, ее мощь и слава».

В других словах, но с той же целью: спасти трон от народного возмездия — составлялись резолюции союза городов, земских собраний, военно-промышленных комитетов, и даже всероссийский съезд объединенного дворянства требовал от монарха создать новое правительство, «способное к совместной с законодательными учреждениями работе».

Депутация первого сословия не была принята императором, а собрания всех остальных организаций были прерваны появле-

нием полицейских властей, посланных царским надежей — Протопоповым.

Начальник штаба Ставки генерал Алексеев о чем-то усиленно переписывался с ненавистным царской семье «бреттером» Гучковым.

Пуришкевич вышел со скандалом из думской фракции «правых» и разоблачал в великокняжеских салонах затаенные помыслы своих вчерашних соратников о сепаратном мире. (По этому поводу, одобряя поступок Пуришкевича, кое-кто не без ехидства отмечал, что как раз два месяца назад этот знаменитый депутат-крикун и помещик лишился своих бессарабских имений, захваченных немцами.)

В Ставке в разгар военных операций царь скучал: играл в домино, раскладывал пасьянс — любимую «корзиночку» — и каждый вечер на сон грядущий читал по главе из английского романа, присланного Александрой, этой злополучной Марией-Антуанеттой русского двора!

Письма от нее шли каждый день.

Они неизменно, как правило, начинались с описания царско-сельской погоды или какого-нибудь пейзажа, затем следовало изложение весьма частых бесед «тоскующей женки» с особо приближенными министрами и «нашим другом» (Распутиным) — настойчивая просьба сделать все так, как они советуют, и не раз повторялся теперь вопрос, долго ли задержится на своем месте обезьяна Трепов, который на подозрении у «святого отца».

Еще большая ненависть была к «Длинному» — великому князю Николаю Николаевичу, отосланному на турецкий фронт.

«Надеюсь, что неправда, будто Николаша приедет сюда вскоре. Наш фронт здесь не имеет ничего общего с Кавказом. Не пускай его, злого гения. Он еще станет вмешиваться в дела. Будь, мое счастье, Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех. Будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Дай им почувствовать порой свой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен кнут. Это странно, но такова русская натура».

«Я сильна, — писала Алис, — не скрывай от меня ничего, но слушайся меня, то есть нашего Друга, и верь нам во всем. Я страдаю за тебя, как за нежного мягкосердечного ребенка, которому нужно руководство, а он слушает дурных советчиков, в то время как Божий человек говорит ему, что надо делать. Вся моя вера лежит в нашем Друге, под его руководством мы пройдем через это тяжелое время. Это будет трудный путь, но Божий человек близок к тебе, чтобы охранять тебя и безопасно провести твою ладью мимо рифов. Если бы у нас не было его, все бы уже давно было кончено, я в этом совершенно убеждена».

Из Ставки в Петербург, в думские круги, пошли слухи о скором премьерстве Протопопова, — государь еще не называл его имени, но писал в Царское о калифе на час, Трепове, так:

«Противно иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь. Но раньше всего надо найти ему преемника, а потом вытолкать его после того, как он сделает грязную работу, я подразумеваю — дать ему отставку, когда он закроет Думу. Пусть вся ответственность, все затруднения падут на его плечи, а не на плечи того, кто займет его место».

Быстрыми шагами шел к власти и другой человек — «Ванька-каин» прозванный: Шегловитов — жестокий, высокий, холодный старик с розовыми щеками, всегда державший на ночном столике превозносимый им роман «Бесы».

Столичные журналисты за суетливой чашкой в кафе на Невском устраивали каждодневно политический тотализатор: «ставили» и на него и на Протопопова в премьеры.

Как сенсацию передавали, что во время приема царицей на днях великого князя Александра Михайловича, просившего от имени всей августейшей родни не вмешиваться в государственные дела, в соседней комнате дежурил рослый адъютант на тот подозреваемый случай, если бы понадобилось кинуться на помощь государыне.

Слух о возможности дворцового переворота вышел на широкую российскую улицу и безбоязненно бродил по ее истомленным пространствам.

Чего-то ждали все, но чего точно и когда оно должно произойти, — никто не мог сказать.

И вдруг в Петербурге раздался выстрел, эхо которого услышала вся Россия.

Восемнадцатого декабря рано утром генерал-майора Глобусова разбудил звонок телефона, который на ночь всегда переносим был Александром Филипповичем к изголовью кровати.

Он знал, что позвонят, и потому без какого-либо неудовольствия потревоженного в неурочный час человека снял трубку и выслушал донесение одного из своих помощников.

— Так, так... Один бежал... жаль, жаль. Ну, ничего... И на квартирах застукали? Так, так... Нет, нет, упаси бог! Ни на минуту. Держать отдельно. Поздравляю вас. Мерси... — закончил генерал-майор разговор и снова натянул до самого горла шелковое одеяло на гагачьем пуху.

Все обстояло так благополучно, ночная операция прошла с таким успехом, что сон, прерванный на минуту, мог легко продолжаться: генерал-майор вернулся во владения Морфея.

Но мифологическому божеству не удалось, однако, сохранить в своих объятиях начальника столичной охраны. Вскоре раздался второй звонок, в ответ на который Александр Филиппович чертыхнулся:

— Ну, что там еще?

«Фу-ты, по какому поводу в такую рань?»

Голос фон Нандельштедта, прокурора Петроградского окружного суда, обычно скупой и медлительный, забрасывал теперь телефонную трубку ворохом торопливых и отнюдь не степенных слов. О сне уже и не приходилось помышлять...

Прокурор суда удивлялся, как это генерал-майору еще ничего не известно — в то время как его шеф, Протопопов, оборвал уже все звонки. Фон Нандельштедт сообщил, что в эту ночь убит, по всей видимости, Распутин и что убийство, кажется, произошло во дворце князя Юсупова на Мойке, у Поцелуева моста.

— Господи, в том же районе! — неизвестно о чем подумал сейчас вслух Александр Филиппович.

— Что? — спросил прокурор и, не получив ответа, продолжал свой взволнованный рассказ: — На рассвете домашние Распутина звонком по телефону сообщили хорошо знакомому им министру внутренних дел, еще только вчера посетившему на квартире Григория Ефимовича, что последний исчез и они тревожатся.

По показаниям дворника и городского, около часу ночи военный автомобиль остановился у дома номер шестьдесят два по Гороховой. В автомобиле было двое господ и шофер. Один из господ вошел в дом и вскоре возвратился в сопровождении Распутина. Они сели в автомобиль и уехали по направлению к Адмиралтейству. Горничная Распутина рассказывает, что он сам, как будто ожидая кого, открыл приехавшему дверь и сказал: «А, маленький,ходи, здравствуй».

— Маленький? Таково прозвище молодого князя Юсупова у распутинцев. Это он был! — уверенно сказал в трубку Глобусов.

— Но вот, — продолжал информировать его прокурор, — вестником гибели Распутина стал только что допрошенный городской Власюк. Он стоял ночью на посту в одном из переулков, недалеко от того места набережной, где находится юсуповский дворец, как вдруг с Мойки послышались два выстрела, один за другим. Власюк пошел в ту сторону, откуда они раздались, и вышел к реке, против реформатской церкви. Стоявший у церкви, на другом берегу, постовой сказал Власюку, что стреляли у дома Юсупова.

— Дальше, дальше... я слушаю.

Александр Филиппович живо, до детали, представил себе местность, о которой шла речь сейчас:

«Дворец князя расположен на самой набережной, а рядом с ним двор соседа с решеткой... да, да. С решеткой вместо обычного забора. На этот двор выходит, насколько помню, особая дверь из княжеского кабинета. Ее сделали, вероятно, с более мирными и интимными целями, чем те, — подумал он, — для которых она была, как он говорит (это о прокуроре), использована сегодня ночью...»

— Итак, Власюк, приблизившись к дворцу, увидел за решеткой свет фонаря и тени людей. Войдя во двор, он узнал в двух бывших там человеческих фигурах молодого князя Юсупова, по-

роднившегося недавно, кстати сказать, с царствующим домом, и старого княжеского дворецкого. Князь встретил исполнительного блюстителя благочиния и безопасности неприветливо и заявил, что полицейскому здесь делать нечего: просто... великий князь Дмитрий Павлович, уезжая к себе домой, убил собаку.

Петербург — хорошая школа для городских: они отлично знают, как и с кем нужно себя держать. Власюк сделал под козырек и немедленно отправился обратно на свой пост. Тем бы дело на эту ночь и кончилось, но несколько минут спустя к Власюку подошел дворецкий и позвал его к князю.

Власюка впустили в кабинет через боковую дверь со двора. За столом стоял князь Юсупов, а сбоку стола сидел неизвестный городовому господин в пенсне, бывший, как сейчас же распознал опытный глаз столичного полицейского, в форме гражданского чиновника военного ведомства — с погонами действительного статского советника. Заметил Власюк, что этот человек был в состоянии значительного опьянения.

Юсупов молчал, а говорил незнакомец. Разговор был недолог, но выразителен.

Власюк передавал его приблизительно так:

— Знаешь меня?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Я член Государственной думы Пуришкевич. Слышал о таком?

— Так точно, ваше превосходительство!

Затем последовали короткие вопросы: знает ли городской, кто такой Распутин, любит ли городской родину и чтит ли царя? Власюк дал на них утвердительные ответы. Тогда назвавшийся Пуришкевич встал и сказал:

«Так знай же, православный Иван, что этой ночью Распутина не стало. Теперь ступай на свое место и забудь, что я тебе сказал. Понятно? Если любишь царя и родину, то должен об этом молчать».

Власюк опять отправился на свой пост. Ретивый служака, он был смущен приказанием Пуришкевича: как же молчать, если случилось такое исключительное происшествие?..

— Ну, что вы скажете, Федор Федорович,— спросил своего друга под конец беседы генерал-майор Глобусов.

— Что я скажу? Теперь, когда я все вам изложил, я уже не сомневаюсь, что он убит и кто убийцы.

— Нет, я не об этом! — зная, что его не видят, высунул язык Александр Филиппович.— Вообще что вы скажете?

В трубке наступило минутное молчание, потом с чересчур глубоким вздохом, внушавшим подозрения, голос прокурора протянул:

— Ах, из него можно понять, сколь бедное творение есть человек!..

— Да, да... А как, по-вашему, дальше будет, Федор Федорович?

— Я думаю, мой друг, о милости. Она, как учил философ, не причиной руководствуется, но смотрит на бедствие. Жду для них милости.

«Ох, дипломат!» — подумал о своем приятеле генерал-майор и на встречный вопрос: «А что он сам думает?» — ответил еще более туманно:

— А я вот вспомнил евангелистов, Федор Федорович... Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю.

Нужно было перехитрить приятеля (в эту минуту даже самому большому другу доверять нечего: вспоминался всегда коварный Вячек) — и генерал-майор успешно перехитрил: фон Нандельштедт что-то гмыкнул в трубку, так и не поняв, очевидно, Александра Филипповича.

Генерал-майор Глобусов протянул руку к ночному столику и, взяв оттуда приготовленный еще с вечера стакан душистого боля, широкими глотками опорожнил его «для контенанса» — любил так выражаться. И подлинно: надо было запастись твердостью духа, идя навстречу наступающему дню.

Он сулил явные неприятности: разыскать Распутина было поручено министром другому генералу, а не Александру Филипповичу.

Жандармский генерал Попов распорядился осмотреть садик у юсуповского дворца. Нашли кровь на снегу у малого подъезда и убитую выстрелом в пасть собаку, которая смутила очень многих: «А может быть, собаку только и убили и Пуришкевич зря бахвалился?»

Кровь отправили на исследование в лабораторию господина Цвет на Бассейную, — стараясь возвратить себе милость Протопопова, генерал-майор первый подсказал это мероприятие. И кровь по исследовании оказалась человеческой!

Дождавшись результатов анализа на Бассейной, Александр Филиппович поспешил уведомить о том по телефону Протопопова, но не застал его, и тогда позвонил министру юстиции Макарову. Низенький, лысый и желчный старичок с седыми лакейскими баками не вызывал приязни у Глобусова: свирепый и ограниченный бюрократ начинал иногда капризничать в совете министров и требовать у глобусовского шефа «ревизии» некоторых мероприятий охраны... Глупый старикашка!

Вот он и сейчас выразил свое недоумение:

— Сомневаюсь, генерал, сомневаюсь. Как же можно узнать, что кровь именно человеческая, а не вообще какого-нибудь молочнопитающегося? (Он, как и Штюрмер, имел обыкновение говорить «заливы» вместо «проливы», когда заходила речь о Дарданеллах.)

Макаров, как известно было Александру Филипповичу, не был, проходя чиновничью дорогу, ни следователем, ни товарищем прокурора, но прокурором суда состоял последовательно в Ревеле, Нижнем и Москве и потому мог бы, казалось, знать о способе

Уленгута, усовершенствованном Туфановым в Киеве. А вот поди ж ты, какой невежда министр юстиции!..

Пришлось вкратце рассказать про этот способ исследования крови, и тогда вдруг генерал-майор услышал в телефон вырвавшееся из глубины души восклицание министра:

— Вот неприятно, что такой способ открыт!

«Может быть, он это применительно к данному случаю: потому что не любил Гришку? — подумал Глобусов. — Тогда изволит быть больше чем откровенным... Ну, а если он это просто от обскурантизма, эдакий Скалозуб!»

Труп «старца» был обнаружен подо льдом Невы, у берегов Петровского острова. Протопопов исполнил последний долг перед своим всеильным покровителем. Всеми был получен его приказ:

— Обшарить все дно Невы и залива хотя бы до самого Кронштадта!

Такое приказание объяснялось тем, что убийцы не умели молчать, и по городу расплзлись слухи, будто Распутин спустился ночью в какую-то прорубь.

— Кто нашел тело? — спросил Протопопов жандармского генерала Попова.

— Тайный сотрудник департамента полиции Пантелеймон Кандуша, ваше превосходительство, — поглядев в записную книжечку, ответил жандармский генерал.

— Позвать его ко мне... Представляю к особой награде! — распорядился министр.

«Губонинский человек, — вспомнил Кандушу присутствовавший в протопоповском кабинете Александр Филиппович. — Везет же Вячеку!»

На мосту между Петровским и Крестовским островами Кандуша увидел следы крови, а под мостом, у края значительной по размерам полыньи, лежала высокая галоша. Кандуша отправился берегом Петровского острова вниз по течению и в шагах ста от полыньи заметил подо льдом, с поверхности которого снег был сдунут ветром, какое-то большое черное пятно. Этим пятном оказался Распутин — в шубе и об одной галоше.

На извлеченном из воды «святом старце» была надета голубая шелковая рубашка с вышитыми золотыми колосьями. На шее у него висел нательный, большого размера крест, с надписью сзади: «Спаси и сохрани», а на руке оказался браслет из золота и платины с застежкой, на одной стороне которой изображен был двуглавый орел, а на другой — буква «Н» с римской цифрой «два».

В тот день почтамт доставил генерал-майору Глобусову копию вчерашней телеграммы, отправленной в Москву Пуришкевичем сдружившемуся с ним за последнее время кадетскому члену Думы Маклакову.

«Все кончено», — лаконична, но выразительна была телеграмма.

Верные люди генерал-майора не замедлили ему сообщить, что этот самый кадетский депутат знал о готовящемся убийстве, достал у знакомого аптекаря цианистый калий и передал его знаменитому бессарабскому депутату. Но яд оказался испорченным, — Распутин, как выяснилось, съел на пирушке в юсуповском дворце отравленный эклер, пожаловался на резь в животе, но не умер.

Все эти сведения Глобусов не замедлил передать своему шефу — министру. Но тот все еще был мало приветлив, закидывал голову назад, закатывал глаза к потолку и выкрикивал, все время выкрикивал, озадачивая Александра Филипповича:

— И у курицы сердце есть... да, да! Ах, как мне жаль китайцев, китайцев дорогих не знаете, генерал!.. Недостаточно, генерал, чтобы страх перед небом служил вам компасом... а?.. а?.. если совесть не управляет рулем. Что вы скажете? Не уберегли, не уберегли! У меня рука... рука, как у Столыпина, начинает сохнуть, иначе бы я сам...

Нет, в такие минуты не доложить ему о том важном деле, о котором пытался было заговорить со своим шефом генерал-майор! Пришлось отложить на время свое донесение.

«А ведь в том же районе, в том же районе... шесть домов пройти вбок!» — все еще удивлялся он причудливому совпадению некоторых обстоятельств, о которых также хотел сообщить министру.

Через два дня заехал на квартиру фон Нандельштедт.

— Я должен объясниться, — сказал он, не притрагиваясь к предложенной еде. — Я понял то, что вы мне сказали. Я нашел — это у евангелиста Луки сказано: «Иже бо ище хочет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю». Обычно эти стихи синоптиков толкуют так, что произвольно слово «душа» заменяется словом «жизнь». Это неправильно.

«В чем дело?» — Александр Филиппович с нескрываемым удивлением смотрел на своего старого приятеля.

Сухопарый, рыжеватый, с тонкими и прямолинейными, сходящимися без просвета над переносицей бровями, белогубый, с угловатыми плечами — фон Нандельштедт сидел на стуле аршин проглотив и говорил голосом незнакомо проникновенным:

— Я понял, что вы мне сказали. Вы оправдываете в душе убийц. Я — тоже! Не будем бояться доверить друг другу свои мысли. Я нашел еще много этих евангелистских «ю». Помните?.. Любяй душу свою погубить ю и ненавидяй души своея в мире сем в живот вечный сохранить ю.

«Смеется, издевается...» — мелькнуло в голове генерал-майора.

Но прокурор был серьезен, очень серьезен:

— Я стал толковать эти слова Христа, ничего в них не изменяя, а тогда они могут значить следующее. Если для выполнения твоих обязанностей, признаваемых тобой высокими, тебе нет дру-

того исхода, как взять на душу грех,— не дорожи своей душевной чистотой, как бы совершенна она ни была и какими бы усилиями ты ни достиг ее. Губи свою душу с полным сознанием всей тяжести принимаемого на себя греха, и тебя нравственные муки твои и то добро, которое принесло твое самопожертвование, оправдают перед высшим судом!

— Прекрасно, прекрасно! — склонил напомаженную голову набок внимательный хозяин.

— Должен тут же дать необходимые объяснения, Александр Филиппович... Вопреки Льву Толстому я исповедую, что насилие невозбранно даже евангельским учением.

— Иначе вы не были бы прокурором, Федор Федорович.

— Совершенно верно. Мало того,— я смею утверждать, что Евангелие обещает прощение за самое преступное насилие, если оно совершено во имя великой любви. То есть ради такой цели, которая вполне чужда личных выгод решившегося на преступление и окружена для него сиянием святости. Отправляясь от такого понимания евангельских предписаний, я бы, конечно, не мог удивиться, ощутив, что оправдываю убийц Распутина, если бы налицо были два совершенно необходимых, по мне, условия. Если бы я мог думать, что смерть Распутина неизбежна для спасения России, и если бы я удостоверился, что убийцы не дышат самоуверенностью и самодовольством, а в сознании своего греха идут навстречу ответственности. Но в том-то и дело, любезный мой друг, что ни одного из этих условий нет! Во-первых, разве только Распутин является виновником русских зол? Было бы болото, а черти найдутся! Во-вторых, убийцы до сих пор не явились с повинной, как бы, по мне, следовало сделать людям, принявшим на себя, хотя бы и ради великой цели, тяжкий грех. Они до сих пор таятся, подобно заурядным преступникам... Все это как будто должно мешать мне оправдать убийство, а тем не менее я в душе не только не осуждаю преступников, но, да простит меня бог, положительно доволен тем, что негодяя убили! — закончил свою неожиданную исповедь прокурор.

И опять, вместо того чтобы ответить своими собственными словами, на что, естественно, надеялся его собеседник Александр Филиппович вынул из кармана какие-то машинописные листки и улыбнулся:

— Хотите, я вам покажу по-приятельски анонимное творчество, которое сегодня, как мне донесли, пошло гулять по городу?... Хотите?

Голосом нарочитым, гнусавя, как дьячок, генерал-майор стал читать:

— «Акафист Григорию Распутину... О, Григорие, новый угодниче сатаны, веры Христовой хулителю, русской земли разорителю, жен и дев осквернителю,— како воспоем и восхвалим тя! Радуйся, рассудка царева помрачение, радуйся, Протопопова возвеличение, радуйся, Григорие, великий сквернотворче... Радуйся, таинственного жития взалкание, блудных страстей взыграние,

радуйся, жен совратителю, радуйся, хлыстов насадителю... Ра-
дуйся, Григорие, России позорище!..»

— Слава богу, у нас нет разногласий! — повеселев, сказал
задумчивый сухопарый прокурор, когда вместо опротивевшего
голоса дьячка услышал наконец естественный голос генерал-
майора.

«Если бы он только знал, кто это написал!..» — подумал после
ухода прокурора Александр Филиппович и, — который раз сего-
дня! — присев на корточки, заглянул в камин: не сохранился ли
там, упаси бог, случайно и предательски отлетев в сторону, клочок
никому не известной генерал-майорской рукописи?..

Но нет, — огонь давно пожрал ее всю.

Глава шестнадцатая

КАК НАБИРАЛИ ГАЗЕТУ

Поздним вечером с 17 на 18 декабря из трактирчика
на Фонарном вышли попарно несколько человек и неуверенной
походкой подвыпивших людей, — однако держа себя вполне прис-
тойно, не подавая о себе голоса, — направились к Мойке.

Уже отойдя на приличное расстояние от трактирчика, они,
как по уговору, утратили свою покачивающуюся походку и уско-
рили шаги, которые должны были разогреть их хоть немного, так
как мороз был лют, а верхнее платье наших пешеходов служило
малой защитой от него.

И также, не соединяясь друг с другом, все восемь человек
вошли в разное время в ворота одного из домов на набережной,
прошли под аркой во второй двор и там, поднявшись несколько
ступенек вверх, остановились у единственной на площадке двери
с облупленной вывеской, извещавшей, что здесь типографское за-
ведение господина Альтшуллера.

Невысоконыйкий, с лихорадочно постреливающими глазками,
с мигающими часто ресницами, посевшими теперь от мороза,
успел раньше другого протянуть руку к звонку и потянуть вниз
его деревянную рукоятку.

— Зачем так сильно, Ваня? Испугаешь еще... — ворчливым
шепотом сказал один из компаний.

Он вытащил из кармана револьвер. То же самое сделал
и другой спутник.

— Кто там? Какой леший? — раздался за дверью глухой
стариковский голос.

— Открой, пожалуйста, Егор Силыч.

— Кто это?

— Это я, Вася Курдюмов, из наборной...

— Чего тебе? — хрипел голос сторожа, и застрекотал ключ
в замке.

— Покупочку, понимаешь, забыл нынче. Женка заругает, питания ожидает.

Сторож, побряхтывая, открыл дверь, — на него наставлены были дула револьверов.

Он даже не сообразил сразу, что произошло, и без испуга, но с видом осоловелым продолжал держаться рукой за косяк двери. Его связали, отобрали ключи и оставили в прихожей какого-то неизвестного ему человека, который все приговаривал, успокаивая:

— Тихо, дед, тихо. Ничего тебе не будет. Тихо, дед.

В наборной работало пятеро. Они собирались уйти через полчаса, закончив срочный заказ, врученный им после обеда хозяином.

— Руки вверх, товарищи! — приказали в два голоса какой-то высокий, бритый, с седеющими височками, и другой — с рыжеватой бородкой клинышком.

Но все пятеро не столько удивились этим двум вооруженным незнакомцам, назвавшим их «товарищами» в столь необычной обстановке, сколько тому, что рядом с ними они увидели Ваську Курдюмова!

— Васка!.. С чего бы это? — не сдержался пожилой наборщик — угристый, с набрякшим носом, с алкогольной слезой в глазу. — Что тут, Васка, грабить?

— Шпации! — хмуро сострил тот, скручивая за спину и связывая руки товарищу по работе.

— Показывайте, где что, Яша! Быстро! — подошел к нему и шепнул на ухо Сергей Ваулин. — В нашем распоряжении не больше пяти часов.

И он вынул из всех карманов листки заготовленных рукописей.

Решение о вооруженном захвате какой-либо типографии для выпуска номера газеты ПК было принято не сразу. А когда и было принято — то отнюдь не единодушно.

К предложению Сергея Леонидовича одни отнеслись недоверчиво, мало надеясь на реальность такого чрезвычайного мероприятия. Другие, иной раз и прежде колебавшиеся при разрешении вопросов подпольной большевистской тактики, высказывались принципиально отрицательно о таком проекте. Третьи, не возражая против него, настаивали, однако, на том, чтобы отложить осуществление рискованного дела, пока оно окончательно не будет подготовлено во всех мелочах.

Но все сходились в одном — события назревали так быстро, что выпустить газету было необходимо.

Усталый и несколько изнервничавшийся после неоднократных выступлений в защиту проекта Сергей Леонидович тем не менее не оставлял своей идеи. И когда на последнем заседании исполнительской комиссии вновь стали обсуждать этот вопрос, он торжествующе мог уже сообщить, что люди для печатания газеты отобраны, что один из товарищей — наборщик Яша Бендер — работает, под другой фамилией, в небольшой типографии Альтшул-

лера, богатой сейчас бумагой, и что эту типографию можно захватить на одну ночь для целей ПК.

Каждый, даже тот, кто противится этим планам, пусть представит себе, какое впечатление должна будет произвести их газета — настоящая четырехстраничная газета! — какое это будет доказательство силы ПК, которого охранка считает уже почти несуществующим. Как обнадежит неожиданный выход газеты людей на заводах, в мастерских, — пусть товарищи поймут громадное политическое значение этого дела, — настаивал на своем Сергей Леонидович, — и пусть утвердят его как дело всей большевистской организации.

— Выгорит. Выйдет дело, — обнадеживал его в сторонке Лекарь.

— Вы думаете, Андрей Петрович?

— Сегодня — видите? — уже другое настроение. Аппетит пришел!

Плечико к плечу ложились свинцовые литеры. Пальцы подпольщиков, как коршуны, клевали гнезда наборной кассы, молниеносно вытаскивая оттуда на верстатку букву за буквой.

Заполнялись реалы. Опытные, умелые руки стягивали шпатагом свинцовые столбики, ставили их на доску.

Ваулин и Лекарь спускали набор на тискальный станок, — получились первые, жирные, расплывающиеся оттиски.

Потом Сергей Леонидович правил корректуру, Ваня-печатник вместе с Громовым готовил, налаживал в соседнем зале машину, перетаскивали оба сюда из кладовой бумагу.

Связанные альтшуллеровские рабочие, сидя на табуретках и разместившись на полу, бездействовали и с любопытством поглядывали на ночных «визитеров». Васька Курдюмов, которого вот тот, с седеющими височками, — главный, по всему видать, — называет почему-то «Яшей», продолжал больше всего занимать их:

— Ай да парень — жох!..

Вдруг он срывается с места, бежит к «главному», кричит:

— Товарищи, вон там берите шапку! Я ее еще позавчера приготовил... Э, да я сам принесу!

Он убегает на минуту куда-то, приносит газетную «шапку». Мигом она на тискальном станке, и все, побросав работу, рассматривают газетный заголовок:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РОССИЙСКАЯ СОЦ.-ДЕМОКРАТ.
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ПРОЛЕТАРСКИЙ ГОЛОС

№ Петроград,

Декабрь 1916 г.

— Номер четвертый ставьте, число — восемнадцатое! — распорядился Ваулин. — Айда по местам, товарищи.

Яша Бендер бежит с оттиском и набором «шапки» к своему месту.

— Васька, покажи! — просит один из связанных.

— Тебе покажи, дурню, — все равно не поумнеешь! — бросает на ходу Бендер. — Афишу такую — на все тумбы: царь тебя, чачоточного, министром жалует!..

— Ты, уважаемый, не бреши, — сами с усами!

— А ты, Костя, не слушай, если не веришь. Отмену войны печатаем... сюрпризом!

— Вот рыжий!.. Так завирается, что и дома не ночует!

— Что верно — то верно: не ночую! — ухмыльнулся Бендер, продолжая работу.

Задетый его локтем, оттиск «шапки» слетел на пол лицевой стороной вверх. Один из альтшуллеровских рабочих низко нагнулся над ним и вслух, чтобы слышали все остальные, прочитал заголовок.

— Ну, ты! — кинулся к нему Яша. — Завтра, гляди, к приставу побежишь!

В ответ все услышали вдруг громкую, сорвавшуюся с чьих-то горячих уст матерщинную брань.

— В чем дело? — прибежал из другого конца наборной Сергей Леонидович.

— Я ему, паршивцу, за пристава морду набью! — кивнул на Бендера альтшуллеровский рабочий. — Когда это Костя Прохоров легавым по участкам бегал?

— Кто это Прохоров? — непонимающими глазами смотрел Ваулин.

— Я — Прохоров, — сказал горделиво большоголовый и большеротый скуластый «пленник».

— Ну и что, товарищ?

— А вот то!.. Вы говорите «товарищ», а он шпиком обзывает. Дело это, — как, по-вашему?

Через минуту-другую с помощью Ваулина наступило примирение. Но тот, кто звался Прохоровым, уже не отпускал от себя Сергея Леонидовича.

— Послушайте, уважаемый... не знаю, конечно, как звать вас. Понимаем теперь, конечно, для чего в таком виде заявились.

— Да мы и не скрываем, в общем... — усмехнулся Ваулин. — Зачем нам перед рабочими скрывать? Мы вам тут несколько газет оставим, — пообещал он.

— Спасибо! — отозвался кто-то из рабочих.

— Чего тут спасибо? — огрызнулся в его сторону Прохоров. — Мамка кашей накормила!.. Уважаемый, если на то пошло, чего сидеть нам без дела? Развязывай — поможем! — сердито сказал он Ваулину.

— Тю-тю-тю... Еще Курдюмову морду будешь бить, —

а? Опять вязать придется? — шутил Сергей Леонидович, а сам пытливо наблюдал за лицом «пленника».

— Да ну его, рыжую говядину! — сплюнул сквозь зубы тот. — Разве о том разговор, уважаемый?... Поможем. Верно? — повернул он голову к своим. — Ведь дело какое, братцы!

— Дело собственное, — сказал тихо, задумчиво тощий рабочий и тут же скрипуче закашлялся.

— Развязывай, развязывай, уважаемый!

— Мы не хуже вашего Васьки, товарищ.

— Ходил он еще, работал — тихоня тихоней, никакой тебе сознательной, значит, агитации промеж нас. А в компании вашей — ишь забияка нашелся!

— Дома ши без круп, а в людях — шапка в рупы!

Угристый, с алкогольной слезой в выцветшем глазу пренебрежительно посмотрел на Бендера. Тот смущенно молчал.

— Вы его не ругайте, товарищи, — строго сказал Ваулин. — Кабы все были таковы... настоящий революционер.

— Все может быть, конечно... — примирительно ответил вдруг угристый и так же неожиданно подмигнул добродушно охаянному секунду назад товарищу.

«Развязать? — думал между тем Сергей Леонидович. — Лишних пять человек, удвоится скорость работы. Можем без них не поспеть, а с ними вылезем к утру. Не вылезем к утру — все дело пропало, бесцельный труд... скандал в ПК! На крайний случай можно, конечно, только двухполосную сделать. Но это же не то, не тол. Развязать? — мучился он этим вопросом. — А вдруг это только хитрость с их стороны? Подымут шум, захотят бежать — стрелять тогда, что ли? Все равно погибло тогда все, да и в кого стрелять?! Нет, они, кажется, не продадут!» — решил он наконец.

Он сам развязал руки Прохорову и отвел его в сторону:

— Товарищи вас не выдадут завтра?

— Всех знаю, уважаемый. Всех! Чтобы кто? Да боже сохрани! Опять же, все будем работать — круговая порука! Когда уходить будете, — давал он советы, — завяжите опять нас. Тряпки для блезиру в рот, в кладовой заприте... вроде насилия — и все тут! — положил Прохоров руку на ваулинское плечо.

Пришедшие в наборную Громов и Ваня-печатник немало были поражены, увидев у касс двойное против прежнего количество рабочих.

— Ай, дело... ай, дело, Андрей Петрович! — захлебывающимся голосом подпевал Ваня.

Вот сверстана первая полоса, вот, через час, — вторая.

Сергей Леонидович берет корректурные оттиски и радостно нюхает полосы — типографскую краску. Она никогда еще не имела такой бодрящий запах.

Часы показывают четверть третьего ночи.

Спит в этот час Ириша, Лялька, мать... И скоро выйдет из со-

седней комнаты во двор, на улицу — в «очередь» с кошелкой в руках — милая Шура. Он обещал ей и выполнил...

Эта мысль забежала на секунду в его напряженно работающий мозг, — но тотчас же Сергей Леонидович стал думать о другом.

На доске лежат набранные заголовки для статей:

«МЕСТНАЯ С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЕТРОГРАДСКОМ
РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ»

«В ЛИБЕРАЛЬНЫХ КРУГАХ»

«ПОТЕРЯ ЛЮДЬМИ ЗА ДВА ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
БОЙНИ НАРОДОВ»

«К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ»

«ЗА ГРАНИЦЕЙ»

«ПРОВИНЦИЯ»

- Быстрее, быстрее, товарищи!
- Четыре будет, уважаемый?
- Да, да.
- Четвертую полосу не успеть, пожалуй!
- Взяли бы нас сразу!
- А кто вас знал, непартийных!
- Пускай хоть три будет, и то дело!..

Газета, черт возьми, плохо верстается и к тому же... Не подходит формат бумаги, остаются большие поля, — ничего, ничего, рабочий читатель не будет в претензии...

— Завтра, ребятушки, на всех станках лежать будет, родимая!

— Ух, пу-у-уля!

Наконец-то — приправка форм в машине. Здесь все в руках Вани-печатника.

Сергей Леонидович с нетерпеливым восхищением следит за тем, как он ловко орудует молоточком, как послушны ему винты и винтики, с которыми ему, Ваулину, никогда не справиться...

— Все, Ванечка?

— Одну минуту, Леонтий Иосифович!

Громов подмигивает: «Гм, Леонтий Иосифович...»

— Ошибка, ошибка в заголовке! — наклонившись над формой, выкрикивает кто-то.

— В чем дело?

— «Местная» надо через ять, а тут буква «е».

— Черт с ним, с твоим собачьим ять! И без него понятно.

— Все, Ванечка? — опять спрашивает Ваулин.

— Все как будто на сей раз.

— Ура! Пускай!

— Мотор?

— Куда, к черту, мотор! — предостерегает Громов. — Шум будет.

И вот — первый ручной поворот колеса машины. Его вертят по очереди все.

Вот первые оттиски газеты: четвертая полоса пустая, на третьей — один столбец поставлен вверх ногами. Но ничего не поделаешь: не переделывать же сейчас, в четвертом часу ночи?..

— Стоп!

Готова первая горка газет.

— Сообщите патрулям, чтоб нанимали извозчиков!

— Становись, дышло, на упаковку! Чего зря стоишь?

— Готово!

— Андрей Петрович, займите всех освободившихся людей.

— Уже занял.

— Двести!

— Перевязывайте в пачку...

— Все в порядке!

— Вали, родная!

— Извозчики готовы?

— Нет еще.

— Надо быстрее... быстрее, товарищи!

— А как же мы?

— А что?

— Вяжи, вяжи пачки!

— Да не пачки, Андрей Петрович, а людей! — напоминает Ваулин. — Удалось, удалось! — весело и громко выкрикивает он, обнимая за плечи Лекаря, потом скуластого, пожелтевшего за ночь Прохорова.

Он подбегает к конторке, отрывает кусок белой бумаги, минуту думает о чем-то, подзывает Прохорова:

— Смотри!

Он пишет «печатными» буквами и все время усмехается:

«Г. Альтшуллер! В вашей типографии печатали сегодня орган соц.-демократов большевиков. Приносим, конечно, извинение, но вынуждены были захватить, потому что охранка арестовала нашу хорошую технику. Посему счет за причиненные убытки предъявите генералу Глобусову. Будет революция — тогда еще увидимся. А пока охотно удостоверяем наше пребывание здесь, оставляя вам на память номер нашей газеты. Рабочие ваши ни в чем не виновны. А тот, кто был нашим, шлет вам прощальный привет».

— Больше ничего не надо?

— Все в порядке, уважаемый! — смеется Прохоров.

На улице патрульный подбежал к стоявшему за углом извозчику.

— Занят! — равнодушно ответил тот.

«Занят? В такой час?» — удивился патрульный и бросился к другим санкам, ехавшим навстречу.

— Тысяча двести!

— Нажимай, нажимай!

— Ребята, связывай друг друга... кто здешний!

— Успеется!

«Явки» (их четыре по всему городу) знают только Сергей Леонидович и Громов. Оттуда поджидающие там «восьмерки» из молодежи разнесут газеты по фабрикам, мастерским, на железную дорогу.

— Пора отвозить, — говорит Ваулин. — Одну возьмет Ваня на себя — в Лесной пусты: ему по дороге. Две вам придется, Андрей Петрович, четвертую — мы с Бендером обслужим. Ладно?

— Так точно, товарищ главнокомандующий! — шутиливо козыряет Громов. — Ну, и выплусь же я завтра!.. — потягивается он всем телом.

Свет погашен в типографии. Медленно плывет в окна серый рассвет.

— Вот армия родилась ночью... — смотрит Сергей Леонидович на связанные пачки газет. — А ведь вышло, Андрей Петрович?.. А?

Во дворе Ваню-печатника, нагруженного двумя большими пачками, встретил патрульный. Он помог ему донести до извозчика газеты.

И когда Ваня отъехал уже, патрульный заметил, как через минуту выехал вдруг из-за угла тот самый извозчик, который заявлял, что «занят», — с двумя седоками в полицейской форме. Они помчались вслед за Ваней.

Патрульный бросился бегом в типографию, чтобы предупредить товарищей об опасности, но под аркой во второй двор его схватили с обеих сторон чьи-то крепкие руки, и подталкивая, полицейские повели его обратно на улицу — в подъезд соседнего дома.

— Много вас там? — интересовался коренастый пожилой полицейский. — Тоже... задали, сукины сыны, службу! — недовольным голосом говорил он.

Патрульный многого сейчас не понимал. Не понимал и того, почему так ворчит этот «фараон» с седыми подусниками.

А «фараона», как и двадцать пять других городских, собрали еще с вечера, не объявив для чего, и старик не успел выпить дома целительного бальзама против изжоги и попрощаться на ночь со своей старухой.

Глава семнадцатая

ПЕРЕД КРУШЕНИЕМ

В России стало голодно, и рубль стал дешев. Генерал-майор Глобусов доносил своему министру: «Число бедняков в городах удесятилось. Голодает большинство жителей города, и остальные влачат жалкое существование».

Московская охранка сочла своим долгом сообщить Александру Дмитриевичу Протопопову: «Невзгоды широких масс так велики, что во многих случаях приходится говорить не только о недоедании, но и о форменном голоде. От эксцессов мы находимся очень близко. Острое раздражение, крайняя озлобленность, возмущение и т. д. являются довольно слабым отражением действительности. Никакое патриотическое чувство не выдержит, и Москва легко может явить картину чисто стихийных беспорядков».

Начальник Владимирского губернского жандармского управления делился своими наблюдениями: «Я вполне допускаю, что нервно настроенная толпа по какому-нибудь пустому случаю, как, например, закрытие лавки на обеденное время, какая-либо дерзость приказчика и т. п., потеряют терпение и, начав с битья стекол, кончит насилием, грабежом и поджогом».

Вести из Киева: «Затяжка продовольственного кризиса может вызвать, ваше превосходительство, беспорядки внутри империи, которыми, несомненно, воспользуются революционные элементы для приведения тылового района в хаотическое состояние».

Волынь доносила Протопопову: «Городское население поставлено в совершенно безвыходное положение, и не только низший, беднейший класс, но и мелкое чиновничество живет уже продолжительное время впроголодь. Громадные, на 200 и 300 процентов повышенные цены, а также с наступлением холодов отсутствие дров вызывают открытое озлобление».

Волыни вторила Казань: «Население требует от губернатора принять против местных торговцев самые суровые меры, так как они спекулируют предметами первой и насущной необходимости и прячут их. Если это будет продолжаться и далее, то обыватели выйдут на улицу с дубинами, потому что терпеть это далее будут не в силах».

И голосом Казани кричали Нижний Новгород и Харьков, Калуга и Пермь, Саратов и Вологда, Курск и Одесса, Екатеринбург и Орехово-Зуево.

«Полуголодный обыватель,— писал в своих донесениях генерал-майор Глобусов,— с восторгом, надо признать, приветствует всякое проявление оппозиции,— будет ли она направлена на городское самоуправление или на кондукторшу трамвая, на министров, мародеров, на правительство или на немцев,— все равно. Люди ненавидят войну, не раздаются других голосов, кроме «мира, скорее мира, мира во что бы то ни стало». Матери семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок, истрадавшие при виде своих полуголодных и больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем гг. Милюков и К⁰, и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой тот склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар. С каждым днем все большее количество голосов требует в столице: «Или обеспечьте нас продуктами, или кончайте войну».

И эти массы — самый благодарный материал для всякой открытой или подпольной пропаганды: им терять нечего от невыгодного мира. Когда это будет и как это все произойдет в действительности, судить сейчас трудно, но во всяком случае события чрезвычайной важности и чреватые исключительными последствиями для русской общественности не за горами».

Было время (еще год-полтора назад), когда генерал-майор Глобусов думал, что нечего страшиться революции: без помощи деревни ей не прожить и недели; ее можно будет расстрелять на трех-четыре петербургских или московских площадях, на пяти-шести рабочих окраинах.

Однако теперь положение изменилось: стало не по себе в «дворянских гнездах» князьям царствующей династии, титулованным помещикам Бобринским и Олсуфьевым, Капнистам и Ламздорфам, министрам и губернаторам Маклаковым и Хвостовым, Шегловитовым и Крупенским, Штюмерам и Струковым, крепостникам Пуришкевичам и Марковым, Замысловским и Дубровиным, предводителям дворянства, земским начальникам и стародавшим владельцам больших земель и поместий.

Ветры войны пригнали на сельские поля дым давнишней крестьянской надежды: земли бы мне, земли под соху и борону! Правительство и правая печать не прочь были муслировать ложные слухи о том, что после войны крестьян наделят новой землей, которая будет отобрана у немцев: внутри страны и за пределами прежних границ России. Семьям русских крестьян, сложивших головы на фронте, сулили в награду галицийские земли. Но мужик пошел в своих мечтаниях гораздо дальше: а почему — только галицийские, такие далекие? А не получить ли поближе да хорошо знакомые: землю господ Бобринских и Хвостовых, Капнистов и Пуришкевичей, Крупенских и Штюмеров? Крепко засела эта дума в крестьянской голове.

Настолько крепко хотелось мужику земли, что после военных поражений 1915 года, после отступления войск из Галиции, херсонские власти, например, доносили в Петроград: «Очищение Галиции рассматривается крестьянами нашей губернии почти как потеря собственности и потеря надежды на прирезку земли».

В ряде губерний крестьяне стали отказываться от уплаты помещикам арендных денег за землю. Деревня нищала, правительство реквизировало лошадей, мясной скот, упряжь, правительственные агенты отбирали у крестьян молочный скот, а жирный яловый шел на спекуляцию. На войну уже забрали почти половину взрослого мужского населения деревни. Войну здесь считают уже не только «наказанием божьим», но и кровавым преступлением: земным, выгодным помещикам и богатым людям — купцам, фабрикантам, крупным чиновникам.

Земский начальник из Смоленской губернии строчит губернатору:

«На днях на базаре в селе Панино целая толпа народа во главе со стариком рассуждала следующим образом: «Всю нашу молодежь и зрелого мужика они уже забрали, остается лишь одно: всем нам, старикам, вооружаться и уничтожать господ и правительство, ведущих нас к гибели и разорению».

В конце октября 1916 года екатеринославское жандармское управление предостерегает министра Протопопова: «Сознание, что защита отечества прежде всего ведется на плечах крестьянства, сознание, что «серые герои» — это опять-таки крестьянство, и, наконец сознание, что город без деревни с ее хлебом и продуктами никак не может обойтись — произвели заметный перелом в мирозерцании широких крестьянских масс, с чем уже теперь приходится считаться и придется считаться в будущем».

Другая сводка сообщала министру: «Теперь в деревне уже не верят в успех войны. По словам страховых агентов, учителей, торговцев и прочих представителей деревенской «интеллигенции», все ждут не дождутся, когда же наконец окончится эта проклятая война. Крестьяне охотно беседуют на политические темы, чего до начала войны, после 1906 года, не было».

Эту сводку представил своему шефу Александр Филиппович Глобусов. Но что там — крестьяне, когда в самом Петрограде дела подходят опять к «самому горлу»!.. И Александр Филиппович, как исправный репортер, сообщает министру: «В день 9 января 1917 года размеры забастовок превзошли все ожидания. На многих заводах и фабриках рабочие, придя в обычный час на работу, организовали митинги, на которых выступали ораторы с оценкой положения дел в стране и призывали рабочих к активной борьбе с царским режимом — виновником войны. А на некоторых заводах рабочие после митингов устраивали уличные демонстрации с красными знаменами, но были разгоняемы конной и пешей полицией. Одновременно с Петроградом произошли большие волнения в Москве, Баку, Нижнем Новгороде и других местах. Единственный вывод из настроения столичного пролетариата — это возмужность в любую минуту забастовок и всевозможных эксцессов. Слухи об этом встретили огромное сочувствие низов населения, и в дни 9—12 января Петроград вновь сделался аренной слухов, подобных октябрьским: о начале всеобщей забастовки протеста, об остановке движения поездов и проч. Слухи эти распространялись с быстротой молнии. Остановка 8 января электрического тока, продолжавшаяся не больше часа, вызвала на огромной территории столицы упорные слухи о начале забастовки. Публика безумно ложилась в вагоны трамвая на Садовой улице, где всякого рода проходимцы говорили, что «этот-де трамвай еще пойдет, а вот те, которые выйдут после 7 часов, про те сказать трудно». Не лучше было и 12 января, когда толпы публики в несколько минут собирались у всякого вывешенного листка на стене и когда на улице и в трамваях незнакомые лица передавали друг другу о забастовке трамваев Васильевского парка и проч. И вывод, делаемый из подобного настроения рабочими партиями, правилен. Идея всеобщей

забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой она была и в 1905 году. Ожидание важных событий стало обычным содержанием обывательского дня: все слухи касаются так или иначе вопроса о будущем предстоящих на днях событий».

Охранка опасалась, что революционность населения такова, что требует «кровавых гекатомб из трупов министров, генералов и всех тех, кого общество и пресса считают главными виновниками неудач на фронте и неурядицы в тылу».

Министру внутренних дел Протопопову пришел на помощь бывший министр того же ведомства — Николай Маклаков. Он написал царю: «Министра внутренних дел нельзя оставить одного в единоборстве со всей той Россией, которая сбита с толку. Власть, больше чем когда-либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью — восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешнего».

И вот — эхо этого письма. Спустя пять лет министр иностранных дел бывшей Австро-Венгрии, граф Чернин, ничего не ведавший о письме Маклакова, писал так о своем служебном дне 13 февраля 1917 года: «Ко мне явился один господин, представивший мне доказательство, свидетельствующее, что он является полноправным представителем одной нейтральной державы. Он сообщил мне, что ему поручено дать мне знать, что воюющие с нами державы — или, во всяком случае, одна из них — готовы заключить с нами мир и что условия этого мира будут для нас благоприятны... Я ни минуты не сомневался в том, что дело идет о России, и мой собеседник подкрепил мое предположение».

В ту же примерно пору, характеризуя существующее положение, Владимир Ильич Ленин писал так:

«...чем больше вырисовывается для царизма фактическая, военная невозможность вернуть Польшу, завоевать Константинополь, сломать железный германский фронт, который Германия великомерно выравнивает, сокращает и укрепляет своими последними победами в Румынии, тем более *вынуждается* царизм к заключению сепаратного мира с Германией, то есть к переходу от империалистского союза с Англией против Германии к империалистскому союзу с Германией против Англии. Почему бы нет? Была же Россия на волосок от войны с Англией из-за империалистского соревнования обеих держав насчет дележа добычи в Средней Азии! Велись же между Англией и Германией переговоры о союзе *против* России в 1898 году, причем Англия и Германия тайно условились тогда разделить между собой колонии Португалии «на случай», что она не исполнит своих финансовых обязательств!»

Усиленное стремление руководящих империалистских кругов Германии к союзу с Россией против Англии определилось уже

несколько месяцев тому назад. Основой союза явится, очевидно, дележ Галиции (царизму очень важно удушить центр украинской агитации и украинской свободы), Армении и, *может быть, Румынии!* Проскользнул же в одной немецкой газете «намеки» на то, что Румынию можно бы разделить между Австрией, Болгарией и Россией! Германия могла бы согласиться и еще в какие-либо «уступочки» царизму лишь бы реализовать союз с Россией, а может быть, еще и с Японией против Англии.

Сепаратный мир мог бы заключен между Николаем II и Вильгельмом II тайно. История дипломатии знает примеры тайных договоров, о которых не знал никто, даже министры, за исключением 2—3 человек.

...Не было бы ровно ничего удивительного в том, если бы царизм отверг формальный сепаратный мир правительств, между прочим, по соображению о том, что при теперешнем состоянии России ее правительством могли бы тогда оказаться Миллюков с Гучковым или Миллюков с Керенским, и в то же время заключил тайный, не формальный, но не менее «прочный» договор с Германией о том, что обе «высокие договаривающиеся стороны» ведут совместно *такую-то* линию на будущем конгрессе мира!

Верно это предположение или нет, решить нельзя. Но во всяком случае оно в тысячу раз больше содержит в себе *правды*, характеристики *того, что есть*, чем бесконечные добренькие фразы о мире между теперешними и вообще между буржуазными правительствами на основе отрицания аннексий и т. п. Эти фразы — либо невинные пожелания либо лицемерие и ложь, служащие для сокрытия истины. Истина данного времени, данной войны, данного момента попыток заключить мир состоит в *дележе империалистской добычи*.

Императорский двор заговорщицки шел к сепаратному миру.

Но против заговора самодержавия у русской буржуазии вкупе с военными фронтовыми кругами был свой заговор. План был таков: захватить по дороге между Ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить отречение Николая. При посредстве воинских частей, находившихся в Петрограде под командой заговорщиков, арестовать правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах из думских кругов, которые станут во главе нового правительства. Царицу — отправить в монастырь, малолетнего Алексея провозгласить государем, а великого князя Михаила — регентом.

Английский посол мистер Бьюкенен был прямым участником заговора. В Лондон он написал так: «Дворцовый переворот обсуждался открыто, и за обедом в посольстве один из моих русских друзей сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты император и императрица или только последняя».

О да, заключи Россия сепаратный мир — и возможна ли тогда победа над Германией?! Немцы все время вынуждены были держать свои главные силы на Восточном фронте.

Осуществить дворцовый переворот должен был генерал Крымов. Известный уже читателям Терещенко вспоминал о нем:

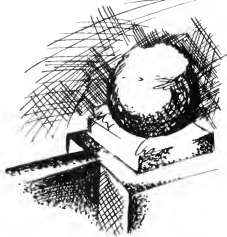
«Генерал и мы, его друзья, сознавали, что, если не взять на себя руководство государственным переворотом, его сделают народные массы, и прекрасно понимали, какими последствиями и какой губительной анархией это может грозить. Но более осторожные лица убеждали, что час еще не настал. Прошел январь, половина февраля. Наконец мудрые слова искушенных политиков перестали нас убеждать, и тем условным языком, которым мы между собой сносились, генерал Крымов в первых числах марта был вызван в Петроград из Румынии, но оказалось уже поздно».

Поздно. Крушение!

Империя рухнула...

Часть
четвертая

ФЕВРАЛЬ



Глава первая

РЕВОЛЮЦИЯ

В мартовские дни 1917 года где-то в прифронтовой деревушке никому не известный доселе гусарский ротмистр держал краткую речь перед выстроившимся эскадроном.

— Его императорское величество изволил устать от трудных государственных дел и командования вами и решил немного отдохнуть. Поэтому он отдал на время свою власть народным представителям, а сам уехал и будет присматривать издали. Это и есть революция, и если кто будет говорить иначе — приведите ко мне, я ему набью морду. За здоровье государя императора! Ура!

Гусары жили весьма скудными и путанными сведениями и слухами о случившемся в Петрограде, гусары не знали, что уже неделя, как в столице революция, новая власть и по всем заборам расклеены манифесты об отречении двух императоров, — они вслед за ротмистром прокричали «ура», но как-то глухо, тише обычного, каждый — косясь в сторону соседа, и ротмистр угрюмо, едва скрывая досаду, буркнул:

— Ну, то-то же...

Через несколько часов, когда гусары повстречались в пути с сибиряками в мохнатых шапках, украшенных красными ленточками, они мигом стащили с коня своего обманщика-командира и труп ротмистра бросили тут же на дороге.

...В Петрограде хроника революции была такова:

Двадцать третьего февраля, в «Женский день», бастовало около пятидесяти заводских предприятий, на улицы вышли девяносто тысяч рабочих и работниц. Женщины шли к городской думе с требованием хлеба. Но только ли хлеба? На красных знаменах — «долой самодержавие», «долой войну»! В 4 часа дня демонстранты остановили трамваи на Инженерной, Садовой, и Невском. На этих улицах пешая и конная полиция, врезавшись в толпу, стегала ее нагайками. Казаки гарцевали с пиками наперевес.

Не помогло, — 24 февраля бастовало уже двести тысяч рабочих. Они заполнили улицы всех районов столицы. Вместо газет рабочие читали листовки Петроградского Комитета большевиков:

«Ждать и молчать больше нельзя. Рабочий класс и крестьяне, одетые в серые шинели и синие блузы, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором... Настало время открытой борьбы».

«Всех зовите к борьбе,— говорили в своих воззваниях питерские ленинцы.— Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы. Да здравствует демократическая республика!.. Вся помещичья земля народу!.. Долой войну!.. Да здравствует социалистический Интернационал!»

В ночь с 25 на 26 февраля охранное отделение переполнило все петроградские тюрьмы сколько-нибудь «подозрительными» элементами. Были арестованы пять членов Петроградского Комитета большевиков, и руководство массовыми выступлениями перешло к районному комитету партии Выборгской стороны.

Тогда же командующий округом генерал Хабалов телеграфировал наштаверху в Ставку: «Доношу, что в течение второй половины 25 февраля толпы рабочих, собиравшиеся на Знаменской площади и у Казанского собора, были неоднократно разгоняемы полицией и воинскими чинами. Около 17 часов у Гостиного двора демонстранты запели революционные песни и выкинули красные флаги с надписями «долой войну». Взвод драгун спешился и открыл огонь по толпе, причем убито трое и ранено десять человек. Около 18 часов в наряд конных жандармов была брошена граната. Вечер прошел относительно спокойно. 25 февраля бастовало 240 тысяч рабочих».

Однако в этом донесении Хабалова был упущен следующий момент. В четыре часа дня генералу доложили, что четвертая рота запасного батальона Павловского полка, расквартированная в зданиях конюшенного ведомства, выбежала с криками на площадь. У храма Воскресения рота, при которой находилось только два офицера, стреляла по взводу коннополицейской стражи, оттеснившей с Невского по Екатерининскому каналу часть рабочей толпы.

Протопопов телеграфировал дворцовому коменданту Воейкову, находившемуся в Могилеве вместе с царем: «Толпа вела себя вызывающе, бросая в войска камнями, кусками сколотого на улицах льда. Поэтому, когда стрельба вверх не оказала воздействия на толпу, вызвав лишь насмешки над войсками, последние вынуждены были для прекращения буйства прибегнуть к стрельбе боевыми патронами по толпе, в результате чего оказались убитые, раненые, большую часть коих толпа, рассеиваясь, уносила с собой. В начале пятого часа Невский был очищен, но отдельные участники беспорядков, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстреливать воинские разъезды. Охранным отделением арестованы 136 человек партийных деятелей, а также революционный руководящий коллектив из пяти лиц».

Вечером Родзянко нашел у себя на квартире следующий царев указ: «На основании статьи 99 Основных Государственных Законов повелеваем: занятия Государственной думы прервать с 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надле-

жащее распоряжение». Таким же указом были прерваны и занятия Государственного совета.

Этот указ был подписан Николаем II еще в ноябре 1916 года. Царь сказал при этом своему премьер-министру, князю Голицыну: «Держите у себя, а когда нужно будет — используйте». Правительство решило, что этот час теперь настал.

Перед законами «прогрессивного блока», перед Родзянко, как председателем Думы, встал вопрос: как быть? Не подчиниться указу, заседать — значит оказать неповиновение монарху, вступить на революционный путь — на это царская дума была не способна. Разойтись — но за окном слышны стрельба и гул подхо-дившей толпы. Кто знает, что могут они сделать с законопослушными депутатами.

И было принято решение: «Императорскому указу о роспуске подчиниться — считать Государственную думу функционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на «частное совещание».

Петроград был объявлен на осадном положении. Листовки об этом напечатали в военной типографии, но расклеить их по городу не удалось: у градоначальника Балка не оказалось ни клея, ни кистей. И только двое околоточных развесили несколько листов на решетке Александровского сада. Утром эти листки валялись перед градоначальством на Адмиралтейской площади.

О событиях 25 февраля царица Александра написала своему венценосному мужу: «Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам».

Однако спустя сутки она же телеграфировала: «Революция вчера приняла ужасающие размеры. Известия хуже, чем когда бы то ни было».

В городе появился манифест Центрального Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (больше-виков). Он был обращен ко всем гражданам России и датирован 26 февраля.

«Граждане! Твердыни русского царизма пали, — оповещал об этом манифест. — Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сторону восставших. Революционный пролетариат и революционная армия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство.

Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ страхнул с себя вековое рабство.

Задача рабочего класса и революционной армии создать *Временное Революционное Правительство*, которое должно встать во главе нового нарождающегося республиканского строя.

Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих *все права и волю народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель и передать их народу, введение 8-ми часового дня и созыв учредительного собрания* на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов.

Временное революционное правительство должно взять на себя задачу немедленного обеспечения продовольствием населения и армии, а для этого должны быть конфискованы все полные запасы, заготовленные прежним правительством и городским самоуправлением.

Гидра реакции может еще поднять свою голову. Задача народа и его революционного правительства подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы.

Немедленная и неотложная задача временного революционного правительства войти в сношения с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик и для немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана порабожденным народам.

Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во временное революционное правительство, которое должно быть созвано под охраной восставшего революционного народа и армии.

Граждане, солдаты, жены и матери! Все на борьбу! На открытую борьбу с царской властью и ее приспешниками!

По всей России поднимается красное знамя восстания! По всей России берите в свои руки дело свободы, свергайте царских холопов, зовите солдат на борьбу.

По всей России по городам и селам создавайте правительство революционного народа.

Граждане! Братскими, дружными усилиями восставших мы закрепили нарождающийся новый строй свободы на развалинах самодержавия!

Вперед! Возврата нет! Беспощадная борьба!

Под красное знамя революции!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует революционный рабочий класс!

Да здравствует революционный народ и восставшая армия!»

К восставшему народу стали присоединяться войска. Сначала Волынский, Литовский, Павловский и Преображенский полки, а затем и остальные. Легко, без особых воинских усилий был взят арсенал и Петропавловская крепость. Горели полицейские участки, сброшенный наземь, валялся под ногами толпы двуглавый орел русского самодержавия.

Революция победила, 27 февраля она оповестила об этом всю Россию.

В эти дни у Таврического дворца и в самом дворце с трудом можно было протиснуться сквозь толпу — взбудораженную, шум-

ную, неугомонную толпу солдат, матросов, рабочих и разных других питерских горожан. Люди приходили сюда со всех концов огромного города,— вот уж сколько дней он отверг для себя сон и тишину. Люди делились на охрипших и на тех, кто еще сохранил свой голос. Но этим последним предстояло его потерять, потому что каждый только и ждал минуты, чтобы принести его в жертву непрерывному митингу, бурлящему во всех залах думского дворца и перед его зданием на улице.

Победа была уже позади. Она оказалась легкой и мгновенной, и оттого люди испытывали будто некоторую досаду: вон силища-то какая у народа против старого режима, а самого режима-то уже и нет!..

Красные знамена всяческих размеров мирно отставлены были к дворцовой решетке. Их было так много, что они почти наглухо заслонили собой толпу людей, сгрудившуюся перед дворцом. А толпа рвалась, тянулась внутрь, в здание Таврического,— к трибунам, чтобы оставить там горячее, расплавленное восторгом и страстью свое слово во славу победившей революции (в эти дни Петроград стал городом неудержимых ораторов), в коридоры, залы и комнаты дворца,— чтобы увидеть рожденных революцией новых правителей страны, депутатов Думы и рабочего Совета, услышать из их уст вести о всей стране, о России, о фронте: не грозит ли опасность?.. кого надо еще арестовать?.. что будет теперь с войной?.. не убежит ли царь Николашка?.. почему не объявлять сразу республику?

В белом зале дворца заседает Совет. Гуськом, в затылок друг другу, стоит нетерпеливо у трибуны очередь ораторов.

— Ходоков вперед пускать!.. Ходоков!

Их шлют русские деревни и русские окопы.

Бородатый солдат втащил на трибуну грязный мешок и положил его перед собой на кафедре.

— Вот мы решили, значит, принести вам самое, выходит, дорогое наше. В этом мешке, ребята, все наши кровью добытые награды. Себе не оставил никто. Тут георгиевские кресты и медали! Берите их... Присяга это наша солдатская, христианская присяга за революцию, значит, за свободу. Служить будем Совету до единого верой и правдой. А также правительству, конечно, новому будем стараться.

Бородатого, пожилого, с голосом негромким, сменил другой окопный ходок. Разбитной, говорливый ярославец — краснолицый шустрый паренек, солдат, успевший уже в столичной парикмахерской остричь волосы в кружок, с высоко оголенным затылком. Улыбка хитрая, жесты широкие, с прищелкиванием пальцев.

— Ну вот... Получили мы ведомость: царя, мол, нету, и, стало быть, революция. Ишь ты!.. Мы, конечно, обрадовались. Стали кричать ура, запели... как его?.. «Вставай, подымайся». Ну, немцы от нас все равно что вон до энтото или поболее. Немец услышал и кричит: э-эй, что у вас тако-ое? А мы ему кричим: а у нас тако-ое, у нас револю-уция, царя более не-ету, пустота да дырка-а вместо царя-я... Ну, он, конечно, немец, тоже, надо сказать, обрадовался.

Ишь ты! Стал тоже петь, ура кричать! А по-ихнему: о-ох! По-нашему — ура, а по-немецкому — ох!.. Ну, тогда мы кричим: э-эй-эй, что же вы, сукины племянники, а? Теперь вы сбрасывайте этого... как его? А они кричат: и-ишь вы чего захотели!

Разбитного говоруна-ярославца наградили веселым смехом и рукоплесканиями. Он прищелкивал пальцами и до тех пор не сходил с трибуны,— ухмыляясь, переживая свой успех,— пока стоявший позади него какой-то другой солдат не стащил его сварливо вниз:

— Ты, браток, все байки поешь, а тут настоящее дело есть... Товарищи! Господа депутаты! — показал он им свое мертвенно-бледное, шишколобое, худое лицо, с желтым лихорадочным блеском озлобленных глаз. — Ежели кто только не знает нашу жизнь, как наша матушка-пехота страдает, то пусть придет и посмотрит, как мы живем, и спросит нас, какие наши дела. Мы ведь только считаемся за солдат, но мы уже без ног и без спины. Мне, к примеру ежели сказать, двадцать седьмой год, но я не стою шестидесятилетнего деда... Тыловые господа депутаты хотят вести войну, но им вести войну можно и надежно, как они не видели горя, какое мы на позиции отхлебали... Ну хорошо, мы пойдем еще кровь проливать, опять миллионы положим нового войска, еще подделаем тысячи сирот, — ну, какую пользу от того мы можем достать России?.. У нас земли и так много, богатства хватит. За богатством в Германию не пойдем, я думаю... Помещиков кончать надо, полицию на фронт — вот что требуют единогласно солдаты у нас!.. Мы очень рады все свободе, но шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России, как теперь есть. Вы сами понимаете, как каждому мало-мальскому солдату охота посмотреть на светлую теперешнюю жизнь. Какого же черта сгнить навозом в окопах?!

Может быть, этого самого шишколобого русского солдата, мучительно ненавидевшего смерть и помещиков, довелось, стоя у дверей, услышать депутату Думы Шульгину... Он выскочил в коридор и, с ожесточением расталкивая толпу, пробрался к своим думским соратникам, забившимся в угловые комнаты дворца. У всех лица тревожные, квелые. Но, слава богу, здесь, кажется, все свои!..

— Боже, как это гадко!.. — горячо шептал он, задыхаясь. — Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросает сюда, к нам, все новых и новых людей. Но у всех одно лицо: гнусно-животно-тупое. Или гнусно-дьявольски-злое... Боже, как это гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствую в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство. Вы не удивляйтесь тому, что я скажу... Пулеметов! Да, да, пулеметов — вот чего мне хочется! Я чувствую, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя... Увы, этот зверь — его величество русский народ!.. То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, — те-

перь факт!.. Боже, боже, как все это гадко! И я сам, сам... своими собственными руками... еще только три дня назад...

И все понимали, о чем он говорил.

«Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано».

Так начиналась неожиданная телеграмма Родзянко 26 числа в Ставку.

Запугивает? Дерзит в ответ на роспуск Думы?..

«Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Войска стреляют друг в друга, необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога,— заканчивал Родзянко,— чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Царь не знал еще, как поступить с Родзянко: повелеть сослать или пригрозить только ссылкой,— когда прямой провод из Царского передал тревожные, огорчительные слова Алис: «Совсем нехорошо в городе».

И в ответ на обе депеши он послал в Петербург, в генеральный штаб:

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны. *Николай*».

И думалось, что этим все сказано. Но прошли сутки, и они снова принесли телеграфный плач и злобу венценосной жены, всеподданнейшее ходатайство князя Голицына об отставке всего совета министров и новое предостережение все того же Родзянко:

«Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра уже будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

Придворный «летописец» Дубенский записал в свой дневник 27 февраля:

«Слухи стали столь тревожны, что решено завтра, 28-го, отбыть в Петроград. Помощник начальника штаба Трегубов передал мне, что на его вопрос, что делается в Петрограде, Алексеев ответил: «Петроград в восстании...» Первое, что надо сделать,— это убить Протопопова, он ничего не делает, шарлатан. После обеда государь позвал к себе генерала Иванова в кабинет, и около 9 часов стало известно, что Иванов экстренным поездом едет в Петроград... Войск, верных государю, осталось меньше, чем против него. Гвардейский Литовский полк убил командира, Преображенцы убили батальонного командира Богдановича. Председатель Государственной думы прислал в Ставку государю телеграмму, в которой просил его прибыть немедленно в Царское Село, спасти Россию».

Тогда рукой генерала Алексеева в Ставке был составлен указ о даровании ответственного министерства во главе с Родзянко, и царь подписал указ, велел вызвать из Петербурга нового премьера.

И думалось: уж теперь этим — все сказано России!..

Но, прежде чем указ дошел до столицы, оттуда пришли грозные вести: вслед за рабочими бунтуют и солдаты, и на улицах — красные знамена.

И тогда два поезда — свитский впереди и государев за ним — поспешили из Могилева в Царское, куда звала царица.

Было два часа ночи. Оба поезда остановились на станции Вишера: набирали воду. Перестало укачивать, и царь, настороженно дремавший, проснулся. Он вышел в вагон-столовую и потребовал к себе свитских.

— Ну, что творится в Петрограде?

Пьяный, как всегда, адмирал Нилов, наливая содовой воды одновременно в два бокала, которые имел обыкновение осушать один за другим, спокойно ответил:

— Большие беспорядки, ваше величество. Но не такие, чтобы их нельзя было подавить в один-два дня.

— Вы думаете? Дай бог...— И государь удовлетворенно зевнул, потом надпил один из ниловских бокалов.

В это время вошел Воейков, а следом за ним — начальник свитского поезда: прихрамывающий, с насупленными седыми бровями и строгим лицом генерал Цабель.

Юркие, как у мелкого барышника, ласковые, с крохотными зрачками глаза дворцового коменданта обещали какую-то приятную новость.

— Ваше величество,— весело говорил Воейков, небрежно стягивая с руки перчатку,— сейчас на станции Вишера получена телеграмма. Из Могилева на станцию Дно идет поезд генерала Иванова. С ним семьдесят георгиевских кавалеров. Государь, этих доблестных героев совершенно достаточно, чтобы ваше величество, окруженные этой славной свитой, могли бы явиться в Царское Село. Там вы станете во главе верных вашему величеству войск царскосельского гарнизона и двинетесь в Петроград. В столице войска вспомнят царскую присягу и сумеют справиться с кучкой смутьянов.

— Вы думаете? Дай бог.

И, подергивая по привычке два раза плечом, словно зачесалась лопатка, и проведя пальцем по смятому во время сна соломенному усу, царь наклонил свое шафранное, заспанное лицо к близко сидевшему Нилову:

— А может быть, я зря поторопился, призывая Родзянко?

Бросились в глаза насупленные, словно в камень сведенные судорогой, седые брови зловеще молчавшего Цабеля.

— Садитесь, генерал. А вы что мне скажете?

— Правду, ваше величество. Все это не так, государь,— вытянувшись перед ним, продолжал стоять на одном месте Цабель.— Вас обманывают... Георгиевские кавалеры генерала Иванова положения не спасут. Вот — другая телеграмма. Смотрите, она помечена: «Петроград, комендант Николаевского вокзала поручик Греков». Вы видите, тут предписывается задержать на станции

Вишера поезд вашего величества, направив его не в Царское, а в Петроград.

Николай вскочил.

— Мне предписывают?! Монарху предписывают?! Что это — самый настоящий бунт?!— воскликнул он, и, тряхнув от неожиданности тяжелой головой, быстро поднялся со стула охмелевший собутыльник-адмирал.— Бунт?.. Поручик Греков командует в Петрограде? Так, что ли? Кто такой поручик Греков... откуда он взялся? В самом деле, что за дрянь такая этот поручик Греков?

— Не могу знать, ваше величество. Но в Петрограде шестьдесят тысяч солдат во главе с офицерами уже перешли на сторону бунтовщиков. Ваше величество объявлены низложенным. Сообщено по всей России о вступлении в силу нового порядка. Ехать вперед нельзя, потому что на всех дорогах распоряжается депутат Бубликов. Сейчас тронуться в путь куда бы то ни было тоже нельзя.

— А это почему?

— Государь, смазчики испортили паровоз светского поезда!

Это потребовало еще получаса вынужденной остановки. Конвойцы очистили станцию от посторонних людей, бог весть отчего столпившихся здесь в ночную пору, и следили теперь, чтобы никто не испортил царского паровоза.

Повернув обратно на Бологое, оба поезда, перейдя на Виндавскую дорогу, спешили к станции Дно, куда направлялся из Могилева генерал Иванов со своим эшелоном. Надо было под его охраной прорваться к Царскому.

А может быть, не в Царское, а в Москву? Ведь Мрозовский говорил, что Москва всегда отстоит?..

Но на станции Дно пришла новая депеша, в которой сообщалось, что генерал Мрозовский арестован, что московский гарнизон целиком на стороне нового правительства, что в первопрестольной нет других войск, кроме народных.

— Ехать в армию, ваше величество!— не советовал, а уже командовал прибывший в поезд генерал Иванов.

— Вы думаете? Дай-то бог... дай-то бог, Николай Иудович. А вы — в Царское... защитите государыню, моих детей.

Огромная, раздвоенная, черно-седая борода генерала со спускавшимися на нее тяжелыми усами оттопырилась вверх,— генерал закинул назад голову и взял по-солдатски под козырек.

Кто-то сказал (царь не сразу узнал голос своего дворцового коменданта):

— Теперь остается одно: открыть минский фронт немцам. Пусть германцы придут для усмирения этой сволочи... Ваше величество, вспомните Васильчикову. Ей не зря Вильгельм говорил, что воюет не с вами, а с Россией, питающей противодинастические стремления.

— Вряд ли это удобно... вы как думаете?

— Они заберут Россию и потом ее не возвратят!— хрипло дышал адмирал Нилов.— На такое дело я не советчик, ваше величество.

— Да, да... Открыть немцам. Много раз говорил мне об этом Григорий Ефимович, почему я не послушался?.. Это можно было сделать еще тогда, когда германские войска стояли под Варшавой.

И вдруг — со спокойной безнадежностью откинув занавеску вагонного окна, протирая рукой запотевшее стекло его, Николай, вглядываясь в серый рассвет неуютного северного утра, медленно произнес:

— Поеду в Ливадию... в сады. Я так люблю цветы... А народ? Мне всегда был страшен мой народ... это ведь русские!

Он вышел на перрон — землисто-бледный, в солдатской шинели с защитными полковничьими погонами. Папаха была сдвинута на затылок. Он несколько раз провел рукой по лбу, рассеянным взглядом обвел станционные постройки. К нему приблизились свитские, — он досадливо замахал на них рукой.

Один только Нилов, запойный пьяница Нилов, тяжело покачиваясь, широко, враскорячку, расставив ноги, стоял недалеко от него и что-то напевал.

Из-за угла вокзала показалась какая-то девочка в платочке, в буром заплатанном армячке и с любопытством смотрела на синие, чистой краски, вагоны с золочеными гербами.

«В Ливадию... в сады», — а машинист повел литерный поезд в серенький Псков.

Туда, тайком от Совета рабочих депутатов, убежал монархист Шульгин и глава военно-промышленных комитетов Гучков, чтобы привести отречение последнего русского императора.

Входя в царский вагон, Шульгин, прикоснувшись к локтю своего спутника, сказал:

— Ах, разве думали мы с вами, Александр Иванович?.. Мы, монархисты!..

Но ему казалось, что он не ощущает вовсе волнения. Боже мой, он дошел до того переутомления и нервного напряжения, когда уже ничто, пожалуй, не может удивить, ни показаться невозможным!.. Но вот было все-таки немного неловко сейчас, что является к государю в пиджачке — в кургузом пиджачке, грязный и невымытый, четыре дня небритый, с лицом каторжника, только что выпущенного из сожженной тюрьмы.

— Теперь думать уже нет времени! — скороговоркой отвечал спутник. — Надо убрать монарха, чтобы сохранить монархию.

Они вошли в ярко освещенный салон-вагон. Стены его были обиты светло-зеленым шелком, и на фоне этой обивки лица всех присутствующих казались бледней, бескрасочней обычного.

Древний худой старик с генеральскими аксельбантами, Фредерикс, не подымаясь с места, кивнул облезлой головой. Другой генерал — черноволосый, с белыми погонами, Данилов — откуда-то из глубины вагона сказал:

— Государь император сейчас выйдет, господа.

И через несколько минут он вошел: плоскогрудый, рыжеусый, с желтым, мятым лицом русачок-полковник — эдакий уездный воинский начальник — в серой, аккуратно затянутой черкеске.

Подав торопливо руку прибывшим, он жестом пригласил их занять место. Сам сел у четырехугольного шахматного столика, придвинутого к стене. Вынул портсигар с коротенькими английскими сигаретками, и генерал Данилов услужливо перенес фарфоровую пепельницу с соседнего стола.

Посланцы Государственной думы переглянулись, — и царь с любопытством посмотрел на обоих: кто же из них начнет?

Начал Гучков.

Он слегка прикрыл лоб рукой, — словно для того, чтобы сосредоточиться, — опустил глаза и сказал:

— Вам уже известно, государь, что стряслось... Движение вырвалось из самой почвы, сразу получило анархический отпечаток. Власти ступевались. Еще три дня назад я сам отправился к замещавшему Хабалова генералу Зенкевичу и спросил его: есть ли у него какая-нибудь надежная часть или хотя бы отдельные нижние чины, на которых можно было бы рассчитывать? Он мне откровенно ответил, что таких нет, все части гарнизона переходят на сторону восставших... Положение ухудшалось с каждой минутой... Рядом со мной в автомобиле убили князя Вяземского только потому, что он офицер. То же самое происходит, конечно, и в других местах. Надо было, государь, нам в Думе на что-то решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... что дало бы исход. В этом хаосе надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию. Но, видимо, вам, государь, царствовать больше нельзя. Единственный выход... помолясь богу...

— Алексей? — спросил царь. Речь Гучкова показалась ему чересчур длинной.

Выцветшие голубые глаза Николая были неподвижны. Коричневая кожа вокруг глаз сжалась в упрямую гармошку, — он объявил низким, сдержанным голосом, чуть-чуть растягивая «по-гвардейски» слова:

— Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До тех часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына. Затем я понял, что расстаться с ним я не способен.

— Но... юридически? Как юридически?.. — пытался возразить Гучков. — Дума предполагала великого князя Михаила регентом...

Думские посланцы снова переглянулись, ища друг у друга ответа.

В это время вошел генерал Рузский. Он принес известия, каких еще не знал никто: по шоссе из столицы движутся сюда вооруженные грузовики. А вторая новость — прибывший в Царское генерал Иванов... бежал оттуда в Вырицу!

— Неужели?!

Это вырвалось у Николая: очевидно, генерал Иванов был последней его скрываемой надеждой.

— Грузовики с солдатами... ваши? Из Государственной думы? — глядя поверх запотевших очков, спросил депутатов Рузский.

— Это оскорбительно, Николай Владимирович!— вспыхнул молчавший до того Шульгин.— Как это вам могло прийти в голову?

Генерал понял свою ошибку:

— Ну, слава богу. Я приказал их задержать.

Только теперь он снял и протер носовым платком продолговатые маленькие стекла своих очков в простой металлической оправе, снова надел их и, повернув голову в сторону откинувшегося к стене Николая, начал рассказывать о злоключениях генерала Иванова.

Вчера в Царском Селе с быстротой молнии разнеслась весть, что к вокзалу подошел поезд генерала Иванова с двумя эшелонами войск, которые направляются на усмирение Петрограда. Дворцовый комендант князь Путятин известил о том царицу, и она поручила ему немедленно съестись с генералом Ивановым. Генерал объявил царскосельскому гарнизону о своем назначении главнокомандующим Петроградского военного округа и призвал идти вместе с ним против восставшей столицы. Гарнизон, уже всецело примкнувший к революции, отправил к генералу депутатов для переговоров. Они явились к нему в вагон и тут же были немедленно арестованы. Но через минуту генерал Иванов вынужден был отменить свой приказ. Депутаты заявили ему, что если они не вернутся в полной неприкосновенности к определенному часу в городскую ратушу, то тяжелая артиллерия, поставленная вблизи Александровского дворца, откроет огонь и сметет дворец со всеми его августейшими обитателями.

Это было вчера. А сегодня все люди генерала Иванова разбежались.

Маленькие, очень глубоко посаженные глаза Рузского выражали только сильную усталость и ничего больше.

— Ваше величество! Считаю своим долгом солдата сказать: теперь надо думать...

— Это ужасно, ужасно...— перебил его царь.

На минуту он закрыл рукою глаза и опустил голову.

— А ваша Дума... неужели ваша Дума?

Не понять было, о чем он хотел спросить.

Надо было как-то ответить, в чем-то оправдаться всем им, патриотам русского трона,— и Шульгин, сидевший напротив царя, перегнулся к нему и заговорил своим актерски наигранным, «задушевным», тихим голосом:

— Ваше величество, простите меня, если я осмелюсь сказать по-простому, что мы здесь... все люди свои... Происходит какой-то кошмар. В Петрограде, в Думе — кошмар! Все смешалось в доме Облонских, как писал Толстой... Все перемешалось в каком-то водовороте... Депутации каких-то полков...

— Неужели и преображенцы?— вспомнил о них царь.

— Увы, и преображенцы, и павловцы, и волинцы... Беспрерывный звон телефонов... бесконечные вопросы, бесконечное недоумение: «Что делать?» Мы посылали членов Думы в разные места — успокоить, остановить грозную, свирепую стихию...

В один из полков, например, послали нашего, националиста. Он вернулся.— Ну, что?— Да ничего, хорошо. Я им сказал — кричат «ура». Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной думе.— Ну, слава богу...— И вдруг зазвонил телефон.— Как?! Да ведь только что у вас были... Опять волнуются?! Кого? Кого-нибудь полее. Хорошо. Сейчас пришем.— Посылаем Милюкова. Он вернулся через час. Очень довольный:— Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах... Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк. И из других частей. Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках.— Но через некоторое время телефон снова зазвонил, и отчаянно.— Как, опять? Такой-то полк? А Милюков?.. Да ведь они его на руках вынесли?.. Еще левой? Ну, хорошо. Мы пошлем трудовика...— И вдруг под боком — этот совет собачьих депутатов... горбоносые обезьяны! Непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу... Родзянко хотел ехать к вам, государь, но они, горбоносые, пригрозили ему насилием. Кошмар, кошмар, которого еще не видела русская жизнь... Жалобные лица арестованных — министров, чиновников, генералов... Хвосты городских, ищущих приюта и милости в Таврическом дворце. Паника среди офицерства. Все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия. В конце концов, что мы могли сделать?.. Представьте себе, что человека опускают в густую-густую, липкую, противную мешанину. Она обессиливает каждое его движение... Все усилия были бесполезны. Это были движения человека, погибающего в трясине...

— Кто такой поручик Греков?— неожиданным, непонятным вопросом прервал его Николай Второй: очевидно, злополучный неизвестный офицер, преградивший путь в столицу, запомнился больше всего и вызывал нескрываемую ненависть.

И так же неожиданно, как спросил, не получив ответа, о поручике Грекове, — так же неожиданно поднялся со своего места:

— Я пойду к себе... Значит, господа,— Михаил...

Таково было решение. И оставшиеся в вагоне, не смея уже возражать, обменивались только впечатлениями.

— Михаил может присягнуть, а малолетний Алексей — нет...

— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии...

— Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные неудобства...

Царь забыл на столике свои сигаретки.

— Курите,— предложил остальным черноволосый генерал Данилов, и несколько английских сигареток быстро пошли по рукам, но Шульгин тотчас же положил свою обратно.

— Это ужасно...— тихо, но так, чтоб казаться гневным, сказал он.— Господа, мы держим себя как слуги в доме покойника.

Генерал Данилов холодно, снисходительно усмехнулся и спокойно вынул свой янтарный мундштук.

— Я военный и морской министр Временного правительства, — в глубине вагона сообщил Рузскому Гучков.

Командующий фронтом одобрительно кивал сивой маленькой головой, придерживая рукой свои простенькие, «учительские» очки.

— Приношу пожелания вашему превосходительству... рад буду вступить в служебные отношения. Самое ужасное — это кутерма, — глухо сказал командующий, махнув в сторону двери рукой.

Граф Фредерикс сильно огорчился, узнав, что его дом в Петрограде подожжен толпой. Он медленно ходил теперь, опираясь на палку, по вагону, молчаливо останавливаясь то в одном, то в другом месте. Вялым, бессмысленным взглядом он следил за присутствующими.

Гучкова он спросил:

— Скажите мне: кто из вас Гучков, а кто господин Шульгин?

Генерал Данилов за его спиной корчил презрительную веселую гримасу.

Было без двадцати минут двенадцать ночи, когда снова вошел царь. В руках он держал листки небольшого формата.

Он протянул Гучкову бумагу:

— Посмотрите. Вот текст...

Он был написан на пишущей машинке. Три четвертушки очень плотного синего телеграфного бланка.

«В дни великой борьбы с внешним врагом... господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войчы... В эти решительные дни в жизни России почти мы долгом совести...»

Гучков вполголоса — отдельно каждое слово — читал текст отречения.

Второй бланк лежал «вверх ногами», и покуда он его клал правильно, наступила пауза в несколько секунд, — и тогда вдруг раздался старчески болезненный голос министра двора:

— Не слышу... не понял. Чем ваше величество жалуete господина Гучкова? И за что, ваше величество?..

Была без двенадцати минут полночь 2 марта, когда царский карандаш подписал акт об отречении.

И тут же два русских генерала и двое думских депутатов молитвенно осенили себя крестным знамением.

Курил молчаливо полковник русской службы Николай Романов.

Мешком неподвижных костей лежал в кресле, вытянув длинные худые ноги, сановник трех императоров России, престарелый граф Фредерикс.

— Еще не все, — взяв телеграфные бланки, загадочно сказал тогда депутат Шульгин.

Его презрительно оттопыренная обычно верхняя губа, чуть оголенная посерединке под длинными и прямыми холеными усами, была нервно схвачена теперь белыми, мелкими, кошачьими зубами.

— Ваше величество...— сверкая зубами, разжал он рот.— Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя сегодня в три часа дня... Было бы желательно поэтому, чтобы именно это время было обозначено здесь... до нашего приезда сюда.

И все поняли его: он не хотел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог сказать, что русский монарх, отрекаясь, поступил недобровольно. Что он подчинился бунтующей «черни» и что в насилии над ним хоть как-нибудь мог принять участие «русский человек» и монархист Шульгин!

— Спасибо!— пожал ему руку Романов и поступил по его совету.

— Государь, сегодня, слава богу, *второе*, а не первое марта!— воскликнул Шульгин и торжественно протянул вперед дрожащие руки.

Ему самому казалось потом, что это восклицание — только и было то единственно «историческое», что блеснуло в серый, чересчур простой вечер смерти русского трона.

Но, видно было, Николай не сразу понял: в тот момент он забыл, что *первого* марта революционеры казнили его деда!

Но, сообразив, снова сказал:

— Спасибо... да.

И, попрощавшись, торопливо ушел к себе.

— Как эскадрон сдал!...— спустя минуту вздохнул генерал Данилов. И по тону его не понять было: одобряет он или порицает поведение императора.

По дороге в Могилев, со станции Сиротино свергнутый монарх телеграфировал в Петроград: «Его императорскому величеству Михаилу. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. *Ника*».

Глава вторая

МИНИСТРЫ НОВЫЕ И СТАРЫЕ

В эти мартовские дни Лев Павлович Карабаев, трое суток не ночевавший в своей квартире, заехал на десять минут домой.

— Соня... чистую манишку... воду для бритвы... еду на историческое дело. Я министр, Соня!— еще в прихожей, задыхаясь от усталости, возбуждения, торопливости и радости, выкрикнул он.

— Боже мой... Левушка!— бросилась Софья Даниловна к нему на грудь и, обнимая, несколько раз перекрестила его голову.— Боже мой... дай-ка я на тебя погляжу... снимай, снимай шубу!

Но он, не дожидаясь, как обычно, ее помощи, швырнул шубу куда-то в сторону — на руки подоспевшей из кухни прислуги.

— Клавдия,— похлопал он ее по плечу,— революция, Клавдия... знаешь?

— Знаю, барин,— смущенно и встревоженно ответила Клавдия — и вдруг заплакала, пряча голову в бобровый воротник карабаевской шубы.

— Чего это она? — удивился Лев Павлович ее слезам.

— Ах, Левушка! У нее брат — рабочий, он стрелял в городских где-то там, и его самого тяжело ранили в живот.

— Вот оно что?.. А зачем лез в это дело?! — вдруг страстно сказал Лев Павлович. — Ну, ничего... Милиция теперь расследует дело, и виновный получит свое! — успокаивал он, как умел в тот момент. — Правда, господа? — обернулся он. — Да что же вы стоите на пороге? Пожалуйста, пожалуйста ко мне... Соня, это мои спутники, мои друзья, помощники — верные рыцари свободы. Прошу вас, прошу вас...

И только теперь Софья Даниловна заметила спутников мужа. Они стояли в открытых на площадку дверях: какой-то офицер, подпоручик с красной розеткой на груди, и сильно небритый, светло-рыжеватого волоса, студент с бархатными наплечниками Политехнического института и красной повязкой на рукаве шиинели.

— Мы счастливы быть в распоряжении Льва Павловича, и я молю вас не беспокоиться за вашего мужа, — приложив руку к козырьку, выпрямился подпоручик перед Софьей Даниловной. — Капнист Владимир Андреевич... офицер армии русской Государственной думы! — торжественно отрекомендовался он.

— А это, представь, Соня, — наш земляк: Григорий Рувимович Калмыков, — сказал Карабаев, указывая на студента. — Его фамилия должна тебе кое-что напомнить.

Гриша Калмыков, быстро облизнув пересохшие губы, поцеловал протянутую ему руку и не менее торжественно, чем только что офицер, произнес:

— Я счастлив быть земляком такого прекрасного гражданина и министра новой, свободной России, как любимый всеми Лев Павлович.

Спутники ждали в его кабинете, Клавдия наскоро поила их чаем, а сам Лев Павлович, обслуживаемый женой, переодевался и брился в спальне.

Боже мой, разве возможно сейчас связно рассказать обо всем, что происходило в эти дни у них в Думе?! Там, у него в кармане шубы, лежат первые выпуски газеты комитета журналистов, — пусть она, Соня, возьмет их, читает...

Боже, что было, если бы только она знала! Народ, *народ* пошел на штурм самодержавия, — тут уж ничего, голубушка, не поделаешь! Страшно в конце концов иметь дело с народом, но как этого избежать сейчас?!

На Знаменской площади казаки, вместо того чтобы стрелять в толпу рабочих, зарубили офицера... еще одного офицера, потом пристава... Это — *казаки*! А что же говорить о солдатах, о простых солдатах?

Рота павловцев в полном боевом порядке защищала на Екатерининском канале отряды рабочих, прорвавшихся к центру города.

Арсенал сдался рабочим после пятиминутных, буквально, переговоров. Гвардейский флотский экипаж во главе с самим великим князем Кириллом Владимировичем пришел в Думу — в распоряжение Родзянко.

— Сонюшка, Сонюшка... прошел односуточный, буквально односуточный ливень и затопил все... смел всю грязь самодержавия. Ах, если бы ты видела всю эту картину!

Он намыливал щеку и торопливо рассказывал:

— Двадцать седьмого мы все застряли там... Поздняя ночь, мороз... Мы все устали, у всех нервы взвинчены, но никто не расходится... Самые странные, неожиданные картины, Соня! В зале, где недавно чинно расхаживали почетные люди, наш брат депутат, — спят на скамьях, вповалку на полу утомившиеся солдаты, люди с улицы, студенты, какие-то женщины... В Полуциркульном свалены груды патронов, трещит машинка, заряжают пулеметные ленты... Мы все почувствовали себя как в осажденной крепости! А за стенами дворца идет борьба. Стреляют из-за угла, стреляют с крыш... запоздалые мирные пешеходы робко жмутся к домам... Боже мой, мы совершенно не знали, что делать! Ведь надо же было спасти монархию!.. А на завтра мы поняли, что народ победил... Начали приводить и привозить к нам арестованных министров, — что это за сцены были, боже мой!..

— Осторожно... не порежь себя! — волновалась Софья Даниловна, заметив, как вздрагивает его рука, держащая бритву. — Я подожду... я подожду, Левушка.

Он сам решил быть осторожным и на минуту замолчал, придвинувшись к зеркалу. Кажется, впервые за эти дни он увидел свое измученное, посеревшее лицо с низко опустившимися под глазами синеватыми мешочками.

События последних дней всплывали сейчас одно за другим, словно отражаясь в зеркале, перед которым брился Карабаев.

...Одним из первых арестовали генерала Сухомлинова. Его нашли в квартире на Офицерской, 55, где он жил, — в спальне, под периной, с подушкой на голове.

Генерала привезли в Таврический, и толпа солдат бросилась к нему... Минута — и его бы разорвали. Конвой ошетинился. И генерал бочком, бочком, мелкими, семенящими шажками пробежал вдоль стены к двери, открытой в глубь коридора. Он был похож на седоусую крысу, которая тщетно искала спасения.

В кабинете председателя Думы он поспешил сам произвести над собой приговор: белыми, неживыми руками, словно вырезанными из веленовой бумаги, он отстегивал свои генерал-адъютантские погоны на куртке. Кто-то из окружающих подал ему перламутровый перочинный ножик, и он срезал им погоны на своей шинели.

— Крест! — лаконически подсказали ему.

Ожидавший всего, он готов был снять тут же и Георгиевский крест, но чей-то хриплый, отрывистый голос остановил его руку.

— Пусть останется... Снимут по суду.

Разжалованный генерал боязливо взглянул на говорившего: это был Керенский.

В кабинет ворвалась депутация военных: солдаты хотят видеть изменника! Люди в кабинете заволновались, запротестовали: надо уважать власть Государственной думы и подчиняться ей... И вдруг:

— Скажите, что они его увидят!

Это — опять Керенский.

— Бывший военный министр, следуйте за мной!

Он берет его погоны, кладет их на ладони своих вытянутых рук и так, идя впереди своего пленника, выходит вместе с ним в громадный Екатерининский зал.

Тяжело и страстно дышит выстроившийся шпалерами Преображенский полк.

— Солдаты! Вот погоны бывшего военного министра. Я бросаю их к ногам народа... (он бросает погоны на пол и наступает на них ногами), но я призываю вас, солдаты, к спокойствию. Бывший военный министр находится под охраной комитета Государственной думы. Народный суд над изменником совершится, и он получит достойное наказание. Бывший военный министр! Пройдите перед солдатами революционного народа. Солдаты, смирно!

Сухоминов, опустив низко голову, проходил сквозь строй преображенцев, протыкавших его сотнями ненавидящих глаз.

Позади него, вытянув руки, словно фокусник и гипнотизер, стоял его избавитель от народного гнева. И когда церемониал позора был совершен, Керенский сорвался с места, почти бегом промчался по залу вслед за разжалованным генералом, положил ему руку на плечо, другой — подозвал преображенцев:

— Арестовать!.. Отвести в министерский павильон!

И сам пошел впереди караула.

В родзянковском кабинете он бухнулся в кресло и закрыл глаза. Ему дали валерианки и ландышевых капель. (Весь подоконник был уставлен аптекарскими бутылочками).

Он пил и бормотал:

— Через мой труп... через мой труп только...

В этой комнате никто бы сейчас на это не согласился: Керенский был уверен не только в сочувствии, но и в благодарности.

Министерский павильон превращен был во временную тюрьму для министров, сановников и дельцов империи. Их приводили сюда ежечасно.

На грузовике доставили Горемыкина. Он шел, согнувшись от дряхлости. Он полз, как престарелый, сморщенный краб, выброшенный на сушу неожиданной и грозной бурей. Орден Андрея Первозванного на борту старого серого пиджака был приколот необычно — при помощи большой английской булавки.

Войдя, старик тотчас же спросил:

— А вино здесь дают?

Министр юстиции, егермейстер Добровольский, не рассчиты-

вая на собственную безопасность, засел в бест в Итальянском посольстве. Но гостеприимство маркиза Карлотти продолжалось только сутки, после чего через швейцара было передано гостю, что его пребывание здесь излишне.

По красной дорожке, проложенной вдоль узкого длинного коридора, в министерский павильон провели под конвоем насупленного и злого, с пунцовыми ушами, Щегловитова, рыхлого, тяжело ступавшего, белого как мел Штюрмера, бывшего министра торговли князя Шаховского, генералов охраны, командующего округом Хабалова, градоначальника Балка, бывшего министра внутренних дел Маклакова. Один ус его был закручен кверху, как всегда, другой опущен вниз: рот казался кривым, судорожно сдвинутым вбок.

В приемной комнате бывший министр, опустившись на стул, стал шарить глазами по сторонам.

— Чего вы ищете?— полюбопытствовал один из конвоиров, солдат.

— О, если бы мне дали револьвер... я застрелился бы!

— На!— протянул ему свой «бульдог» стоявший тут же старик рабочий.

— Нет, нет... не убивайте, господь с вами!— испуганно отмахнулся под громкий хохот «самоубийца».

Стоявшие в карауле солдаты с любопытством рассматривали своих узников, размещенных в трех комнатах: ослепительные генеральские погоны, кресты и медали на груди, розовые и белые лысины, еще сохранившие запах вчерашних духов.

Мертвая маска штюрмеровского лица откинута в сторону соседа — Горемыкина. Длинная — узким прямоугольником — штюрмеровская борода кажется неживой, нацепленной. Больная, подагрическая нога требует, как всегда, подставки,— сидя в кресле, он вытянул и положил ногу на стул, часть которого услужливо уступил второй сосед — тощий, инфантильный старичок, генерал Марков-Финляндский.

Этот генерал, могло показаться, мало интересуется приходом новых людей: он только на минуту устремляет взор на входящих и сейчас же, как бы дорожа каждой минутой, продолжает исписывать карандашом лежащие перед ним на столе листки бумаги. Впрочем, этим заняты неизвестно с какой целью и другие арестованные.

На большом канцелярском столе, накрытом белой накрахмаленной скатертью, лежат груды книг, тут же пустые стаканы и остатки еды. В комнате строгая тишина: обитателям ее запрещено переговариваться. Но стоит появиться здесь караульному начальнику или коменданту — и узники нарушают обет вынужденного молчания. Просят о разном, но все — об одном: разрешении поразговаривать.

Отказ принимают печально и покорно.

— Вот и хорошо... я очень люблю тишину,— соглашается шамкающий голос.

Узники с плохо скрываемым презрением смотрят на выжившего из ума старца Горемыкина. Он потонул в широком кожаном кресле, он недвижим, и только дымящаяся толстая сигара во рту говорит о неисчезнувшем дыхании этого разрушенного годами, безжизненного тела.

— Товарищ комендант! Товарищ, одну минутку... по секрету. Это слово так необычно здесь — «товарищ»...

— Одну минутку...

Это — хорошо известный всем Манасевич-Мануйлов. Толстенный, подвижной, он насаждает на саженого преображенца, не спуская с него своих пытливых близоруких глаз. Один из них, как всегда, по привычке, прищурен, но преображенцу кажется (впрочем — безошибочно), что проситель хочет предложить ему что-то жутническое.

Распутинский друг таинственным шепотом пытается тут же говорить о своей невиновности и безосновательности своего ареста. Он сует преображенцу какую-то записку с просьбой передать ее по назначению и просит, просит, просит...

Потеряв надежду дождаться своей очереди, грузный, оплывший жиром адмирал Карцев отталкивает его:

— Посторонитесь маленько...

У него — другая просьба: нельзя ли обменяться ему местами на ночь с князем Жеваховым — отдать узенький диван и получить широкое, вместительное кресло?

Жандармский полковник Плетнев вызывает улыбку всех сменяющихся караулов: он в штатском костюме своего младшего сына! От жилета до брюк белым кушаком вырисовывается нижняя рубашка. Узкие, короткие брюки обнаруживают солидные мускулистые икры жандармского полковника. Короткие рукава чужого пиджака лишают полковника возможности свести руки.

В несколько лучшем виде был доставлен сюда анекдотический министр здравоохранения Рейн: на нем тоже было чужое платье — очень широкое, принадлежавшее какому-то толстяку. На плечах у Рейна клетчатый плед, на шее — высокий стоячий гуттаперчевый воротничок без галстука, с одной торчащей запонкой.

Толпы журналистов осаждают министерский павильон, стремясь проникнуть в его комнаты, но караульные неумолимы:

— Отходите, отходите. Тут вам не кикиматограф!

И несколько дней этим словом — «кикиматограф» — называли весело журналисты временное узилище для бывших министров.

Была ночь, когда к одному из студентов-милиционеров во дворе Таврического дворца подошел неизвестный человек в шубе с широким котиковым воротником и мягкой, надвинутой на лоб шляпой. Он отозвал его в сторону и сказал:

— Скажите, вы студент?

— Да, путеец, — последовал ответ.

— Прошу вас, проводите меня к членам комитета Государственной думы. Словом, к кому следует...

— А может быть, в Совет рабочих депутатов?— спросил студент.

— Нет, нет!— запрыгали губы неизвестного.— Я хочу видеть своих старых товарищей по совместной работе. Вы сейчас все поймете, дружок. Я — Протопопов... Молчите, не разглашайте пока!

Лев Павлович Карабаев сидел в родзянковском кабинете, набитом людьми, когда вихрем влетели в него несколько человек с громким, восторженным криком:

— Протопопов арестован!.. Протопопов, ур-ра!

Все выскочили в коридор — навстречу арестованному министру, затерявшемуся в гудящей, возбужденной толпе.

— Керенского! Позовите Керенского!— в несколько голосов требовали встревоженные думские депутаты, опасаясь за участь арестованного, особенно ненавистного народу.

Лев Павлович в числе других бросился разыскивать «специалиста» по спасению бывших министров. И через минуту Керенский был на месте.

— Только не волнуйтесь... только не волнуйтесь, Александр Федорович!— любовно подбадривал его Карабаев.

Керенский шел, опираясь на увесистую дубинку. Он был еще не совсем здоров: недавно только ему оперировали почку, а тут еще... непрерывные речи, толпа качает его каждый час — «того и гляди погубят этого человека»,— опасался, уже как врач, Лев Павлович.

— Держите!— сунул ему дубинку в руки Керенский и сам помчался вперед.

— Прибыла пожарная команда... сам брандмайор!— сострил кто-то из толпившихся в коридорчике, и Льву Павловичу показалось, что это знакомый голос журналиста Асикритова: он неоднократно сегодня наталкивался во дворце на этого вездесущего желчного человечка!

Керенский был желт, глаза широко открыты, рука поднята ребром вперед. Он как бы разрезал ею толпу, поглотившую арестованного.

— Не смей прикасаться к этому человеку!

Толпа отхлынула, расступилась, рассыпалась, как треснувшая скорлупа ореха, открыв взору высохшее горькое зернышко — бозяливо сжавшееся, перекошенное протопоповское лицо с почерневшей, отвисшей губой.

Она дрожала, как у эпилептика.

— В-ваше прев-восходительство, отдаю себ-бя в ваше распоряжение...

И тогда другое лицо — нездоровое, с больной кожей, со следами тяжелых бессонных ночей и опухшими, красными, как у кролика, глазами — придвинулось к нему вплотную, и хриплый, лающий голос прокричал в толпу:

— Бывший министр внутренних дел Протопопов! От имени Исполнительного комитета объявляю вас арестованным!

— Спасибо, ваше превосходительство!— смешило оживился вдруг Протопопов и, наклонясь к своему избавителю, стал что-то шептать ему на ухо.

— Громче, громче! Чтобы все слышали!— закричали со всех сторон.

— Господин караульный офицер!— ударил Керенский негодующую толпу хриплым бичом своего наигранно-повелительного голоса.— Бывший министр внутренних дел желает сделать мне секретное государственное сообщение. Потрудитесь провести его в отдельную комнату!

Через полчаса стало известно, что министр сообщил Керенскому список домов, на крышах и чердаках которых расставлены были полицейские пулеметы,— он был труслив и услужлив, Александр Дмитриевич Протопопов!

Но, едва отдышавшись, он поспешил пустить в ход свое обычное лукавство, ставшее уже глупостью: он предложил себя в посредники между... царем и революцией.

Ему отвели диван в «тюрьме министров» и приставили особого часового.

Ну, сколько можно рассказать за четверть часа, что пробыл дома?..

За это время три раза звонил телефон в кабинете, и каждый раз, прибегая, стучался в дверь студент Гриша Калмыков.

— Лев Павлович, по срочному делу!

Из всех звонков один действительно был весьма срочен, а другой, пожалуй, представлял несомненный интерес. Первый принадлежал новому министру иностранных дел: Милюков просил поторопиться с приездом на Миллионную, 12, где находился особняк князя Путятина,— уже почти все собрались.

Вторым звонком вызвал к телефону незнакомый человек — инженер Михаил Величко. Он говорил о каких-то странных и непонятных сразу вещах:

— Я прошу меня принять... Где угодно вам, но только сегодня. Я не могу говорить по телефону... Не сомневайтесь в моей абсолютной преданности вам и новой власти. Случай вручил в мои руки важнейший документ... не могу сказать. Я привезу его вам на квартиру и готов ждать до поздней ночи. Поверьте мне: важнейший! Боюсь по телефону...

На третий звонок подошла Софья Даниловна и, возвратясь в спальню, доложила:

— Он звонит сегодня уже второй раз. Иван Митрофанович Теплухин.

— Здесь? Приехал? Что-нибудь от Жоржа?— торопливо переодевался Лев Павлович.

— Я сказала ему, что, может быть, ты будешь к ночи дома. Но лучше, сказала я, завтра утром. У него очень взволнованный голос... Так ты действительно министр, Левушка?— заглядывала она в его глаза: с улыбкой, нежностью и неожиданной застенчивостью, которую он уловил и расценил по-своему.

— А что ж здесь удивительного, Соня?— досадуя на ее удивление, явно обиженный им, сказал Карабаев.— Меня, кажется, знает вся Россия! Неужели же вся страна знает... подготовлена к этому, а собственная жена... меньше других ценит меня!..

— Левушка, голубчик, что только ты говоришь?!— схватила его руку для поцелуя Софья Даниловна.— Боже, как ты изнервничался... разве можно так? Как мог ты так думать?

Она припала губами к его руке, и ему стало приятно и одновременно — стыдно.

— Прости меня,— привлек он к себе всхлипывающую жену.— Меня события так растрясли, так растрясли, ей-богу! Пожалуйста, прости меня, Соня. Я дурак, Сонюшка...

Уже сидя в автомобиле со своими «адъютантами», он еще раз обругал себя мысленно.

Он сорвал свое раздражение на жене,— он сознает это. То самое раздражение, ту самую досаду, которая нет-нет — и дает себя чувствовать со вчерашнего дня. Он скрывает ее истинную причину, но если бы кто-нибудь из политических друзей догадался о ней, Лев Павлович перестал бы таиться.

Он министр, но отнюдь не того ведомства, которого мог ждать для себя по праву. Всю жизнь выступать в Думе главным оппонентом по бюджету, заслужить у самого Ллойд-Джорджа прозвище «антиминистра русских финансов», быть всегдашним думским дуэлянтом графа Коковцева, а затем Барка и... пойти вдруг теперь главой другого ведомства! Его даже не спросили как следует, хочет ли он того.

В разгар событий, когда на улицах Петербурга революционные толпы солдат и рабочих решили уже судьбу трона и голицынского правительства, в какой-то отдаленной комнатке Таврического дворца, скрываясь ото всех, его, карабаевский, друг и вождь их партии, Милуков, составлял список членов Временного правительства. Это было вчера. Надо было торопиться, надо было объявить стране состав новой власти — объявить от имени Государственной думы, потому что бог знает чего завтра может потребовать мгновенно возникший Совет рабочих и солдатских депутатов: увы, ведь он только и распоряжается вооруженной силой революции... Надо было спешить, чтобы утихомирить и ввести в русло порядка стихию народных чувств.

— Керенского... Обязательно Керенского не забудьте, Павел Николаевич,— напоминали Милукову разные люди о человеке, которого беспрерывно качали теперь на всех митингах.— Очень подходящий громоотвод.

Но седовласому упрямцу хотелось видеть рядом с собой в правительстве партийного единомышленника, московского адвоката Василия Маклакова, и только гул столичных улиц и настойчивость пугливых думских друзей изменили намерения признанного думского вожака.

Маленькие красные уши его пылали, голова низко склонилась

над столиком, на котором лежал потрепанный блокнот с вписанными в него и перечеркнутыми фамилиями.

— Ладно... юстиции. Предположим. Теперь финансов... вот видите, это трудно. Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов...

— А Карабаев? — удивились милюковской забывчивости.

— Да нет, Карабаев попадает в другое министерство! Вот видите, у меня уже записано.

— А есть лучший? Кто же?

— Просто теряюсь, господа!

Может быть, невольно насплетничали Льву Павловичу об этом разговоре, может быть — не так все это происходило, но... похоже было на истину. И — уже по одному тому, что неожиданно-негданно в списке министров на его, карабаевском, месте очутился доселе неизвестный широким политическим кругам, совсем молодой богач киевлянин Терещенко.

Лев Павлович ни разу даже не видел его в лицо! Брат Георгий, приезжавший на рождество, рассказывал, правда, об этом киевском миллионере (да и дочка Ириша упоминала как-то о нем) — очень мил, получил европейское образование, радикал и меломан, великолепно «лидирует» автомобиль. Но вот как он будет «лидировать» финансы огромной, потрясенной в войне России? Возьмет ли за него ответственность капризный упрямец Милюков, так несправедливо распорядившийся министерским местом своего старого доверчивого друга?

Лев Павлович считал себя в душе обиженным, и это чувство время от времени напоминало о себе, как только всплывал в памяти знаменитый лидер партии.

Но чувство это было преходяще: другой Милюков — Милюков, провозившийся весь позавчерашний вечер с делегацией Совета рабочих депутатов, пожелавший проконтролировать первую декларацию нового правительства, — встал перед его глазами.

...Пришли трое.

Думцы полагали и надеялись, что представителями Совета придут знакомые всем парламентские «левые» во главе со стариком кавказцем Чхеидзе, может быть — все тот же приучивший к своей стремительности Керенский, с которым им было уже легко, — а появились вот совсем другие люди.

Из них троих Лев Павлович знал, и то больше понаслышке, присяжного поверенного Соколова, о котором говорили, что он и большевик и меньшевик, но в том и в другом случае человек малой ответственности. Двое других были совсем неизвестны Карабаеву.

Один из них был здоровенный, плечистый длиннорукий «дядя» с большой, окладистой черной бородой и румяными щеками коренного сибиряка-крестьянина, хотя достоверно сообщалось в кулуарах, что он журналист.

Другой — очень худой, впалогрудый, бритый, как актер, со злыми, узкими губами и желтовато-серыми глазами под костлявыми надбровными дугами.

— У дьявола мог бы служить такой секретарь! — шепотом сказал о нем Шульгин Льву Павловичу, и Карабаев не спорил.

За этих-то людей и взялся Милюков.

Он потребовал, чтобы Совет особым воззванием к солдатам воспретил насилия над офицерами. Трое настаивали на выборном офицерстве, трое требовали отказа в правительственной декларации от монархии и назначения выборов в Учредительное собрание, а упрямый, вцепившийся в них думский вожак настаивал на сохранении конституционной монархии — с малолетним царем Алексеем и регентом Михаилом.

Это продолжалось долго, очень долго: несколько часов. Все остальные уже давно выбыли из строя. Они в изнеможении, с головной болью лежали, растерзанные, в креслах, в полутьме, потому что кто-то еще днем вывинтил несколько лампочек в родзянковском кабинете и свет был неполный.

Трое и один... Они сидели за столиком у окна, писали поочередно и каждую строчку текста брали с боем — трое у одного и один у троих — как неприятельский окоп.

— Неужели вы надеетесь, Павел Николаевич, — спрашивал насмешливо узкогубый, бритый, — что Учредительное собрание оставит в России монархию? Ведь ваши старания все равно пойдут прахом!

— Учредительное собрание может решить, что ему угодно. Если оно выскажется против монархии, тогда я могу уйти. Сейчас же я не могу уйти. Сейчас, если меня не будет, то и правительства вообще не будет.

Правительство покорно, бессловесно лежало тут же в креслах.

Старик Чхеидзе, свесив голову в сторону своего соседа — франтоватого, угрюмого графа Капниста, безнадежно вздыхал и всхлипывал:

— Все пропало... совсем все пропало. Вот когда всякая партийность должна отойти в сторону. Если мы не сговоримся здесь, толпа сделает свое дело. Я вам говорю: все пропало!.. Вы не знаете, граф, как трудно ладить с рабочей толпой.

— Скажите же своим! — рассердился, прикрикнул Капнист на размякшего лидера меньшевиков.

Чхеидзе вдруг, в припадке неожиданной откровенности, слезливо прошептал:

— А вы думаете, они сами не боятся толпы... народа?! Оттого ведь, оттого ведь... Скажите Милюкову, чтобы что-нибудь уступил!

Но вскоре обе споривших стороны уже не пришлось упрашивать. Надо было кончать дело «миром»: через час революция могла потребовать большего, чем ей готовили в испуганной и ненавидящей думской комнате «народные представители» — меньшевики, эсеры, кадеты и октябристы.

И, заключая мир между собой и договор против революции, обе стороны торопливо и услужливо поменялись ролями: представители меньшевистского Совета написали текст, провозглашавший власть Временного правительства, а Милюков без труда

для себя составил декларацию меньшевистского Совета, с которой уступчиво согласились его лидеры.

— А если правительства не будет,— напоследок холодно угрожал Милюков,— то... вы сами понимаете...

— Он прав,— шепнул Лев Павлович соседу.— Разве можно без него?

...Эта же мысль мелькнула у Карабаева и в тот момент, когда автомобиль остановился у подъезда на Миллионной, 12.

Глава третья

ОТРЕЧЕНИЕ МИХАИЛА

Лев Павлович поднялся наверх. На площадке, у входа в квартиру князя Путятина, стоял караул Преображенского полка, составленный из младших офицеров. Один из них осведомился у Льва Павловича, как следует доложить о нем, и через минуту молодой, высокий и плотный блондин в форме земгусара, оказавшийся личным секретарем великого князя Михаила, ввел Карабаева в гостиную.

Здесь уже собрались и разместились почти все новые министры и члены думского комитета во главе с Родзянко. В центре большого полукруга сидел в старинном кресле красного дерева великий князь.

Лев Павлович никогда его раньше не видел, но по портретам сразу же признал в нем царева брата. Михаил был моложав, длиннолиц, редковолая голова коротко острижена, на губе — узенькая полоска темно-русых усиков, ровненько подбритых снизу на английский манер.

Он с любопытством взглянул на нового человека — Льва Павловича, представленного ему сидевшим рядом Родзянко, жестом пригласил Карабаева занять место, и Лев Павлович занял его вблизи Керенского и какого-то незнакомого молодого человека — с розовыми бритыми щеками, безукоризненно одетого, с большими и красивыми, как у насторожившейся лошади, влажными карими глазами, весьма приветливо посмотревшими на вновь прибывшего.

«Неужели Терещенко? — подумал о нем Лев Павлович. — Действительно, симпатичен как будто». Но, не желая обнаружить истинного впечатления от первой встречи со своим счастливым «конкурентом», с напускным безразличием и, пожалуй, со строгостью во взгляде сел с ним рядом, не обращая уже внимания на своего соседа.

Другой сосед, Керенский, порывисто наклонился к Льву Павловичу и шепотом, скороговоркой спросил его:

— Вы за или против?

— То есть? — озабоченно посмотрел на него Карабаев.

— Брать ему престол или нет? Об этом идет тут речь... За окнами этого дома нас ждет история!

За окнами струился морозный солнечный полдень, в природе была сладостная тишина целительного покоя, сдержанность и безмятежность — вот что было за окном, а этот порывистый, с желтыми, конвульсивно вздрагивающими щеками Керенский беспокойно ворочается в кресле и шипит в ухо Льву Павловичу о всяких

страхах и ужасах, которые могут случиться вот сейчас, здесь, если революционная толпа, что где-то бродит за окнами, ворвется сюда и узнает, что в тиши путятинской гостиной всходит на престол новый Романов.

Керенский шепотом повторял Льву Павловичу свою речь, которую, оказывается, только что, до прихода Карабаева, произносил вслух.

— Вы, кажется, Михаил Владимирович, хотели сказать? — великий князь дружелюбно повернул голову к Родзянко.

— Господа... — не вставая со своего места, еле умещааясь в кресле, заговорил Родзянко. — Сегодня я прорезал в автомобиле весь Петроград, я видел столицу. Она испакошена! Сотысячный гарнизон — на площадях. Солдаты с винтовками, но без офицеров шляют по улицам беспорядочными толпами. Это, господа, штыковая стихия — распоясавшаяся, безудержная... вот что натворил Совет рабочих! О том, что могут сделать сейчас опьяневшие от революции солдатские толпы, говорил здесь член Государственной думы Александр Федорович Керенский, — он же министр юстиции теперь... Ему, впрочем, и карты в руки... Если, ваше высочество, взойдете сейчас на пошатнувшийся престол ваших предков, — кто вам гарантирует прочность его? Вы процарствуете несколько часов... у нас нет вооруженных сил вас защищать! Надо выждать некоторое время, господа... Выждать, я рекомендую. А там всяко может случиться. Может быть, из провинции придут верные Государственной думе войска... им нужен будет вождь, и они вспомнят, конечно, о вас, ваше высочество, мы приложим силы... Я рекомендую так. К тому же ваш отрекшийся брат меняет свои решения, как загнанных в мыло лошадей! Вот видите, как выходит...

Он сделал паузу, и все насторожились.

Родзянко продолжал:

— Сегодня на рассвете меня вызвал к прямому проводу из Пскова Рузский. Он сообщил мне, что ваш отрекшийся брат выехал ночью в Ставку и оставил новый текст отречения, повелев задержать тот, что вчера прибыл от Рузского по телеграфу. Дела твои, господи!.. Он, оказывается, решил отречься в пользу Алексея, но генерал Рузский спрятал это повеление в карман. И хорошо сделал, господа!

Родзянковская новость ошеломила всех: значит — Николай еще на что-то надеется сейчас, и не только отцовские чувства заставили его вчера отречься в пользу Михаила?.. Это одна опасность. А другая заключалась в том, о чем уже говорили все: опьяненный революцией Петроград, его рабочие и солдаты могли теперь растерзать всех, пытавшихся найти конституционное разрешение вопроса о русском троне.

На несколько минут совещание потеряло свою чинную, строгую форму, и в путятинской гостиной стало шумно от беспорядочно столкнувшихся голосов.

— С ума можно сойти, господа!

— Скажите... есть ли какие-нибудь части, на которые можно положиться?

- Да что вы!
- Гвардейский экипаж, кексгольмцы, преображенцы?..
- Важно противопоставить сброду организованные войска!
- Сегодня должен вернуться Гучков, — он сумеет...
- Да его, между нами говоря, терпеть не могут в армии.
- Да что вы говорите? Зачем же его военным министром?..
- С ума можно сойти, господа! Надо, чтобы Павел Николаевич..

Но Павел Николаевич Милюков уже встал с дивана, на котором все время, сжавшись, как дремлющий путник в вагоне, сидел молча, и, бесцеремонно расталкивая растерянных министров, приблизился к застывшему в кресле Михаилу.

— Вы, кажется, хотели сказать? — все той же фразой пригласил его высказаться великий князь, и все сразу затихли.

Милюков попал в струившуюся сквозь оконное стекло золотисто-пыльную полосу солнца, — она чуть-чуть подрумянила его поблекшее за эти дни сизое, похудевшее лицо, на котором даже знаменитые, всегда безупречно холеные усы потеряли свою образцовую форму.

Он заговорил, и все с удивлением услышали чужой — осевший, прерывистый, силпый — голос каркающего человека:

— Если вы откажетесь, ваше высочество, будет гибель... Потому что Россия... Россия теряет... свою ось!.. Монарх — это ось... единственная ось страны... Русская масса... вокруг чего... вокруг чего она соберется!.. Я провозгласил вас... вчера провозгласил в Екатерининском зале... русским конституционным государем. То есть не вас... цесаревича, а вас — регентом... Но теперь... теперь вы монарх... Если вы откажетесь... хаос... кровавое месиво... да! Монарх — единственное, что все знают... единственное общее в народе... единственное понятие о власти... Без этого... не будет государства российско-го... России не будет... ничего не будет...

Он говорил долго, он угрожал уходом из правительства, если его не послушают.

В дверях, не желая прерывать его речь, стояли только что прибывшие из Пскова Шульгин и Гучков. Их заметили все, их так ждали здесь, но никто не смел отвлечься хоть на минуту от того, кто держал всех их в повиновении все эти дни. Не смели чем-либо обидеть: боялись остаться без него.

Милюков откаркал свою речь, и все были довольны, что не случилось никакой продолжительной паузы, что не потребовалось встретиться с ним взглядом, в котором он прочел бы ответ себе: ответ сомнения, — потому что отделился от дверей бледный, со вздрагивающими ноздрями Шульгин и, низко, «по-боярски», поклонившись великому князю, привставшему к нему навстречу, стремительно и горячо заговорил:

— Я все слышал, ваше высочество... я скажу теперь!.. Мы с Александром Ивановичем — свидетели последнего трагического поступка государя. Мы монархисты, которым было поручено спасти монархию. Мы привезли ее вам, ваше высочество, и вы можете ею распорядиться. Но, верьте, я расскажу вам все потом...

верьте мне, ваше высочество: да хранит вас бог согласиться на престол! Знайте, принять сейчас престол — это значит: на коня! на площадь! Всем должно быть понятно, о чем я говорю. Почти сто лет назад был Николай и его брат Михаил... как сейчас. Бунт декабристов... Что сделал Николай? Николай сказал: я или мертв, или император! Он вскочил на коня, бросился на площадь и раздавил бунтовщиков... Что сделал Михаил? Он последовал за старшим братом. Увы, теперь вы тоже должны последовать за старшим братом! У нас нет картечи, у нас нет войск, и у нас не декабристы теперь, а февралисты... миллионы черни, которая разнесет в щепы какой угодно трон!

Он умолк на секунды, ища глазами стакан с водой: губы его пересохли от волнения и быстрой речи.

— Где акт об отречении его величества?— спросил его брат царя.

Всем не терпелось поскорей увидеть подлинник документа, начинавшего новую историю государства!

— Молю бога, чтобы он нашелся...— переглянувшись со своим мрачно смотревшим псковским спутником, тихо сказал Шульгин.— У нас его нет. Но был все время.

И когда все взволнованно вскочили со своих мест вслед за великим князем, Шульгин торопливо выкрикнул:

— Успокойтесь, ваше высочество! Два часа назад я сам оглашал манифест толпе. Здесь, в Петрограде.

Да, это было так.

Они утром сегодня приехали в Петроград, и на Варшавском вокзале их ждала несметная толпа людей, бог весть откуда узнавшая о их возвращении из Пскова. Им что-то говорили, кричали, пытались тут же качать, куда-то тащили.

От Гучкова потребовали речи и увели в депо, где собрались тысячи две рабочих-железнодорожников. Он взошел на помост, как на эшафот.

После его речи об отречении, о новом государе и новом правительстве к толпе обратился председатель митинга, потом — другой рабочий, за ним — еще один.

О чем они говорили? Вот, к примеру:

«Они образовали правительство. Кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, который свободу себе добывал? Как бы не так! Князь Львов... князь! Опять князь пошел в ход!»

«Дальше, например. Кто у нас будет министром финансов? Может, думаете, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал, как бедному народу живется? Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко. Слыхали про него? Думаете, наш человек? Как бы не так! Сахарных заводов штук десять, земли — сто тысяч десятин да деньжонками — миллионы тридцать!»

«...Вот они поехали,— говорил другой.— Кто их знает, что они привезли от Николая Кровавого? Наверно, ничего подходящего для революционной демократии... Посоветовать бы так, товарищи: двери

закрыть, господина Гучкова не выпускать отсюда, документик бы... того, на проверочку!»

Но с «документиком» в это время произошла следующая история.

На площади перед вокзалом Шульгин прочитал манифест требовательной толпе, не уместившейся в депо. Одни кричали «ура», другие старались перекрычать их и голосили злобно и угрожающе: «Долой Романовых, да здравствует республика!» Все настойчивей и настойчивей раздавались требования задержать здесь обоих думских посланцев к царю и отправить их в Совет рабочих депутатов...

Было очевидно, что царскому манифесту угрожает опасность.

Вокруг — ни одного знакомого лица, от которого можно было бы ждать участия и помощи. А толпа наседала и становилась все более требовательной. Надо было решиться на что-нибудь, — и Шульгин решился.

Вблизи себя он увидел какого-то внимательно смотревшего на него человека в шубе и фуражке путейского инженера. Его взгляд показался дружелюбным и честным. Будь что будет!.. Шульгин вынул из кармана конверт с актом отречения и, приблизившись к неизвестному инженеру, быстро и незаметно для других сунул ему в руки документ, успев шепнуть: «Доставьте немедленно кому-нибудь из новых министров!..»

И вот: где манифест — он не знает.

— Я знаю! — воскликнул, к удивлению всех, Лев Павлович. — Мне кажется, что я знаю... мне кажется, — испугавшись возможной ошибки, захотел он быть осторожней.

— Фантазмагория! — подскочил к нему Керенский. — Откуда? Почему?

— Господин министр, вы нас посвятите в эту тайну? — подошел к нему бледный, с понурым лицом великий князь, и от непривычки Карабаев не сразу сообразил, что «господин министр», — это относилось к нему.

— Это не тайна, ваше высочество, а случайное совпадение обстоятельств.

И он рассказал о своем сегодняшнем разговоре по телефону с каким-то инженером, настойчиво и взволнованно требовавшим встречи.

— Дай-то бог, чтобы это был он! — с надеждой вздохнули со всех сторон.

— Дай-то бог! — повторил великий князь. — Вы, кажется, хотели сказать? — обратился он с традиционной сегодня фразой к Гучкову.

— Если вам нужен мой совет, ваше высочество, то он уже вам дан здесь Павлом Николаевичем, — кратко ответил военный министр.

Когда, спустя полчаса, великий князь объявил, что он от престола в данный момент отказывается, все вдруг смутились, воцарилась минута неловкости.

— Ваше императорское высочество! — вдруг рванулся к одночас-

ному монарху Керенский, молитвенно сцепив дрожащие руки.— Я принадлежу к партии, которая запрещает мне соприкосновение с лицами императорской крови. Но я хочу вам сказать, как русский человек — русскому. Я хочу вам сказать... всем сказать, что я глубоко уважаю великого князя Михаила Александровича!.. Верьте, ваше императорское высочество, что мы донесем драгоценный сосуд высшей власти до Учредительного собрания, не расплескав из него ни одной капли! Позвольте пожать вашу руку... позвольте мне! Ваше высочество, вы благородный человек!

Он схватил великого князя за руку, пожал ее и, прикладывая платок к глазам, выбежал куда-то в прихожую. Великий князь повернулся к Родзянко, обнял и поцеловал его.

Во время завтрака, предложенного хозяйкой дома, княгиней Путятиной, появились двое новых людей, вызванных сюда Милюковым: это были известные кадеты-юристы Набоков и Нольде. Им поручили составить и отредактировать текст отречения Михаила.

Это состоялось почему-то в детской комнате. Валялись игрушки — гуттаперчевые негры и индейцы, паровозики и пушистые зверьки, в углу, под широкой иконой, был выстроен эскадрон оловянных солдатиков-улан, карта Европы висела на стене, стояли две новенькие дубовые парты. За них-то и сели оба знаменитых государствоведа, согнувшись в неудобной позе престарелых школьников.

Уговорились, что их никто не будет отвлекать, но время от времени дверь в детскую приоткрывалась и кто-нибудь в ней появлялся, с нетерпением, сочувствием и любопытством поглядывая на обоих государствоведов.

Так пробрался сюда в какой-то момент и Лев Павлович. Он увидел хмурых, заметно нервничавших авторов еще не родившегося манифеста и поминутно забегавшего сюда Керенского. Он сидел лицом к партам на большом игрушечном коне и настойчиво напоминал государстоведам:

— Не забудьте вставить про Учредительное собрание. Не забудьте же, господа! Ну, миленькие, ну, серебряные мои, ну, голубчики... не сердитесь на меня, ей-богу! Ведь я вам говорю: нужно же посчитаться, господа, с революционной демократией!

Согнутые ноги его упирались в пол, но он подскакивал на седле из папы-маше, и казалось, что он и впрямь куда-то движется на чужой детской лошадке.

Глава четвертая

СЕРГЕЙ ВАУЛИН, АНДРЕЙ ГРОМОВ И ИХ ТОВАРИЩИ

В воскресное утро 26 февраля снизу, по трубе, служившей тюремным телеграфом, поступал арестованный по общему делу наборщик Яша Бендер:

— Мой сосед ходил вчера в суд, а вернулся только сейчас.

— Почему? — изумившись, ответил стуком Ваулин.

— В городе забастовка. Улицы полны народа, конвойные боялись вести его вечером. Струсили чего-то.

— Такая забастовка... вот что!— уж воскликнул Сергей Леонидович.— Слыхали, Токарев?

Сосед по камере подскочил к трубе.

— Ну... Ну...— шептал он, словно ожидая от нее еще каких-либо сообщений.

Но труба молчала, труба соблюдала осторожность в этот утренний час обхода коридорных надзирателей, и он, уже невольно следуя тому же чувству опасливости, на цыпочках дошел до двери, прислушался и так же тихо вернулся к Ваулину:

— А больше ничего, Сергей Леонидович?

— Пока — ничего.

— Жалы! Постучите ему,— а?

Ваулин спустя некоторое время постучал, но ничего нового ему не сказали снизу. Впрочем, необычным было то, что бендеровского соседа сегодня не повели почему-то в суд, хотя процесс, в котором он участвовал, шел к концу: сегодня ожидалась прокурорская речь.

— Почему это? Почему?— добивался пояснений заметно оживившийся за этот час Токарев, но так и не мог получить ответа от Сергея Леонидовича.

Ваулин был арестован в памятную декабрьскую ночь, верней — на рассвете, в альтшуллеровской типографии; судьба свела его в одной и той же камере «предварилки» с Токаревым.

Несколько дней назад Токарева в неурочный час вызвали на допрос,— он возвратился в камеру бледней обычного, с вогнутыми плечами, вобравшими в себя опущенную голову. Свисающая кисть его дрожащей руки болталась, как у играющего балалаечника.

— Что с вами, товарищ Токарев?— спросил тогда не без тревоги Сергей Леонидович.

— Впутали!— прислонился тот к стене.— Солдата Митрича вспоминаете, нет? Взяли его по убийству вот того самого косоглазого шпика, что вас сторожил. Ну, Митрич и показал. На себя и на меня. Теперь судить будут военным, факт... Через повешение, конечно. По совокупности... большевика и «убийцу»...— криво усмехнулся он упрямым ртом.— Через повешение... И, думаю, без замедления... чтобы не тратить казенные харчи. Митрич... черт дубовый, впутал!

Они оба знали уже друг о друге все. Обитатели одной камеры, они по жесту, по взгляду, по самому краткому движению или невзначай сказанному слову догадывались о мыслях и желаниях друг друга. И Ваулин понял тогда: большевику-солдату не избежать смертной казни. Надо помочь товарищу...

Они оба долго и подробно обсуждали, как держать себя Токареву на следующем допросе. Сергей Леонидович сочинил для него стройную систему «прилаженных» друг к другу ответов следова-

телю и на будущей очной ставке с Митричем. Но токаревский следователь не подавал о себе вестей, на очную ставку не звали, и Токарев решил, что участь его и так уже предreshена, без всяких лишних допросов, и каждым утром ждал прихода тюремных солдат — военного суда.

Десять дней назад Сергея Леонидовича вывели из камеры и в черной карете повезли на Фонтанку, к генерал-майору Глобусову. Долгоухий и узколицый человек в штатском, оглядывая Ваулина в канцелярии, двигал носом, как принюхивающееся животное.

— Ваулин. Сергей Леонидович. По сто второй. По сто двадцать девятой, — говорил он короткими фразами, неизвестно для чего перечисляя в данный момент статьи Уложения о наказаниях. У него был глухой голос человека, у которого в носу полипы. — Прошу, — указал он на высокую дубовую дверь и открыл ее, пропуская вперед Сергея Леонидовича, а сам не входя в кабинет начальника охраны.

— Прошу садиться. — Глобусов протянул руку к одному из двух кожаных кресел, стоявших у письменного стола. — Заочно я вас давно знаю, Сергей Леонидович Ваулин, — сказал он после откровенного минутного разглядывания его. — Фотографии ваши видел, о вашем семейном и партийном положении я в курсе, о ваших противоправительственных делах наслышан.

Он усмехнулся, произнося это последнее слово. Безмолвно усмехнулся и Сергей Леонидович.

Генерал продолжал:

— Однако всего этого, оказывается, мало, господин Ваулин. Вот сам увидишь человека в натуре — и только тогда поймешь его. Не правда ли, Ваулин? Молчите?.. Ну, да вы еще не ориентировались. Не знаете еще, что за птица ваш собеседник, то есть — я.

— Нет, почему же? Я в пернатых разбираюсь, — прищурившись, посмотрел на генерала Ваулин.

— Сам не курю. Поэтому лишен возможности предложить вам папиросу, — развел руками Александр Филиппович. Реплику о «пернатых» он пропустил мимо. — Папироса — это служанка обычно следователей, но я ведь не следователь. Я не буду, Сергей Леонидович, ничего ни выяснять, ни сопоставлять, ни добывать лишних улик. Это не мое дело. Да оно меня и не интересует! Больше того: я даже не убежден в том, будете ли вы преданы суду. По сто второй там или по сто двадцать девятой статье Уложения о наказаниях. Не мне вам говорить, что они сулят в наше военное время.

— Вот уж и пугаете. Занятие зряшное, генерал! — как можно спокойней отозвался Сергей Леонидович.

— Нисколько не пугаю. Нисколько, — сложил руки на животе и медленно зашевелил пальцами Глобусов. — Зрите во мне, прошу вас, не столько начальника всем вам ненавистной охраны, как принято величать наше ведомство, сколько — политического собеседника. Который, конечно, находится в гораздо, гораздо лучше положении, чем вы. Не отрицаю этого!.. Ведь я почему упомянул о суде? Да для того, чтобы исключить из перспективы возможность самого дикого в вашей участи. Увы, по нынешним военным временам

окружной суд или судебная палата только и знают: «через повешение!» Нет, нет, с такими прямолинейными слугами государства действительно опасно иметь дело. Чему вы усмехаетесь?.. Мы с вами существуем в мире взаимосвязанно, Ваулин. В мире существуют два полюса, один невозможен. Так и мы. Это вполне диалектично... как пишется в вашем социалистическом евангелии. Скажу вам вполне откровенно: мы вот, сидящие здесь, отнюдь не заинтересованы в этой страшной, жестокой формуле: «через повешение!» Но оставим этот ненужный разговор. Тьфу, тьфу, сухо дерево, завтра пятница, как говорится в народе. Я ведь хочу совсем о другом, Сергей Леонидович. Послушайте меня.

— Как видите — я слушаю, — изучал своего противника Ваулин.

— В вашей среде, — сказал неожиданно Глобусов, — есть предатели. Вам это, конечно, известно.

— Да, известно. Но, к сожалению, меньше, чем вам.

— Вы хотите знать их имена?

— Странный вопрос с вашей стороны.

— Я ведь, Сергей Леонидович, не зря спрашиваю.

Начальник охраны встал из-за стола и занял место в кресле напротив Ваулина.

— Не зря, поверьте мне. Ну, выступай открыто против, с открытым, так сказать, забралом — как вы вот, например. Что ж, ничего не возразишь: ведь идейные к тому побуждения. А вот другой тип людей. Из вашей же среды. Скажу я вам вполне откровенно: растленные души, приходящие сюда за царским сребреником, мне противны, я дворянин... Нет, я не хочу покупать помощь за деньги. Отношения должны быть построены на совершенно других принципах, господин Ваулин. В Англии, в Соединенных Штатах, например, лидеры тред-юнионов, лидеры рабочих ассоциаций находятся, я знаю, в милейших отношениях... ну, совершенно милейших со своими соотечественниками правительственных учреждений. Почему России не перенять эту манеру западного мира? Говорим, говорим о прогрессивном капитализме, а он у нас все еще провинциален в России. А? И революционеры у нас тоже теперь поизмельчали. Словометатели, да и только, — все эти думские народники и меньшевики из компании господ кавказских депутатов Чхеидзе и Скобелева... России нужен практический союз сильных личностей! — хлопнул вдруг по плечу Ваулина генерал-майор Глобусов. — Вне классов, вне узких интересов тех или иных сословий. Вы как считаете, Сергей Леонидович?

— Вы много петлите, генерал, — отозвался насмешливо Ваулин. — И совсем это напрасно. Ох, как я понимаю, к чему клоните! Но по-пустому все это. Вы говорить, я вижу, мастер. Ну, а я слушать — тоже не глухой! Знайте: не заагентурите. Никакими способами не заагентурите! Ни русскими, ни английскими, ни американскими. Напрасный труд, ваше превосходительство!

И, сам не понимая, почему поступил именно так, Сергей Леонидович поднес к лицу напوماженного генерала фигу.

Никак не реагируя на нее, «собеседник» тише обычного сказал:

— У вас ребенок, Ваулин. Мать, невеста...

— Ну, а это к чему приплели? Предполагаете, что я хоть на минуту забыл о них?

— Вы их никогда, никогда уже не увидите, Ваулин.

И прежде чем тот захотел бы что-либо ответить, генерал-майор Глобусов, стараясь быть максимально искренним, взволнованно выкрикнул:

— Поймите же вы... интеллигентный человек! Ведь все-таки не могу же я вас уравнивать с каким-нибудь... прохвостом Андреем Громовым, в которого вы все так верите, а в то же время...

Но, словно наговорил лишнего, он вдруг осекся, замолчал, недовольно нахмутив брови.

— Ну?... — невольно вздрогнул Сергей Леонидович.

Глобусов сделал жест, означавший: «А, уж все равно!»

— А почему, собственно? Кто он такой, этот «товарищ» Громов, чтобы вам так уверовать в него? Уж думаете, что потомственный пролетарий, так уж и все?

— Он что: арестован или не арестован? — думая о своем, задал вопрос Сергей Леонидович.

— А-а, это вы, Ваулин, правильно сообразили: уж конечно, если бы я арестовал своего агента, то не стал бы раскрывать его вам.

— А может быть, господин генерал, просто... очернить хотите вредного для вас человека? — холодно улыбнулся Ваулин. — Умышленно набросить тень?

Глобусов посмеивался.

— Может быть. Все может быть, — неожиданно согласился он, немного удивив тем Сергея Леонидовича.

— Это ведь тоже тактика, генерал! Замутить, посеять недоверие.

— Тактика, господин Ваулин, что и говорить.

— Ну, и оставайтесь при ней! — вспыхнул вдруг Сергей Леонидович.

— А вы — при убеждении, что так просто разгадали эту тактику. Ах, какой, мол, простофиля этот Глобусов. Так вам спокойней будет. Умирать... — добавил генерал-майор, заглядывая в светлые, напряженно глядевшие глаза Ваулину. — Недельки через три это и приключится с вами, Сергей Леонидович. По приговору военно-полевого, да-с.

Сергея Леонидовича так и подмывало дать ему оплеуху, но он укротил себя и спокойно сказал:

— Вот опять ведь пугаете, господин генерал-охранник? Ай-ай-ай, плохо, значит, ваше дело. Кто пугает — тот сам боится. Только... Разве можно испугать русский рабочий класс — нас, большевиков?.. А ведь лжете вы, лжете нагло насчет Громова! — вырвалось вдруг. — Он на свободе... теперь я знаю!..

Он встал с кресла.

— Зовите конвоиров, мне уж пора домой... в предварилку. Вслушайте, что вам я скажу. Россия уже держит в руках красное

знамя революции! Понятно вам? Не флажок уже теперь, а большое, отовсюду видное знамя! А впрочем, о чем же мне с вами разговаривать? Ей-ей, не о чем! — махнул рукой Ваулин и отошел к окну, покуда генерал-майор Глобусов вызывал звонком своего долгого секретаря.

Этот разговор происходил всего лишь десять дней назад, и, сказать по совести, Сергей Леонидович мог ждать тогда плохого конца и для самого себя, и для своих товарищей по организации. Но жизнь за стенами тюрьмы шла стремительней, чем здесь о ней думалось.

Известие о забастовке в городе, о том, что конвоиры вчера почему-то струсили, хмурый и рассеянный вид надзирателей, редко подходивших сегодня к «глазку», — все это служило новой, волнующей темой разговора до самого вечера, а ночью обоих заключенных одолела бессонница, от которой трудно уже было избавиться.

Раннее темное утро 27-го числа встретили с воспаленными, красными глазами. Жесткие, колючие брови Токарева, казалось, еще больше выросли: так осунулось и похудело за эту ночь его небритое лицо.

— Бастуют... это хорошо. Когда началось это только и как пойдет? — возобновил Ваулин вчерашний разговор. — Я всю ночь думал о том... понимаете?

— Солдат бы втянуть в это дело... я тоже всю ночь соображал про то, — отвечал Токарев, делая по камере привычных десять шагов. — Планы строил: как и что.

— Я тоже, — сознался Сергей Леонидович. — В уме листовок двадцать написал! — улыбнулся он. — Размечтался, понимаете.

— Постучать бы в первый, — а? — сказал Токарев. — Попробовать?

Но по трубе из первого этажа сообщили мало утешительного: только что бендеровского соседа увели в суд, — надежды на беспорядки в городе, надежды, которыми жили весь вчерашний день, не оправдались.

Потекли медлительно тюремные часы. Щелканье открываемых дверных форточек по всему коридору, — принесли наконец обед. Хлеба нищенски мало.

Прошел еще час. И вдруг...

Вдруг с улицы, как будто прободая толстые тюремные стены, вдавливаясь в окна, донесся неясный гул и крики.

— Что это? Откуда?

Оба — Ваулин и Токарев — бросились к окну.

— А ну, давайте!

Пригнувшись, солдат подставил свою спину и плечи, Ваулин вскочил на них, дотянулся рукой до высоко вырезанной в окне форточки, открыл ее, и в камеру ворвался хаос шумных, беспорядочных звуков: гул людских голосов, короткое, одинокое потрескивание револьверных винтовочных выстрелов, ржание лошади, топот бегущей толпы.

И, вырываясь из всего этого хаоса, взлетая, как ракета, неся в камеру горячий, не остывавший в пути крик:

— Уррра!.. Да здравствует свобода!.. Уррра!..

— Что это!.. Неужто... неужто... неужто в самом деле наконец?! А может, провокация, обман? Слезайте... давайте я!

Теперь встал подпоркой Сергей Леонидович, а Токарев вскочил ему на плечи и ухватился за решетку.

Скороговоркой, но только на несколько секунд, застрекотал где-то на улице в отдалении пулемет. Но шум ревушей толпы был все ближе и ближе.

— Сволочи!.. Демонстрацию расстреливают...

— Ведь в городе забастовка, Токарев! Слезайте, слезайте... теперь я, Токарев!

Они несколько раз поочередно вскакивали друг другу на плечи, подставляя разгоряченные головы холодному, свежему ветру, хлынувшему в камеру.

Шум, крики «ура», перебиваемые беспорядочными одинокими выстрелами, все плотней и плотней наседали на тюрьму.

— Слышите, Токарев?

— Как не слышать?!

— Рабочие пришли в исступление... штурмуют нас... бьют тюрьму!

— А пулемет?

— Он замолчал.

— А вот опять!.. Эх!.. Провокация... подпустили нарочно к тюрьме... сейчас начнется расстрел... У-у, сволочи!

И вдруг в этот момент началось выстукивание,— оба подбежали к углу камеры, где, протыкая пол и переходя в нижние этажи, спускалась узкая серая труба.

— Товарищи!..— быстро, лихорадочно стучали снизу.— Ломай двери!.. ломай немедленно! Идут освобождать! Ломай!

И, заглушая тюремный «телеграф», с улицы ворвался винтовочный залп, и оба заключенных невольно, инстинктивно пригнули головы.

— Ага, я что говорил?! Расстрел... Девятое января, подлецы!— выкрикнул Токарев.

И, стиснув зубы, содрогаясь от того, словно, что видит уже, как убивают толпу беззащитного народа, он на минуту перестал осознавать свои поступки. Он схватил жестяную кружку и стал с остервенением бить ею в дверь. Он бил дверь кружкой, кулаками, ногами: он хотел заглушить выстрелы, ударявшие с улицы.

— Спокойствие!.. Я что говорю?! Спокойствие!— прикрикнул на него Ваулин, оттаскивая от двери.

Но ему самому казалось теперь, что все вокруг шатается.

Схлынул куда-то вбок рев улицы, осеклись выстрелы, и, словно все это привиделось в тяжелом недолгом сне, наступила неожиданная тишина. Как будто кто-то поднял с земли тюремное здание, перевернул его и опустил крышей вниз, в глубокую пропасть.

Что это? Оба растерянно застыли на одном месте, вперив друг в друга глаза.

Но вот где-то в конце коридора слабо раздался звук отпираемых дверей. Еще минута — и он повторился несколько раз.

— Ага, начинается...

— Спокойствие! Что начинается, товарищ Токарев?

— Волокут в карцер тех, кто бил двери. Не пойду. Пусть берут силой, пусть тут же бьют. Лишь бы на вас не подумали, — озабоченно-просто сказал Николай Токарев и пожал ваулинский локоть.

Он подошел к койке, сорвал простыню, обмотал ею грудь, сверху натянул фуфайку, — он спокойно и деловито делал все это, чтобы предохранить, по возможности, себя от опасности перелома ребер, когда, схватив и подняв вверх его руки, тюремные надзиратели будут бить его «под микитки». Он приготовился, он ждет и даже как-то застенчиво улыбается, поднося огонек спички к недокуренной раньше махорочной сигарке.

И оба ждут. Неторопливой каплей падают минуты.

Но... что за странность? В коридоре не слышно ни криков избиваемых, ни так хорошо знакомых звуков и движений сопротивления, и только щелкает спокойно замок за замком. Вот — рядом, по соседству. Вот повернули ключ в их собственной двери, и тот, кто отпер ее, молчаливо пошел дальше.

Они переглянулись и на цыпочках подошли к двери, толкнули ее и переступили порог, ожидая уже чего угодно, веря во все и ни во что в то же время.

Первое, что бросилось в глаза, — взволнованные, недоуменные лица соседей-заключенных, высунувших головы из полуоткрытых дверей своих камер. Никто ничего не понимал.

Толпой все они завернули за угол и на переломе коридора столкнулись с бежавшим навстречу младшим надзирателем, причудливо размахивавшим руками.

— В чем дело? — остановил его, схватив за грудь, Ваулин.

— Не знаю, господа арестованные... Я же ничего, ей-богу, не знаю. Революция! Отобрали оружие...

Испуганное безволосое курносое лицо с мясистыми, трясущимися щеками — и болтающийся красный конец оборванного револьверного шнура?

— Урра! — рванулась вниз по лестнице толпа четвертого этажа, сбив с ног жалобно охнувшего надзирателя.

В третьем этаже увидели солдат и вооруженных винтовками рабочих, — теперь все было понятно!

— Урра, товарищи! Да здравствует свобода!

Чем ниже этаж, тем больше в коридорах рабочих и женщин с винтовками. Солдаты терялись среди них.

В тюремной конторе — погром: пол устлан толстым слоем разорванных бумаг, в углу горит костер из папок с «делами».

Цейхгауз разбит, — арестанты разбирают какую попало одежду, обувь, шапки. Ваулин и Токарев последовали примеру остальных.

Веселые, шумные выкрики, смех, «ура», радостные опознавания друг друга.

И почти все — в один голос:

— Оружие... оружие давайте нам!

Сергей Леонидович увидел, как Токарев, одетый в чей-то полушубок, в серых коротких брюках и в синей шляпе с широкими полями, отбирал у какой-то молоденькой работницы винтовку и, чтобы задобрить девушку, весело, «по-пасхальному», трижды целовал ее, приговаривая:

— Вот это — твое дело, а стрелять я буду!

Он исчез куда-то, но через две минуты прибежал в цейхгауз и протянул Сергею Леонидовичу, заканчивавшему переодевание, наган с длинным шнуром и большой открытый перочинный нож со сломанным кончиком.

— Берите... пригодится! И айда — пошли!

Наган Сергей Леонидович засунул в боковой карман пальто, а перочинный нож швырнул, хохоча, на пол.

...Тюремный двор — с широко открытыми воротами на улицу. Она запружена народом, и в толпе никуда не пробиться.

Освобожденных узнают по землистой коже щек, по обросшим лицам, по ищущим чего-то глазам, по тому, как эти люди торопятся и бегут отсюда.

— Да здравствует революция!

— Да здравствуют товарищи политические!

Толпа подхватывала и качала выходивших из тюрьмы, и, прежде чем добраться до Литейного, Сергею Леонидовичу пришлось раза три взлетать вверх на руках неистовых освободителей.

Токарева, высоко державшего над головой винтовку со штыком, благоразумно не трогали, но он, надрываясь каждый раз, кричал до хрипа:

— Да здравствуют социал-демократы! Да здравствуют революционеры-большевики!

Ему жаль было расстаться со «своей» синей широкополой шляпой, — она мала была для его головы и неоднократно слетала наземь, и он каждый раз в пути останавливался, к огорчению Ваулина, ища ее под ногами толпы.

Наконец они выбрались к Литейному проспекту.

И здесь на углу произошла первая встреча со знакомым человеком «с воли»: выбежавший из-за угла коротенький, с всегдашним портфелем под мышкой, Фома Асикритов налетел прямо на Ваулина.

Секунда — глаза их встретились, и юркий, подвижной журналист, не подавая руки, обхватил Сергея Леонидовича за талию и с криком: «Ура, братцы!» — закружил его на одном месте.

— Ко мне, ко мне! — кричал он, не отпуская жертву своей радости, и Сергею Леонидовичу казалось, что орет на весь проспект: до того привык он к глухой тюремной тишине...

— Спокойней, голубчик... — останавливал он Фому Матвеевича.

— Да чего там спокойней?! Долой спокойствие, да здравствует шум революции!— не унимался тот.— Ко мне, ко мне! Возьмите ключ от моей комнаты... идите вымойтесь, отдохните. А я не могу, мне не до того. Я очевидец... я всего очевидец должен быть!.. Что же на вас напялено? Господи, один сапог желтый, земгусарский, а другой черный! Хо-хо-хо! Вот что значит революция!.. Иришу видели? А?.. Ах, молодцы рабочие... ах, молодцы!— перескакивал он с одного на другое.— Теперь, батенька, пошло... ух, как пошло! Военные на нашей стороне... военные, солдаты. Может, и не все сейчас, но, ей-богу, будут все!.. Натe, нате ключ, идите ко мне...

Он что-то сунул в руку Ваулину и вприпрыжку побежал за угол, на Шпалерную.

Сергей Леонидович посмотрел на ключ: он был маленький, легкий, с двойной бородкой... от письменного стола, очевидно! Дверной ключ Асикритов по рассеянности унес с собой.

— Малахольный какой-то!— пожимал плечами Токарев.

На минуту они задержались: прямо на них по Самборскому переулку шел отряд солдат с двумя молодыми офицерами впереди.

У солдат на штыхах красные флажки, офицеры и их лошади тоже украшены красным.

— Вот она... революция!— заблестели токаревские глаза, ставшие вдруг влажными.— Вооруженные рабочие... солдаты с красными флагами... вот когда жить хочется!

На Литейном мосту повстречался новый большой отряд: много пулеметов, и опять багровые розетки на шинелях солдат и офицеров.

— Можно пройти в Лесной?

— У Финляндского не пройдет: там войска правительства,— предупреждали солдаты.— Идите в обход, по набережной.

— Айда обратно! Выбить правительственных!— горячился Токарев и махал шляпой и винтовкой.

— Сами выбьются!— улыбался голубоглазый румяный поручик с длинными, как у мула, ушами.

— А вы куда?

— Мы — присягать. В Государственную думу.

— Нашли место!— буркнул досадливо Токарев и, догнав ушедшего вперед Сергея Леонидовича, свернул вместе с ним на набережную.

Здесь — опять встреча: с чемоданчиками в руках меньшевики из военно-промышленного комитета — Бройде и Гвоздев.

— Куда?

— В Государственную думу.

— Ну, а мы в рабочие кварталы!— бросил весело на ходу Ваулин и жестом показал на токаревскую винтовку.

Еще в прошлом месяце, удовлетворенный своими действиями, представленный к особой царской награде, генерал-майор Глобузов докладывал своему незадачливому шефу, министру Протопопову, так:

«После ряда весьма чувствительных ударов, нанесенных социал-демократам большевикам ликвидациями 9, 10, 18 и 19 декабря, во время которых было отобрано у них 3 нелегальных типографии, 2 нелегальных паспортных бюро, шрифт, отпечатанный № 4 газеты «Пролетарский голос» и был арестован целый ряд крупных и активных партийных работников,— руководящий коллектив с.-д. большевиков все же остался цел и продолжал свою подпольную работу, имея твердое намерение показать правительственным властям свою живучесть и что меры розыскного органа для них мало чувствительны.

Кроме того, перед руководящим коллективом встала новая задача: выяснить, кто виновник всех провалов, и подготовить наступление пролетариата города Петербурга к 9 января.

Мною были получены агентурные сведения, что на Петроградской стороне, по Большому проспекту, № 21, кв. 51, должно состояться собрание Петербургского Комитета, на котором и предполагалось обсудить все намеченные вопросы.

Установленным наружным наблюдением собрание было отмечено и часть его участников разведена по квартирам, но на этом собрании были сделаны только доклады с мест, и после этого участники собрания разбежались, заметив, что за квартирой наблюдают.

Так как мне необходимо было знать, каковы намерения Петербургского Комитета на ближайшее будущее, то допущено было еще одно собрание коллектива, происшедшее в одном из пригородов столицы.

На этом последнем собрании коллектив, заслушав доклады с мест и избрав следственную комиссию для расследования источников провала, постановил: выпустить листовку с призывом к однодневной стачке на 9 января, устроить демонстрации на улицах, доводя их в отдельных случаях даже до столкновений с чинами полиции, и вообще своими действиями доказать, что минувшие ликвидации не сломили их сил.

Наконец, было объявлено, что последние указания к 9 января будут переданы от 7 до 9 часов на новой явке, по Суворовскому, 31, кв. 6, где следовало спросить «Федора» (пароль.)

Ввиду того что окончательные решения должны были от Петербургского Комитета последовать именно тогда, мною было признано необходимым произвести ликвидацию Петербургского Комитета, для каковой цели за час до явки на Суворовский был отправлен полицейский наряд и чины вверенного мне отделения, кои, накинув поверх форменного платья статские пальто, незаметно дошли до указанной квартиры, и, войдя в таковую и арестовав всех находившихся в ней, устроили там засаду в ожидании прихода всех членов Петербургского Комитета и представителей его исполнительный комиссии.

Намеченный мною план и все предположения оказались абсолютно точными, и скоро в квартиру начали приходить члены Петербургского Комитета, которые, ничего не подозревая и не зная

хозяев квартиры, встречаемы были в дверях филером, спрашивавшим: «Кого надо?» Приходившие все отвечали, что они явились к «Федору», затем их впускали в квартиру, и тут они неожиданно попадали в руки чинов полиции, незамедлительно их обыскавших и требовавших от пришедших объяснений, кто такой «Федор», на что ни один удовлетворительного ответа не дал.

Таким образом, Петербургский Комитет не только не успел сделать своих последних распоряжений по поводу 9 января, но и сам почти в полном составе оказался арестованным.

...Прошло после того полтора с лишним месяца,— и в строгое, бесшумное здание охранного отделения ворвалась безудержная революционная улица, разбивая стекла, ломая двери и шкафы и бросая в огонь пудами «дела» столичной охраны.

В толпе были и те, кто, испугавшись этой победы, спешил уничтожить следы своего общения с ведомством генерал-майора Глобусова. Во всяком случае, когда толпа вторглась к нему в кабинет, откуда уже нельзя было бежать, среди арестованных его он увидел притаившиеся в толпе два знакомых лица: и тот и другой человек еще совсем недавно приходили в этот кабинет! Один — известный в рабочей группе военно-промышленного комитета меньшевик Абросимов, другой... Но вот — выскочила в тот момент из памяти настоящая зашифрованная кличка, хотя без каких-либо усилий памяти хорошо запомнились Александру Филипповичу и широкое курносенькое лицо его, и звонкий, захлебывающийся от торопливости голос, каким говорил он во время последней встречи.

Генерал-майору Глобусову показалось почему-то знакомым лицо и третьего человека, выступившего теперь вперед и распорядившегося его судьбой:

— Сдать оружие, генерал! Вы арестованы.

Нет, никогда в жизни Александр Филиппович не встречался с этим человеком, не слышал его сварливого, но спокойного,— даже в эту минуту спокойного!— голоса, которому подчиняется сейчас крикливая толпа. Но почему же все-таки знакомы черты его лица и что именно мешает точно вспомнить и назвать его фамилию?

Опытным глазом всмотрелся на минуту генерал-майор в этого распорядившегося всеми человека, снял мысленно шапку с его головы, содрал усы и клинообразную вялую бородку с лица,— и тогда вдруг, улыбнувшись своей собственной догадливости, сказал:

— Вот вам мое оружие: ничего, кроме маленького браунинга... А я вас все-таки знаю, господин социал-демократ Громов!

— Скажите пожалуйста, какая знаменитость я!.. Откуда же это?— не скрыл удивления тот.

— По фотографиям, господин социал-демократ. Только в нашем альбоме вы без всякой растительности.

— Товарищи!— распоряжался Андрей Петрович, отбирая браунинг.— Обыскать тут все, караульных — во все комнаты! Что сожгли — то пропало, а больше не сметы!.. Ваня, возьми на себя это дело. Ты, братишка,— схватил он за рукав какого-то рослого солдата с бородой в цыганских кудряшках,— давай охрану человек двадцать да ведите генерала в зоологический.

— Куда, изволили сказать?— встревожился Глобусов.— Почему же... в зоологический?

— Очень просто: в Думу, в гости к Родзянко пока, а там — посмотрим! Своят туда зверье всякое. Нравится?

— Что ж, мерси,— вздохнул облегченно генерал-майор, разглаживая дрожащей рукой пробор на своей напомаженной голове.— Мерси... Вы не поедете со мной, господин Громов?

— И без меня найдутся провожатые. Счастливый путь, господин генерал!

25 февраля, темным рассветом, Андрей Громов, уцелевший по счастливой случайности от ареста в альтишуллеровской типографии, покинул свое последнее убежище на Гусевом переулке и направился в Лесной.

Ранним утром постучался он в квартиру рабочего завода «Парвиаинен»— Василия Власова. Хозяин уже был одет и поджидал его.

Если бы остался в живых студент-прапорщик Леонид Величко и увидел громовского товарища, он признал бы в этом хозяине квартиры того самого рассудительного рабочего, который в свое время руководил забастовщиками на Чугунной улице и предотвратил их ненужное столкновение с третьей ротой прапорщика Величко.

— Как и тогда, Власов был в черном, до колен, ватничке, на голове — финская, с кожаным верхом, шапка, вокруг шеи — дважды обмотанное гарусное кашне. Серо-пепельные мягкие усики и выходящая мелкими колечками от висков нежная бородка на малокровном лице Власова были хорошо знакомы рабочим «Парвиаинена» и многим в Выборгском районе.

— Маршрут?— кратко спросил Громов, когда, хлебнув пустого чаю, вышли на морозную улицу.

— Завод, демонстрация. Потом — на явку: там наш, выборгский, и кое-кто, наверно, из ваших пекистов.

— Распоряжайтесь... Ну, ну, распоряжайтесь, распоряжайтесь, Василь Афанасьич, приказывайте, кренделя выборгские!— в шутку бранился Громов.

— А вы бы своих, Андрей Петрович, берегли получше,— мы бы, выборгцы, и не распоряжались. А теперь, товарищи-судары, извольте слушаться!— в том же тоне отвечал Власов.— У нас это дело, ей-ей, крепче выходит.

— Ну, ну, помогай, чертов бог, мы ему потом спасибо скажем, Василь Афанасьевич. А почему «крепче выходит?»

— Беспорядку нет. Туман не бывает.

— Что хочешь сказать?

— А то и скажу!— оглянувшись на ходу, неожиданно горячо повысил голос Власов.— Ты вот послушай да покумекай, член ПК... Позвали меня на заседание к вам три недели назад, когда еще в сохранности был ПК. «Хорошо, говорю, обязательно: есть у нас большой разговор насчет сбора оружия. Явка, спрашиваю, где?»—«Про явку, отвечают, не беспокойтесь: явку узнаешь на Васильевском, в кооперативе, у Черномора — Озоль он, говорят, тебя знает, давно тебя не видал, говорил он нам, рад будет встретиться, вот ты к нему и приходи». Ладно! Прихожу к нему, обрадовались друг другу,— верно, годика два не видались. Повел меня. Петли в городе сделали. «Куда идем?»— спрашиваю. «На Кронверкскую». Дом не называет. Ну, что долго рассказывать?.. Он меня раза четыре водил! От дворца Кшесинской по Большой Дворянской, потом по Каменноостровскому взад и вперед — до этой самой Кронверкской улицы,— туда и обратно, туда и обратно! Ну, равно так шпикам новичка показывают, ей-богу! Я бы так и подумал, Андрей Петрович, кабы не слышал раньше про Черномора. А он утешает меня: «Фу, черт, говорит, номера дома и мне не сказали, только указали мне его, да теперь боюсь ошибиться». Куда это годится, Андрей Петрович, такая организация дела? Никуда, товарищи, не годится — факт!.. Пошел он один распознавать тот дом, оставил меня на улице. Да и пропал куда-то! Видал, какое дело? Наконец я освирепел, понимаешь, и, чтобы не мολозить никому глаза, пошел восвоеси. Так и не попал тогда на ПК.

— А Озоль был,— вкрайку, задумчиво сказал Андрей Петрович, выслушав рассказ товарища.

— Про меня ничего не говорил? — полубопытствовал Власов.

— Мы спросили, как же!.. Затерялся,— он про тебя говорит,— на улице. Видишь: затерялся!

— Дурак он собачий!— тихо выругался выборжец.— Вот я ему сегодня, коли будет, напомним.

— А ну-ну,— каким-то особым тоном сказал Андрей Петрович.

В пути они проходили мимо нескольких фабрик и заводов, и всюду в этот час у раскрытых ворот толпились рабочие, молчали фабричные корпуса, нигде не видно было заводской охраны. И, торопливо шагая мимо, Власов каждый раз оживленно говорил товарищу:

— Наши... Наши тут. Стачку держат какой день,— а! Сегодня на демонстрацию ведут. А ты, брат, говоришь: «выборгские кренделя»,— а!

На «Парвиайнен» пришли с небольшим опозданием. Митинг уже начался. В самой большой мастерской собралось около полутора тысяч рабочих. Устроились где кто мог: на станках, на полуготовых изделиях, на стропилах — чуть ли не под самой крышей.

Выступать ни Власову, ни Андрею Петровичу не пришлось, да и не потребовалось: все говорившие звали к тому, о чем оба они думали, к чему вел призыв их большевистской организации.

Все слушавшие до единого поднялись с мест.

— Стачку не прекращать!

— На демонстрацию!

— Долой войну и правительство!

— Да здравствует революция, да здравствует свобода рабочих и крестьян!

— На восстание, товарищи!

— Долой капиталистов, дворян и помещиков!

Один из ораторов закончил свою речь стихом:

Прочь с дороги, мир отживший,
Сверху донизу прогнивший,—
Молодая Русь идет!

— Да здравствуют революционеры!.. Это есть, товарищи, Российская социал-демократическая рабочая наша партия большевиков!— громко, раздельно крикнул кто-то со стропил, и снизу и с боков понеслось в ответ, прогрохотав по мастерской, долгое «ура».

— Видал? Слышал?— крепко, до боли сжимал громовскую руку Василий Власов, и обоим казалось, что сердце рванется куда-то от небывалой радости и станет жить само по себе...

— Лозунг теперь стреляет, как пушка... как пушка,— взволнованно повторял Громов.— Эх, вот оно начинается!

«Оно»— это означало: долгожданная революция.

— Василий!.. Василь Афанасьевич!.. Василий!.. Староста!— заместили его только во дворе, и десятки голосов звали к себе Власова.

Вместе с Андреем Петровичем встал он в первый ряд густой, тысячной колонны, хлынувшей к выходу из завода.

Откуда-то появились красные знамена, какой-то парнишка-рабочий затрубил в принесенный из дому позеленевший, нечищенный корнет,— на парнишку прикрикнули и затянули «Варшавянку» и с песней двинулись по Бабуриной к выдавшему виды, всегдашнему проспекту демонстрантов — Сампсониевскому. Здесь соединились с рабочими и работницами других заводов и фабрик, и вся многотысячная толпа направилась к Литейному мосту.

В пути встретили заставу какого-то кавалерийского полка.

— Не отступать!— прокатилось по всей толпе, и она, упрямо и мерно шагая, высоко подняв знамена и потушив на минуту голос песни, приближалась к отряду кавалеристов.

И таким же мерным и тихим конским шагом кавалеристы направились на передние ряды толпы.

Демонстранты остановились, но не отступили.

Командир полка, пожилой офицер с коротенькими бачками и бурым следом волчанки на щеке, повернул голову к своим солдатам:

— Вперед!

И вдруг теперь — кони ни с места, кавалеристы в седлах застыли.

— Вперед!.. Вперед...— выкрикнул, а потом растерянно буркнул командир полка.

Но и он сам осадил своего коня и как-то неожиданно смешливо пожал плечами и покачал головой, откидывая ее назад.

— Ну что же... вперед! — совсем не по-командирски сказал он еще раз, и в рядах демонстрантов взлетел смехок первой завовавшей радости.

И тут выступили вперед женщины.

Они побежали из толпы к остановившимся кавалеристам, они перемешались с ними в конных рядах, хватались руками за стремена, протягивали руки к молчавшим солдатам и — кричали.

О чем?

О чем они должны были взывать и зывали?

Это крик был один и об одном:

«Солдаты! Ваши жены, дети, матери и отцы находятся в таком же положении, как и мы. Они оторваны от вас, они холодные и голодные, брошенные на произвол судьбы. Они ждут вас и вашей помощи, они доведены до нищеты, терзаемы муками голода и тоски. Они вышли бороться за мир, хлеб и свободу. Солдаты! Неужели же у вас поднимется рука на своего брата рабочего?.. Идите с нами, и вы сбережете кровь народа, которому вы принадлежите!»

Вот что могли кричать и кричали февральским морозным днем женщины — старые, молодые, подростки... Они словно бросали свои горячие, гневные и молящие сердца наземь, — и ничья нога не посмела теперь растоптать их.

И тогда всадники отвели своих коней в стороны, и тысячи людей, предводимые женами, матерями и дочерьми, пошли вперед, неся на знаменах клич революции.

На углу Боткинской повстречался отряд городских. Однако те быстро бежали при виде моря голов.

Но у Литейного моста — последней преграды к центру столицы — в толпу демонстрантов врезался сам полицеймейстер Шалфеев: brave седоусый горлопан с красными, как будто всегда с мороза, плотными щеками. В одной руке — нагайка со свинцовым наконечником, в другой — наган.

Стена черных полицейских шинелей быстро спускалась с моста. Толпа пришла в минутное замешательство.

— Ох, Шалфеев!.. Вчера он тоже так останавливал и разгонял демонстрацию, — удалось нагнцу! Но его вчера все-таки спешили и надавали тумачков, — вспоминает по соседству с Громовым рослый красивый рабочий и показывает кулаки, которых отведал вчера Шалфеев. — Напрасно мы пожалели седины и не кончили эту сволочь. Ох, Шалфеев!

Демонстранты расступились, и седоусый полицейский храбрец, ринувшийся вперед, очутился в окружении толпы.

— А ну... попался волк серый!

— Держиморда проклятый!

Пригибаясь, бросается к нему десяток рабочих, его хватают за ноги и опрокидывают на землю, навалившись телами.

Городовые спешат на выручку. Они стреляют, но не долго:

ответный огонь из толпы, штурмующей мост, обращает их в бегство.

А позади уже с Шалфеева срывают погоны, саблю, отбирают наган и нагайку.

— Пулю на тебя жаль, ирод ты!

— Эй, дядя, подавай сюда!

Кто-то подбегает к застрявшему на дороге возу с дровами, выдерживает полено из аккуратно сложенной шестерки и, возвратившись, начинает утюжить им полицеймейстера.

— Хватит!— кричат сжалившиеся женщины.

Защищая рукой лицо, по которому струится змейка крови, Шалфеев подымается с земли и, свирепо ругаясь, наотмашь бьет кулаком одну из этих женщин.

В этот момент Андрей Петрович увидел Власова. Тот подскочил к Шалфееву, отбросил руку его, защищавшую лицо, и с криком: «Посмотри мне в глаза!»— выстрелил в полицеймейстера из своего револьвера.

Андрей Петрович шел потом и думал: увидел ли в миг своей смерти Шалфеев власовские глаза?

Зеленые, небывало холодные, с резко обозначившимися кружочками зрачков, они были страшней сейчас, чем выстрел, чем сама смерть.

— Успокойтесь, Василь Афанасьевич,— невольно сказал Громов, беря под руку товарища.

Тот молча прошагал минуту, потом остановился, чтобы закурить, сделал первую затяжку и болезненно улыбнулся:

— Ладно... все в порядке. На то ты и Лекарь, чтобы так говорить. Эх, Лекарь!— напомнил он Громову его партийную кличку.

Видно было: он не знал, что сказать.

На углу Невского и Литейного наткнулись на большой казачий разъезд. Казаки, не обнажив оружия, мелкой рысцой проехали мимо, к Николаевскому вокзалу.

— Спасибо казакам...

— Урра казакам!— вздохнула облегченно толпа.

Навстречу, по Владимирскому, шли демонстранты-рабочие, добравшиеся сюда из-за Московской заставы и других мест.

Двумя потоками хлынул народ к площади Казанского собора, оставляя посредине просторного проспекта узкую торцовую просеку, по которой тихим ходом из конца в конец разъезжали сдавливаемые толпой молчаливые казачьи патрули.

Пели марсельезу, пели «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку», уже не пугаясь царских войск.

Услышав в толпе, что на Знаменской площади происходит митинг, Андрей Петрович и Власов поспешили туда, но прошел добрый час толкотни по проспекту, покуда они попали к вокзалу: пришлось пробиваться против течения. Пробраться же к памятнику Александру III, вокруг которого шел митинг, так и не удалось, и оба приятеля застряли на Лиговской панели. С расположенной прямо против них Гончарной улицы выскочил к вокзальному

подъезду отряд городских и, ругаясь по адресу толпы и молчаливо стоявших у памятника казаков, дал несколько залпов. Сраженные пулями, упали на землю десятки людей.

— Палачи! Фараоны!..— заметалась и взвыла толпа.

— Братья казаки, что ж это такое?!— закричали в переднем ее кольце.

— Зачем убивают мирный народ?

— Помогите, братья казаки!

В первый момент Андрей Петрович сразу и не понял, что происходит. Но он увидел, как снялись с места несколько казаков, за ними — другие, как повернули они лошадей в сторону вокзала и, высоко подняв пики, бросились на городских.

— Уррра!— задрожала площадь от неистовых криков толпы.

— Урра, казаки разгоняют фараонов!..

— Спасибо братьям казакам!

— Да здравствует свободный народ! Да здравствуют казаки!— неслось со всех сторон.

Полицейский пристав с поднятым каракулевым воротником франтоватой шинели, втянув в него голову, спрятался за решетку вокзальных ворот, но строгий бородатый казак на пегой лошади подлетел к решетке и метким выстрелом нашел голову пристава.

И площадь снова и снова сотрясалась от оваций благодарности. Толпа подбирала убитых и раненых.

Сразу в нескольких местах затянули «Вы жертвою пали», и площадь этой песней гнева и почета встретила новые отряды прибывших войск.

И вот — войска выстраиваются в каре, замкнув со всех сторон площадь.

В толпе смятение, толпа ждет кровавой расправы. Десятки людей бегут к памятнику, к тому месту, где стоят казаки, требуя от них защиты.

И тогда отделяется от отряда молодой хорунжий, скачет к одному, к другому пехотному офицеру, что-то быстро, настойчиво говорит им, показывая на толпу, на свой отряд,— и через несколько минут солдаты по команде своих начальников покидают площадь.

— Ур-ра казакам — защитникам народа!

— Да здравствуют революционные казаки!— радостно ревет толпа.

Но хорунжий — мертвенно-бледный, с насупленными бровями — приподымается на стременах и кричит в толпу:

— Господа... а теперь прошу вас расходиться! Обязательно разойтись!.. Господа... перестаньте меня мучить,— неожиданно выкрикивает молодой хорунжий и нервно проводит рукой по своему белому лицу.

И тогда вдруг толпа смолкла.

И никто не усмехнулся.

Уже под вечер Андрей Петрович и Власов добрались до ма-

ленького переулка, затерявшегося среди пустырей Выборгской стороны.

Вошли во двор, обогнули сарай, на дверях которого висела ржавая вывеска «каретной мастерской», и уткнулись в низенький домишко, вход в который и не разглядеть было сразу.

— Вот это да... — одобрительно сказал Андрей Петрович, окинув взглядом темный домик. — Кто здесь?

— «Выборгские кренделя»... Конспиративное «имение», — шутил Власов, стуча мелкой дробью в дверь. — Что? Может, не нравится вашей милости?.. От дяди Петра к тете Моте! — спокойно ответил он на краткий вопрос «кто?» из-за двери.

Они вошли в низенькую квартирку со скрипучим покатым полом. Здесь давно уже собрались, накурили пуд дыму, говорили осевшими, хриплыми, разгоряченными голосами. Большинство — «выборжцы», и только Скороходов, Ганшин, Озоль и Чугурин, не захваченные в прошлом месяце охранкой, представляли собой исполнительную комиссию Петербургского Комитета.

— Ну, хоть еще один наш! — обрадованно пошел навстречу, прихрамывая, Скороходов, увидя Андрея Петровича.

— А что? Одолевают? — весело здоровался с каждым за руку Громов, находя глазами знакомые лица.

— С улицы?

— А нет? Из оранжереи его величества! — смеялся Андрей Петрович.

Длинноусый, рыжеволосый Черномор в синих очках, подвижной, вспыльчивый Чугурин, непрестанно перебивавший рассказчика вопросами, выборгский токарь старик «Андреич» с седой шевелюрой и астматической одышкой и все другие выслушали с повышенным вниманием и любопытством рассказы Андрея Петровича и Власова о происшествиях на Знаменской площади, о сегодняшней демонстрации.

И опять пошел спор, начало которого Громов не застал. Суть спора показалась ему теперь несуразной и обидной для революционера.

«Прекратить стачку? Теперь прекращать... после всего того, что уже произошло в городе? Идиот!..»

Он зло и презрительно смотрел на Черномора, распинавшегося в защиту этого предложения.

Уже не борясь, что обычно делал, со своим латышским акцентом, горячася и каждую минуту перебивая своих противников, что тоже раньше за ним не наблюдалось, Ян Янович Озоль — Черномор стучал кулаком по столу и говорил:

— Льется рабочая кровь... Это вам не сироп... не сироп, да! Царизм, вы замечайте, вводит в дело войска, казаков, жандармов. Царизм радуется... да, радуется, что представился такой удобный случай безнаказанно расстреливать наш рабочий класс. Генерал Хабалов знал, зачем объявил осадное положение. О, он знал-таки!.. Наши заводы были крепостями, которых царизм боялся, а теперь некоторые товарищи хотят... и генерал Хабалов хочет... чтобы мы,

так сказать, вышли в открытое поле... и тут нас быстро перестреляют!.. Наша организация должна призвать рабочих к прекращению демонстрации!

— Меньшевикам пойдй посоветуй!— кричали Черномору со всех сторон.— Там тебя качать будут...

— Очки сними — свет божий увидишь!

— И мы тогда ваши глаза, Ян, откроем, а то за стеклами не видно!

— Кто сказал? Кто сказал?.. Что это значит?.. Это очень плохо пахнут такие слова!

Плотный, приземистый, с выгнутыми по-змеиному, широкими, жесткими усами, Черномор бросался из стороны в сторону, упрямо пригнув голову, словно готовый прободать этими тяжелыми усами, как рогами, своего неузнанного обидчика.

— Товарищи! По-деловому, по-деловому надо, а вы тут подняли смотри что! И так времени нет...—старался успокоить всех Скороходов.

— Вот именно! Я и согласен, Александр Кастанович, а получается что?..— И Черномор уже примирительно повел плечами, ища защиты у Скороходова.

Но никто василеостровского кооператора не защитил. Решено было рабочие демонстрации продолжать, идти на открытый уличный штурм самодержавия, добывать оружие, браться с войсками,—идти на восстание.

Чугурину и Василию Афанасьевичу поручили связаться с руководителями Русского бюро ЦК: как лучше формировать вооруженные рабочие дружины? Этот вопрос не был еще ясен. Черномора с двумя выборжцами отправили наладить мобилизацию кооперативных фондов, а несколько оставшихся товарищей — Скороходов, Гаршин, Громов и другие — засели составлять листовку с призывом к революционному восстанию.

Решено было, перед тем как всем разойтись, собраться завтра, 26 февраля, рано утром на Сампсониевском и формировать там штаб выступления.

И назавтра, переночевав по рекомендации Скороходова в комнатухе какого-то маляра у Гавани, Андрей Петрович, сильно запаздывая, потому что приходилось пересекать весь город, пришел к назначенному месту на Сампсониевский. Однако, наученный опытом долголетней конспирации, желая убедиться, нет ли слежки за домом и прибывающими в него, Андрей Петрович прошел мимо-дома, быстро ловя глазами людей, которые могли показаться почему-либо подозрительными. Но никто и ничто как будто не внушало опасений.

Дойдя до церкви, он повернул обратно.

Его обогнали два закрытых военных автомобиля.

Непроизвольно следя за ними, Громов увидел издали, как обе машины, словно по команде, уменьшили в какой-то момент свой ход и, описав дугу поворота на мостовой, остановились у подъезда того самого дома, куда он направлялся.

«Это еще что?»

Он перешел на другой тротуар, пробежал там некоторое расстояние, заскочил в ворота какого-то двора и в открытую калитку стал наблюдать за машинами.

Прошло не больше двух минут, как из подъезда дома выскочил высокий, шинель нараспашку, жандармский офицер, за ним — жандармы с револьверами в руках и — окруженные ими — человек восемь в штатской одежде. Громов узнал своих товарищей...

Он окаменел. Он неподвижно стоял на своем месте. Теперь уже он искал глазами в кучке арестованных одного человека. Ему хотелось бы, чтобы и «он» был там, — стало бы спокойней, несмотря на все испытываемое огорчение!

Но того человека, как и подумал минуту назад, не было.

— У-у, змея! — не сдержавшись, прошептал о ком-то Андрей Петрович.

К дому подкатила еще одна машина, и все три, наполненные арестованными членами ПК, товарищами из Выборгского комитета и сопровождавшими их жандармами, быстро умчались по проспекту.

Глава пятая

ПОСЛЕДНИЙ УДАР ЧАСОВ

Киев отставал. Часовая стрелка революции на киевском циферблате подвигалась медленно, готовая и совсем остановиться.

Первого марта газеты не поместили ни одной телеграммы из столицы, но напечатали приказ главного начальника военного округа генерал-лейтенанта Ходоровича:

«В день кончины в бозе почивающего императора Александра Второго приказываю музыкантам, горнистам и трубачам — не играть и барабанщикам — не бить».

Было много снега, — и полицеймейстер Горностаев особыми распоряжениями обязывал домовладельцев очищать трамвайные линии, тротуары и мостовые:

«Желающие для этой цели получить рабочих-военнопленных должны подать заявление в полицейский участок и уплатить вперед деньги по расчету 2 р. 50 коп. за девятичасовой рабочий день».

Было очень холодно, и комендант города генерал-лейтенант Медер обязал население к сбору одеял для замерзавших на вокзале увечных русских воинов, тысячами пересылаемых с линии фронта.

И в этот мартовский выжженный день, когда воспрещено было играть трубачам и горнистам и в барабаны бить барабанщикам, в свистящий вой южной метели, закружившейся над городом, вползли, как приглушенный трубный глас, как едва слышный, неясный барабанный бой, — вползли слухи о неожиданных событиях в северной столице...

И тем, кто не верил этим слухам, предлагалось высунуть нос из квартиры и поглядеть на улицы — на опустевшие, засыпанные

снегом киевские улицы: маршировали по ним части гарнизона, объезжали город казацки патрули, и грелись у костров на углах усиленные наряды городских в желтых башлыках.

Можно было подумать, что власти нашли лучший из всех способов бороться с метелью: винтовки, пики и шашки.

Еще только вчера Георгий Павлович Карабаев жил той жизнью, которой привык жить. Еще только вчера утром посетил он собрание Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом которого недавно стал.

— Мы теперь — все равно что фальшивомонетчики! — шутя говорил он, вернувшись домой. — Благодаря стараниям крикливой прессы население так и смотрит на нас: фальшивомонетчики и мародеры.

Он повторял то, что утром слышал от председательствующего — старика миллионщика графа Бобринского. Черносотенный граф брал под свою защиту сахарозаводчиков-евреев Доброго, Бабушкина и Гепнера, арестованных недавно военными властями за крупную биржевую спекуляцию.

Жену и Теплухину Георгий Павлович считал нужным держать в курсе промышленных дел.

— Площадь посева свекловицы с семисот семидесяти одной тысячи десятин сократилась до пятисот семнадцати. Бобринский, — о, он большой знаток этого дела, — Бобринский утверждает, что при среднем урожае свеклы мы получим всего шестьдесят семь — семьдесят миллионов пудов сахара, а стране и армии нужно свыше ста миллионов пудов... Разрешен ввоз из-за границы двадцати миллионов. Это чепуха! Откуда и как вы их изволите ввезти? Предполагается также снять запрещение с сахара.

— Боже, кто такой пакостью будет пользоваться? — поморщилась Татьяна Аристарховна.

— Будут, — спокойно сказал Карабаев. — А ты его когда-нибудь пробовала? — добродушно-насмешливо спросил он жену.

— Нет... что ты, Жоржа! Но я слышала...

— Слух — это не вкусовое ощущение, как известно, — продолжал он насмехаться. — Я бы посоветовал кое-кому заняться этим делом, сахаринном... Не правда ли? — загадочно посмотрел он на Ивана Митрофановича. — Надо учесть, а то учтут другие. Вы можете проявить самостоятельность, друг мой, и не пожалеете, — давал он деловой совет своему смышленому помощнику. — Но главное, господа, надо расширить площадь посева. А для этого владельцы заводов должны быть уверены, что получают и необходимое топливо — минеральное топливо, и необходимые рабочие руки, хотя бы желтый китайский труд, и это непеременимое условие! — справедливые государственные цены на сахар, которые оправдают наши расходы. А покуда у нас — бессмысленные преследования промышленников!

— Смешно, Жоржа! — сказала вдруг Татьяна Аристарховна. — У тебя теперь свой собственный сахарный завод, а мы покупаем сахар в магазине... и это совсем не дешево, Жоржа!

— Логика!..— вспомнил иронически-добродушно Георгий Павлович о жене, когда она вышла из комнаты.— Хорошо еще, что в своем кругу... Ох, женщины,— а, Иван Митрофанович? Когда женщина имеет дар молчать, она обладает качеством выше обыкновенного!

Это было днем, все шло своим порядком, но вечером в карабаевский дом принесли первое известие о петроградских событиях — и обычное течение жизни, обычный распорядок был нарушен: даже детям было разрешено присутствовать во время разговора в кабинете. Детям, которые раза три только, пожалуй, и видели эту комнату при электрическом свете.

...Сегодня, оказывается, в три часа дня один из высших чиновников управления Юго-Западных железных дорог начал разговаривать с Петроградом по особому проводу, но не успел он сказать и нескольких слов, как ему предложили прервать разговор.

— Срочно передается важная телеграмма на имя железнодорожников,— пояснили ему и попросили вызвать начальника дороги.

И тотчас началась передача телеграммы за подписью члена Государственной думы Бубликова. Небывалый случай! Еще не была принята вся телеграмма, но первые фразы ее: «Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной, Государственная дума взяла в свои руки создание новой власти...» — уже облетели все канцелярии и кулуары управления дорог.

Сначала это известие вызвало растерянность и недоверие не только среди высшего чиновничества, но и среди всех служащих. Не подготовленные к происшедшим событиям, все выражали сомнение в правдивости телеграммы:

— Не мистификация ли это?

Но вскоре краткие известия стали дополняться более подробными, и к пяти часам стал известен весь текст обращения Государственной думы к железнодорожникам.

Начальник дороги Шуберский, снесясь с военным округом и полицией, приказал задержать до позднего вечера всех служащих в управлении: ему предложено было «пресечь возможное распространение всяческих антиправительственных слухов».

— Пошли телеграмму Льву, попроси ответить! Он-то ведь должен все знать! — советовала Татьяна Аристарховна. — Правда ведь, господа?

Карабаев молча вытягивал рукой свой смолянистый цыганский ус, задумчиво поглядывая на сбежавшихся домохозяев. И так же, не произнося ни слова, протянул жене только что полученный номер «Вечерней газеты», ткнув пальцем на ее первую полосу с жирным набором:

«ОТ РЕДАКЦИИ

До 1 часу дня в редакцию телеграмм от собственных корреспондентов из Петрограда и Москвы не поступало».

Это служило красноречивым ответом на предложение жены.

Список членов думского комитета во главе с Родзянко повторяли бесчисленное количество раз, обсуждая каждую фамилию, строя догадки о Чхеидзе и Керенском: эти две фамилии сбивали суждения Георгия Павловича о политической окраске того нового правительства, которое, вероятно, не сегодня-завтра утвердит, по его мнению, идущий, очевидно, на уступки государь.

— При чем здесь социалисты только?! — открыто недоумевал растерянный и возмущенный Георгий Павлович.

Недоумевал совершенно открыто — вопреки своей всегдашней привычке говорить в присутствии жены и детей обо всем с той убежденностью и категоричностью суждений, которые должны были приниматься ими как самые верные, — более верные, точные и справедливые, чем их, жены и детей, собственные суждения.

И, словно это открытое недоумение служило теперь разрешением с его стороны высказать им всем свое собственное мнение, Татьяна Аристарховна, а вслед за ней и старшая дочь, Катя, быстро предположили:

— А может быть, прости нас, там случилась вдруг революция?

— Глупо! — сказал горячо Георгий Павлович, и — странное дело! — ни жена, ни дочь не обиделись, не отнесли теперь к себе это горячее карабаевское порицание.

И не ошиблись. В этом они убедились через минуту.

«Глупостью» называл Георгий Павлович революцию. Да, да, революцию, при которой возможен был приход к власти таких людей, по его мнению, как Чхеидзе и Керенский... Не потому, что они страшны были сами по себе, — досадовало то, что без них, очевидно, уже нельзя было обойтись, коли им дали место рядом с Милюковым, Коноваловым и Родзянко...

Значит — случилось что-то такое «чересчурное», как выразился Георгий Павлович, чего эти последние и не ожидали!

Неужели в Петрограде так сильно распоряжается «улица» и так мало сил оказалось у думского «прогрессивного блока»?

Странно как-то... И неожиданно как-то! Чхеидзе есть, а, скажем, того же Левушки, брата, — нет! Казалось бы, кому, как не Левушке, быть сейчас в первом списке общественной власти? Не так ли?

О старшем брате Георгий Павлович имел свое собственное мнение, но он ни с кем и никогда бы им не поделился. Это мнение, впрочем, не мешало ему от души любить и уважать Льва Павловича — и как человека, и как политического деятеля. Но... но *правду* о брате, политическую, что ли, *правду*, — ему казалось, он знает только один:

А правда эта, по его мнению, заключалась в том, что брат Левушка всю свою жизнь был и остается столь широко распространенным типом русского провинциального интеллигента, представителем «третьего элемента», к которому себя-то Георгий Карабаев не относил. Брат был способным (это верно), очень трудолюбивым человеком, с нежным сердцем семьянина, человеком, искренне

верящим в свое общественное призвание; однако был он в конце концов человеком, «рассчитанным» не на всероссийский государственный, а на губернский масштаб признания.

«Собственно говоря, ведь случайно Левушка из врачей попал в «финансисты», — думал о нем не раз Георгий Павлович. Только благодаря своей общей одаренности, позволявшей ему в молодости быть и неплохим ботаником (помнится, составил богатейший гербарий), и хорошим химиком, и благодаря трудолюбию — брат в области бюджетных вопросов настолько освоился, что мог удачно выступать на думской трибуне с оппозиционными царскому правительству суждениями. Но, убежден был почему-то младший Карабаев, настоящим знатокам финансов, теоретикам-ученым и практикам брат Левушка вряд ли мог импонировать. Им, вероятно, был очевиден его дилетантизм.

Однако благодаря личным своим качествам он в Думе был одним из самых популярных депутатов. Пресса всегда его хвалила, и правительство как-никак всегда с ним считалось. В партии его популярность была очень велика, и в скольких случаях в своей жизни сам Георгий Павлович ощущал над собой этот яркий навес братниной известности благодаря их родству и одной и той же фамилии!

В провинции его доклады и лекции собирают множество народа. «Средние круги... — думалось Георгию Павловичу, — чувствуют больше свою духовную связь с Левушкой, чем с Милюковым — признанным политическим вождем. Левушка кажется этим кругам «своим», из того же самого «теста», что и они сами».

Как оратор, он говорит легко и свободно, ход его мыслей всегда очень ясен и доступен, нередко его полемика находчива и остроумна, манера речи и голос подкупают аудиторию. Если его можно без большого сожаления перестать слушать, то никогда, — признавал это Георгий Павлович, — не приходилось чувствовать, что его и не стоило слушать.

Сам Георгий Карабаев в своих выступлениях был краток и весьма деловит: краткость, — считал он, — душа умной речи. Он любил Льва Павловича, ценил его и, когда по первому известию о событиях в столице узнал, что тот почему-то не упоминается нигде, досадовал и недоумевал искренне и даже болезненно.

«Как это случилось? — терялся он. — Ведь Государственная дума, а затем эта знаменитая заграничная прошлогодня поездка к союзным правительствам так выдвинула Левушку в первые ряды и подготовила, безусловно, всех к тому, что Лев Карабаев явится одним из несомненных кандидатов на министерский портфель, как только старая бюрократия уступит место ответственному министерству... А теперь что же это? — сокрушался он. — В конце концов многие другие ничуть не лучше Левушки! Подумаешь, Караулов или какой-то там Ржевский?!»

Хорошо было бы сейчас иметь брата-министра! Хорошо — по разным соображениям.

Но о них, конечно, Георгий Павлович также никому не поведал.

Поистине этот день богат был сюрпризами!

Часов в десять вечера старший дворник принес заклеенный конверт и через горничную вручил его Георгию Павловичу.

Теплухинское письмо было написано торопливой рукой и чрезвычайно неясно по смыслу.

В самом деле, что за неожиданный отъезд, о котором еще два часа назад ничего не было известно? И куда? Поездом, и далеко ли?

Да, было от чего недоумевать...

Тот, к кому мчался в этот момент Иван Митрофанович, стоя, за взятку старшему кондуктору, в переполненном вагоне отбывшего на север поезда, — провел этот день не менее беспокойно и тревожно.

Он жил в Петербурге, а столица походила теперь на огромную бутылку, которую взбалтывали и опрокидывали так, что любая капля в ней могла соприкоснуться с другой — вчера еще далекой от нее. И потому протопоповский человек — Вячеслав Сигизмундович Губонин, сопровождаемый своим верным Лепорелло — Кандушей, вместе с рядом других людей, не имевших никакого отношения к военным кругам, — очутился, загнанный событиями, в последней цитадели военного министерства — в адмиралтействе.

События шли так.

В то время как в Могилеве происходили сборы и литерные поезда царя и свиты двинулись по направлению к столице, генералы Хабалов и Зенкевич вместе с военным министром Беляевым, с кучкой верных им офицеров и солдат перешли из Зимнего дворца в здание адмиралтейства. Здесь они заняли фасады, обращенные к Невскому, артиллерию поставили во дворе, во втором этаже разместили пехоту, а на углах, подходящих для обстрела, расставили пулеметы.

Снарядов было мало, патронов почти совсем не было, есть было нечего. У казачьей сотни лошади были не поены и не кормлены.

Казаки были расквартированы в казармах Конного полка, — пришлось отпустить их туда, но мало кто из них возвратился оттуда. А те, кто и пришел обратно, в разговорах были угрюмы и насмешливы.

Кандуша вертелся среди них, ловя по привычке каждое слово.

Огромный казак в лихо закинутой назад папахе, из-под которой выбивался жесткий чуб кудрявых волос, с белым сабельным шрамом поперек лба, рассказывал, как расстреливали при нем на улице стрелявшего с чердака в толпу городского:

— ... А он перед наганом пузо втягивает, вьется, сука!.. Как бересту на огне, его, голубчика, поводит. Эх, дела пошли, прости, господи!..

Кандуша мгновенно представил себе, как это «поводило» полицейского, как втягивал он от страха свой живот, — и дрожь и тошнота охватили его самого

— Сыщик?— исподлобья глядя, спросил его другой казак и подмигнул остальным.

— Чиновник, казаки... чиновник!— поспешно ответил Пантелеймон Никифорович.— Вот мы-с вместе с тем господином начальником.— показал он рукой на стоявшего в отделении Губонина, беседовавшего с каким-то офицером.

— Сыщик,— упрямо и убежденно, скучным голосом, откашливаясь, сказал плотный, коротконогий казак.

— Почему так?— не отказал себе в любопытстве Кандуша.

— Видать: сыщик. Вашего брата, ежели что, керосином обливать будут и спичкой задницу запалят,— верное слово!

— Шуточки!— позеленел Кандуша.— Но я, между прочим заметьте, никакой не сыщик вовсе...

— Сыщик...— все тем же вялым, скучающим голосом дразнил его казак.— Ну, может, шпик. Шпик или сыщик — все есть равно. А знаешь, как говорят? В земле, сказывают, черви, в воде черти, в лесу, сказывают, сучки, в суде крючки, а везде шпики,— куда, значит, уйти?

Полный, коротконогий, широкозадый, как Санчо Пансо, казак вдруг зло и холодно процедил:

— Ох, казачки, не люблю, смерть как не люблю сыщиков!

В его глазах было столько безмерной ненависти, что испуганный Кандуша поспешно ретировался.

Из главного штаба пробрался сюда дежурный адъютант. Он доставил Хабалову запрос по прямому проводу спешившего на выручку генерала Иванова.

Новый командующий Петроградским округом, наделенный царем диктаторскими полномочиями, требовал ответа на десять пунктов.

Хабалов ответил телеграммой:

«В моем распоряжении здание главного адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен и две батареи. Прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними, нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров.

Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются.

Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

Министры арестованы революционерами.

Продовольствия в моем распоряжении нет, в городе к 25 февраля было 5 миллионов пудов запаса муки.

Все артиллерийские заведения во власти революционеров.

В моем распоряжении лично начальник штаба округа. С прочими окружающими управлениями связи не имею».

Революция победила,— осталось ждать помощи с фронта.

Губонин, узнав от знакомого офицера текст хабаловского ответа, быстро оценил положение. Надо было прежде всего уйти из

адмиралтейства и скрыться на некоторое время; ближайший день-другой покажет, что надо будет потом делать.

Прибытие в адмиралтейство адъютанта морского министра еще больше укрепило принятое Губониным решение: адмирал-министр, лежавший в жестокой инфлуэнце и уже подвергнутый домашнему аресту, требовал от Хабалова очистить все здания морского ведомства и «перейти куда угодно». Адмирал сообщал, что, по его сведениям, крепость Петра и Павла готова начать обстрел адмиралтейства, а вооруженная толпа с улицы пойдет на штурм.

Совещание длилось недолго, — через час адмиралтейство пало. Для этого не потребовалось ни единого выстрела.

Артиллерия была отправлена обратно в Стрельну, откуда была вызвана раньше; были оставлены замки от орудий. Пулеметы и ружья спрятали в здании, и пехотинцы вышли на улицу без оружия.

Затесавшись в ряды солдат, Губонин и Кандуша под вечер очутились на Невском, а через час — в губонинской квартире на Сергиевской.

Их встретила в прихожей жена Вячеслава Сигизмундовича, круглолицая, с лихорадочным румянцем на щеках, с влажными глазами и пухлыми, словно только что нацелованными, красными губами.

— Вячек... — полушепотом говорила она. — За вами днем приходили уличные... боже, как я перепугалась!

Он поцеловал ее руку, она — лоб его.

— И что же вы сказали, Аннет?

— Я сказала, что вы уже неделю в отсутствии, в министерской командировке на Кавказ.

— Они поверили?

— Да, да, поверили! Но, правда, не все, Вячек... «Смотрите вы, — угрожал мне один из них. — Мы придем сегодня же и проверим. Если вы нас обманули — будете тоже арестованы». Они вас искали, Вячек, по всей квартире, даже кладовку открывали. Они рассказывали, что Щегловитова нашли в кухне его соседей по дому. Представьте, он сидел там переодетый в простую солдатскую шинель и любезничал, как кум-пожарный, с молоденькой прислугой! Боже, что со всеми вами сделалось, господа!.. Я сказала, что у девочек скарлатина, — и они не зашли в детскую, а только заглянули туда. Воображаю, если бы они знали, что это только корь, — уж излазали бы под кроватями!.. Вячек, что же дальше? Как это кончится?

Они заговорили по-французски, и больше говорил теперь Вячеслав Сигизмундович, а жена внимательно слушала, изредка подавая реплики и роняя восклицания.

Потом они оба ушли в глубь квартиры, и Кандуша остался один в столовой, дожидаясь распоряжений своего начальника.

Через четверть часа тот вновь появился, но его сразу и не узнать было; годами носимая широкая голландская борода пала

жертвой безжалостной бритвы! Лицо преобразилось, — бритое, «актерское» лицо с тупым квадратным подбородком!.. От непривычки ощущать его голым, незащищенным Вячеслав Сигизмундович поминутно прикладывал к нему руку, инстинктивным жестом поглаживая место несуществующей уже бороды.

— Господи боже мой, до чего довели! — смешливо и жалостливо воскликнул Кандуша, всматриваясь в новое лицо своего начальника. — За эту, осмелюсь, сказать, парикмахерскую хирургию слезы кровью у них капать будут! Ох, будут, когда его императорское величество с войсками сюда придут! — погрозил он кулаком.

Губонин усмехнулся голым, тонким ртом.

— Прибудет, говоришь?

— А как же иначе? — не мыслил другого Кандуша.

— Н-да... Я слышу весть, но с верой я в разлуке, друг мой! И с семьей в разлуке... понимаешь?

Губонин оглянулся: не слышит ли его из соседней комнаты жена.

— Мы с тобой сейчас прах и тень. Боюсь, что все кончено, Кандуша, боюсь... А надо видеть последний час бесстрашными глазами. Последний час, — ты понимаешь? Где-то за границей я видел как-то башенные часы. На них была старинная надпись на циферблате: «Все удары часов приближают к смерти, последний удар несет смерть». Все — ранят, последний — убивает...

Отдав все приказания по дому, он попрощался с женой, предупредив, что ближайший день-другой пробудет в конспиративной квартире на Ковенском и оттуда постарается сноситься с домом; он взглянул на Кандушу, и жена поняла, кто будет осуществлять эту связь.

Уходя, Вячеслав Сигизмундович переоделся: на нем была теперь шинель путейского инженера и такая же фуражка. Маленький узенький красный бантик, наскоро смастеренный женой, как бабочка припал на булавке к его груди.

— Понимаем! — сказал Кандуша и попросил красной ленточки и для себя.

Они вышли на улицу, держа путь к конспиративной департаментской квартире, ключ от которой был у обоих.

Но не так-то легко и просто было попасть теперь туда: от угла Сергиевской весь Воскресенский был закрыт для пешеходов. На нем выстраивались какие-то войсковые части, почему-то забаррикадировавшие себя со всех сторон. Пришлось повернуть обратно, дабы окружным путем, через Кировную, выйти к Знаменской артерии.

Сергиевская и прилегающие улицы были полны народа. По ним беспорядочно тянулась толпа в одном направлении — к Государственной думе, в Таврический дворец.

С музыкой и факелами, понапрасну зажженными, потому что было еще достаточно светло, проходили войска, отбивая по-прежнему молодецкватый походный шаг, но уже не безмолвные, а

возбужденно, весело оглашающие улицу криками приветствий народу.

Громыхала артиллерия по мостовой, сотрясая стекла в домах. С винтовками за плечами, в черных бушлатах, с обтянутыми красным околышками матросок, с развевающимися позади ленточками, торопливым полубегом (казалось — на цыпочках) заворачивали к Таврической прибывшие в столицу кронштадтские моряки.

Хрипели остуженно сирены сдавленных в толпе грузовиков, пробивавших себе дорогу. Какой только не был на них груз!

Огромные рулоны бумаги и ящики папирос. Горы винтовок и револьверов и воинские полубубки. Какие-то арестованные люди под конвоем солдат и студентов, и тут же, на том же грузовике, — бочки с керосином. Обледеневшие туши мяса и груды жестяных кружек. Пудами колбаса, консервы и хлеб — на грузовиках и в легковых машинах с красными флажками.

Все это, стиснутое в пути неумолимой каменной стражей домов, туго напирало друг на друга, загораживая надолго путь отдельным пешеходам, как Губонин и Кандуша, стремившимся выбраться из общего потока, чтобы идти своей дорогой и к своей собственной цели.

— Ну, видал? — тихо спросил Вячеслав Сигизмундович своего досадливо фырчавшего спутника.

— Примечая, пипль-поплы! В оба глаза примечая... Причешать бы их сейчас из конца в конец пулеметами. Господи боже мой, неужто не причешут под самую холодную машинку завтра или когда там?! — громче нужного, теряя осторожность, сказал «с сердцем» Кандуша. — Глядите, пищи сколько награбили!

Он весь день ничего почти не ел и болезненно чувствовал сейчас свой лающий, бурчащий от голода желудок.

— Позволю сознаться, — уже совсем громко проворчал он, — кушатки как хочется...

Он был услышан. Какой-то по-детски маленький, пучеглазый человек с каракулевым пирожком на голове, сползшим на затылок, с расстегнутым портфелем под мышкой, схватил его за рукав:

— Товарищ! О чем же вы думаете, как индюк? Я иду туда — пошли со мной! Так только и питаюсь эти два дня: на иждивении у революции. Рабочий? Я вижу — рабочий. Ну, так в чем же дело? Крушить к чертовой маме царский режим можно, а скушать бесплатно два революционных бутерброда нельзя? Хо-хо, пошли!

Вокруг на панели весело посмеивались. Незнакомый человек сыпал словами, как пулемет пулями.

— Простите, где же это революция бесплатно кормит рабочих? — вежливо улыбаясь, спросил вместо оторопевшего Кандуши Вячеслав Сигизмундович.

Незнакомец, задрав голову (шапка чуть-чуть совсем не свалилась с нее), посмотрел на рослого «инженера» с красным бантиком на груди:

— Не только рабочих, но и всех, кто за революцию, — народ! Народ включает в себя и его, и вас, товарищ инженер, и меня — журналиста.

— Вы журналист? Вот интересно. Вы, наверно, много чего знаете в таком случае? — полюбопытствовал уже Губонин.

— А вы как думаете? — весело подмигнул человечек. — Куда, знаете, сатана не может сам пойти, туда посылает он гонцом газетчика!

Расталкивая людей на панели, он стал пробираться вперед, а за ним Вячеслав Сигизмундович и Кандуша. Один — увлекаемый желанием узнать как можно больше новостей о враждебном лагере, другой — по той же причине, да еще томимый голодом.

Предводительствуемые шустрым и разговорчивым журналистом, они через четверть часа очутились в помещении какого-то кредитного общества, расположенного в бельэтаже большого дома, у ворот которого стояла теперь почему-то пушка, охраняемая по всем воинским правилам артиллерийской прислужкой.

В длинной, просторной конторе кредитного общества кишмя кишел народ: здесь открыт был питательный пункт.

Четыре огромных самовара, поставленных на табуреты, собрали вокруг себя очередь за кипятком, за чаем. Его наливали в кружки, в стаканы и даже в бутылки (не хватало нужной посуды) сменявшие друг друга женщины. Затем люди переходили в другую очередь — к «вексельному» окошку потерявшего свой чинный облик кредитного общества, и там то одна, то другая деревянная солдатская ложка ловко высыпала в подставленные кружки и стаканы сахарный песок. Он был желт, — таким его выделявали в последнее время, — и в нем было немало мелкого мусора, но сладость горячего чая Кандуша ощутил сейчас, как никогда раньше.

На расставленных вдоль стен столах лежали колбасы и хлеб. Вооруженные ножами всяческих размеров, стоявшие за столами, как за ярмарочной стойкой, люди нарезали колбасу и хлеб для бутербродов. Эти люди большей частью также сменялись, — таково было неписаное правило, установившееся здесь: подкрепился едой — становись на работу. Заменят тебя — можешь продолжать свой путь. Куда? Об этом можно было и не спрашивать: все, как правыеверные в Мекку, стремились теперь попасть в неумолчный, бессонный круглые сутки Таврический дворец.

Невольно подчиняясь общему порядку, которого меньше всего, на первый взгляд, можно было ждать от этой бурно гудящей, толкающейся во все стороны толпы, Кандуша, отстав вначале на минуту от своих спутников, уже далеко стоял от них в очереди и за кипятком и за сахаром и только глазами стерег инженерскую шинель Вячеслава Сигизмундовича. Издали он видел, как тот все время не отпускал от себя оживленного, разговорчивого собеседника, как шустрый журналист вынул какие-то листки из своего пузатого портфеля и читал что-то мигом собравшейся вокруг него кучке народа.

«Заметим тебя, пучеглазый муравейчик... Приметим мы тебя, муравейшко, пипль-попль! — раздраженно думал Кандуша о крамольном журналисте, — думал по старой привычке «ловца чело-веков». — Занесем-с куда следует!..»

Теперь надо будет занести — обязательно занести! — на «ду-гу» и этого «муравейшку»-газетчика, и вот того золотогривого великана-студента, что командует тут всеми, и того «оболтуса» гимназиста, что метлой снял с крюка и под гиканье остальных «печенегов» растоптал ногами цветной портрет его императорско-го величества, и смазливую дамочку в каракулях, запевающую марсельезу, и многих, многих других надо запомнить, отметить теперь... Господи боже мой, да разве когда раньше возможен был такой «улов»?

Не хватало глаз и времени примечать этих людей. Их было мно-жество: как рыбы, выброшенной наводнением на берег, — бери, под-бирай каждую и клади в кошелку!.. Вот придет завтра его импера-торское величество с верными ему войсками, — и тогда...

То ли от этой жаркой мечты, то ли от горячего чаю и жадно проглоченных бутербродов Пантелеймону Кандуше стало весело, по-озорному весело, и он игриво и неосторожно ущипнул в тол-котне и давке плечико проходившей впереди него, не замеченной сразу женской фигуры. Та оглянулась, ища обиженным быстрым взглядом нескромного шутника:

— Что это еще такое?

Но, не найдя, конечно, виновного в этой быстротекущей по залу толпе, она готова была уже пройти вперед, как в эту секунду сбоку ей бросилось в глаза лицо Пантелеймона Никифоровича.

— Кандуша! — вскрикнула его знакомая. — Ах, вы тоже здесь?..

Никто, кроме него, не обратил внимания на этот удивленный, растерянный и гневный выкрик: он, естественно, затерялся в об-щем шуме.

— Барышня! Ирина Львовна!.. — подался ей навстречу Кан-душа. — Что делается, господи боже мой! Такие дела-делишки...

Он намеревался еще поближе протиснуться к Ирише, но ее нахмуренные брови и незнакомо-насмешливый взгляд остановили его.

— Да, дела-делишки... Хорошие дела и подлые делишки, Кан-душа! — переговаривались они, отделенные друг от друга кружа-щимся потоком людской толпы. Толпа все это слышала, но, конечно, не слушала.

— Товарищи! — крикнула Ириша Карабаева. И так звонко, что обратила теперь внимание всех присутствующих. — Я хочу сказать вам, товарищи... Здесь, среди свободных граждан Рос-сии, вертится шпик из охраны! Надо задержать его, арестовать. Вот он!

Но в общей суете не понять было, на кого указывает рука девушки в желтой замшевой перчатке. Хватали друг друга за ру-кав и за воротники пальто, хватали неповинных людей, вспыхнула перебранка.

Пользуясь общей сутолокой, Кандуша исчез.

Через несколько минут Ириша увидела Асикритова. Он стоял за столом и, орудуя длинным пекарским ножом, резал колбасу и перебрасывал ее на соседнюю стойку.

Поглощенный, казалось, таким же занятием, стоял рядом с ним какой-то инженер в путевой шинели с красным бантиком на груди.

— Дядя Фом, урра! — подскочила она к журналисту. — Да здравствует...

— Да здравствует, Ириша! — закричал он, не дождавшись конца ее фразы. — Бегу, девонька, в Таврический. А ты куда?

— Мы на грузовике хлеб сюда привезли, а теперь и я туда. Я там целый день почти. Вот это жизнь, дядя Фом!

— Ромео своего видала? А я имел честь лицезреть вчера!

— Нет... — покраснела она, догадавшись, о ком шла речь. — Где он? Что с Ваулиным... ради бога!

— Ха-ха-ха-а! — залился вдруг смехом Фома Матвеевич. — Один, понимаешь, сапог черный, а другой — земгусарский, желтый! «Как это вы так?» — спрашиваю его. Ох, ты бы на него посмотрела только!

— Да где же он? Где?..

Он пожал плечами:

— Чего не знаю — о том врать не буду, Ириша.

Она выволокла журналиста из-за стола и накинулась на него с расспросами.

Губонин незаметно очутился рядом с ними и стал прислушиваться. Через десять минут он покинул гудевшее ульем помещение столовки.

Глава шестая

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Было некогда здесь подворье митрополита, оружейный двор, слобода Конной гвардии, — кончалась тут заселенная часть этой стороны Петрова града. В центре означенных мест приказала Екатерина II воздвигнуть дворец своему фавориту Потемкину, покорителю Тавриды.

Пять лет архитектор Старов строил Таврический дворец, и в 1788 году открылся он великим придворным балом. Труд и жизни многих тысяч подневольных людей вместе с дворцом отданы были в дар «светлейшему» барину. Но вззошел на престол мстительный Павел, и потемкинский дворец был отдан под казармы и конюшни.

Убили Павла — и снова переделали казармы в Таврический дворец. На сей раз занимался этим иностранец Луиджи Русска. Но и его великолепное искусство не оградило биографию дворца от новой постыдной участи: служить складом императорской мебели!

И когда через сто лет понадобилось русскому самодержавию «отвести помещение» для вынужденно созданной им Государст-

венной думы, вспомнили снова о Таврическом дворце и опять перестроили его: зимний сад превратили в зал заседаний, театр — в думскую библиотеку: упразднили отличные росписи художников и показали пример нового, полицейского искусства: потолок думского зала был столь слабо укреплен (не без ехидства и затаенной мысли), что, обвалившись однажды, угрожал смертью «народным избранникам».

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше... От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целостности и единству Державы Нашей».

Так начинался царский манифест 17 октября 1905 года. Испуганный революцией монарх «даровал» России лицемерную конституцию — кущую и лживую клятву на верность «народному представительству». Но из кого оно состояло и как складывалось?

Помещикам и заводчикам дано было право иметь 4269 выборщиков в Думу, а всему остальному населению — всего лишь 2962. Крестьяне выбирали по четырехстепенной системе, рабочие — по трехстепенной, помещики и буржуазия — по двухстепенной; таково было жесткое избирательное сито, просеивавшее состав первого русского парламента.

Полноправным членом крестьянской курии считался только тот крестьянин, который имел право участвовать в выборах на волостных сходах, то есть владелец земли, собственник — крестьянин зажиточный. В Сибири, например, он должен был владеть землей не менее чем в 300 десятин, в Польше — не менее 100 десятин.

По рабочей курии к выборам допускались лишь рабочие-мужчины крупных фабрично-заводских предприятий: один уполномоченный на тысячу человек. Таким образом, весь сельскохозяйственный пролетариат, все поденщики и чернорабочие, рабочие на мелких предприятиях и, наконец, все женщины исключались из состава выборщиков.

Такой пришла первая Дума в Таврический дворец. В стране гулял красный петух крестьянского движения, и центральная партия российской буржуазии — кадетская партия князей Долгорукова и Шаховского, Винавера и Родичева, Набокова и Кокошкина, пуская пыль в глаза о «думе народного гнева», но больше всего боясь этого гнева, боясь революции, угодливо искала соглашения с правительством. Шел 1906 год. Оправившись от растерянности, монархия покрыла всю Россию карательными экспедициями храбрых казачьих генералов, не сумевших стяжать себе славы в недавней русско-японской войне. И монархия, пугая трусливых либеральных профессоров и юристов массовым революционным движением, уже не шла на уступки.

«Государственная дума? — Пора низвести ее до уровня одной из правительственных канцелярий!»

Царь отказался принять думскую депутацию с ответом на его тронную речь, а правительство крепостника Горемыкина в ответ на робкое думское требование уйти в отставку — внесло, словно в насмешку, один лишь вопрос на «утверждение» Думы: это был чепуховый, издевательский законопроект об... ассигновании кредитов на прачечную и оранжерею при Юрьевском университете!

Царское правительство заявило, что «не потерпит никаких посягательств на священные устои земельной собственности», и — разогнало первую Думу. А через год — 3 июня 1907 года — и второй состав Думы. На каторжные работы и в ссылку ушли 28 социал-демократических депутатов.

«Новая Дума должна быть русской по духу», — гласил государев манифест, и пять лет холопское сборище попов, черносотенцев-домовладельцев, зубров-помещиков и буржуазно-дворянских рамоли собиралось время от времени под куполом Таврического дворца, чтобы свидетельствовать свои верноподданические чувства самодержцу-императору, чтобы усердно помогать ему завязывать на шею народа огромный, окровавленный столыпинский галстук знаменитого царского висельщика.

Черная ночь реакции окутала страну. Кавказ и Сибирь, Средняя Азия и Польша были признаны «незрелыми» для полного участия не только в Думе, но и в органах городского самоуправления. Рабочих старались зажать в полицейский кулак насилий и эксплуатации: узаконенный двенадцатичасовой рабочий день, преследование профессиональных союзов, лишение права выбирать своих представителей в совет по делам страхования («представители» *назначались* теперь *губернатором!*). «Только такой закон, — как отметили большевики-ленинцы на своей конференции в Праге, — грубейшим образом издевающийся над насущнейшими интересами рабочих, мог родиться в момент бешеной реакции».

Под давлением общественного мнения кое-кто из думских левых пытается протестовать и против карательных налетов казачьих генералов, и против каннибальской мести военно-полевых судов, против погромов и против ущемления прав «народных представителей» — и тогда на трибуну Таврического дворца подымается премьер-министр Коковцев. Бесстрастным, спокойным голосом первого сановника империи он нравоучительно поясняет России:

— У нас, слава богу, еще нет парламента.

— Так было, так будет, — сказал в утешение России, с той же дворцовой кафедры, другой русский министр.

И в ту же пору взмолился на думскую трибуну прославившийся бард русского национализма и помещичьего царства — длиннотный барин с холодными глазами — Шульгин и, актерски разыгрывая бескорыстного рыцаря самодержавия, оскорбительно бросил всей стране:

— Я вам скажу, господа, что революция в России труслива, и потому я ее презираю. И если налицо будет революционная

опасность, то Российская империя может увидеть в рядах полиции лучших своих сынов.

— Вас! Шульгина! — крикнули ему слева, думая крепко оскорбить депутата-дворянина.

Но он оставался спокоен. Как всегда, колкая язвительная усмешка проползла по его пренебрежительно оттопыренным губам, и он беззастенчиво сказал:

— Да, и меня также.

На большую откровенность нельзя было и рассчитывать.

Да, — говорила шульгинскими устами единая дворянская семья Николая Романова, курского громилы Маркова-второго и виленского погромащика Замысловского, — да, нас сто двадцать тысяч русских помещиков, и мы будем и впредь управлять стодвадцатимиллионным народом России. В защиту нас от этого народа офицерство прикажет в любой момент взвести курки подневольного войска, церковь именем божьим призовет на них благословенье, полиция и жандармы немедленно уготовят бунтарям виселицу, тюрьму и кандалы, буржуазия ссудит нас деньгами за охрану от революции банков, лабазов, фабрик.

Но, вопреки клевете столыпинского подручного Шульгина, русская революция рабочего класса, революция русского солдата-крестьянина не была трусливой. Вот она ворвалась во все дворцы самодержавия и в этот — Таврический!

Над строгим дорическим портиком взвился поднятый рабочими руками красный флаг, а в громадный блестящий Екатерининский зал с его великолепными тридцатью шестью ионическими колоннами, во все закоулки безгласного русского парламента, вбежал народ с высоко поднятыми знаменами веселой свободы...

О том, что видела и слышала за пятеро суток, проведенных в Таврическом дворце, Ириша могла бы, казалось ей, рассказывать месяц — и все же не хватило бы ни памяти, ни времени запомнить и передать все.

Она чувствовала только одно: мир, ее собственный прежний мир привычных впечатлений, безвозвратно утерян. Создавался новый, иной мир для нее. Он обещал и новую судьбу — для всех вокруг и для нее самой. Какая это судьба и что за мир такой — об этом некогда было по-настоящему подумать.

Все ее мысли были теперь во власти фактов, сумбура ежечасных и ежеминутных событий, встреч и происшествий, как воронка втягивавших в себя ее время и внимание.

Последнее время она жила в огромной, многотысячной толпе. Это никак не походило на ее обычное существование! Она видела вокруг себя людей, множество людей, которые жили теперь так же необычно, как и она сама. Вчера еще неизвестные и незнакомые — они были теперь неразлучны друг с другом, и каждый из них словно познавал себя в соседе: в этом и состояло теперь их новое знакомство, хотя они и оставались друг другу неизвестны, как и прежде.

У входа в зал заседаний Совета Ириша увидела маленький

стол, за которым сидела высокая худая женщина в пенсне (как сказали Ирише, — только что выпущенная из тюрьмы большевичка Елена Стасова). Над столом висел кусок картона с старательно выведенной карандашом надписью: «Секретариат ЦК РСДРП».

— И все? — удивилась Ириша. Но именно к этому столу вереницей тянулись рабочие и солдаты.

Что делала Ириша в Таврическом дворце? Все, что приходилось.

Она была «вестовым» думского комитета и «телефонисткой» Совета рабочих депутатов. Ездил на грузовике за хлебом к воротам каких-то интендантских складов и разносила пищу по многочисленным комнатам дворца. Дежурила в различных комиссиях, выросших неожиданно во всех углах Таврического, и вела список членов только что образовавшейся солдатской секции Совета. Раздавала катушки трамвайных билетов солдатам, хотя в тот день трамваи бездействовали, и ведала аптечкой в одном из крыльев дворца. Она искала работы, какой угодно работы, — и ее находилось много, очень много.

Она делала то, что делали теперь тысячи других людей, — Таврический дворец стал для всех них новым домом, новым жильем большой, невиданно большой семьи.

Все эти люди, которых она знала теперь в лицо и по голосу: Родзянко и Керенский, Милуков и Чхеидзе, думские знаменитости и вожаки Совета рабочих депутатов, — брали из ее рук тарелки с едой, бутылочки с валерианкой и порошки от головной боли, папиросы, пакеты и телефонограммы, резолюции полков и донесения об арестах, — и она видела, что никто теперь ничему здесь не удивляется: не удивляется, например, тому, что все это почему-то делается ею — незнакомой им Иришей — и еще сотнями таких же неизвестных им людей, как она.

Она металась из конца в конец по дворцу, выполняя различные поручения.

— Товарищ! — хватали ее рукав. — Необходимо организовать стол питания для членов Исполнительного комитета! Передайте там кому следует... живо!

Боже мой, почему именно она должна была это делать и кому, собственно, следовало о том «передать»?

Ее веселил этот хаос, ей в голову не приходило роптать на кого-либо, спорить, — она бросалась выполнять эту просьбу, как если бы она и впрямь была ее обязанностью.

И она знала: прикажи она сама кому-либо что-нибудь сделать — тот, к кому обратится она, Ириша, немедленно поступит так же, как поступила и она сама.

Через десять минут «стол питания» вносился в комнату заседания, и люди мигом обступали его со всех сторон.

Наливали чай из более чем сомнительных чайников в жестяные заржавленные кружки. Залезали грязными перочинными ножами в банки с консервами, суя в них пальцы. Чай размешивали ручками и чернильными карандашами и вытирали газетами из-

мазанные руки. И сама Ириша так питалась,— увидала бы мать, Софья Даниловна!..

Горбоносый, сивобородый старик Чхеидзе, прикованный к председательскому месту, выкатывал гневно глаза и, размахивая волосатым кулаком, на который напозвело не первой свежести манжета без запонки, неистово орал:

— Призываю к порядку и протестую! Что такое?! Здесь заседает орган революционной демократии, а вы тут удовлетворяете какие-то свои естественные потребности! Или шпроты, или заседание — одно из двух! Я закрою заседание!..

Но все эти заседания не закрывались, а продолжались до поздней ночи и возобновлялись, как только просыпался первый десяток членов Совета.

Она несколько раз видела близко-близко от себя Керенского. Он вызывал теперь всеобщее внимание, он приучил всех к неожиданности своих поступков.

Однажды Ириша вместе с двумя другими курсистками внесла на подносе чай в помещение думского комитета. (Его оттеснили теперь в две крохотные комнаты в конце бокового коридора, напротив библиотеки.) За столом, покрытым зеленым бархатом, сидел в окружении сеньорен-конвента сумрачный, тяжелый Родзянко. Веки набрякли, лицо лоснилось — словно неумытое.

В числе других она увидела и своего отца: Лев Павлович улыбнулся ей усталыми, нежно смотревшими глазами.

Не успела она расставить на канцелярском столике стаканы, как дверь с шумом распахнулась, и влетел Керенский. За ним — двое солдат с винтовками, а между ними — сухонький благообразный старичок в зеленом чиновничьем сюртуке. В руках он держал кипу каких-то пакетов, на них были огромные сургучные печати.

— Положите на стол! Можете идти! — при общем недоуменном молчании распоряжался Керенский.

Солдаты повернулись — по-военному — через левое плечо, не согнув корпуса, а старик чиновник, прежде чем выйти, вынул из кармана какую-то расписку, на которой Керенский быстро поставил свою подпись.

— Наши секретные договоры с державами! — драматически возгласил он. — Вот, спрячьте, господа... сами понимаете...

И так же неожиданно исчез, как и появился здесь.

— Господи, что же мы с ними будем делать? — оторопелым тенорком нарушил кто-то минутное молчание. — Ведь даже шкафа у нас нет!

— Что за безобразия! — загудел своим запорожским басом Родзянко. — Откуда он их таскает?

Видно было: он хотел разразиться бранью, что было в его натуре, но, очевидно, присутствие барышень его сдержало.

На лицах присутствующих была одна и та же мысль: куда же в самом деле деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие только есть.

Что за чепуха! Так же нельзя... Ну, спасли эти договоры, но все остальные могут растащить? Мало ли по всем министерствам важных государственных документов? Не тащить же их все сюда? Да и куда, собственно? Здесь нет не только шкафа с ключом, но даже ящика нет в столе!..

— Знаете что?— сказал вдруг неизвестный Ирише человек с хитроватыми глазами, с голым мячеобразным черепом и широкой бородой. (Это был октябрист Владимир Львов,— наавтра он стал обер-прокурором Синода.) — Знаете что?.. Бросим их под стол! Ну да, под этот стол. Под скатертью их совершенно не видно будет. Никому в голову не придет искать их там. Смотрите, господа...

И пакеты отправились под стол. Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола.

— Как раз подходящее место для хранения важнейших актов державы Российской! — иронически-печально покачал головой Карабаев, принимая чай из рук дочери, и, пользуясь этим случаем, незаметно погладил Иришину руку.

— Полноте! А есть ли еще эта держава?— зло скрипел зубами запомнившийся Ирише лицом усатый Шульгин. — Государство ли это или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?!

Ириша покраснела, ей хотелось крикнуть что-то дерзкое, гневное в ответ этому презрительно усмехавшемуся человеку, но она поняла, что сейчас не время.

Через минуту-две — снова Керенский: быстрыми шагами, опять с солдатами. Они тащили, как тушу, огромный кожаный черный мешок.

И снова — повелительно:

— Можете идти!

Боже, что это еще такое?

— Господа, тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили,— спрячьте!.. Я стал носильщиком, господа... Так нельзя больше... Предлагаю обсудить!

Он исчез — похохатывая, обнажая широко свои желтые десны.

И черный кожаный мешок с двумя миллионами депутаты Думы, встав со своих мест, брезгливо и опасно оглядываясь на дверь, затолкали ногами, как труп какого-то большого животного, под стол, накрытый зеленым бархатом.

— Павел Николаевич! — схватив Милюкова за руку, сказал ненавистный Ирише длинноусый Шульгин. — Довольно этого кабака! Мы не можем управлять Россией из-под стола!..

В этот момент Ириша вышла из комнаты: оставаться дольше было бестактно, да и отец подмигивал — «уходи».

В тот же день здесь же, в Таврическом, она встретила человека, имени которого уже давно поклонялась в душе. Это был Максим Горький.

Три месяца назад она впервые в жизни увидела знаменитого революционного писателя. Он должен был выступать в вечернем

рабочем Лутугинском университете, помещавшемся в ремесленной школе Механического завода: там большевики устраивали лекции и литературно-художественные вечера в пользу партийной кассы. Выступление Горького в тот день не состоялось, но через неделю «караулившая» его Ириша вместе с группой студентов счастливо попала в маленький зал Сампсониевского общества трезвости, где писатель читал тогда свое новое произведение «Фомичи и Лукичи», — антивоенную, пораженческую вещь. Не обошлось без вмешательства полиции, вызванной кем-то из провокаторов, но Горького успели усадить в извозничьи сани и умчаться до прихода фараонов.

Теперь она видела его совсем близко.

Высокий, сутулый, в каракулевой шапке, чуть-чуть напознейшей на лоб, как покосившийся церковный купол. Шуба расстегнута, полы — в стороны, открывая синие брюки, но широкий воротник плотно облегал шею, сцепленный крючком застежки.

Он шел в сопровождении члена Петроградского совета Соколова и еще какого-то бритого, с лыным профилем, мужчины, лицо которого было мелко изрыто оспенными ямочками. Очевидно, Соколов вел их обоих по направлению к 13-й комнате, где помещался Исполком, — идя сбоку, Ириша заключила о том из их разговора.

Говорил больше Соколов — сильно жестикулируя, поминутно задерживая свой шаг, словно ходьба мешала ему разговаривать: молчалив был второй спутник Горького, а сам он отвечал односложно и хмуро. Могло показаться, что он чем-то недоволен: частое, короткое покашливание его было сварливо.

На пути, в зале, где Горький, залюбовавшись ионическими колоннами, восхищенно расхваливал их, попался им человек, с которым они задержались на десять минут, отойдя в сторонку и присев к столику с разбросанной на нем кипой каких-то разноцветных афишек.

Ириша уже знала этого человека по заседаниям Совета. Это был известный бундовец Либера: низенький, запоминающегося вида человек с черной ассирийской бородой, с внимательным взглядом исподлобья, с постоянной саркастической усмешкой на устах и женственными кошачьими движениями.

На трибуне он был горяч и груб со своими противниками; его сухошавая фигура подскакивала тогда, как будто под каблуками были подбрасывавшие его пружины, а поднятые вверх, как свечечки, указательные пальцы по бокам лица дополняли впечатление о Либере как о каком-то восточном божке на молитве. Голос его надрывался на высоких нотах, и это вызывало иногда в зале невольный смех.

Желая подольше понаблюдать знаменитого писателя, Ириша притаилась за одной из мраморных колонн, откуда видно и неплохо слышно было всех его собеседников.

— Не понимаю вас, — с чем-то не соглашался Горький. — Совсем не понимаю, — густо окаял он, покашливая после каждой

затяжки папиросой.— На матросов жаловаться? Нехорошо, я думаю, плохо это... Почему жаловаться? Слишком далеко зашли, говорите? Вышли из границ, отмеренных скептиками, которые простуживаются от ветра революции. Я уж повторяю, что раз писал: лучше бы человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе. Я так думаю, я так думаю,— повторил он, склонив набок голову и обводя глазами сгруппировавшихся вокруг него людей.

И вдруг улыбнулся — застенчиво и мягко, и тогда глаза под нависшими бровями стали синими и нежными, как у великорусских деревенских ребятишек, смущенных неожиданным подарком городского человека.

— Без штанов... да, без штанов, хо-хо-хо! — раскатисто засмеялся коренастый Соколов, отбрасывая, как взнузданная лошадь, назад голову и разглаживая в обе стороны свою мягкую черную бороду, почему-то странно рыжевшую, попадая на свет. — Так без штанов, говорите, Алексей Максимович? Хо-хо-хо!..

И чем больше хохотал Соколов и шире усмехался меньшевистский лидер, нетерпеливо оглядываясь по сторонам, тем быстрее тускнела улыбка и мрачнели глаза Горького.

— Угу-угу... Гм, да... — отвечал он суровым покашливанием.

Он медленно, ритмично застучал пальцами по столу. Руки, вытянув, держал на нем крест-накрест и как-то предостерегающе, могло показаться, постукивал теперь пальцами.

— Александр Николаевич, помните, я рассказывал вам как-то про одного чудака такого? — повернул он голову к молчаливому своему спутнику. — Был, знаете, господа, один преподаватель такой в провинции, — я его хорошо помню. Он ежедневно после своих уроков, какова бы ни была погода, представьте, брал зонтик, надевал галоши и одинаковым шагом уходил за город. Свалка там нечистот была. Усаживался он на старый бочонок с пробитым дном, вынимал часы — старомодная луковица такая с ключиком — и, следя по часам, просиживал на бочке ровно шестьдесят минут — и в той же, господа, позе. Потом вставал и так же, отмеренным шагом, отправлялся домой. И все это называл почему-то «принципом». Хорош, — а?

— Да, чудачество, — уже не усмехался Либер, поняв, конечно, к чему клонится речь; теперь насмешливая улыбка залегла уже в изгибах рыжеватых горьковских усов.

— Матросы, — ах, черти драповые! — озорным синим светом засверкали его глаза. — Хороши парни... ей-богу, хороши! А маниаки, знаете, берут в солнечный день старый свой «программный» зонтик, галоши догматические, — а? — и думают, что перед ними прежнее свалочное место... яма выгребная прежнего режима... Я так думаю... я так думаю, товарищи. Солнце — оно, конечно, режет глаза: с непривычки это, полагаю? Вы как скажете. Ах, черти драповые! — повторил он несколько раз свое любимое выражение.

— Да, чудачество... — многозначительно и раздраженно сказал меньшевистский лидер, переглядываясь с Соколовым. — Оно бы-

вает не только у провинциальных педагогов... Простите, Алексей Максимович, нам нужно по одному важному делу революции! — мстил он, отводя Соколова далеко в сторону.

— Революция... гм, хорошо бы так, — поднялся с места Горький, пряча узенький костяной мундштук в жестяной футлярчик. — Ишь громко он как: «по делу революции»?! Видали, Александр Николаевич? Копчик — птичка невелика, да коготок у ней востер! Либер-то, — а?

Оставленный обоими «исполкомщиками», которым сегодня явно пришлось не по душе, а через минуту и спутником своим, Александром Николаевичем, повстречавшимся тут же с какой-то знакомой дамой, писатель неторопливым шагом побрел по залу, вышел в коридор, в котором помещался Исполком. Ириша шла по его следам.

И здесь, в коридоре, произошло то, чего они оба не ожидали. Горький толкнулся было в дверь 13-й комнаты, но стоявший у порога часовой — вольноопределяющийся с пухлым, розовощеким личиком недавнего гимназиста из «хорошей семьи» — решительно пресек его попытку, — и знаменитый писатель молча ретировался.

— Товарищ, что вы сделали?! Вы знаете этого человека? — подбежала Ириша к часовому.

— Никак нет. А что?

— Так это же Максим Горький! — воскликнула она гневно.

— Вот как? Ну... ничего. Простительно не знать... ведь не Лев Толстой, а тот уже помер, — глупо оправдывался, картавя, смущенный вольноопределяющийся, любуясь Иришей.

— Эх ты... мозги всмятку в дырявой лоханке? — прикрикнул на него выскочивший из соседних дверей низенький, с монгольским лицом кронштадтец. — Максим Горький — это же наш... наш!

Этого же матроса она увидела спустя два дня на том самом собрании Совета, где оглашался список членов Временного правительства и выступал «министр революционной демократии» Керенский. Матрос стоял рядом с ней и бог весть где раздобытой иглой и нитками пришивал на бушлате вырванную «с мясом» медную пуговицу. Он был удивительно сосредоточен и, казалось, мало внимателен к оратору.

Зал был до отказа набит народом. Вел собрание Чхеидзе. Он уже не сидел за своим председательским столом, а стоял на нем — накинув на плечи шубу, но без шапки.

На трибуне — официальный докладчик Исполкома: высоченный, с окладистой черной бородой и румяными щеками человек, журналистский псевдоним которого казался Ирише «хрупким», как стекло, никак не соответствующим общему облику этого плечистого атлета.

Он говорил бесконечно долго, — так бесстрастно держа голос на одной и той же утомительной интонации, что Ирише стал понятен матрос, пришивающий пуговицу. Наконец исполкомовский докладчик закончил свою речь. Под общие рукоплескания он сообщил, что вчера, обсуждая вопрос о власти, Исполнительный ко-

митет большинством тринадцати голосов против восьми постановил не вступать в правительство и не посылать в цензовый кабинет официальных представителей демократии. Ныне этот вопрос передается на утверждение Совета.

— Очень просто: самим брать власть! — откусывая нитку зубами, оживился теперь Иришин сосед.

Что-то говорил, размахивая руками и оттого поминутно теряя падавшую с плеч шубу, обросший конусообразной бородой Чхеидзе, водворяя порядок среди затихавших аплодисментов.

— Товарищи, мы будем обсуждать или не будем обсуждать?

— Будем! Будем! — раздавалось со всех сторон.

— Позвольте мне слово... Николай Семенович, я прошу слово! — услышали все резкий, горячий голос.

— Пожал-ста, Александр Федорович, — прищурившись, посмотрел вдаль Чхеидзе.

Из противоположного конца огромного зала поспешно пробирался побелевший как полотно Керенский. Он решительно расталкивал закупорившую проход людскую массу, но толпа не поддавалась его усилиям, и, сделав всего несколько шагов, Керенский в изнеможении остановился.

— Товарищ Керенский, сюда... сюда! — указывали ему поблизости освободившееся место.

Небольшой черный стол, на котором сидели раньше два каких-то человека, был теперь к его услугам. Он взобрался на него и встал во весь рост.

Так, в далеких друг от друга, противоположных концах зала стояли на столах, как на пьедесталах недавно пришедшей славы, в секундном ожидании тишины они оба — Чхеидзе и Керенский. Один — успокоившийся и будничный: довольный тем, что некоторое время ему не надо уже иметь дело с этой тысячной шумной толпой (его мучила мигрень), другой — пришедший овладеть этой толпой: напряженный, со вздрагивающими ресницами и губами, с высоко занесенной над головой растопыренной пятерней руки, как будто он ловил ею брошенный в его сторону мяч.

— Товарищи... дорогие товарищи... — пошел в тишину зала мистический полушепот упавшего голоса. — Я должен сделать вам сообщение чрезвычайной важности.

И вдруг тут же, после десятисекундной паузы, вслед за проникновенным полушепотом, невольно взволновавшим толпу, — первый короткий удар в нее громким, атакующим голосом:

— Товарищи, доверяете вы мне?

— Доверяем! Доверяем!.. — ответил, вздрогнув, ошеломленный зал.

— Я говорю, товарищи, от всей души... из глубины сердца. И если нужно доказать это... если вы мне не доверяете, — я тут же, на ваших глазах, готов умереть!

— Доверяем!.. Доверяем... — грохотал уже теперь гром аплодировавшей толпы.

Она, казалось, была потрясена необычным, «жертвенным» об-

ращением к ней готового на Голгофу человека, — хотя никакой необходимости в том решительно не было.

А сам оратор — бледный как снег, взволнованный до полного потрясения вызванной им так быстро в зале бурей невольной преданности — вырывал из себя, как куски кровоточащего мяса, короткие, хриплые фразы и бросал их, чередуя исступленными паузами, в толпу, «обреченную на покорение».

Когда-то, студентом, он неплохо изучил Цицерона. Он знал: человеческая речь, которую поэт справедливо назвал «очаровательницей сердец и королевою всего мира», имеет несравненное могущество. Она не только увлекает за собой того, кто колеблется, сваливает того, кто стойко упирается, но может напасть, как хороший полководец, на сопротивляющегося врага и заставить его сдаться.

— В настоящее время образовалось Временное правительство, и я занял в нем пост министра юстиции! Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут и потому не имел возможности получить ваш мандат до решения моего о вступлении в состав Временного правительства.

— А решение Исполнительного комитета?! — пришел кто-то в себя и подал недоуменный голос.

И прежде чем он разросся в зале, Керенский метнул заранее припасенную «бомбу»:

— Товарищи! В моем распоряжении находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук! Правильно я поступил? Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей-депутатов, членов социал-демократической фракции Четвертой думы и депутатов Второй думы! Освобождаются все политические заключенные!

Он выполнил как оратор то, к чему стремился, — он был верен лукавым и умным заповедям римского классика ораторского искусства. Надо было прежде всего завоевать расположение слушателей и так их тронуть, чтобы увлечь за собой, скорее возбуждая в них страсть и смятение духа, чем обращаясь к разуму.

— Ввиду того, товарищи, что я принял на себя обязанности министра до получения от вас полномочий, я снимаю с себя звание товарища председателя Совета рабочих депутатов...

— Что правильно — то правильно! — удовлетворенно буркнул матрос, стоявший рядом с Иришей, и хотел было захлопать, но страстный выкрик Керенского остановил его:

— Я вновь готов принять на себя это звание, если вы признаете это нужным!

— Просим! Просим! — раздалось с разных сторон.

— В своей деятельности я должен опираться на волю народа. Я должен иметь в нем могучую поддержку...

И, словно цицероновский полководец, чувствуя, что уже покорил этот народ и его волю, Керенский прокричал в зал:

— Товарищи! Могу ли я верить вам, как самому себе?! — И он, пригнув стриженую ежиком голову, переждал трехминутный шквал рукоплесканий.

Тогда он и сам решил произнести свою обманную клятву эсеровского Цезаря.

Его дрожащие руки отыскивали у краев тупенького подбородка загнутые концы высокого крахмального воротничка, — он взялся за эти длинные загнутые языки франтоватого воротничка и в испуге быстро отодрал их, и вид получился нарочито демократический.

— Я не могу жить без народа... не могу... — повторял он мистический, страстный полупшепот начала своей речи. — И в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня! — снова истерически выкрикнул он и развел руками в стороны, вынося вперед узкую грудь, как бы для чьего-то удара в нее.

Он был верен себе — оратор из сословия адвокатов: речь должна увлекать — знал он. «*Ut flectat!*» — учили классики этого искусства. Не надейтесь вызвать раздражение против вашего противника, говорили они, если вы сами не раздражены. Вы не вызовете к нему ненависти, если сами ее не питаете; сочувствия — если ваши слова, ваша наружность, ваши слезы не проявляют печали; восхищения и преданности — если ваша речь и жесты того не ищут. Нет вещи, хотя бы и легко возгораемой, которая зажигалась бы, однако, без огня, и нет человеческой души настолько впечатлительной, чтобы она могла воспламениться, если ее не поджечь извне страстью.

Он оставался верен этим заповедям. И никто в толпе не силен был в тот час воспротивиться этому ловкому оружию совращения.

— Товарищи, время не ждет, — уже торопился он. — Позвольте мне вернуться к Временному правительству и объявить ему, что я вхожу в его состав с вашего согласия как ваш представитель!

Прапорщики запаса и студенты вынесли его из зала, как триумфатора.

Движимая любопытством, как и многие, Ириша, стоявшая близко к дверям, выбежала в коридор поглядеть на Керенского. В вестибюле она увидела его в окружении почитателей. Весь этот живой куст людей двигался к помещению думского комитета.

По бокам Керенского шли трое английских офицеров с одинаково строгими, но улыбающимися теперь бритыми лицами и в одинаковых зеленых фуражках с далеко вынесенными вперед отлакированными козырьками.

Они со сдержанной улыбкой одобрительно смотрели на нового министра.

Керенский держал руку у горла, словно оно было простужено, или — стыдясь теперь разорванного, как будто в драке, воротничка без накрахмаленных отогнутых углов.

Часа через два стало известно, что Совет большинством всех против пятнадцати подтвердил постановление Исполнительного комитета: в цензовый кабинет своих представителей не посылать.

— А как же Керенский?— на разные голоса недоуменно спрашивали теперь в Таврическом: одни придирчиво, другие с опаской и тревогой.

«Министр юстиции, член Государственной думы, гражданин Керенский» — появилась назавтра в ответ и тем и другим его широкая подпись на первом приказе, напечатанном в газетах,— и все успокоились, и редко кто вспоминал в те дни о резолюции Совета.

Глава седьмая

ДЕЛО № 11 111

В тот же день снова попался на глаза знакомый низенький матрос с монгольским лицом. Гладкая, смугло-коричневая кожа его лоснилась, как выезженное седло.

— Товарищ студентка! — схватил он ее за рукав.— Что изволите делать?

— Иду аптечки распаковывать,— ответила Ириша.— А что?

— Идите сюда заниматься,— ткнул он пальцем в дверь, у которой они встретились.— Шибко грамотные да аккуратные нам нужны.

— Ну, а что такое?— повторила она свой вопрос.

— Да тут целая комната забита бумагами. Разложить надо... и чтоб грамотные, по-настоящему, люди. Караул мы поставили, да не в том дело. Караул — разве он что в таком важном деле?

Он объяснил: навезли сюда да свалили в кучи всякие бумаги и «дела» охранки и департамента полиции. Надо все приводить в порядок, чтоб не растаскали, того гляди. Есть тут люди, разные люди — уже работают, а все же — еще надо.

— Согласна!— оживленно сказала Ириша и через пять минут приступила к делу.

В первый же день она занята была им до глубокой ночи. Архив охранки разбросан был в двух смежных комнатах, в них толклись теперь разные люди. Ирише казалось, что они меньше всего были озабочены приведением в порядок наваленных в кучи бумаг,— во всяком случае, работа подвигалась туго, хотя людей здесь было довольно много.

Да и как тут спокойно и деловито работать, когда глазам их каждую секунду могло открыться самое неожиданное, самое таинственное, что только вчера еще хранила в себе наводившая страх, сегодня — низвергнутая полицейская монархия.

Люди по натуре падки на новости, любопытство — сей вожак человеческих чувств — вело их теперь в «тайная тайных» растоптанной на улицах Петербурга империи... Как будто рухнули стены недоступного ранее взору огромного дома, населенного таинственными обитателями, и они не успели заблаговременно выскочить из него: стоят, закрыв лицо руками, но теперь каждый со стороны волен подойти к ним, отбросить руки с лица и заглянуть в него, дабы увидеть облик скрывавшегося Иуды.

Из огромного вороха «дел» люди вытаскивали, какие попадались под руку, разноцветные папки и, прежде чем сложить их в порядке нумерации то ли в отведенном углу комнаты, то ли на одном из столов, жадно набрасывались на чтение тех самых секретных бумаг, по которым могла писаться не предназначенная к печати история русской жизни за многие десятилетия.

Вместе с каким-то длинноногим, длинноносым и остроголовым человеком, назвавшимся актером, фамилии которого Ириша никогда не слыхала, пришлось ей распаковывать трехпудовый тюк.

— А что это за посылочка на масленицу от старого режима? — пошучивал актер, усердно срывая перерезанные веревки с тюка. — Не про эту ли полицейскую посылочку дедушка Крылов стихами говорил:

И бережет мешок он так,
Что на него никак
Ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет?..

— Про нее, про нее! — смеялась шутке Ириша. — Ох, смотрите, да здесь как будто все по порядку? — вытаскивала одну папку за другой. — Держите: № 0 072 041... № 0 072 042... 0 072 043... — диктовала Ириша, передавая департаментские «дела» актеру. — Кладите на пол, — потом их перевяжем.

Но, как и остальные в этой комнате, и она и актер, движимые любопытством, заглядывали в «дела», и почти каждое из них представлялось им самым увлекательным романом. Казалось: запереться бы здесь на целый месяц и читать, читать, читать!.. Но разве это возможно сейчас?

— Товарищ, живей, живей! — подгоняла Ириша актера, и он с видимым сожалением откладывал в сторону папку и тут же принимался за другую.

Вскоре номера «дел» пошли вразброд, да и обложки их оказались разных цветов и неодинаковых форматов: «дела», очевидно, были взяты не из одного места.

— Вот вам и порядок! — сетовал актер, но каждая новая папка возбуждала в нем все тот же жадный интерес, и заставить этого человека работать побыстрее было уже очень трудно.

Он выделялся здесь среди всех: узкий, долговязый человек во фракном костюме, в накрахмаленной, но посеревшей от грязи манишке, в белом галстуке и с низким стоячим воротничком — на два размера большим, чем требовала того худая и жилистая длинная шея, затылок и затылочную часть головы, заросшую седеющими волосами. Актер, уйдя четыре дня назад вечером со спектакля, не возвращался, по его словам, с тех пор домой, отдав себя революции. Сейчас он напоминал своим видом общипанного петуха.

И этот «петух», роясь в бумагах охранки, нашел вдруг «жемчужное зерно»: это была лежавшая в отдельном конверте новейшая «Инструкция по организации и ведению внутренней охраны». На первом листе ее стоял гриф министра внутренних дел Протопопова.

Это была находка, которой нельзя уже было не поделиться со всеми.

— Читайте, читайте! — бросили свои дела все присутствующие в обеих комнатах и окружили плотным кольцом актера.

Он улыбался, он был доволен: ни один спектакль в его жизни не приносил ему столько трепетного внимания! И, пожалуй, ни разу в жизни он так выразительно не декламировал и так долго не владел этим вниманием. И ни одному автору, драматургу он не был столь обязан своим успехом, как этому неизвестному «литератору» из русского охранного отделения!

— Тишина! Занавес! Свет на сцену! Убрать свет в зале! — актерствовал он. — Я прочту вам монолог его превосходительства господина начальника охраны. «Что есть мои верные агенты и откуда они берутся?» Внимание, непосвященные! Начинаем! «Лица, состоящие членами преступных сообществ и входящие в местный состав агентуры, называются агентами внутреннего наблюдения или «секретными сотрудниками». Лица, доставляющие сведения хотя бы и постоянно, но за плату за каждое отдельное свое указание на то или иное революционное предприятие, называются «штучниками»...» Слышали, товарищи: «штучники»! Эдакие кустари-шпионы... «В правильно поставленном деле «штучники» — явление ненормальное, и вообще они нежелательны, так как, не обладая положительными качествами «сотрудников», они быстро становятся дорогим и излишним бременем для секретных органов...» Пошли дальше, друзья мои... «Необходимо помнить, что сотрудники, дававшие сведения и не тронутые «ликвидацией», рискуют провалиться и, таким образом, стать совершенно бесполезными. В случае провала они находятся под постоянным страхом мести. Во избежание провала многие из них согласны, чтобы их включать в «ликвидацию» и тем дать им возможность нести наравне с товарищами судебную ответственность, но при условии сохранения за ними права на получение жалования за все время судебного процесса и отбывания наказания. Таким путем не только можно предупредить их провал, но и возможно еще более усилить к ним доверие со стороны партийных деятелей, благодаря чему в дальнейшем они будут в состоянии оказать делу розыска крупные услуги.

Сотрудники, стоящие в низах организации, постепенно могут быть выдвигаемы путем последовательного ареста более сильных окружающих их работников.

...Свидания с секретным сотрудником, уже достаточно заслуживающим доверия, должны происходить в конспиративной квартире. Последняя должна быть расположена в частях города, наименее населенных революционными деятелями. Квартира должна состоять из нескольких комнат, так расположенных, чтобы было возможно разделять в них случайно сошедшихся нескольких сотрудников без встречи их между собой. У хозяина конспиративной квартиры не должны бывать гости и вообще частные посетители». Амины! — протрубил ттец.

— Наука!.. — первым отозвался моложавый низенький человек, когда актер закончил чтение документа. — Чистая наука... — за-

думчиво сказал он. — Ну скажи, пожалуйста, как все это расписано, что и как, значит, делаты!

— А вы думали? — победоносно смотрел на него актер, словно к нему относилась эта похвала. — Легко, думаете? — вытирал он клетчатым платочком свои потрескавшиеся синеватые губы.

— Академия целая! — шутили по сторонам, возвращаясь к своим углам, столам, стульям — продолжать работу.

— Про эти подлости можно было и раньше догадываться настоящему революционеру! — желчно напустилась почему-то на молчаливого низенького человека какая-то стриженная толстуха в пенсне. — А еще рабочий как будто!

— Да я ничего... Что вы в самом деле? Одно слово сказал, а вы... ровно вас дышлом бахнули! — не то оправдывался, не то сердился тот.

На его курносом широком лице с васильковыми, постреливающими в разные стороны глазами растеряннo блуждала косая улыбка.

Через некоторое время она сменилась веселым, захлебывающимся смешком: здесь каждый теперь старался объявить о своей замечательной какой-нибудь находке, — вот и он торжествующе показывал свою!

Это было «строго секретное» описание способов перлюстрации корреспонденции, которая особо интересовала «черный кабинет» охраны. А делалось, оказывается, это так.

Специальными костяными или стеклянными стилетами вскрывались углы конвертов, вынимались письма, снимались копии, осторожно вкладывались обратно и так заклеивались, чтобы очертания почтовых печатей и марки были нерушимы. Более сложным было вскрытие писем и пакетов с сургучными печатями. Для этой цели специалистами из охраны рекомендовались тоненькие деревянные палочки немецкой фирмы «Мюллер». Палочки имели на конце тончайшую расщелину. Палочка просовывалась в углы конверта так, чтобы письмо попало в расщелину, затем оно осторожно наворачивалось и вынималось вместе с палочкой. Требовалось большое искусство для обратного заделывания прочитанного письма, которое снова наворачивалось на палочку, просовывалось в конверт и там раскручивалось, очевидно, столь ловко, что не должно было оставаться никаких следов перлюстрации.

— Наука! — умиленно повторял обладатель находки и совал ее под нос толстухе в пенсне.

— Все можно было предположить! — упорствовала та.

Следом за актером и молодым курносеньким человеком с захлебывающимся голосом стали и другие демонстрировать свои находки. Кто-то под общий смех огласил содержание разграфленного листка, забранного в числе прочих бумаг на дому у начальника охраны генерал-майора Глобусова. «Сочинение» генерал-майора было нечто вроде афиши-отчета о скачках, но вместо лошадей фигурировали деятели империи.

Вот как забавлялся всем известный страж ее в тиши своей квартиры:

«Толстяк» (б. мин. вн. дел Хвостов). Густой караковый жеребец Орловского завода, от «Губернатора» и «Думы». Камзол и рукава черные.

«Подхалим» (его тов. мин. Белецкий). Без аттестата, от «Хама» и «Подлизы».

Скачку вел все время «Толстяк», но «Подхалим» на середине круга рискованным броском хотел выдвинуться и неудачно прижал «Толстяка», который завалился и должен был съехать с дорожки.

Гандикап для лошадей всех возрастов!

Представляет большой интерес по записи лошадей!

Некоторые из них никогда не скакали!

Кроме приза — еще шефские бесконтрольные суммы!

«Думский любимец» (Кривошеин). Серый жеребец завода Столыпина, от «Чinovника» и «Конституции». Камзол зеленый, рукава красные, через плечо лента с надписью: «Закон 3-го июня».

«Каин» (Щегловитов). Густой вороной жеребец завода Пободоносцева, от «Правого» и «Монархии». Камзол черный.

«Дурак Второй» (Маклаков). Пегий жеребец с проплешинами, завода Нарышкиной, от «Дурака Первого» и «Интриги». Камзол цветов Союза Русского Народа.

«Горилла» (Трепов). Гнедой жеребец завода Столыпина, от «Неудачника» и «Пролазы». Камзол в клетку, рукава белые.

«Первач» (Штюмер). Рыжий жеребец завода Распутина, от «Немца» и «Царицы». Камзол черный, рукава в золоте.

«Маньяк» (Протопопов). Соловый жеребец завода Родзянко, от «Купца» и «Болтовни». Камзол неопределенного цвета.

Погода слякотная, круг тяжелый, испорченный предшествовавшей скачкой. Игра оживленная. Фавориты — «Думский любимец» и «Первач». От старта пошли кучно. Впереди «Каин», на хвосте у него в сильном посыле «Горилла». Неожиданно выдвигается «Дурак Второй», но скоро выдыхается. На повороте «Каин» и «Первач» сдают. В большом посыле под хлыстом «Горилла», но перед выходом на прямую настигнут «Маньяком», который и кончает впереди, показав отличную резвость».

Это была злая история русских министерств за последние два года, составленная одним из самых страшных слуг империи.

В той же папке личных бумаг генерал-майора Глобусова нашли сочиненный им «Акафист Григорию Распутину», аккуратно переписанный на пишущей машинке.

Покуда его оглашали для самоувеселения (все тот же долговязый актер читал его речитативом), Ириша, не слушая, была занята своим делом. Ее внимание привлекла очередная синяя папка под легко запоминающимся номером — № 11 111. Папка была той и заведена была на «вспомогательного сотрудника» петро-

градского охранного отделения, фигурировавшего под кличкой «Петушок».

Из первых же листков «дела» Ириша узнала, что сей «Петушок», вовлеченный в агентуру последней осенью из среды «штурмиков», освещал подпольную деятельность знакомых ему социал-демократов большевиков, получая двадцать рублей ежемесячно. Следующий лист «дела» свидетельствовал, что означенным «Петушком» сообщены охранке «ценные сведения» о приведенном к нему на квартиру «нелегальном под фамилией и именем Кудрик, Леонтий Иосифович», поддерживавшем связь с разыскиваемым ленинцем Андреем Громовым.

Достаточно было Ирише толкнуться на эту фамилию, чтобы уже не выпускать из рук синюю папку!

Страница за страницей — и глаза ее прочли дорогое, близкое имя любимого человека... Это было так неожиданно, что она вскрикнула, но в общем шуме никто не обратил на нее внимания.

Она вчитывалась в каждую строчку неизвестного ей провокатора, предавшего Сергея и его товарищей в памятную декабрьскую ночь, разлучившую ее с любимым, и быстрые, несдерживаемые слезы побежали из глаз коротким ручейком по ее лицу. Слезы пережитого страха, жалости, огорчения и в то же время — душившей ее радости: боже, как хорошо, что Сергей уже на воле и сейчас ничто ему не может угрожать!

Она знала теперь больше, чем Сергей, чем все, — она была теперь обладательницей тайны провала альтшуллеровской типографии. В своем донесении человек под кличкой «Петушок» писал:

«... Повстречавшись со мной в трактирчике «Гигиена», тот самый Громов стал жаловаться, что был, конечно, среди товарищей кто-то такой осведомитель властей, по какой причине произошло все с партийной газетой. Как помнил я ваш совет, ваше высокоблагородие, что если так будут говорить мне товарищи или даже подозрение имеют на меня, то я сказал ему, что, может, никакого осведомителя и нет, а вышло так несчастливо, потому именно в ту самую ночь, когда печатали газету, приключилось почти что рядом убийство Гриши Распутина и что, значит, полиция тогда кругом имела наблюдение. Вроде обложила медведя, сказал я, а поймали волка. На такие мои слова Громов сказал: все возможно, конечно, есть между товарищей, которые это признают, что несчастный случай такой в совпадении, и выругал матерным словом того Гришу Распутина, но только, говорит, должен не без причины также быть в том деле осведомитель властей. Как он доверие ко мне, Громов, много имеет, семью мою знает, то еще сказал, что подозрение имеют они, партийные, на одного «жирного» по причине слежки раньше за ликвидированным Кудриком — Ваулиным, но кто «жирный» есть, не сказал».

Читая, Ириша старалась запомнить каждое слово: казалось страшным, непрослительным что-либо забыть.

— А вы почему про Распутина не слушали? — спросил ее подошедший актер. — Из скромности?

— Да нет... устала как-то,— деланно вялым голосом ответила она, пряча за спину синюю папку.

— Я тоже чертовски!.. Есть хочу... А вы?

— Пожалуй...

— Где-то здесь рядом буфет. Пошли?

— Идите. Я сейчас приду.

— Я займу вам место.

— Да, да... спасибо.

— Вы чем-то расстроены?

— Говорю вам: устала!.. Надо подкрепиться на самом деле. Займите мне место.

— Ну конечно. Заметили эту толстую фельдшерицу?

— Она фельдшерица?

— Да. Вот та — в пенсне.

— Она, кажется, все предвидит?— улыбнулась Ириша.

— Вот именно!

— И скачки, и акафист начальника охраны?

— Это еще что! Ей дурно стало.

— Почему?

— Наткнулась на одно «дельце». Ее деверь — провокатор. «А это вы предвидели?» — спросили мы ее. Ну так, значит, придете? Жду! Актер пошел к двери.

Прежде чем последовать за ним, Ириша решила спрятать драгоценную папку. Но каждое место казалось ей недостаточно сохранным, и она блуждала по обеим комнатам, приглядываясь к углам и уголочкам. Люди у столов, согнувшись над стульями, присев на корточках на полу, возились с тысячами бумаг. Она останавливалась возле них, наблюдая присутствующих, занятых своим делом.

Она не доверяла себе самой: спрячешь,— а может, неудачно?

В раздумье стояла она, не зная, как поступить. Синяя мягкая папка, сложенная вдвое, лежала в ее муфте, в которую Ириша продела обе руки.

— Да неужто холодно вам, товарищ?— заметив эту позу, участливо обратился к Ирише занятый бумагами на подоконнике молодой курносенький рабочий с постреливающими по сторонам васьковскими глазами.

— Нет, так...— смутилась она, не зная, что сказать.

— Лицо у вас в горячке, вижу. Не захватить бы болезнь какую?

— О, что вы?! — тронуло ее это участие.

Васьковские глаза вдруг стали озабоченными, грустными.

— Жена у меня, простите, в беременности какой месяц... так тоже сильно жалуется на хворость.

— Я не жалуюсь, я здорова, товарищ. Спасибо вам...

— А я думал: помощь, может? Если что — порошки достану?

Он говорил с ней и в то же время не прекращал своей работы, как будто и впрямь был на службе, за которую ему платил хозяин: быстро пробегал глазами название «дела», не просматривая папки, откладывал ее в сторону — каждую под цвет. Он рассортировывал

«дела» охраны, безучастно откладывая для других «архивариусов» бумаги жандармского управления, валявшиеся тут же.

У него было симпатичное, вызывающее доверие лицо доброго русского парня,— Ириша неодобрительно вспомнила в ту минуту мясистую фельдшерицу в пенсне, беспричинно час назад взвешившая на этого молодого человека.

— Послушайте, товарищ... У меня к вам просьба,— решила она вдруг.

— В аккурат сделаю... пожалуйста! — внимательно и предупредительно посмотрел он на нее.

— Вы ведь не собираетесь сейчас уходить?

— Нет.

— А мне нужно на четверть часа. Вот там в углу мы с тем длинным артистом разбираем...

— Чтобы никто другой не трогал?

— Да, да, посмотрите, пожалуйста.

— Будет в аккурат!

— Спасибо. И вот вам моя муфта,— положила Ириша ее на подоконник, за кипой бумаг.— Поберегите ее, а то в буфете мне неудобно... могу забыть там по рассеянности. Посмотрите за ней?

— О чем беспокоитесь? В целости будет.

— Принести вам бутерброды? — предложила она в благодарность.

— Не откажусь, если что...

— Принесу!

В дверях она обернулась: страж ее муфты все так же сосредоточенно и быстро продолжал работу.

Через полчаса она возвратилась вместе с актером, неся из буфета «подкрепление» своему участливому товарищу.

— Вот и мы! И даже с печеньем!

Тот, к кому она обращалась, отсутствовал.

— Э, давайте печенье! — отозвался кто-то другой и протянул за ним руку.

Ириша оттолкнула незваного просителя, ища глазами курносенького молодого рабочего. Его не было у подоконника. Она подбежала туда и первым делом просунула руку за плотную стопку папок, где должна была лежать ее муфта.

«Фу, слава богу!» — муфта была на месте!

Она схватила ее и сразу же, по весу ее, прежде чем продеть в нее руку, поняла, что из нее вытащена драгоценная синяя папка вместе с ее, Иришиным, носовым платочком... Так оно и было.

— Что с вами? — недоумевал актер, увидев как она болезненно побледнела.

— Сейчас... сейчас,— бормотала она, бросаясь в смежную комнату.

Но и там не было того, кого она искала.

Она возвратилась, выскочила за дверь — к часовому.

— Товарищ, никто не выходил отсюда?

— Вышедши. Вы сами, барышня, выходили.

— Но я пришла обратно!

- Понимаю.
- После меня выходил кто-нибудь? Низенький такой... круглолицый товарищ?
- Он.
- Ушел, значит? Давно?
- Минут, думаю, все двадцать будет.

Рыжебородый часовой, сидя на кожаном кресле, откуда-то приташенном, чистил, выстругивал вытащенную из кармана шинели грязную солдатскую ложку.

Глава восьмая

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ ФЕДИ КАЛМЫКОВА

Напротив университета св. Владимира уже целый год стоял высокий деревянный забор, огородивший место для какой-то постройки. Но ничего здесь почему-то не строилось, и прохожие привыкли к этой длинной, обезобразившей улицу изгороди и, пожалуй, забыли уже, что за место загородила она от взоров пешеходов.

Ранним утром 2 марта главный начальник военного округа генерал-лейтенант Ходорович разместил на огороженном забором пустыре казачью сотню, а поодаль от нее, в музее цесаревича Алексея, — роту солдат одного из киевских полков. Такие же войсковые заслоны были выставлены на Печерске, Подоле, Демиевке, Соломенке, — в разных концах города.

В штабе Ходоровича Киев уподобился шахматной доске, на которой каждая клетка могла быть в любую минуту под боем. Но бой не состоялся, шахматная партия не смогла начаться: вдруг оказалось, что у верноподданного генерал-лейтенанта не хватало одной фигуры — короля. Он стоял еще на доске, но уже за чертой ее квадрата: специальный телеграфный провод доставил в штаб копии депеш, в которых командующие фронтами советовали царю отречение.

Это было равносильно проигрышу, и генерал-лейтенант Ходорович, уже никуда не двигая, оставил на поле в бездействии ферзя — самого себя. Он вызвал к себе лидеров земства и городской думы, купцов, адвокатов, профессоров учебных заведений, промышленников и чиновников и разрешил им образовать Общественный комитет. И — растерянный — забыл тогда распорядиться многочисленными воинскими заслонами и пикетами.

Тогда же, 2 марта, Федя Калмыков, входя в университетский подъезд и случайно обернувшись, увидел казачий патруль. Казаки выехали из-за забора и с места во весь опор помчались вниз по Владимирской. Через час-другой и вся сотня покинула огороженный пустырь, но этого Федя Калмыков уже не видел.

Он стоял в дверях двенадцатой аудитории — самой большой в университете, до отказа наполненной теперь студентами и курсистками, — и слушал речи товарищей.

Вблизи себя он заметил рослого, саженного «педея» — лысого, с окладистой черной бородой. Этот университетский охран-

ник был известен тем, что он мог держать в своей памяти лица всех участников любой многолюдной сходки и, если не знал каждого по фамилии, мог безошибочно выдать полиции любого участника, ткнув в него пальцем: «Этот, ваше благородие, резолюцию писал, а этот голоса считал».

— Ай-ай, что же это они делают, господин Калмыков? — неожиданно обратился он к Феде тихим, предостерегающим голосом. — Да за такое дело! На самих же себя пенять придется, особенно — инородцам. Ай-ай, кабы слышал такие речи господин ректор!

— Достаточно и вас одного! — огрызнулся Федя. — Бегите зовите полицию!

— Сама придет. Мне что? Разве можно так, господин Калмыков, в императорском университете?

— Гнать вас отсюда! — ненавидящим взглядом смерил его Федя.

На кафедре грузин-красавец Ковадзе, медик третьего курса, метал гром и молнии против петербургского царя, русской монархии и жестокого правительства. Фуражкой, лежавшей тут же, на кафедре, он размахивал так, что казалось — вот-вот он запустит ею в кого-нибудь из слушателей.

— ...И довольно, я говорю, товарищи, митинга! Довольно митинга и довольно молчания. Довольно бездействия — вот что я говорю! Не надо прятать своих убеждений, своих сил, своей революционной энергии. Наш замечательный грузинский поэт Руставели говорил: что ты спрятал, говорил он, то пропало, что ты отдал — то твое. Не будем прятать своих сил, отдадим их революции, товарищи. Отдай — и она будет твоей! Твоей, русский! Твоей, грузин! — восклицал студент под гром рукоплесканий. — Твоей, поляк, будет революция!.. Мы, грузины социал-демократы, и наши товарищи русские, поляки, евреи предлагаем: не занятия теперь, а — в народ! К рабочим, к солдатам — все вместе под красное знамя! Митинг — на улицы, на заводы, в казармы!.. Студенчество должно иметь свою организацию, свой центр. Мы, социал-демократы, предлагаем организовать коалиционный совет студентов всех учебных заведений. Из кого совет? Из собраний всех старостатов всех факультетов.

— Верно! — загудела сходка.

— Предлагаю всем старостатам собраться сейчас в девятой аудитории, — распоряжался все тот же Ковадзе.

Вихри враждебные веют над нами, —

начал песню чей-то звонкий, приятный голос, и сотни горячих голосов подхватили ее, разнося по длинному университетскому коридору.

— Пожалуйста в девятую, господин Калмыков. Вы же в старостате — ближе, значит, к тюрьме!

Чернобородый «педель»-великан, зло усмехаясь, неторопливо отошел от двери.

Федя догнал его.

— Ключи!

— А вы, господа бунтовщики, двери ломайте. Почему не ломать?

— Шпик проклятый! Ключи!..

— Выкуси!

Нужно было подпрыгнуть, чтобы ударить по лицу саженного «педеля», — и Федя в ярости, уже не распорядившись своими поступками, ударил его по щеке. Ударил — ожидая такого же ответа.

— Товарищи, хватай педеля! — бежали со всех сторон на помощь Калмыкову.

Но «педель» стоял на одном месте без движения, и только широкие плечи его вытягивались вверх и грузно опускались: он тяжело дышал.

— А за это вам четыре года каторжных работ будет, — вдруг сказал он своим обычным тихим голосом.

Он вынул из кармана связку пронумерованных ключей от аудиторий и бросил ее на пол.

— Увидимся, господин Калмыков! — зажал он в кулаке свою степенную бороду и отошел прочь, не оглядываясь.

— Ладно... — Федя поправил на голове съехавшую фуражку.

Кто-то прикоснулся к его локтю:

— Эсеровский поступок, Калмыков...

— А-а, это вы?

— Я не ожидал от вас. Право, не ожидал, коллега. Террор какой-то... да и против кого?

— Ударить по морде негодяя — это не террор...

— Это никуда не годится.

— Не извольте за меня беспокоиться, коллега Стронский.

— Я не беспокоюсь. Я сожалею, Калмыков.

— И сожалений не требуется... кадетских! — вспыхнул Федя.

— Вот оно что? Главное — кадетских?

— Главное!

— Не совсем умно, коллега Калмыков.

— Но и не так уж глупо и неверно, Стронский!.. Я ударил охранника, шпика... Он оскорбил меня и провоцировал на скандал.

— Можно было потребовать через проректора...

— Скажите пожалуйста, какая законность! Таковы ли времена, Стронский?

— А почему бы и нет? А по-вашему, чего требует от всех нас Государственная дума сейчас?

— Это мало меня занимало!

— Ну, зачем вы глупите, Калмыков? Ведь все это из упрямства.

— Извольте: прежде всего надо убрать к чертовой матери царя и весь его режим кандалный.

— Допустим.

— Да чего там — «допустим»? Убрать, значит — убрать! Метлой в помойную яму.

— Простите, коллега: базарная фразеология...

— Полегче, полегче, Стронский!

— Ну, уличная...

— А по-вашему, Стронский, чего народ хочет?

— Не всякое желание разумно. Не так живи, как хочется, а так живи, как можно.

— ...и как ваш Милюков велит,— так, что ли?

— Павел Николаевич Милюков — лучший мозг русской интеллигенции. Как вам не стыдно, Калмыков!

— Ни малейшего стыда!

— Тем хуже. Ему доверяет вся Россия.

— А вы ее спрашивали?

— Слушайте, Калмыков, вы... вы неприятный демагог!

— Я не демагог, а демократ. Социалист — вот что.

— Социал-демократ или эсер? — заинтересовался Стронский.

— А вам какое дело? — едва подавил свое смущение Федя.

— Ну, знаете, тоже ответ! Грубо!

— Я социалист. А ваш Милюков... — приостановился Федя у двери в девятую аудиторию.

— Ну, что Милюков? Только без хамства, пожалуйста...

— Полегче, Стронский! Ваш Милюков, дайте ему только волю, из пулеметов станет расстреливать русских рабочих, — зло и теперь убежденно повторил Федя когда-то услышанную фразу Алеши Русова.

Ему неприятен был Стронский, — еще и поэтому он так озлобленно говорил о Милюкове.

— Вы просто, оказывается, оголтелый максималист, господин Калмыков!.. Да Милюков будет главное лицо в правительстве, — вот увидите.

— Не сомневаюсь. Хоть трижды главное. Что же из этого?

— Как «что»?

— Буржуазный идеолог!

— Простите, коллега, но боюсь, что все вы... действительно какие-то...

— Ну-с?

— Какие-то якобинцы! Не русское явление.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы не так глупы, чтобы не понять меня! — прошел вперед по коридору Стронский, прекращая разговор.

— Послушайте! — крикнул ему вслед Федя. — Я вас презираю. Сбейте свои лакейские бачки и перестаньте напояивать свою дегенеративную дворянскую голову... вас и так принимают за болоподкладочника!

Он хотел еще что-то обидное крикнуть затянутому в мундир студенту, но сдержался и только в душе выругал того «скотиной».

В тот же день вместе с другими студентами, вместе с какими-то неизвестными прапорщиками, солдатами, рабочими он ездил в какие-то казармы, в мастерские, на Демиевский гвоздильный завод (там он узнал, что это завод Георгия Карабаева), в полицейский участок на окраине города.

Он слушал речи других и сам произносил их, выступая от имени Коалиционного студенческого совета. Ему кричали в ответ:

— Да здравствует свобода! Да здравствуют студенты! — И он тогда, в знак союза и дружбы, целовался с революционерами-прапорщиками, солдатами, рабочими и работницами и, опьяненный новой, впервые в жизни познанной радостью, кричал всюду: «Да здравствует республика!» — и конечно же он был искренен как никогда.

— Товарищ студент, вы наш? Эсер? — целуясь, спрашивал его какой-нибудь очередной прапорщик из агрономов или народных учителей, — и Федя не возражал, когда его называли эсером.

В другом месте, во время выступления на митинге в большой типографии, он услышал, как хвалил его за «правильные, марксистские слова» седенький рабочий в очках и, стоя рядом на импровизированной трибуне, настойчиво подсказывал-напоминал ему:

— Ура социал-демократам, слышь? Ура социал-демократам, не промажь! — И Федя, не чувствуя никакой душевной неловкости и разлада, закончил свою речь здравицей в честь РСДРП.

Он жил сердцем — ликующим, порывистым, любовно отданным долгожданной революции. «*Rara temporum felicitas...*» — стучащими колесиками бежала часто и долго в мозгу припомнившаяся почему-то теперь латинская фраза о счастье: она осталась в памяти еще с гимназической скамьи.

И когда трясло его, с митинга на митинг, на жесткой солдатской повозке, перевозившей из одной казармы в другую, он, как заклинание, повторял вполголоса эти непонятные его спутникам слова. Вознице, очевидно, казалось, что студент чем-то захворал вдруг и потому заговаривается.

— Горишь? — участливо спрашивал он. — В околоток, может?

— Горю! — весело вскакивал на повозке Федя. — Гори и ты, товарищ!.. Какое редкое, счастливое время, брат, когда позволено чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь! — переводил он латынь на русский язык.

— А воевать теперича будем? Или как? — оборачивался солдат-возница к своим седокам.

Признаться, в те часы Федя об этом не думал. И он не знал, как отвечать на такой вопрос. Старался не отвечать, отделялся бодрой фразой. Еще и потому, что хотелось ведь думать только о радостном и ясном, безоблачном, — ничем не омрачать себя.

...В участках шло разоружение городских. Но так случилось каждый раз, что, прибегая туда с товарищами, Федя опаздывал, поспевал, как говорится, к шапочному разбору: все уже было сделано другими.

Городовые, сбившись в кучку, стояли, окруженные толпой, распоряжавшейся полицейским имуществом. Они исподлбоя косили взгляды на «бунтовщиков»: одни — с затаенной злобой, другие — с явным страхом, третьи — с любопытством и растерянностью.

И никто точно не знал в первые часы, как следует поступать с этими пленниками фараонами. Никто из них не оказывал сопротивления. Их стерегли тут же, в участке, стерегли много часов подряд в надежде, что «кто-то» же в конце концов вспомнит о них и распорядится их судьбой. Этим «кто-то» мог быть Общественный комитет, собравшийся в городской думе, или Совет рабочих депутатов. Но есть ли Совет и где он — никто пока не знал.

И тогда вдруг оказалось, что заботу о городе взял на себя Коллегиальный студенческий совет. Две тысячи медиков, филологов, математиков, политехников, вооруженных винтовками и револьверами, оснащенных полицейскими башлыками и свистками, рассыпались по всему Киеву, заняв посты городских. Эту «милицию с высшим образованием», как шутили здесь, назавтра принял в свое ведение известный в городе адвокат Колачевский, сменивший арестованного полицеймейстера Горностаева.

Федя присутствовал при этом аресте и даже принимал в нем участие.

Полицеймейстер подъехал на санках к Думе, где помещался Общественный комитет. Он торопливо отвернул медвежью полость и, придерживая рукой длинную шашку в серебристых ножнах, втянув голову в плечи, засеменил, не глядя ни на кого, в думский вестибюль.

Толпившиеся у Думы его тотчас же узнали: «Горностаев? Ишь ты!» — и побежали вслед за ним.

Низенький, коротконогий, толстенький, с розовым лицом хомья, покрытым теперь багровыми пятнами, Горностаев стремительно подымался по лестнице, он шагал через две ступеньки, но делал это только с правой ноги, приставляя к ней левую: он двигался смешливыми резкими бросками автоматической куклы.

Его настигли прежде, чем он дошел до площадки второго этажа, где стоял в это время Федя. Толкнули свою жертву, но все еще нерешительно загораживая ей путь.

— Ну-с, чего, братцы? — ласково сказал Горностаев, заноса ногу на следующую ступень. — По делам хотите?.. Занят, занят сейчас, братцы! Все уладим, родимые, к общему благополучию.

Кто-то озорным взмахом руки сбил с его головы меховую темную кубанку.

— Шапки долой! — подражая обычному полицейскому окрику, выкрикнул чей-то голос.

Горностаев прикрыл руками свою голую, гладко выбритую голову:

— Да что вы, братцы?!

Он побоялся нагнуться за шапкой, ожидая удара.

— Руки вверх! — приказали ему и схватили за ворот сероголубой шинели.

Он шел, окруженный толпой возбужденных людей, среди которых Федя увидел старшего Русова.

Вадим в высоко поднятой руке нес полицеймейстерскую кубанку. Он пробивался вперед, с каждым шагом стараясь на ходу

нахлобучить шапку на голову ее обескураженного владельца, но его альтруистическим чувствам не дано было увенчаться успехом: рупе никак не дотянуться было до горностаевской головы.

— Вадим! Вадим! — окликнул его Калмыков. — Вали сюда!

Они оба очутились спустя минуту в одной из комнат управы, куда привели арестованного киевского полицеймейстера.

И к ним обоим, выбрав глазом из всей толпы, жалобно обратился теперь Горностаев:

— Господа студенты... господа студенты! Что же это такое?.. Это же недоразумение, коллеги! А?.. Господа студенты, вы же не можете сказать, что я плохо относился к учащейся молодежи? А?.. Я всегда... всегда шел навстречу, господа студенты!

— Ишь запел лазаря, кабан царский! — еще крепче того выругался какой-то мастеровой с гневными косыми глазами и глубоким шрамом во весь подбородок. — «Коллеги... господа студенты...» — удивительно удачно имитируя резкий тенорок Горностаева, передразнивал он его. — А «господ рабочих» — нагайками да горячими? Шкуру с тебя, кабан царский!

— Да что ему верите! Не верьте, товарищи! — вскипел Вадим Русов. — Немало он нашего брата, студентов... Именем революции и народа — вы арестованы, господин Горностаев!

— Мне уже объявлено, господин студент... Пусть так, пусть так, коллеги... Но за что, коллеги?

— Довольно скулить!.. Оружие!

— Слушаюсь. Но позвольте руки опустить?

— Не смей!

— Но как же, господа?

— А вот так!

Федя кинулся к полицеймейстеру и стал обыскивать его карманы.

Изю рта Горностаева шел горячий дурной запах ежеминутной отрыжки. Короткая и широкая, налитая жиром шея в мясистых складках покрылась крупными каплями пота. Он стекал ручейками. Было до того противно, что хотелось не платком, а горностаевской же кубанкой вытереть эту жирную влажную шею, закрыть шапкой зловонный рот...

Обезоруженного полицеймейстера повели в зал Общественного комитета, представители которого уже бежали навстречу предотвратить «самосуд» толпы. Пленник увидел знакомых людей и заплакал слезами благодарности.

— Пойдем, Вадим. Делать тут нечего.

Федя спрятал в карман отобранный у Горностаева маленький браунинг в замшевом чехле и протянул своему другу «бульдог», полученный час назад в полицейском участке.

— Не требуется, Федя. Уже имею.

Федя отыскал мастерового с косыми глазами и отдал ему револьвер.

— Мне бы из пушки по сволочи стрелять! — принимая «бульдог», зло и радостно сказал мастеровой.

- Не придется уже из пушки, товарищ!
- Воробы, считаете? Ой ли,— коршуны!

Заночевать в тот день пришлось не у себя, на Тарасовской, а в помещении врага. Во главе маленького отряда вооруженных студентов глубоким вечером Федя Калмыков подошел к домику на пустынной Сенной площади. На улице было темно, ни одного фонаря.

Звонка не было,— пришлось стучать в парадную дверь. Сначала — кулаком, а потом и прикладом винтовки. Это подействовало.

— Господи, кто это там? — донесся из-за двери женский испуганный голос.

- Давай, давай. Откройте! — выкрикивали студенты.
- Господи, святой боже, сколько вас там? Что надо?

Проскрежетал туго отодвигаемый дверной засов, два раза повернули в замочной скважине ключ,— и Федя нетерпеливо толкнул послушную теперь дверь.

— Именем революции объявляю вам...

Он замялся, не зная, что сказать.

Перед студентами стояла пожилая, лет за сорок, серолицая невзрачная женщина в валенках и суконном мужском пальто с облезлым бараньим воротником. В руке она держала свечку,— стеарин каплями сбегал на огрубевшие короткие пальцы.

- Вы кто такая? — спросил Федя.
- Сторожиха, паныч. Живу тут. В услужении.
- Кто-нибудь есть тут сейчас?
- А разве в такой час находятся? — ответила она вопросом на вопрос.

— Товарищи! Занять помещение, обыскать все! — распоряжался Федя.— Зажгите свет, сторожиха!

Через несколько минут товарищи привели к нему под конвоем полуодетого мужа сторожихи. Он снял с жены свое пальто и надел его на себя. Раздутаая флюсом щека была повязана черным засаленным платком.

- Ваше занятие?
- Рабочий я тут.
- Какой рабочий?
- Известно какой — в типографии служу.
- Фамилия?
- Обыкновенная, господа, фамилия,— малый интерес вам...

А вы кто будете?

- Фамилия?! — прикрикнули на него.
- Ну, Иванов... пожалуйста, пожалуйста,— стало угрюмо и без того постное, сумрачное лицо его.
- Почему здесь живете? — вел Федя вопрос.
- А где-то жить человеку надо, господин студент? Или как, по-вашему?
- Так не отвечают честные пролетарии!
- Да уж как умею...

— Шельма! — выругался один из студентов, маленький быстроглазый медик Лурс, и погрозил кулаком. — Монархист, погромщик, наверно?

В этом одноэтажном домике помещалась редакция и типография черносотенной газетки «Двуглавый орел», основанной известным в Киеве студентом Голубевым. Его портрет — остролицего, голубоглазого и румяного молодого человека с приглаженными набок русыми волосами — висел напротив царского портрета. Оба они были сброшены на пол и вмиг изорваны Федей и его товарищами.

Нашли приправленные к печати две полосы газетки, очевидно вчера только составленные. Как всегда в этом листке, газета «Киевская мысль» именовалась «Киевская мыква», как всегда, в разлуке и в поражениях русских армий повинны были «жиды-лапсердачки», и, как всегда, верно подданные черносотенцы с Сеного рынка и Бессарабки призывались к учинению резни революционеров и «жидомасонов».

Все это было не новостью, все это было очень скучно, и Федя пожалел, что приходится тратить время на такое никудышное занятие, каким представлялся ему обыск в грязной маленькой редакции навеки скончавшегося погромного листка.

Все, что можно было выяснить, было выяснено. Зеленоглазый с флюсом Иванов оказался метранпажем типографии, членом «Союза русского народа» и конечно же должен был служить в киевской охране. Утром его надо будет препроводить в Общественный комитет, пусть там разберутся. А куда его объявили арестованным и у дверей его комнаты поставили часовым медика Лурса.

Ночь не предвещала ничего исключительного и важного, бездействие облегчило победу усталости, — и Федя прикорнул в конторской комнате на столе.

Был четвертый час ночи, когда он проснулся от неожиданной встряски:

— Калмыков, Калмыков, вставайте... Ну, вставайте же, я вам говорю! Это я, Лурс.

Федя вскочил. В темноте он с трудом различал лицо товарища.

— В чем дело, Лурс.

— По черному ходу стучат!

— Стучат?... Где наши?

— Надо будить. Я к вам прибежал...

— Будите!

— А дверь будем открывать?

— Конечно! Только не производите шума!

— Где тут выключатель? Ух, черт!..

— Не надо, Лурс, окно конторы во двор...

— Ну, так что?

— Прошу меня слушаться! — зашипел на него Федя. — Будите... и ступайте немедленно на свой пост!..

— Какой командир нашелся... видали? — буркнул одобрительно студент и, спотыкаясь в темноте, побрел будить товарищей.

Все вместе пробрались в кухню, прислушались. Стук в дверь настойчиво повторился.

— Открывать? — шепотом советовались студенты.

— Позовите хозяина! — распоряжался Федя.

Привели метранпажа; он был в пальто, шапке, сапогах.

— Спросите кто. Потом откройте.

Федя положил ему руку на плечо и вместе с ним вышел в сени.

— Кто тут? — чересчур громко, как показалось Феде, спросил метранпаж.

— Не достучаться к тебе, Петр Лукич, — ответил шепелявый голос. — Скорей! Это я...

Метранпаж сбросил дверной крюк, распахнул дверь:

— У нас тут собачьи...

Он не досказал, — и Федя вдруг ощутил крепкий удар кулаком в грудь. Он покачнулся.

Прежде чем успел крикнуть о помощи, метранпаж очутился во дворе, захлопнув за собой дверь. Слышен был топот убегающих людей.

— Держите, товарищи! — заорал Федя. — Стреляйте в подлеца!

Выскочили во двор, потом на улицу. По снежной, мертво лежавшей в ночи площади бежали две темных фигуры. Студенты помчались вдогонку.

— Стой! Стой!... — кричали они.

— Вот это дело... настоящее революционное дело! — на бегу кричал восторженно, но тяжело дышал маленький Лурс, держа наперевес непосильную для него винтовку.

«Черт! Ведь никто стрелять, наверно, не умеет?.. — глядя на него, подумал Федя. — И я никогда в жизни не стрелял...»

Он остановился на секунду и вынул из кармана горностаевский браунинг. Замшевый чехол отбросил в сторону и снова побежал вперед. Он обогнал своих товарищей.

— Стой! Ни с места, стрелять буду! — кричал он убежавшим, сам не веря в свои слова. — Именем революции...

Где-то, в другом конце площади, раздались тревожные свистки. «Наши стоят, молодцы!» — обрадовался Федя.

Он был уже совсем близко от убежавших, когда один из них, отъединившись от своего спутника, обернулся, задержался на несколько мгновений на месте... и площадь огласил первый выстрел. Федя даже не сообразил сразу, что это стреляли в него.

— Ай, в ногу! — услышал он позади себя.

Обернулся: Лурс, отшвырнув винтовку, опустился на снег. Двое товарищей задержались подле него.

— Лурсик... Лурсик... ничего, дорогой.

— Стой, сволочи! — забыв уже в тот момент обо всем на свете, усилил погоню Федя.

Впереди него, близко-близко, — спина спешившего за угол врага.

— Остановись, или я...

Федя остановился, вытянул руку с наставленным браунингом и, не чувствуя уже, что именно делает, выстрелил несколько раз подряд.

Ему показалось, что враг успел все-таки скрыться за угол и что взамен него он смутно видит впереди себя едва перебирающую ногами черную собаку. Но это, как понял спустя минуту, была не собака, а пытавшийся ползти на четвереньках и свалившийся набок человек. Он стонал и всхлипывал.

Федя отшатнулся.

Двое остались с Лурсом, двое других очутились на месте происшествия.

— Что случилось? Кто стрелял? Тебя ранили, Калмыков?

— Нет, я стрелял... и попал вот! Не думал... а попал.

— Фу, слава богу!

— Я не думал, не хотел...

— Заплачь еще... какие сантименты!

Они наклонились над свалившимся, стонущим человеком и тотчас же узнали в нем своего недавнего пленника из типографии.

— Умираю, братцы... Ой, умираю, православные! — корчился тот от боли.

— А кто Лурса ранил, — ты? Охранник проклятый, так тебе и надо!

— Птицын, голубчик, давайте перенесем его в больницу... Ну, давайте же, Птицын! Женя Касаткин, помоги нам! Разве я хотел убивать? — сокрушался Федя, наклонившись над метранпажем. — Здесь близко, на Львовской, есть больница... мы сейчас вас туда доставим.

— Расчувствовался! — презрительно буркнул студент Птицын.

— Жив будет, чего там! — уверенно сказал Женя Касаткин. Федя смолчал: в самом деле, что он мог ответить?

Обоих раненых — Лурса и метранпажа — доставили при помощи постовой милиции в ближайшую больницу. У студента оказался раздробленным большой палец ноги, калмыковская пуля засела под лопаткой метранпажа.

Тут же, в больнице, составили протокол о ночном происшествии, записали адрес Феди и его товарищей.

— А если бы убили, коллега? — подавляя зевоту, отчего выступили ленивые слезы на заспанных бесцветных глазах, спросила его женщина-врач.

Она вскинула желтые густые ресницы и сострадательно скривила мясистые губы:

— А почему это все произошло, собственно?

Он не мог в ту минуту толком все объяснить. Только возвратившись в типографию, Федя познал причину столь огорчившего его ночного происшествия.

В комнате метранпажа и его жены, где из непонятной скромности и вежливости студенты раньше не решались произвести по-

настоящему обыск, они нашли теперь две связки свеженьких чернотенных прокламаций. «Союз русского народа» требовал в них от полиции и «верноподданных войск его императорского величества» расстрела «антиправительственных сходок и демонстраций, устраиваемых жидами и прочими крамольными инородцами».

За этими листовками и явился в ночную пору соратник метранпажа. Кто он был — так и не удалось тогда Феде узнать.

Утром он сбежал в больницу. Лурс радостно расцеловался с ним, посетовав только, что «в такие чудные дни» приходится валяться на больничной койке.

Федя повеселел. Он, улыбаясь и не без некоторого хвастовства, продемонстрировал товарищу горностаевский браунинг, в котором не хватало теперь нескольких пуль.

Как зарядить снова револьвер — он не знал. А в душе надеялся, что никогда больше и не будет в том надобности.

Глава девятая

«НАДО С САМИМ СОБОЮ ПОГОВОРИТЬ»

Разгромили Лукьяновку, подожгли Косой Капони́р, — по улицам Киева несли на руках освобожденных из тюрем вчерашних арестантов. Вчера еще их ждала ссылка в Сибирь, каторга, кандалы, а многих — и смерть от веревки и пули. Сегодня их приводили с песнями в городскую думу и там чествовали речами — «свободных граждан свободной России».

Город поспешно стал жить новой жизнью. Приказчики, водопроводчики, посыльные, печатники, булочники, заводские рабочие, портные, часовщики учреждали свои профессиональные союзы и расклеивали о том извещения на всех тумбах и столбах.

Церковные певчие объявили себя сторонниками Временного правительства. Просили привести их к новой присяге оставшиеся на свободе городовые и околоточные надзиратели. Акцизные чиновники и тюремные служители слали телеграммы преданности «его высокопревосходительству господину Родзянко».

Упали морозы, резвей стало солнце, и на улицах города до позднего вечера полно было народу.

Вокруг памятников, у бараків недостроенного вокзала, в заводских цехах, в крытом рынке «Бессарабки», на Думской площади шли долгими часами митинги. И всюду на митингах и собраниях появились уже ораторы, открыто говорившие о своей партийной принадлежности.

Надо было удивляться, как неожиданно много, оказывается, было в стране эсеров!.. И земгусар, вчерашний завсегдатай кафе «Семадени», — эсер, и писарь мещанской управы, и великовозрастный усатый гимназист, и бородатый унтер из крепких сибирских мужичков, и пройдоха администратор из театра миниатюр, и поручик запасного батальона, и студенты, и приказчик магазина охотничьих принадлежностей, — все, оказывается, добывали народу «землю и волю»...

В «Татьянке», в студенческой столовой-бараке на Безаковской, близ вокзала, у трех столов шла запись желающих вступить в члены политических партий. И здесь, как и всюду почти, студенты больше всего толпились у эсеровского стола.

Русый, длинноволосый, с круглой бородкой филолог Сатаров с непомерно большой красной розеткой на груди время от времени подымал над своим столом фанерный щит. На нем был наклеен газетный портрет Керенского, — и Сатаров выкрикивал на весь барак:

— Кто за революцию, товарищи, кто за Керенского — тот должен быть социалистом-революционером!

Сатарову помогала вести запись очень тепло одетая, худенькая, с острым лицом мышонка восторженная курсистка. Она ни на минуту не расставалась с давно изданной, но конфискованной в свое время, затрепанной книжечкой Петра Лаврова.

— Вы за землю и волю, Калмыков? Вы за Керенского? — спрашивал Федю сосед.

— Гм, — отвечал он односложно, разделяваясь с аппетитной гречневой кашей, показавшейся сегодня на редкость вкусной.

— Я — за, — сообщал студент с мягкими розовыми подушечками на ладонях. — Пообедайте, Калмыков, и вступайте к нам в партию. Чего там? Мы вас знаем, вы в старостате... Я уже записался, Калмыков.

«Знаменитый подпольщик... Степан Халтурин! — иронически подумал Федя о соседе. — Кто бы знал, — а?»

Сосед показывал ему аккуратно сложенную квитанцию Союза земств и городов, на которой теперь значилась фамилия студента и красовался оттиск деревянной печати киевской организации социалистов-революционеров.

Кадетский столик пользовался успехом. К нему привлекала, однако, не программа «партии народной свободы», а черноглазая красавица курсистка, дочь симферопольского купца-караима. С ней усиленно любезничали, но от того список новых членов партии Милюкова не увеличивался.

Почти у самого входа в столовку стоял стол социал-демократов меньшевиков. Здесь была публика, давно знакомая Феде по факультетским сходкам, по участию в собраниях старостата, по частным встречам, когда распивалось вино, купленное в излюбленном магазине на углу Крещатика и Фундуклеевской, и обсуждались рефераты об учении Каутского или устраивался политический суд над героями Достоевского.

Пойти к ним — старым друзьям и товарищам? Объявить себя социал-демократом? А почему бы и нет? Он их знает, а они — его.

Завидев Феде, долговязый туберкулезный, в желтых веснушках, Гашкевич приветливо окликнул его издали:

— Приходите непременно. Надо посоветоваться о нашем собрании.

И это слово «наше» было понято теперь Федей по-иному, чем раньше. Конечно же его звали на собрание партийной социал-де-

мократической фракции студенческого совета. Может быть, даже не спрашивая его, — потому что так сильна была уверенность в нем и «лидера» Гашкевича, и всех остальных товарищей, — его уже включили в список членов РСДРП.

Если бы так случилось — он в конце концов не возразил бы. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — разве это не то идейное знамя, под которым он, Федя, должен идти вместе со всеми рабочими, вместе с революцией?

— Ладно! — крикнул он в ответ Гашкевичу, не решив еще, однако, что точно должно означать это слово.

В далеком углу барака сидело несколько человек, среди которых он увидел Алешу Русова. Встав из-за стола, Федя порывисто направился к своему другу и земляку. Он ни разу не встречал его в эти дни.

— Познакомься, братец народничек, — весело ухмыляясь, сказал Алеша, указывая на своих товарищей.

— Что за ерунда! При чем здесь «народничек»? — немного смутился Федя, пожимая руки новым знакомым.

— А разве обидно? — рассмеялся один из них, по виду — рабочий, средних лет, с высоким смуглым лбом и запорожскими темными усами, и лукаво подмигнул остальным.

— Не столько обидно, товарищ, сколько неверно...

— Но ведь ты же, Федулка, не марксист!

— Не всем же рождаться марксистами, Алеша. Правда? — спокойно усмехнулся, беря под защиту Федю, молодой круглолицый человек в очках, с наголо выбритой головой.

— Верно, товарищ Эдельштейн, — поддержал его «запорожец».

— Вы и есть Эдельштейн? — вскрикнул Федя, пожимая вновь ему руку. — Тот самый... без пяти минут смертник?

— Я и есть Эдельштейн, — спокойно смотрели на него светлоглазые из-за выпуклых стекол очков.

— Я так много слышал о вас. Ведь вы наш, университетский?

— Университетский.

Он, улыбаясь, показал пальцем на синие петлички своей тулужки. Вместо золоченых пуговиц с двуглавыми орлами на ней были какие-то плоские, обтянутые черной материей костяшки.

— Как я жалею, что мне не пришлось поджигать этот проклятый Косой Капонир! — восторженно смотрел Федя на недавнего «смертника». — Понимаешь, Алеша, ведь я в это время...

— Зря, между прочим, поджигали, — закуривая, сказал Эдельштейн. — Должен еще пригодиться. По крайней мере — в свое время.

— То есть? — посмотрел вопросительно Федя.

— Когда начнется настоящая рабочая революция, куда, товарищ Калмыков, прикажете размещать ее врагов?

— Это, я думаю, будет. Обязательно будет!

Федя перевел взгляд на эдельштейновского соседа, подавшего столь убежденно эту реплику.

— Что вы хотите этим сказать, товарищ Довнар? — обратился он к нему.

— Если вас это интересует, Калмыков, приходите вечером в арсенал. Послушайте революционных рабочих.

Было что-то львиное и повелительное во всем облике Довнар-Запольского. Коренастый и широкоплечий, с грудью борца, с тяжелой гривой темно-русых волос, с большими серыми глазами, как будто вбиравшими в себя собеседника, — он всегда был заметен в университетских коридорах. Он прихрамывал и чуть-чуть волочил ногу, — и казалось, что не обычная это хромота с детских лет, а где-то ранен в бою этот порывистый и неукротимый «львенок». Сын известного профессора, человека неясных и путаных политических убеждений, Довнар, как известно было, давно уже не жил на отцовской квартире, но где точно обретался — знали об этом, вероятно, очень немногие.

— А вы будете выступать? — спросил его Федя.

— Да уж кто-нибудь из нас, большевиков, будет. И не один, вероятно.

«Вот оно что... — подумал Федя. — Они все — большевики. И Алешка с ними, — теперь все понятно. Однако к себе не зовут».

Впрочем, чего хотят сейчас большевики, он, собственно, не знал, но очень уж отпугивал их «несвоевременный максимализм», о котором был наслышан в кругу Гашкевича и его друзей.

Но вызывали симпатию и «смертник» Эдельштейн, и Довнар с умными серыми глазами, и конечно же давний друг детства Алеша Русов, которого любил, и Феде от чистого сердца хотелось сейчас увидеть этих приятных и привлекательных людей за одним столом с таким же приятным и самоотверженным, как думалось, Гашкевичем.

«И те и другие с рабочими... и я за рабочих, за революцию. Неужели Гашкевич будет против? В таком случае ничего общего у меня с ним! Черт побери, чего не поделили? Неужели нельзя похорошему сговориться? — искренне досадовал Федя, думая обо всем этом. — Вот если бы вместе...»

Он выскользнул из столовки, стараясь не попасться на глаза Гашкевичу и его друзьям.

«Боже мой, разве это так просто — войти в партию? И в какую? Ведь надо с самим собой поговорить раньше!»

На мостике он обогнал молодую красивую женщину в котиковой шапочке — и почему-то впервые за эти дни длительно подумал о Людмиле Петровне. Боже мой, как мог он забыть ее?

«Вот осел вифлеемский!» — укорял себя Федя.

В этот вечер он не пошел в арсенал, куда звали его. И этот вечер принес ему неожиданность, о которой меньше всего мог бы думать.

Проходя по Пушкинской мимо дома Георгия Павловича, Федя решил побывать у Карабаевых, у которых давненько не был. Вот уж теперь есть о чем потолковать: столько событий, столько новостей!

И очень любопытно, как держится теперь Георгий Павлович, что он говорит? Как там у них, в Общественном комитете: небось поторопились присягать Михаилу?.. Да и затем интересно: брат министра все-таки! Может быть, сейчас и кадетское общество застанет у него? Ну, знаете, господа хорошие, он сам, Федя, может вам рассказать такое, чего никакая газета не сообщит в подробностях. Хотя бы об аресте Горностаева (вот, пожалуйста, его браунинг!) или о ночном происшествии в «Двуглавом орле»...

Он не хочет бахвалиться, но... в него-то стреляли, могли убить, и он сам стрелял, делал революцию, — а чем Карабаев и его застольные друзья в это время занимались?

Конечно, он не станет говорить об этом так грубо, но почему бы и не съязвить маленько? — усмехнулся он, проходя по двору к парадному подъезду карабаевской квартиры. — А почему бы и не припугнуть богатеев? Можно и про Косой Капонир напомнить: вот, мол, сможет еще пригодиться, когда начнется настоящая рабочая революция. И все прочее, о чем говорил сегодня большевик Эдельштейн.

Но всем этим Фединым замыслам не суждено было сбыться. Встретившая на пороге горничная сообщила, что барин и барыня поехали на машине в Думу и еще не возвращались, барышень тоже нет, а дома — только Костенька с гувернанткой.

Из прихожей, сверкая зелеными глазами, торчком наставив срезанные уши, выжидающе-грозно смотрели на Федю два пятнисто-серых дога.

Он шутливо поздравил горничную со свободой, посоветовал ей записаться поскорей в профессиональный союз и спустился во двор.

Здесь он вспомнил о Теплухине. Он поднял голову вверх и посмотрел на окна третьего этажа, где находилась квартира Ивана Митрофановича: два окна были затемнены, в третьем был свет.

Федя спустя минуту стоял уже на площадке теплухинской квартиры. На звонок открыла дверь знакомая старушка — экономка Ивана Митрофановича.

— Дома? — спросил Федя.

— Уехали-с. Уже сколько дней уехали-с Иван Митрофанович.

— Вот так штука... — разочарованно протянул Федя. — И вы одна тут? — не придавая значения своему рассеянному вопросу, спросил он.

— Все дни одна, Федор Миронович. А вот час назад гости пожаловали, — улыбнулось розовое лицо старушки, и она почему-то перешла на шепот. — По записочке Ивана Митрофановича и впустила, да-с... Хотя не так скучно будет сторожить квартиру: времена, знаете, какие?

«Гости?» — Любопытство овладело Федей.

— Водички не дадите напиться, Анна Ниловна? — вошел он в прихожую.

— С превеликой охотой. Может, винца добавить? Или морса желаете? Морс какой день в графине стоит... Вы ко мне в комнатку пожалуйста. Сейчас я вам, сейчас я вам... с превеликой охотой.

«А гости где?» — едва сдержался Федя, чтобы не спросить.

Он пошел вслед за экономкой, но задержался в коридорчике, у дверей в теплухинский кабинет. Он слегка потянул дверь к себе: в комнате было темно и тихо. Не понимая еще, зачем, собственно, он это делает, Федя нащупал у входа за порогом выключатель и повернул его. Комната мгновенно осветилась, и он сразу же увидел двоих мужчин, вскочивших с дивана.

— Кандуша! — вскрикнул Федя, узнав его.

Другой был незнаком.

— Кандуша!.. Вы здесь?

Кандуша шел к нему навстречу с протянутой рукой.

Глава десятая

ПО СЛЕДАМ СТАРОГО РЕЖИМА

Поезд сильно запоздал и, вместо прибытия по расписанию утром, дотащился к Царскосельскому вокзалу часов в шесть вечера. Иван Митрофанович выпрыгнул из вагона одним из первых и помчался на улицу.

Ни трамваев, ни извозчиков, — путь предстояло проделать пешком, а дорога была каждая минута... Но, может быть, понапрасну торопится? Может быть, уже поздно, уже все пропало?

Теплухин быстро зашагал по Загородному, обгоняя толпы народа, шествия демонстраций, зло и грубо пробивая себе путь в местах наибольшего скопления публики. С того момента, как вышел из вокзала, все показалось чужим, незнакомым, а главное — подавляюще огромным: приезжему действительно легко было растеряться, попав в бурный уличный поток жизни революционной столицы. Казалось, дом, целые кварталы сдвинулись со своих мест и перемешались друг с другом. Каждый человек — как муравей, произвольно брошенный в непривычное для него место, — так где уж тут надеяться на встречу с ним в обычный час и в обычном месте?..

В поезде, в дороге все по-иному представлялось Ивану Митрофановичу.

Наконец-то он попал на Ковенский, куда стремился, вбежал во двор знакомого большого дома и, когда стал подыматься по тихой лестнице его, вдруг остановился. Где-то на верхней площадке открыли и тотчас же захлопнули дверь, и кто-то стал спускаться вниз.

Вспугнутые этими шагами, с пролета на пролет сбежали сверху, стараясь не потерять друг друга, жадно и хищно глядевшие кошки. Задняя фырчала теперь и бесновалась, настигая свою мартовскую подругу. Наткнувшись на притаившегося Теплухина, они мигом повернули обратно, но приближавшиеся сверху люди заставили их вновь замататься по лестнице.

Одного из этих людей, с черным чемоданчиком в руке, Иван Митрофанович увидел через минуту и бросился к нему навстречу к площадке.

— Боже, какая удача! — Он готов был обнять Кандушу.
— Господи боже мой, как это?! — ахнул тот и обернулся на спускавшегося позади него человека в путевой фуражке.

Теплухин схватил за руку и не отпускал уже Пантелейку.
— Куда ты? Мне нужен... нужен, как жизнь, Губонин! Понимаешь. Ради бога! Понимаешь? Где он?

Иван Митрофанович сразу не узнал безбородого Губонина.

— Теплухин? — удивился тот, очутившись на площадке.

— Вы?.. Вячеслав Сигизмундович?!

— Да тише вы, пипль-попль! — толкнул в плечо Кандуша. — Пропустите!

— Одно из двух: вверх или вниз! — командовал Губонин. — Быстрее, пожалуйста!

— К вам, к вам! — не веря своему счастью, взмолился Иван Митрофанович.

— Назад? — спрашивал Кандуша своего начальника. — Приметы, осмелюсь заметить худые...

— Какие там приметы? Что ты, друг мой? — тащил его за рукав Иван Митрофанович, поспешно поднимаясь наверх.

— Кошки перебежали — вот какие приметы! Опять же, когда возвращаешься, выходя из квартиры...

Ничего не поделаешь — пришлось возвращаться. Не раздеваясь, стояли они теперь в неосвещенной комнате, вглядываясь друг в друга.

— Планида... — многозначительно вздохнул Кандуша, тихонько похлопывая Теплухина по плечу.

— Я только сейчас с поезда... — тяжело дышал Иван Митрофанович и вытирал платком пересохшие губы. — Вот только сейчас. Какое счастье, прямо счастье, что я вас застал!

— Лишних пять минут — и вас постигла бы неудача. Пять минут, — торопитесь, Теплухин! — сказал Вячеслав Сигизмундович.

— Да, да, какое счастье, господа...

— Чего вы хотите? Быстрее! Вы понимаете, как время дорого!

— Вы уходите? — заволновался Иван Митрофанович.

— Кажется, видели? — иронически усмехнулся Губонин. — Я, мягко выражаясь, покидаю столицу.

— Вы должны помочь мне!

— Готов. Понимаю вас. Догадываюсь, Иван Митрофанович. Но только быстрее, быстрее, ради бога! — торопил его Губонин.

— Вот, вот... В департаменте было дело на меня? Когда-то вы уверяли меня, что нет?

— Вы умный человек, Теплухин.

— Так, так... Значит — было. Так. Понимаю. Не могу сейчас сердиться. Ну вот — где оно?

— Говорят, все дела свезли в Таврический. Я вас понимаю: хотите раздобыть? Хорошо, конечно, делаете.

— Спасибо, спасибо за поддержку. А номер... номер дела?

— Ну, знаете, точно не упомянул. Как будто семьдесят две тысячи с чем-то. Во всяком случае — в этой тысяче.

— В первой половине или во второй?

— Да уж если удастся вам, извольте всю семьдесят вторую тысячу обыскать! Дело, по-моему, заслуживает того,— как скажете?

— Конечно, конечно. Я не поленюсь, поверьте...— старался улыбнуться Иван Митрофанович, но сам чувствовал, что это плохо удастся сейчас.— И только у вас оно было? Нигде ничего больше?— допытывался он.

— Ничего, ничего.

— Я вам верю, Вячеслав Сигизмундович!

— Благодарю. Рекомендую верить.

— Документ-то один только? Правда? Иркутский замок, да?

— Как будто так.

— А какой же еще?— забеспокоился Теплухин.

— Да больше на самом деле нет,— успокоил его Губонин. — Ну, желаю успеха. Кажется, я вам больше не нужен? Когда кончится эта сумасшедшая выюга — надеюсь, встретимся. А пока по-ищем более теплый климат.

— Как мне благодарить вас?

— А как хотите! Ну, мы — на вокзал. Прощайте, Иван Митрофанович.

— Погодите! Если когда-нибудь будете в Киеве... если я смогу...

— Во, пипль-поплы! — вскрикнул Кандуша и посмотрел вопросительно на своего начальника.— А ежели пересадочка случится, позволю заметить?

Губонин все понял.

— Вы один в Киеве живете?— вдруг оживился он.

— Старуха экономка есть.

— Впустит?

— Вас?

— Допустим, нас.

— Ради бога! — искренне пошел навстречу Иван Митрофанович.— Я ей записку — и все в порядке!

— Пишите.

Вручая записку, Иван Митрофанович еще раз переспросил:

— Дело... в семьдесят второй тысяче, значит?

— По-моему, даже в первой сотне этой тысячи,— пожимая ему руку, сказал Губонин.— Прощайте.

Все это произошло лихорадочно быстро и плохо осознано было Иваном Митрофановичем.

И как и когда он снова очутился на улице,— слабо помнил.

Весь день Фома Матвеевич кружил по городу. Исписан был весь блокнот. Казалось, что увиденного хватило бы на целую книгу, а не только на «подвал». Фома Асикритов возвращался к себе на Ковенский: добрести бы скорей до своей кровати, часок соснуть, а там и вновь можно пуститься в путь «очевидца»-газетчика...

Но не таков сейчас Петроград, чтобы легко и быстро одолеть его пространства. Можно ли уйти от соблазна и не втереться во все толпы, встречающиеся на пути, не задержаться на уличном митинге или у грузовика, с которого разбрасывают на осклизлую мостовую пестрым цветным дождем все новые и новые листовки?

Вот у Конногвардейского бульвара перебегают дорогу зеленому автомобилю две стаи разбитных мальчишек.

— Стой! Стой! — готовы они лечь под колеса.

Автомобиль сдерживает ход, — и Асикритов видит вдруг на грузовике Юрку Карабаева: в гимназической шинели, с красной милицмейской повязкой на рукаве и винтовкой в руках.

— Чего орете? — сам он начальственно орет на мальчишек. — Марш по домам!

— Ишь какой!.. На Галерной фараона поймали, надо его забрать. А ты... марш по домам, ишь!

— Молодцы, мальчики! — бросает покровительственно гимназист, и грузовик делает крутой поворот к Галерной. — Показывайте где!

Двоих подхватывают в машину, остальные бегут за ней вслед.

Асикритов видит Юрку и не удивляется: а почему бы и ему не чувствовать себя революционером и победителем? Эту революцию сделали все: она легка, как весна.

Победитель счастлив, ему еще нет нужды оглядываться по сторонам. Нечаянная радость неожиданно пришедшей свободы опьянила его своим ликующим дыханием. Он с утра до ночи бродил теперь по улицам — этот торжествующий победитель. Он надрывал голос в неистовом «ура», бил в ладоши до боли, венчая славой ораторов. Это он скovyрнул двуглавых орлов с вывесок императорских поставщиков и министерских зданий, это он расцвел столицу красными флагами, бантами, ленточками — бантами и ленточками, наскоро отобранными у служанки и своих сестер.

Не один человек, встречая теперь его на улице с винтовкой наперевес, в ужасе шарахался в сторону: «Вот-вот она, смерть моя, идет!» Винтовка, как правило, была совершенно независима от намерений ее случайного обладателя и могла выстрелить в любую секунду, не осведомившись о его воле. Однако оказалось, что он все может, на все пригоден: стоять в цепи, и спрашивать пропуск со строгостью наполеоновского маршала, и арестовывать подозрительных субъектов, и реквизиовать запасы продовольствия у тыловых мародеров, и разбрасывать прокламации революции, и увлекать за собой батальоны солдат. Счастливая, безотчетная пора — юность!..

Мы замкнутую дверь

Отомкнули теперь, —

Мы свободны, свободны, как птицы...

«Кто это сказал?» — никак не мог вспомнить Фома Матвеевич, шествуя в раздумье по городу.

На Морской, у дома Фредерикса, — толпа солдат и обывателей. Всем в столице был известен красный особняк со строгими линиями фасада, тонкой лепкой, зеркальными стеклами окон. Здесь всегда дежурил рослый «чин» — с медалями во всю ширь богатырской груди. Придворные моторы и кареты знали его так же хорошо, как и он — их. Сейчас подожженный революционной толпой, красный особняк удручал своим мертвым видом. Огонь выел его внутренности, и в темных, испепеленных глазницах его чернели груды мусора, обгорелые балки, поверженные в прах ко-

лонны. Над воротами повисла огромными сталактитами замерзшая вода пожарных брандспойтов, защитивших соседние здания.

Огонь сожрал также службы и конюшню во дворе Фредерикса. В мусоре, как куры в навозе, копались теперь нищенки. Все было ценно для них: и помятая шумовка, которой графский повар снимал, бывало, пузырчатую накипь с французского супа, и пружинистая металлическая сбивалка для сладких сливок, и розетка от мягкого вальяжного кресла, и ручка от телефона, и циферблат часов, и связка никелированных ключей.

«Киш!» — хотел прикрикнуть на них Асикритов, но побоялся обидеть. В подвале, куда он зашел, увлекаемый толпой, сидел на корточках у печи какой-то парень в смушковой шапке. Он деловито отвинчивал кран от медного куба. В ногах лежал мешок, наполненный почти доверху.

— Отрезали немецкому графу усы! — заметил кругленький бородатый ратник запаса и ослабился. Винтовка у него была за плечами на веревочке, вместо ремня.

— Сколько добра здесь погибло, боже ты мой! — сокрушался, подмигивая Асикритову, какой-то субъект с жеваным серогубым лицом, в котиковой облезлой шапочке.

— А тебе жалко? — сурово поглядел на него ратник. — Печальник графский!

— Да как же... Зачем жечь?

— А ты кто? — насели уже несколько человек. — Не фараон, часом? Эй, братцы! Вот тута нашелся один субчик, добра графского жалеет. А ну, на проверку!

— Да вы спросите их, вполне интеллигентного гражданина, — растерянно искал «субчик» защиты у Асикритова. — Разве я такой?

— Вы его знаете? — оглядели с разных сторон Асикритова. Он, усмехаясь, пожал плечами.

— Еще, товарищи, в древности сказано: зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство — спасен будет.

И повели этого, с жеваным лицом и котиковой шапочкой, на милицейский пункт: пусть там разберутся!

Враг не только на чердаках домов, — он здесь, в толпе, на улице, что еще более страшно, и действует он более опасным, испытанным оружием — лживым языком провокатора.

Внимание Фомы Матвеевича привлек прилично одетый — «поджентльменски» — господин в шубе с обезьяньим мехом. На Невском, у закрытого книжного магазина, стоя на верхней каменной ступеньке крыльца, джентльмен — один из тысячи уличных ораторов — держал речь перед собравшейся публикой. Медоточивым голоском, умиленно глядя добродушными глазами сквозь стекла рогового пенсне, джентльмен воспевал прелести нового режима. Но вдруг, уловив, как и все, шум с соседней улицы, заговорил, насторожась, по-иному:

— Не кажется ли вам, господа, что там (жест в отдаление)... что там началась канонада? Не идут ли правительственные войска? Ведь вырежут всех! Сегодня я слышал о десяти эшелонах, которых ждут на Балтийском вокзале. Что-то будет!

Публика тоже настораживается, люди нерешительно переглядываются друг с другом, и тревога набегают на их лица.

— А в самом деле, будто стрельба пошла,— повторяет хорошо одетый господин в роговом пенсне и задумчиво качает головой, словно задушевно беспокоясь за судьбу нового порядка.

В увлечении своей игрой («Подлец!» — в том нет сомнения у Фомы Матвеевича) искусный оратор не замечает, как давно и подозрительно на него поглядывают в упор воспаленные глаза густобрового, меднолицего матроса. Тот вынул трубку из рта и наблюдает: «Сладкий барин! Кто он?» Если он не спохватится вовремя и не оставит своей провокаторской игры — близок здесь канал с черной неводской водой. А еще ближе: на поясе балтийца — тяжелый, не щадящий маузер.

Но джентльмен вовремя поймал пристальный взгляд матроса — и хлещет, хлещет теперь новым потоком медоточивых слов, усыпляющих подозрения:

— А впрочем, никакой канонады нет, товарищи. Откуда ей быть? Чепуха! Нервы! Нам только послышалось. Революция победила раз и навсегда. Да здравствуют рабочие, солдаты и матросы!

— То-то же... — отходя, бурчит матрос. — Ежели бы не ошибка моя, глотку бы тебе разодрал!

На углу Надеждинской и Жуковской Асикритову закупорила путь шумная людская пробка: задрав головы, толпа уставилась в окна третьего этажа, наблюдая за тем, что там происходит.

У дома на панели возвышалась громадная куча битой посуды, разломанной мебели, кухонной утвари, белья.

— Кого это так? — заинтересовался Фома Матвеевич.

— Известно, кого: жандармского генерала Попова!

— Ах, вот оно что! А сам-то он где?

— Кто говорит — кокнули, а кто — спрятался, дяденька! — охотно и услужливо влез в разговор белобрысый мальчуган лет девяти. — Смотрите, смотрите, дяденька!

Из среднего окна медленно лезло наружу ножками вперед массивное, красного сафьяна кресло. Высунувшись на две трети, оно качнулось и рухнуло тяжело вниз.

— Так его! — одобрительно пробасил рядом с Асикритовым чей-то сиплый, мрачный голос.

В выбитом окне появилась голова солдата в фуражке с желтым околышем. Солдат — рябой, круглолицый, помахивавший приветливо рукой, — тепло и широко улыбался толпе, как забавляющемуся ребенку.

Он словно радовался, что смог доставить ей удовольствие.

Весьма щедрый — он послал вслед за креслом овальное зеркало в раме из черного дерева.

Тем временем в соседнем окне появился другой солдат. (В квартире Попова их было теперь достаточно.) Он развернул какой-то белый предмет, похожий на папирус, и на улицу со свистом, размотавшись на лету, полетела широкая и длинная, до земли, лента. За ней — другая, третья. На лентах были какие-то непонятные значки.

— Гляди, гляди! Тайные донесения, виши!

— А не ноты ли для фонолы? Конечно, ноты! — наклонившись над одной из лент, разъяснил толпе Асикритов сакраментальные знаки.

Он не ошибся.

— Но-оты... — разочарованно сказала несколько голосов. — С чего бы это у жандармского генерала ноты?

Из окна, сияя отлакированным черным кузовом, лезла уже и сама фонола.

«Приятно эдак после сытного ужина подсесть к инструменту, нажать ногами на педали, наложить персты на рычажки и музицировать без малейшего участия души вальс Шопена или романсы Глинки». Фома Матвеевич живо представил себе протопоповского генерала за этим занятием в домашнем кругу, в присутствии гостей.

Ниспровергатели генеральского уюта, видимо, устали: теперь они лениво и машинально выбрасывали на улицу разные вещи. Вслед за тяжело шлепнувшейся на землю фонолой полетел чайный розовый сервиз, вышитые подушечки с тахты, альбомы, клетки для птиц, дамские платья и ворох ученических тетрадей.

Один из солдат вынул шашку и стал рубить остатки рамы в окне, расчищая дорогу для огромных дубовых тумб от письменного стола. Рядом с солдатом появился в окне какой-то субъект в каракулевой круглой шапке. В высоко поднятых руках он держал икону. Он словно нарочито показывал ее толпе. Потом взмахнул руками, богородица плюхнулась с высоты на землю.

— Бог ты мой, да рази можно так? Нехристи! — завывала в толпе простоволосая женщина с младенцем на руках, и в толпе пошел невнятный гул.

У осквернителя религии была богом и полицией меченная физиономия: щеки бритые, низкий кирпичный лоб, злые глазки, жесткие, как ламповая щетка, грязно-рыжие усы.

«Ведь провокатор, суший охранник! — возмущенно подумал о нем Фома Матвеевич. — Такого бы за шкуру да под арест».

Он готов был заняться этим делом, но сообразил, что разгром генеральской квартиры еще продолжится, что надо выждать, пока фараон спустится вниз, — а времени у Фомы Матвеевича оставалось мало, и он поневоле покинул место происшествия.

Недалеко от ворот своего дома он увидел неожиданно Теплухина. Тот шел навстречу вялой, сбивающейся походкой глубоко задумавшегося, рассеянного человека. Голова опущена, руки загнулись в карманы шубы.

У Асикритова была очень хорошая память старого газетчика: он вспомнил в тот момент, что года два назад с лишним он однажды встретил здесь же, в доме на Ковенском, Теплухина. Тот спустился тогда по лестнице, а он, Асикритов, подымался вверх. А теперь — опять тут?

«Почему он в Петрограде? Приехал по делам и застрял, вероятно, из-за революции?»

Иван Митрофанович заметил журналиста тогда, когда столкнулся с ним лицом к лицу.

— Каким образом в наших палестинах? — спросил Асикритов после рукопожатия.

— Я хотел как раз просить вашего содействия,— ни секунды не раздумывая, твердо сказал Иван Митрофанович.

Какого содействия — в тот момент он еще не измыслил, но чувствовал, что врать сейчас нужно решительно, без запинок, ничем не выдавая своего смущения от неожиданной встречи.

— Как? Вы меня именно искали? Вы были у меня?— забрасывал вопросами журналист.— Ведь вы в Киеве? Вы для этого приехали? Когда? Вы едете обратно, не правда ли?.. Ну, что вы скажете? Время,— а? Замечательное время! Очистительное время!.. Никого из Карабаевых не видели,— а? Лев Павлович-то — министр,— вот тебе и фунт изюму!

Асикритовская словоохотливость многим помогла Ивану Митрофановичу. Он мгновенно сообразил: можно было уцепиться за любой из послешных вопросов журналиста и, уже не опасаясь вызвать подозрения, выбрать тему для разговора!

— Я очень рад, что вас встретил,— возвращаясь к асикритовскому дому, говорил Иван Митрофанович.— Вот о Лье Павловиче напомнили... Вообще о некоторых делах... Но, скажите по совести, я не помешаю вам?

— Нет, нет. Вы меня простите, я только с вашего разрешения полежу малость на диване. Понимаете, чертовски устал! Но вообще — пожалуйста, пожалуйста!

— Я готов ждать сколько угодно... да помилуй бог!

Добродушная застенчивая улыбка плохо шла холодным, рысьим глазам Теплухина, и, чтобы согреть свой обычный короткий и резкий взгляд, он старался теперь как можно дольше и шире улыбаться и даже фамильярно и ласково похлопал по плечу рядом шагавшего, усталого Фому Матвеевича.

— Ладно, ладно. Найдем время поговорить.

Но так случилось, что этого времени не оказалось.

Позади, со стороны Знаменской, пыхтя и беспокоя тихий переулочек перебоями мотора, мчался зеленый автомобиль с широким кузовом. Машина спустя минуту круто остановилась у ворот асикритовского дома — как раз в тот момент, когда журналист и его спутник намеревались войти во двор.

— Эй! — крикнули из машины.— Где тут квартира номер...

Словно пуля ударила в грудь Теплухина: назвали номер квартиры «инженера Межерицкого»!..

— А это по моей лестнице,— охотно отозвался Фома Матвеевич.— Идите за нами. Во двор, прямо, широкий подъезд...— объяснял он.

Из автомобиля выскочили трое мужчин: солдат с винтовкой наперевес, долговязый, длинноногий штатский в помятой серой шляпе и молоденький прапорщик в пенсне, в предлинной, закрывающей каблук сапога, новенькой, необношенной шинели. Прапорщик, как юбку, приподымал ее полы, соскакивая с подножки автомобиля.

Привлеченные шумом машины, сбегались к воротам несколько человек, обитатели переулочка. И среди них — неизменные, ретивые свидетели любых уличных происшествий — дети и подростки. Они бежали впереди всех, и, когда остальные вошли только

в подъезд дома, с верхней площадки его уже летели навстречу звонкие, крикливые голоса:

— Здесь, дяденька, квартира! Вот она, сюда!

Вместе со всеми подымался наверх и Теплухин. Он больше, чем кто бы то ни было, понимал, зачем и за кем примчались сюда люди на автомобиле. Не опоздай они на четверть часа — и ему самому угрожала бы опасность быть арестованным на департаментской конспиративной «явке».

Проходя мимо своей квартиры этажом ниже, Асикритов вынул ключ, чтобы открыть дверь.

— Я сейчас, товарищи. Только разгрузюсь от портфеля.

Но дверь уже была наполовину открыта: шум и голоса на лестнице толкнули к порогу любопытную асикритовскую хозяйку. Она увидела своего квартиранта и набросилась на него с расспросами.

— Да погодите вы! Сам ни черта не знаю!

Он сунул ей в руки тяжелый портфель:

— Некогда, некогда, Елена Гавриловна!

Увидев через плечо Ивана Митрофановича, журналист скороговоркой представил его квартирохозяйке:

— Пожалуйста — Теплухин... Теперь будете знать. Позвонит — впускайте...

— Да господин этот никогда вас не спрашивал... никогда не видела его! — как бы оправдываясь, сказала она.

Иван Митрофанович проклял в душе эту востроглазую, обсыпанную веснушками рыженькую женщину и быстро перебил опасный разговор:

— Очень приятно! Я тут без вас, сударыня... Ах, какие интересные, наверно, дела тут... — забормотал он что-то еще.

И, оттянув за рукав Асикритова, увлек его наверх: другого выхода теперь для Ивана Митрофановича не было.

Фу, все обошлось как будто благополучно: журналист в суматохе явно не обратил внимания на этот мимолетный разговор... Что будет дальше — успеется подумать!

Они поднялись наверх. Долговязый штатский в серой шляпе нажал кнопку электрического звонка.

«Пустая трата времени», — подумал Иван Митрофанович.

Эту же мысль высказал вслух и молодой прапорщик: «Старорежимник, наверно, в другом месте скрывается», — но штатский верил почему-то в удачу. Он позвонил второй раз, но за дверью оставалась все та же тишина.

Журналист назвал себя и спросил, за кем, собственно, приехали.

— Птица крупная... — загадочно улыбался долговязый. — Вот вы тут живете, а ничего не знаете. А его бы, сукина сына, не мешало бы сразу зацапать! А вышло так, что только полчаса назад мы этот адресок в Таврическом раскопали.

«В Таврическом?» — Иван Митрофанович насторожился.

— Что, дело его нашли? — с напускным равнодушием спросил он.

— Не дело, а дела! Я лично нашел. Тысячи дел через его руки прошли. Мне самому только сегодня пришлось видеть. Да там знаете, милорды, такие вещи, — бог ты мой!

Штатский вновь позвонил.

— Не откроет он добровольно. Бойтся, конечно. Ломать надо! — нетерпеливо сказал коренастый с козлиной бородой солдат и поднял для наглядности свою винтовку. — Ваше благородие, прикажете стукнуть?

Молодой прапорщик, не зная, как обнаружить свою распоряжительность начальника, сердито взмахнул рукой:

— Несовершеннолетних прошу покинуть площадку! Мальчуганам здесь нечего делать... Живо, живо, господа!

Асикритов несдержанно рассмеялся: давно ли сам прапорщик был «несовершеннолетним»? Он решил вмешаться в дело.

— Кого решили арестовать? — обратился он к приехавшим.

— Крупную птицу, — по-прежнему загадочно ответил штатский, переглядываясь с прапорщиком.

— Ну, живо, живо, господа хорошие. Живо, я вам говорю! — гнал тот ребятишек. Они, конечно, были непослушны.

— Ну, хорошо — птицу... А что за чин у птицы и фамилия? Может быть, не там ищите? — настойчиво допрашивал Фома Матвеевич. — У птицы вашей, может быть, крылья такие, что не догнать ее?

Прапорщик, занятый разгоном ребят, спустился на несколько ступенек вниз. Этим моментом воспользовался солдат: неожиданно для всех он сильно ударил прикладом — раз, другой — в дверь, и выбитая филенка открыла для взоров большую неровную дыру. Солдат просунул в нее руку и легко открыл изнутри французский замок.

— Хлеб-соль вам... — усмехнулся он, освобождая дорогу столпившимся на площадке.

Вместе со всеми Теплухин вошел в квартиру, только недавно поспешно покинутую им.

— А где тут свет? — командовал теперь прапорщик, и, теряя осторожность, машинально Иван Митрофанович сделал два шага в сторону боковой двери из прихожей и за портьерой нашел рукой выключатель.

Повернул его — и в то же мгновение понял, какую ошибку он совершил... Он поймал на себе короткий удивленный взгляд пучеглазого Асикритова. Тогда Иван Митрофанович, как ни в чем не бывало, стал шарить рукой по стенам прихожей, делая вид, что ищет еще выключатели, как будто их могло быть здесь несколько и необходим был сейчас полный, усиленной яркости свет.

— Достаточно, достаточно, — буркнул журналист. — Не иголку, чай, пришли искать?

В минуту обошли всю квартиру и никого, конечно, не нашли в ней.

— Кто здесь жил? — настойчиво добивался ответа Асикритов у долговязого в серой шляпе.

— Жил он в другом месте, а это — тайная явка для его сподручных. Шеф провокаторов, уловитель слабых и подлых душ — господин Губонин! — патетически, по-актерски произнес узколицый, с тощей длинной шеей штатский. — Понятно, свободный гражданиненок? — тихонько щелкнул он по носу подвернувшегося под

руку косенького ушастого мальчика — одного из тех, которых так безуспешно старался спроводить прапорщик.

— Составим протокол? — спрашивал молодой офицер.

Он присел к столу и отодвинул на краю его пепельницу-лодочку с папиросными окурками. От толчка два из них вылетели из пепельницы на стол.

— Зачем? Ненужная формальность, товарищ офицер, — вмешался живо Асикритов.

По привычке что-нибудь держать и вертеть в руке во время волновавшего его разговора, Фома Матвеевич схватил сейчас первый попавшийся на глаза предмет — выпавшую из пепельницы недокуренную папиросу. Сильно жестикулируя, он оторвал и бросил на пол курево, а остаток длинной гильзы намотал двойным колечком вокруг пальца.

— Если уж не хотите возвращаться с пустыми руками — поезжайте сейчас же... я вам скажу, куда... возьмете там настоящего фараона! Пускай и поменьше калибром...

Ему вспомнился сейчас подозрительный субъект со злыми глазками и жесткими, как ламповая щетка, грязно-рыжими усами, орудовавший в толпе солдат на Надеждинской.

— А кто нам его укажет?

— Я к вашим услугам! — охотно согласился журналист.

В сторонке штатский и Теплухин вели о чем-то разговор. И курили: угощал Теплухин. Коробку феодосийских «Стамболи» он держал в руке, и, когда подошли прапорщик и Фома Матвеевич, он предложил им папиросы. Прапорщик взял и, на ходу прикуривая, пошел прочь из квартиры, сопровождаемый солдатом и Асикритовым.

— Вы подождите, я заеду за вами скоро! — предупредил прапорщик штатского.

— Я тоже! — обратился к своему гостю Фома Матвеевич.

Уже сидя в автомобиле, он сделал ничтожное, но почему-то взволновавшее его открытие: бумажный мундштук, намотанный на его палец, был той же фирмы «Стамболи», что и папироса, которую докуривал сидевший рядом прапорщик.

Асикритов несколько раз наклонялся к нему, проверяя свое неожиданное наблюдение. Потом он снял с пальца помятый бумажный кружок, расправил его как можно аккуратней на ладони и спрятал в карман шубы.

— Кто ваш спутник, которого мы оставили здесь? — спросил он молодого офицера.

— Очень энергичный товарищ! — одобрительно сказал тот. — А представьте — актер!.. Он из комиссии по разбору документов царского режима.

— Вот как? — еще больше оживился Фома Матвеевич.

Он уже совсем не чувствовал усталости.

Глава одиннадцатая

ЛЕНИНЦЫ

Глубокой ночью 27 февраля временный исполнительный комитет рабочих депутатов постановил организовать районные комитеты и сборные пункты для вооруженных рабочих

и солдат. В одном из этих районных пунктов — в здании Биржи труда на Кронверкском проспекте — той же глубокой ночью Сергей Леонидович Ваулин переписывал набело первый манифест социал-демократов большевиков «Ко всем гражданам России».

Электрический свет двух тусклых угольных лампочек поминутно мигал, болезненно раздражая и без того усталые, воспаленные глаза.

Водянистые чернила расплывались на шершавых, грубых бланках Биржи труда, на которых писался манифест.

Край стола с неровными ножками на осевшем, продавленном полу назойливо скрипел и «пританцовывал» при каждом движении ваулинской руки.

Болела голова, и часто терзал раздражавший глотку и грудь кашель, неожиданно приключившийся часа два назад.

...Несколько часов подряд за этим длинным деревянным столом, почти упиравшимся концами в стены комнаты, заседало первое собрание Петербургского Комитета партии. Еще шла на улицах столицы пулеметная стрельба, еще войска генерала Хабалова направлялись на усмирение восставшего народа, еще Государственная дума готова была защитить царя, дай он только кресло премьера Родзянко...

И в этот час революция нашла свой центр, свой полевой штаб не в торжественных высоких залах бывшего потемкинского дворца, а в неказистом, давно не крашенном доме на Петроградской стороне.

Сюда нужно было войти с переулка в облупленную дверь какого-то магазинчика канцелярских принадлежностей, затем по черной узкой лестнице, не везде имевшей перила, подняться в чердачное помещение Биржи. Здесь было несколько канцелярских комнат с простыми, тесно прижавшимися друг к другу столами и плохо обструганными скамьями вдоль стен. Низко нависший потолок садился на голову рослому человеку.

Сюда пришли только что освобожденные из тюрем пекисты Скороходов, Ваулин и другие, появилось несколько человек, уцелевших от последних арестов охранки, забегали большевики из районов — с информацией, за помощью, за советом.

В Таврическом заседал самозванный Исполком, — в то время когда самого Совета рабочих депутатов еще не было. Да и заседать в Таврическом начали потому, что еще днем на многих фабриках и заводах появились первые листовки с призывом организовать Совет рабочих депутатов. Это воззвание исходило от большевиков. Однако далеко не всюду они могли руководить выборами: руки еще были заняты дымившимся от огня оружием, расстреливавшим русскую монархию на проспектах и площадях хабаловской столицы. Этим и воспользовались «оборонцы» — эсеры и меньшевики: сойдясь в Таврическом дворце, они поспешили объявить себя центром будущего Совета.

...Далеко за полночь в низенькую чердачную комнату на Кронверкском принесли два длинных листка бумаги. Это был манифест ЦК большевиков, написанный группой выборщиков.

Вечером следующего дня Сергей Леонидович прослушал текст манифеста, перепиской которого он был занят накануне. Манифест был помещен в «Прибавлении» к № 1 «Известий Петроградского Совета».

Газету принесла с улицы и читала вслух Шура.

Она уступила свою комнату и жила теперь у Екатерины Львовны.

Больной, поваленный на кровать ознобом и сильным жаром, лежал, тяжело дыша, Сергей Леонидович.

Входила на цыпочках мать и тревожно переглядывалась с девушкой: «Ну как? Не хуже ему?»

Ваулин ловил этот взгляд и подбадривал обеих:

— Чепуха... Завтра встану. Обязательно завтра встану.

— Ну, может, послезавтра, — заботливо протестовала курсистка.

— В крайнем случае — послезавтра! — нехотя соглашался он. — Читайте все до конца, Шура... Братскими, дружными усилиями восставших мы закрепим нарождающийся новый строй свободы на развалинах самодержавия... Есть это в газете, Шура? А потом лозунги...

Он помнил наизусть каждую строчку переписанного им ночью манифеста.

В другое время Шура бурно и звонко огласила бы лозунги, плясала бы по комнате, — сейчас она тихо и серьезно, боясь повысить голос в присутствии больного, продолжала чтение газеты.

Ждали врача. Он жил в соседнем доме и обещал скоро прийти.

Прорвав кордон неусыпного бабушкина «нельзя», вбежала в комнату худенькая, большеглазая Лялька. Приблизившись к кровати, она минуту разглядывала Ваулина и недоверчиво спросила его вдруг:

— А ты взаправду папа?

Он улыбнулся ей, хотел сказать что-то особенно ласковое, но сильно закашлялся, и она, испугавшись, заплакала.

Уличная борьба с полицейскими засадами на крышах и чердаках заканчивалась. Протопоповские гнезда уничтожались. Полк за полком переходил на сторону революции. Столица была во власти восставшего народа.

В один из этих первых дней победы в покойницкую Обуховской больницы доставили труп невысокого человека с пепельной нежной бородкой, вившейся от висков. На убитом был черный до колен ватничек, какие носили многие рабочие столицы, и вокруг шеи — широкое гарусное кашне.

Двое солдат, доставившие покойника, поцеловали его в лоб и, хмуро глядя, вышли из morga.

Несколько часов назад человек с вьющейся серо-пепельной бородкой подошел в сопровождении нескольких товарищей, таких же рабочих, как и он сам, к казармам одного из полков, медлившего примкнуть к восстанию.

Вход в казармы охраняли офицеры: они угрожали револьверами и никого не пропускали. Но смелость их была невелика: они дрогнули, увидев, как быстро и безрассудно выхватил незнакомый человек из кармана ручную гранату.

— Дорогу! — крикнул он.

— Дорогу! — закричали, вскинув «бульдого», его товарищи, и офицеры врассыпную побежали от ворот.

Революционеры пробрались в казарму.

— Товарищи солдаты! — подняв над головой шапку с кожаным верхом, вскричал человек с вьющейся колечками бородкой. — Долой войну, братья! Рабочие Петрограда зовут вас на улицу. Да здравствует революция, братья солдаты! Вас заперли тут царские офицеры, вас хотят обмануть.

Он взобрался на еще не остывший медный бак с водой, стоявший в углу казармы, и оттуда обратился к солдатам с речью. Она была кратка и очень понятна им.

Спутав свои роты, не дожидаясь своих начальников, солдаты колоннами двинулись к воротам. И здесь, у самого выхода на улицу, из окна караульного помещения раздался короткий революционный выстрел. Пуля срезала краешек гарусного кашне, обмотанного вокруг шеи недавнего оратора, и влетела в затылок его. Человек упал. Он был мертв.

Двое солдат, доставившие его тело в больничный морг, смахивали слезу, говоря о погибшем. Они даже не знали толком, кто он. Один из них только и мог сказать: «Большак!»

Что означало это слово — он еще не представлял себе, этот прослезившийся от товарищеского горя, сильно прогневавшийся солдат.

Фамилию убитого называли его друзья — такие же, как и он, рабочие. Это был Василий Власов. С такой судьбой, как его, набралось в эти дни немало большевиков.

Андрей Громов еще не знал о смерти своего друга. Его закружил водоворот уличных революционных событий. В тот день Андрею Петровичу пришлось облачиться в солдатскую шинель: вместе с двумя другими членами организации, рабочими завода «Цюфлон», он посетил место, о котором еще час назад никогда бы и не подумал. Это была унылая баня на Петрозаводской улице. Сюда должны были привести солдат пулеметной команды, размещенной на Карповке и в закрытом ресторане «Мунд» на Крестовском острове. В баню, — как будто ничего не происходило в городе!

Громов и его товарищи втерлись в задние ряды солдат и проникли в парилку. И здесь, голый среди голых, Андрей Петрович открыл неожиданный для всех митинг.

Спустя два часа пулеметный полк выходил из казарм на помощь восставшим рабочим. Некому было командовать: поручики и капитаны, запершись в Офицерском собрании, отстреливались, часть из них бежала, и солдаты, оставленные без командиров, топтались на одном месте.

На глаза Андрею Петровичу попался худенький подпрапорщик; он застенчиво улыбался большим, растянутым до ушей ртом.

— Постройте полк! — кинулся к нему Громов.

— И во сне не снилось такое... Засмеют меня! — Испуг и растерянность желтой краской бросились в лицо широкорогого.

— Мы все равно что на позициях, понятно? — заорал на него Андрей Петрович и потряс за плечи.

И тогда подпрапорщик отдал команду, и голос у него оказался привычный и тяжелый, которому нельзя было не подчиниться. Полк в боевом порядке выступил на защиту революции.

Теперь с каждым часом солдаты — пулеметчики, саперы, кавалеристы — все больше и больше убеждались, что их восстание будет успешно только в союзе с рабочей массой и под его знаменами. Не случайно первые восставшие полки — литовцы и волыняцы — прежде чем продефилировать перед Таврическим дворцом, направились на Выборгскую сторону — в центральный рабочий лагерь революции.

Андрей Петрович был тем первым человеком, кто рассказал больному Ваулину о событиях партийной жизни. Установить связь со Шведом удалось в день, когда стало известно об отречении царя.

В одной из комнат чердачного помещения на Кронверкском проспекте к Андрею Петровичу подошел солдат с широкими иглистыми бровями. На нем была новенькая ворсистая шинель и такая же новенькая фуражка. Это был Николай Токарев.

— Вы товарищ Громов? Мне на вас указали, — сказал он.

— Где ваша часть стоит? Когда надо? — быстро, вопросом на вопрос ответил Андрей Петрович. — Кого-нибудь обязательно пошлем. Что, эсеры заели? Или милюковцы ведут к присяге новому идолу, — что?

— Да совсем не то, товарищ! — заулыбался Токарев. — Вы уж это по привычке, я вижу... Я сам большевик и, ежели что, сам, пожалуй, мог бы речугу солдатам... Вы Громов или не Громов?

— Всю жизнь Громов!

— Ну, значит, к вам я попал. Записка вам от товарища Сергея Леонидовича.

— Да ну! Куда пропал он, — а? — обрадовался Андрей Петрович и выхватил из рук солдата записку. — Вот оно что... — сокрушенно протянул он, мигом пробежав ее глазами. — В такое-то время... ох, черт! Обязательно прибегу, обязательно! А ваша часть-то где? — неожиданно заинтересовался он.

— Была на Шпалерной, — весело усмехнулся Токарев. — Ожидала веревки или пятнадцать браслетов на ноги в Сибирь. А теперь, сами видите, — гуляем!

Ласковая хитринка светилась в светло-голубых глазах его нового знакомого.

«Вот ты каков... — приветливо говорили глаза. — Балагур, значит?»

Большой день был сегодня в ПК: собрались послушать первый доклад о «текущем моменте».

Начать собрание было не так-то легко: ежеминутно открывалась дверь, и членов комитета теребили, обступая со всех сторон, вновь прибывшие люди. Вопросов в ПК и предложений было бесчисленное множество.

Пришел балтиец-подпольщик. Высокая флотская фуражка сдвинута была набекрень, волосы растрепанными колечками опустились на выпуклый запотевший лоб, широкая бровь нервно вздрагивала,

искрившиеся глаза искали кого-то. Они быстро пробежали по лицам и фигурам наполнивших комнату людей.

Вот они нашли того, кого надо было:

— Лев Михайлович!.. Лев Михайлович, можно вас на минутку?

Балтиец, протиснувшись в дальний угол комнаты и сняв фуражку, крепко и долго пожимал протянутую ему Львом Михайловичем руку.

— Привет дорогим балтийцам... Браво морякам!

Это был Михайлов-Политикус — хозяин помещения. Он ведал статистикой Биржи, и не раз в его чердачной комнате собирались нелегально питерские большевики. И теперь, в первые дни легального существования ПК, он председательствовал в его заседаниях.

— Что скажете, дорогой друг? Чем вы нас порадуете?

Он положил руку на плечо моряка, другой удерживал за талию Громова, с которым еще не закончил разговора.

Моряк, обращаясь к ним обоим, стал выкладывать свои предложения Петербургскому Комитету.

Дело вот в чем.

В борьбе с небольшими шайками протопоповских городских партизанский метод борьбы увенчался успехом. Но должно быть совершенно ясно, что при столкновении с настоящими воинскими частями, не вовлеченными еще в революцию, петроградский гарнизон боя не выдержит. А между тем носят слухи, что с фронта идут большие силы для подавления революции. Этой возможной угрозе надо противопоставить революционную организацию армии. Но буржуазному думскому комитету это не под силу. Восставшие солдаты не могут ему доверять. Да и не следует: любая политическая подачка со стороны монархии может превратить Таврический дворец в несомненного изменника народному движению. Поэтому нужно немедленно иметь свою большевистскую военную организацию.

— Дело! — сочувственно похлопал Михайлов по плечу. — Дело. Создать свою, собственную, говорите, — а?

Моряк закивал головой:

— Обязательно, Лев Михайлович!

— Обязательно, друг мой, — повторил Михайлов. — И для распространения наших идей среди солдат и для организации войск. Защищать революцию еще придется. Громов, вы как думаете: придется ведь, — а? Зачем в долгий ящик откладывать? Оставляйтесь: после доклада и обсудим. Идет? Ну вот и договорились. А договорились — значит, сделаем.

Он часто улыбался: очень спокойной, светлой улыбкой жизнелюба — этот человек с веселыми глазами, черными, по-киргизски опущенными вниз усами и рано поседевшими, серебряными волосами. Они слегка вились от темени до затылка. Плотные розовые щеки его были всегда выбриты, лицо — всегда гладкое и чистое.

В этой комнате было еще двое седоволосых, хорошо известных организации людей: от латышского района — сутуловатый, аккуратно одетый, с седыми усами над яркой губой, с белой легкой шевелюрой, выступавшей мысом на лбу, и большеголовый, лысе-

ющий, с густой бородой — старый большевистский литератор Ольминский.

Он приехал из Москвы сюда для контакта. И — наткнулся в первый же момент на Бориса Авилова. Наткнулся — и был оговорен: Авиллов развивал в разговоре типично меньшевистские идеи.

— Мы переживаем буржуазную революцию, — говорил он, — и потому задача и обязанность рабочего класса в том, чтобы полностью, не за страх, а за совесть, поддерживать Временное правительство.

— Так-таки не за страх, а за совесть? — холодно усмехнулся старик Ольминский и сердито засопел в бороду, зажав ее в кулаке.

Авиллов произносил пространные доктринерские филиппики в защиту своей позиции, немилосердно цитировал свои старые статьи, несправедливо, мол, забытые последователями Ленина, вооружал свою речь тяжеловесными научными ссылками, предлагал всем устроить его, Авиллова, доклады по теоретическим, программным вопросам. Узколицый, стриженный бобриком, с бледным сухим лицом и суетливо загорающимися глазами, он переходил от одной группы пекистов к другой, выискивал своих сторонников, но их не оказывалось.

После первых же слов докладчика — представителя Русского бюро ЦК — он поспешно вынул из пиджака распухшую от вложенных в нее бумажек клеенчатую записную книжку и стал в ней что-то записывать: он конечно же должен будет оппонировать!..

— Революция не кончилась. Она еще только начинается, товарищи, — сказал выступающий.

Голос его звучал тихо, но внятно. В меру длинные фразы выслушивались легко, без напряжения. Они были построены несложно, логически дополняя одна другую. Оратор довольно часто делал паузы, иногда и продолжительные: в десятка полтора секунд — но ни у кого в тот момент не было ощущения, что он сбился в своей речи. Напротив, за паузой следовало начало новой мысли, еще до того не высказанной.

В речи не было громоздкого авиловского академизма, вызвавшего неприязненное отношение Андрея Петровича, но в ней была та уместная в серьезном и важном докладе обстоятельность, которая равно убедительна и для испытанного в партийной теории слушателя, и для обучающегося тут же, на собрании, менее сведущего партийного работника.

— ...Революция только начинается, товарищи. Сейчас, в эти дни и ночи, когда нам с вами нет еще времени умыться как следует, еще, товарищи, дымится порох на баррикадах и мы на них неотступно стоим с оружием в руках, — вот в эти часы в Таврическом дворце уже образовалось правительство. Из кого оно состоит? Это все не случайные люди. Это правительство помещиков и капиталистов. Оно стоит не за революцию, а против революции. Оно стремится утихомирить революцию. Да и как могло быть иначе, если во главе этого правительства стоит монархист князь Львов. Вместе с ним в правительстве кадет Милюков, который еще вчера умолял брата царя — Михаила Романова принять престол и спасти Россию. На гребень политической волны выкинуты такие люди,

как ярый империалист Гучков — председатель военно-промышленного комитета, миллионер-сахарозаводчик Терещенко и крупнейший фабрикант Коновалов. С этим правительством нам не по пути. Но в эти же часы образовалось новое, пусть слабое еще, но наше, рабочее правительство! Умейте увидеть его, товарищи. Оно выражает надежды и чаяния рабочего класса и беднейших слоев населения городов и сел. Что же это за правительство? Это, конечно, Совет рабочих и солдатских депутатов!

— Вот те как?!

В этом месте речи Авиллов навалился грудью на стол и, откинув голову набок, иронически и вызывающе смерил взглядом докладчика.

— Серьезный вопрос... Будет вам ворошиться, — мягко проглатывая не дававшееся местами «эр», остановил своего суетливого соседа Калинин.

Он все время поглаживал, загибая вниз, узенькую метелочку своей седеющей бородки и очень молодыми — не по возрасту — глазами следил внимательно за лицами сидевших напротив него за столом. Михайлову-Политикусу он бросил смятую в шарик записочку и, хитро посмеиваясь одними глазами, выжидал, покада тот прочтет ее. И когда Михайлов, прищурив глаз, утвердительно кивнул головой, — он глубоко откинулся на стуле и, продолжая как бы безмолвный разговор с единомышленником-товарищем, подняв руку над авиловской головой, сделал жест рукой, вызвавший одобрение у всех тех, кто его заметил. Жест означал: «Хлопнуть бы его как следует по башке!» — а пальцы одновременно показывали, что следовало бы авиловскую голову повернуть, как на винте, и выправить. И лицо Калинина стало суровым и сердитым.

Докладчик также заметил этот жест, но не усмехнулся.

— Да... Вот те т-так! — чуть запнувшись, сказал он и очень серьезно посмотрел на своего нетерпеливого критика. — Тем, кто этого не понимает, нужно вправить мозги...

Калинин быстро-быстро закивал, подмигивая, и повторил свой жест над авиловской головой, и тогда оратор, отвернувшись в сторону, широко и несдержанно улыбнулся всем своим смуглым лицом и поправил пенсне, словно опасаясь, что оно может сейчас, от улыбки, соскользнуть на пол.

Это продолжалось несколько секунд. Потом он снова принял свою обычную позу: уперся обеими руками на стол, подался к нему плечами, чуть откинул назад темноволосую голову, — и снова заговорил.

— Товарищи! Когда на пленуме Совета обсуждался вопрос о сдаче власти Временному буржуазному правительству, мы, большевики, внесли наши предложения. Находя, что Временное правительство является классовым представительством крупной буржуазии и крупного землевладения и стремится свести настоящую демократическую революцию к замене одной правящей клики другой кликой, а потому не способно осуществить основные революционные требования народа, мы считаем, что главнейшей задачей сегодняшнего дня является борьба за создание Временного революционного правительства, которое только и сможет осуществ-

вить требования революционной демократии. Совет рабочих депутатов должен оставить за собой полную свободу в выборе средств осуществления требований революционного народа.

Андрей Петрович сосредоточенно слушал докладчика.

Он впервые за эти последние годы слышал такую ясную, не оставляющую сомнений партийную речь. Она, как самые точные весы, взвешивала исторические факты и ни одного из них не сбрасывала пристрастно со счетов времени.

Читая вполдвиги «Правду», Андрей Петрович часто вспоминал вечер на Кронверкском.

— ...Совет в настоящем его составе, где нас, большевиков, — меньшинство, отверг наши предложения. Меньшевики всех мастей только тем и занимаются, что со всех сторон стараются подпереть буржуазное правительство. Формула «постольку-поскольку», предлагаемая некоторыми из нас, чтобы оказать все-таки какую-то поддержку Временному правительству, — это не наша большевистская политика. Мы не должны отказываться от лозунга Временного революционного правительства и путей его осуществления через Совет рабочих депутатов. Наша партия обязана возглавить эту борьбу. Революция не кончилась, она только начинается.

Три часа продолжались прения по его докладу. Когда кто-то вслед за Авиловым ударился в теоретические отвлеченности, стараясь обосновать необходимость формулы «постольку-поскольку», Громов вдруг тяжело засопел и негодуя перебил оратора:

— Нечего терять времени на праздные споры!

К докладчику подскочил моряк.

— Я вот целиком на вашей стороне, — запустив пятерню в свои ниспадавшие кольцами волосы, искал он с ним разговора.

Моряк тихонько оттер локтем стоявших впереди него товарищей.

— Я тоже против всякой половинчатости. Но вот мы сейчас с Михаил Степановичем говорили... — Он показал рукой на Ольминского, оставшегося сидеть за столом в беседе с Калининым. — Мы вот так говорили... Раз революции угрожает еще черная опасность, то, признавая, конечно, необходимость борьбы с Временным правительством, надо, поскольку оно сражается...

— Сражается! Ишь!.. — Сражается, да в ногах валяется, — не сдержал себя Андрей Петрович и ощутил вдруг на своем плече легкое прикосновение руки Калинина.

— ...сражается с остатками царизма, нам, пожалуй, необходимо его в этой борьбе поддержать. Но только в этой борьбе! — поспешил уточнить свою мысль моряк. — Только до тех пор, пока не минует непосредственная контрреволюционная угроза. Знаете, нецелесообразно убивать корову, предварительно не выдоив из нее молока!

— Корова-то коровой, молочко — молочком, да в чьи оно поддоиники потечет?! — одобренный калининской поддержкой, выкрикнул Андрей Петрович под общий смех стоявшей здесь группы. — Да и потом... быка доить собирается! — махнул он рукой, и снова все рассмеялись.

Рука Калинина спустилась вниз от плеча Громова и теперь крепко пожала его локоть.

Глава двенадцатая

«БУДЕМ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО!»

Он развернул газету, бегло ища заметку о себе. Он знал, что заметка обязательно должна быть в этом номере, и он быстро нашел ее на третьей полосе. И сразу же бросились в глаза неоднократно упоминавшиеся в печатной колонке его инициалы и фамилия.

Заметка гласила:

«4 марта министр Временного правительства Л. П. Карабаев вступил в управление ведомством.

Когда стало известно, что предстоит посещение министерства Л. П. Карабаевым, солдаты, несущие караул по министерству, попросили своего начальника дать им возможность встретить Л. П. Карабаева особенно почетным образом. По их желанию, весь караул был выстроен к моменту прихода министра перед зданием министерства.

При появлении Л. П. Карабаева вся команда взяла на караул. В ответ на приветствие Л. П. Карабаева солдаты громко отчеканили:

— Здравия желаем, господин министр.

— Благодарю вас, — ответил Л. П. Карабаев.

— Рады стараться, господин министр.

В министерстве, приняв всех собравшихся чинов, Л. П. Карабаев произнес речь, призывая к совместной деятельности на благо родины. Указав, что теперь дорога каждая минута и поэтому ныне не время для слов, Л. П. Карабаев обрисовал всю огромную важность настоящего момента.

Речь министра была покрыта бурными и продолжительными аплодисментами. Л. П. Карабаеву преподнесли старинную художественную иконку и цветы».

ПИСЬМО МИНИСТРА

Нам сообщают, что министр Л. П. Карабаев обратился со следующим письмом к президенту Вольного экономического общества:

«Считая, что с учреждением нового строя деятельность Вольного экономического общества, прерванная старой властью, уже восстановлена, я очень просил бы вас обратиться ко всем деятелям Вольного экономического общества, моим товарищам по общественной работе, с призывом немедленно прийти на помощь Временному правительству в разрешении хозяйственных и прочих экономических вопросов текущей жизни».

— Здравия желаем да рады стараться... Как о солдафоне написано! — недовольно забурчал Лев Павлович. — А о том, как говорил, что говорил — об этом ни слова!

В газете было немало интересного:

Завтра ожидается в столице генерал-лейтенант Корнилов, назначенный командующим войсками Петроградского военного округа.

Зимний дворец объявлен национальной собственностью.

Японский военный атташе заявил, что хотя японское правительство и посольство официальных уведомлений о происшедших в России событиях не получили, тем не менее он приветствует до-

блестную армию Временного правительства, ставящего целью борьбу с Германией до победного конца.

Арестованные городовые, содержащиеся в помещении редакции газеты «Земщина», приспособленном под временную тюрьму, собрали между собой по подписке 215 рублей на... нужды революции! «Граждане! — писали эти городовые. — Нижние чины полиции, начиная с надзирателей, городских и служителей, постоянно находились всей душой вместе с народом, радовались его радостям и делили его горе. Если с кем и имелись трения, то только с более неблагонадежными элементами, охраняя имущество и жизнь мирных обывателей. Если когда кому и не угодили, то во всяком случае исполняли волю высшего начальства».

Лондон. Англия ничего не имеет против переезда Николая Романова в Великобританию, если Временное правительство решит издать страну от дальнейшего его пребывания в России.

Москва. Покончил с собой выстрелом из револьвера один из ревностнейших сподвижников старого режима, виднейший охранник и провокатор, создатель целой системы политического сыска — С. И. Зубатов. Он жил в квартире своего сына, чиновника государственного банка. Последние дни страшно тосковал.

По всей России — аресты представителей старой власти, назначение новых администраторов.

Лондон. Вся печать сочувственно относится к русской революции. Консервативная «Таймс» помещает передовую статью под заглавием «Германизм в России и конец столетних интриг».

Новым митрополитом петроградским и ладожским на место уволенного на покой Питирима назначен епископ уфимский Андрей (кн. Ухтомский).

Из одного из особняков на Дворцовой набережной доставили в градоначальство два чемодана вещей, принадлежащих Штюмеру. Золота, увы, не оказалось. Зато нашли кожаный портфель с секретными делами бывшего премьера, обер-камергерский ключ в футляре, золотые запонки, драгоценностей на 100 тысяч и серебряной мелкой монеты на 400 рублей. Серебряные деньги конфискованы в пользу казны, так как сокрытие мелких денежных знаков преследовалось и при старом режиме.

Опубликовано постановление Совета рабочих депутатов о возобновлении трамвайного движения. Население столицы приглашается аккуратно вносить проездную плату и немедленно возвратить дежурным агентам службы движения ручки для управления вагонами, захваченными жителями в дни восстания против царского режима.

Образован совет офицерских депутатов.

...Все шло хорошо, но вот две заметки испортили настроение Льву Павловичу.

Одна из них говорила об освобождении из-под стражи бывшего царского министра финансов Барка. Новый министр финансов, недавний конкурент Льва Павловича, Терещенко изъявил желание иметь собеседование со своим предшественником и получить у него деловые сведения. Терещенко заявил при этом, что считает недостойным воспользоваться этими сведениями, данными лицом,

поставленным в положение «пленника». Он пожелал вести разговор как «равный с равным».

Старая обида уколола сердце Льва Павловича: «Советуется молодой человек... Эх, мог бы и со мной посоветоваться!..»

И вторая мысль подкралась тут же: как это он сам не догадался потребовать освобождения Барка? Надо было, конечно, поспешить выказать великодушные незлопамятного победителя, каким он считал себя в данном случае.

К тому же если разобраться по существу, то Петр Львович Барк — человек вполне корректный, к дворцовой камарилье непричастен и к нынешнему думскому правительству отнесся бы вполне лояльно.

Во всем этом Лев Павлович был вполне убежден. Будь он сейчас министром русских финансов, — не возражал бы иметь своим товарищем такого сведущего в этой области человека, как Петр Львович Барк. Только бы тот согласился и не вызвал возражений со стороны членов нового правительства.

«Да и вообще, — думал Лев Карабаев, — не так уже разумно будет ломать весь старый административный аппарат, как того требуют уже некоторые безответственные «крикуны» из Совета рабочих депутатов... Аппарат государственной власти надо сохранить, но поставить только во главе его новых людей. Слава богу, революция как будто уже кончилась, и пора подумать о порядке...»

А Барка... ах, Барка он так глупо «пропустил»! Неужели он тоже мытарствовал все эти дни в отвратительном Трубецком бастионе?

Лев Павлович болезненно поморщился при воспоминании о Петропавловке.

День назад, сопровождая в числе других министра юстиции, генерал-прокурора Керенского, Лев Карабаев впервые в жизни увидел знаменитые казематы, вынесенные глухой стеной на Неву.

Автомобиль медленно въехал в крепостные ворота. Часовой остановил его и потребовал пропуск, — голос и рука Керенского устранили легко все строгие препятствия. У вторых ворот — та же процедура. Вот направо — Петропавловский собор, усыпальница дома Романовых. Автомобиль сворачивает в противоположную сторону и останавливается у наглухо запертых тяжелых ворот. В них — калитка, охраняемая двумя стрелками. Калитка открывается, и на пороге — офицер, теряющий свою служебную строгость, как только видит министров.

— Ведите! — хрипит голос генерал-прокурора, и комендант послушно превращается в тюремного гида.

С правой стороны — высокая стена заднего фасада Монетного двора, слева тянется двухэтажная постройка бастиона, окрашенная когда-то желтой краской, теперь облупившейся, полинявшей от сырости. Посреди здания — входная дверь, а перед ней, в виде палисада, — маленький дворик, огороженный высокой железной решеткой.

Вместе с другими Лев Павлович вошел в кордегардию, наполненную солдатами, потом по стертой каменной лестнице поднялся на второй этаж и вступил в тюрьму.

Комендант сообщил, что здесь восемьдесят камер, и ввел в одну из них, еще пустовавшую. Камера — три сажени длиной, пять аршин шириной — освещалась одним полукруглым, с железной решеткой, окном, проделанным почти у самого потолка. Заглянуть в окно не представлялось возможным, так как вся мебель, состоявшая из железной кровати и деревянного столика, крепко приделана была к стене.

Могильную тишину приятно нарушало от времени до времени сипловатое урчание воды в проржавевшем водопроводном кране. В камерах нижнего этажа узник слышал еще плеск Невы, лижущей крепостные стены. Бой часов Петропавловского собора особенно гулко и резко отдавался под сводами бастиона.

Перед правительственной комиссией открывали одну камеру за другой. Низкие массивные дубовые двери с широкими железными засовами и тяжелыми висячими замками требовали большого усилия оттягивавшей их человеческой руки.

Перед каждой дверью комендант — плечистый и широкогрудый штабс-капитан с крылатыми густыми бровями, волоокый, с бугристой кожей лица — лаконически докладывал:

- Жена бывшего военного министра Екатерина Сухомлинова.
- Бывший министр внутренних дел Александр Протопопов.
- Бывший председатель совета министров Борис Штюмер.
- Бывшая фрейлина императорского двора Анна Вырубова.

Он обязательно называл всех заключенных по имени, и это немного смешило Льва Павловича.

Керенский забегал почти в каждую камеру, вел отрывистый двухминутный разговор с оторопевшим узником и высказывал обрательное, то криво усмехаясь нервно-подвижным ртом, то хмуря свои жидкие соломенные брови. На узника смотрел он пронизательно, прямо в глаза, фразы бросал короткие, повелительные, а сам слушал невнимательно, будто заранее не веря в то, что ему говорят.

По выходе из Петропавловки он удовлетворенно осклабился и сказал Льву Павловичу, доверительно прикасаясь к его локтю:

— Теперь я смогу еще раз заверить революционную демократию, что правительство, мы с вами, крепко держим в своих руках подлейших сановников романовского режима. Не так?

С караулом у ворот он распрощался, подав каждому солдату руку в перчатке.

В автомобиле он словно незначай обронил фразу, что следует, пожалуй, «изменить меру пресечения» одному из бывших государственных деятелей — человеку «вполне корректному», за которого, по секрету сказать, просили его из английского посольства. Он почему-то не назвал фамилии этого человека, но сейчас Льву Павловичу показалось (такова была мелькнувшая догадка), что им оказался тот же самый Барк.

И Карабаев снова подсадовал, что в освобождении своего бывшего противника он ни при чем...

Однако вторая газетная заметка принесла еще большее огорчение. Это потому, что она напомнила об Ирише и еще об одном человеке.

В газете было:

Пишущему эти строки стала известна любопытная история одной провокации.

В декабре прошлого года, в ночь, когда был убит Григорий Распутин, группа социал-демократов захватила поблизости Юсуповского особняка небольшое типографское заведение для отпечатания в нем нелегального номера своей газеты. На рассвете почти все революционеры, а также приготовленные люди для разности газет по фабрикам и заводам, были захвачены полицией.

Только сейчас удалось выяснить, что они были выданы охранке одним же из участников революционной группы, принимавшим непосредственное участие в печатании газеты, — неким рабочим Михайловым, 23 лет. Уже теперь, пользуясь хаотическим положением дел в первые дни революции, сей сотрудник охранки проник в комнаты Таврического дворца, где свалены были бумаги охранного отделения, и удачно похитил оттуда свое собственное «секретное дело», а затем и уничтожил его.

Но провокатору не повезло. Вместе с «каиновыми бумагами» он выкрал для своей жены шелковый платочек деятельной сотрудницы комиссии по разбору бумаг старого режима, оказавшейся дочерью знаменитого члена Государственной думы, нынешнего министра Временного правительства, Л. П. Карабаева. Как теперь выяснилось, И. Л. Карабаева была ранее связана с подпольной с.-д. организацией, была в курсе произведенных в декабре арестов, и «дело» Михайлова, найденное ею, по роковой случайности, вручила, ничего не подозревая, в... руки самого Михайлова!

Ничего не зная обо всем этом, освобожденный из тюрьмы член комитета с.-д. организации С. Ваулин, пришедший к мысли о возможном предательстве Михайлова, у которого однажды скрывался, обратился, не встретившись еще с И. Л. Карабаевой, к своим партийным товарищам с просьбой тотчас же разобрать дело о декабрьской провокации.

Уничтоживший все следы своего преступления предатель Михайлов мог бы избежать наказания, но тут-то «подвел» шелковый платочек Карабаевой. Она, уже по просьбе г. Ваулина, подоспела к разбирательству дела. На очной ставке с ней Михайлов отрицал, что именно он выкрал дело «Петушка» (такова была его кличка в охранке), что он, как и Карабаева, вынужден был выйти на время из помещения комиссии и, следовательно, вором мог оказаться любой человек из числа присутствовавших тогда в комнате. В квартире Михайлова был произведен товарищами обыск, во время которого на видном месте была обнаружена прямая улика — носовой платочек. Михайлов передан органам революционной юстиции.

К сожалению, не удалось этого сделать в отношении крупнейшего провокатора г. Озоль-Озиса — казначея столичной организации с.-д. большевиков, уничтожившего ряд партийных документов и скрывшегося из Петрограда.

Как нам сообщили, этот достойный представитель азефовщины, столь усердно насаждавшей охранкой, организовал большинство провалов с.-демократов за последний год — вплоть до ареста Петербургского Комитета накануне революции.

Ф. А. — тов»

— Скандал... Чистейший скандал... — поморщился Лев Павлович. — Стыдно будет в глаза смотреть.

Он встал из-за письменного стола, прошелся несколько раз из угла в угол по кабинету, потом остановился вдруг посреди комнаты, прислушиваясь к тому, что делается в квартире.

Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь из домочадцев услышал его шаги. Они означали бы, что Лев Павлович прервал на время свои занятия и потому можно отвлечь его на какие-либо семейные дела. В ту минуту он не подготовлен был к встрече ни с женой, ни с дочерью. И потому именно, что уже решил устроить эту встречу сегодня же, не откладывая в долгий ящик, воспользовавшись воскресным днем, избавлявшим его от необходимости ехать с утра в министерство.

В квартире было тихо, в кабинет долетали только отдельные короткие звуки обыденной квартирной жизни. Кто-то прошел в ванную и, включая в ней свет, задел и сбросил на кафельный пол металлическую крышечку неисправного выключателя. Из кухни прорвался надтреснутый бас дворника, принесшего дрова, а из столовой — размеренный и прерывающийся звук ложечки о стекло стакана: это конечно же заботливая Софья Даниловна взбивала желтки с сахаром для избалованного материнским вниманием Юрки. Все как будто входило в свою колею: революция кончилась, — и сегодня первый день, когда карабаевская семья была в полном сборе и все могли бы увидеть друг друга в нормальной семейной обстановке.

Лев Павлович подумал об этом в связи с принятым решением. «Без вспыльчивости, только без вспыльчивости... — уговаривал он себя. — По-хорошему, по-спокойному, — вот так надо».

Придя к этой мысли, он тихонько открыл дверь из своего кабинета и позвал жену.

— Проснулся? — спросил он о сыне.

— Сейчас, наверно, проснется. Это ведь мы с тобой, Левушка, ранние пташки. Что в газетах?

— Прочтешь потом...

— Попробуй: вкусно?

Софья Даниловна набрала на кончик ложечки желтой тягучей массы, лизнула языком гоголь-моголь и дала попробовать его мужу.

— Кондитер от Балле лучше не делает, — одобительно причмокнул он. — Отнеси, а сама приходи сюда. До завтрака еще есть время, — посмотрел он на часы. — А у меня дело...

— Что ты хочешь этим сказать? — остановилась Софья Даниловна в дверях.

— Мне нужно поговорить с Иришей в твоём присутствии.

Он старался улыбаться и казаться вполне беспечным, но Софью Даниловну не так-то легко было обмануть.

— Левушка, скажи мне, что ты хочешь делать? Что произошло? — внимательно посмотрела она.

— Ириша оделась? — не отвечал он на вопрос. — Ну, отнеси, отнеси... потом потолкуем. Попроси ко мне Иришу, а потом и сама приходи.

Через несколько минут вошла дочь: в пестром (синее с желтым) муслиновом халатике, в комнатных туфлях без каблуков, с неуложенными волосами, заплетенными наскоро в толстую длинную косу.

Карабаев взглянул на дочь: «Красивая она у меня... Но как будто похудела, осунулась...»

— Доброе утро,— легонько зевнув, сказала Ириша, подходя к отцу.

— Выспалась? Или нет?— потрепал он ее по плечу.— А хорошо ведь, правда, выспаться у себя дома, в своей чистой постели? Знать, что о тебе позаботятся,— а?

— Пожалуй!— зажмурившись на секунду, улыбнулась Ириша.— Признаться, я немного устала. Но это хорошая усталость, ей-богу!

— Я думаю устанешь! Сколько ночей ты не ночевала дома...— всячески стараясь скрыть свое раздражение, сказал Лев Павлович.— Так и надорваться, родненькая, можно.

Он жестом пригласил дочь сесть рядом с ним на диване.

— Ох, ты мое блудное малое дитятко...— старался он шутить.— Совсем, знаешь, как в евангельском сказании. Помнишь, как там? Сын жил распутно, но возвратился к отцу и сказал: отче, я согрешил против неба и перед тобою. А что ответил отец,— а? Отец сказал: приведите откормленного тельца и заколите его: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв — и ожил, пропадал — и нашелся... Так ведь, курсёсточка моя,— а? Отец всегда хочет простить своего ребенка, Ириша.

— То есть? Ты хочешь сказать, что я в чем-либо перед тобой виновата?— стали серьезны и выжидательны ее прозрачные карие глаза.— Ты хочешь поговорить сейчас со мной о чем-то важном?

— Если хочешь — да!

— О чем!

— Но прежде — я хотел бы спросить...

Софья Даниловна вошла в комнату, неся на блюде стакан горячего молока и бутерброд с маслом и сыром. Она протянула блюде дочери: «Покуда там завтрак будет...»— и присела рядом с Иришей.

Тогда поднялся с дивана Карабаев и стал перед женой и дочерью. Он показался самому себе сейчас торжественным: он стоял, широко откинув в стороны руки, и широким взглядом блестящих глаз обводил членов своей семьи.

— Дорогие мои, будем говорить откровенно. Не правда ли?— столь же проникновенно-торжественно звучал его приятный голос.

— Пожалуйста, папа.

— Откровенно и спокойно, Левушка,— предостерегающе сказала Софья Даниловна.— Так, как следует любящим друг друга людям.

— Вот именно — любящим!.. Очень любящим и близким друг другу людям, дорогие мои. Об этом я и хотел спросить нашу Иришу.

— А надо ли спрашивать?— покраснела она.

— Тем лучше... Я хочу говорить с тобой, Ириненок, как с дочерью, как с курсисткой, как с молодой гражданкой новой Рос-

сии,— тихо, но почти с пафосом трибуна, приготовившегося к публичной речи, сказал Лев Павлович.— Доченька, ты знаешь, как я тебя люблю! В самые горячие моменты своей политической жизни я ни на минуту — уверяю тебя — не забываю о всех вас, дорогие мои, да как же иначе может быть, господа?

На минуту глаза его стали влажны, и он отвернулся, поспешно закуривая папиросу.

— Не волнуйся, Левушка!— со¹ строгой мольбой обратилась к нему Софья Даниловна и с явной укоризной посмотрела на дочь, призывая ее взглядом оценить душевное состояние отца.

После первой же затяжки Лев Павлович положил дымящуюся папиросу на краешек пепельницы и, медленно расхаживая по комнате, продолжал свою речь:

— События грандиозные... В несколько дней произошло прямо-таки чудо в России. Сбылись наши самые фантастические мечты. Скажу с гордостью, и вы, дорогие мои, это сами знаете: здесь, вот в этой самой комнате, сколько раз, господа, собирались те самые люди, которые стали сейчас во главе России!.. Мне кажется, Ириненок, что ты тоже должна гордиться этим. А?

Дочь молчала.

Но, может быть, это не была форма возражения — это молчание? Может быть, Ириша почтительно только слушала, просто не желая прерывать отца? Лев Павлович искоса посмотрел на нее.

Он заметил, что недопитый стакан молока больше уже не нужен ей,— он взял его из рук дочери и поставил вместе с блюдцем на стол.

— Вы понимаете, дорогие мои... Нужно рассуждать, как говорится, масштабно... Да, да!.. Ты, Ириша,— курсистка, ты учишься в университете. Что это означает? Ты когда-нибудь думала об этом?

Дочь подняла на него глаза, и он прочел в них любопытство, доверие и внимание уважительно прислушивающегося человека.

— Университет — это означает: развивать в себе, дочка, дух исследования. Вот что это означает! Могучий дух исследования, которым интеллигенция должна обогатить всю страну. Ты должна быть предана университету — и больше ничему!.. Особенно в наших новых условиях. Как ты считаешь, Ириненок? Университет как хранилище всех отраслей человеческих знаний дает более общее, разностороннее и общечеловеческое развитие и содействует выработке более законченного мировоззрения в молодежи, чем любая модная партийная программа... Вот, я сам — политик, член определенной партии, но для молодежи... для молодежи я желаю только университета!— лукавил Лев Павлович, нарочно растерянной улыбкой и подмигиванием жене показывая свое якобы отступничество в интимной семейной среде от некоторых своих партийных принципов.— Затем, посмотри, Ирина,— все по-разному называл он сегодня дочь, стараясь все время быть с ней поласковой, дабы не вспугнуть.— Ты сейчас поймешь, о чем я хочу сказать... Никогда еще внешняя жизнь человека не была так богата и украшена удобствами и изобретениями, как в наш век. Самый бедный человек пользуется в наше время такими удобствами и приспособлениями

в жизни, о каких не мог и подумать, например, величайший богач два века... век назад!

— Ну-ну!— впервые за время его речи прервала его Ириша ироническим восклицанием, и Лев Павлович насторожился.

— А вот, голубушка,— сказал он,— внешняя жизнь делает гигантские шаги вперед, обогащает человечество.

— Взаимоистребление, например, на войне!— резко пошевелилась на своем месте Ириша, и полы ее пестрого халатика отвернулись, выставив голую, повыше колена, ногу.

Мать заботливо, назидательным жестом тотчас же привела в порядок ее одежду:

— Почему без чулка?

— Ну, знаешь, Ириша, это особый разговор!— сухо сказал Карабаев и вновь принялся за папиросу.— К тому же,— угрожал он,— я знаю, откуда он исходит!.. Ты выслушай меня. Внешняя жизнь — вперед, а вот внутренняя жизнь, жизнь человеческой души... не делает еще в обширной массе народа заметных успехов. Напротив! Есть целые группы людей... они, в лучшем случае, облезают полубождением, уличной эрудицией. Да, да,— уличной, не больше! Они,— как бы это сказать?... Они как бы отшлифованы трением в сильном общественном движении нашей русской интеллигенции. Но душевная сторона этих людей не затронута истинной культурой, и потому они сами неизбежно аморальны! Это надо помнить, Ирка!.. У них непросвещенная душа. Душа этих людей знает один лишь эгоизм — иногда замаскированный, иногда же без всякой личины. В жизненной давке, в конкуренции — люди эти, без всяких околичностей, сбивают, устраняют с дороги без пощады других людей. Устраняют жестоко, немилосердно. На общество они смотрят не как на мирное содружество, а как на беспощадную борьбу. И почему-то они величают ее громко: «классовая»!.. Непросвещенная у них душа, Иринка.... Непросвещенная, поверь мне! Свирепая, ничем неодолимая жажда наслаждений, ненависть к более возвышенным душевно людям, масса мелких, дрянненьких чувств — вот что составляет содержание таких душ...

В голосе Льва Павловича уже звучали злоба и раздражение. Они стали столь заметны, что жена и дочь обеспокоились и насторожились, и Софья Даниловна, предвидя бурю, стала успокоительно поглаживать Иришину руку.

Карабаев оборвал вдруг свою издалека шедшую к истинной цели «предварительную» многословную речь и, словно сам сейчас забыл о ней, сдвленным, глухим голосом спросил дочь:

— Я тебя прошу... прошу тебя, дочка моя, совершенно правдиво сказать нам с мамой: кто такой господин Ваулин и в каких ты с ним отношениях?

Он увидел, как густая краска залила теперь Иришино лицо, и оно стало еще красивей, чем было: настолько красивей, что оно показалось ему менее знакомым, чужим, не Иришиным. Он увидел горячий свет в ее настежь открытых глазах и ее сжавшийся упрямо рот — и понял, что те худшие подозрения, которые вот уж год как он питал, оправдались сейчас и не требуют никаких более подтверждений.

Все было ясно... чудовищно ясно! И вот сегодняшняя газетная заметка... Ему хотелось выкрикнуть что-то гневное, больное, но он придвинул к дивану стул и опустился на него, наклонившись корпусом к дочери.

— Ты уже знаешь о Ваулине?— тихо спросила она, и Льва Павловича досадливо поразил спокойный тон ее голоса.— Откуда?

— Мало ли откуда могут знать родители!..— сказала Софья Даниловна.

Переменив живо позу, она уселась поудобней на диване: так, чтобы получше видеть все Иришино лицо.

Теперь-то она, мать, вмешается в разговор и не откажется сама повести его. Пусть Левушка предоставит все ей...

— А ты хотела скрыть от нас?— спросила она у дочери.

— До поры до времени.

— Но кто же он такой в конце концов?

— Ты его видела, мама, у нас.

— Помню... С седьми височками,— этот?

— Ты сама говорила: умница...

— Вот этого не помню! Но все-таки — кто он?

— Кто? Вот кто!— выкрикнул Лев Павлович.

Он соскочил со стула, схватил лежавшую на письменном столе газету и, ткнув пальцем в столбец, дал ее жене.

— Твой родственничек, Соня, очевидно, с ним лучше тебя знаком! Твой родственничек, дорогая моя!.. Полюбуйся на подписи!

Только сейчас ему пришло в голову об истинном авторе заметки — Фоме Асикритове, и это еще больше подлило масла в огонь.

А может, и сама Ириша рассказала ему обо всем, и этот «писак», не пощадив ее же самое, ради сенсации тиснул ее рассказ в газете?.. Подлец!

Ириша и Софья Даниловна быстро пробежали глазами газетную заметку,— Карабаев пристально наблюдал в этот момент за лицом дочери. Ему казалось, что прошла не минута, а много больше, покуда она подняла голову.

— Скандал... Чистейшей воды скандал!— вполголоса, гневно и печально комментировал он молчаливое чтение газеты.— В прошлом году я догадывался... я мог кое о чем догадываться, но такое... такое, господа? Надо же понимать, кто твой отец!

— Да, мне это надо понимать... А в чем, собственно, скандал?— наконец подняла голову Ириша.— Вы хотите правды? Я вам ее всю расскажу,— посмотрела она на мать.— Я и так собиралась... Да, будем говорить откровенно!

...Общий завтрак сегодня не состоялся. Напрасно Клавдия, прислуга, несколько раз на цыпочках подходила к дверям карабаевского кабинета с тем, чтобы звать всех к столу.

Она прислушивалась: ах, все одно и то же!

Отчего бы это плакать такой счастливой хозяйке, как Софья Даниловна, и с чего бы до хрипоты и кашля сердиться барину? Был он такой ласковый, а как стал министром — так чего-то и не узнать даже!

Шли бы уж к столу: а то котлетки все высохнут на сковороде,— кто виноват будет?

Глава тринадцатая

ДЕЛО №0072061

Перед Петром Лютиком, историком-следователем особой комиссии Временного правительства, лежала груда писем, вытащенных из шкафов военно-цензурного комитета. Это были письма пленных русских солдат и переписка с ними их родных.

Он быстро пробежал глазами каждое письмо, наиболее интересное тут же передавал сидевшему напротив Асикритову.

«Дорогой Митя, вы пишете из плена, чтобы я снялась на карточке в платье с розочками, но как узнала про то ваша мамаша, то сильно обиделась. Я, говорит, заботюсь о нем и шлю ему всего, а он еще что там выдумывает: чтоб ему портреты!»

«...Ты, тятка, не признавайся, что сдался в плен, а говори, что от армии отстал».

«...Брата твоего Лейзера привезли без обеих ног и одной руки. Положили в кровать и никому не показываем».

«...Может быть, есть уже которые ранены и возвратились домой, то, вероятно, рассказывают фактически все походы солдатского жития во время военных действий и про офицер-подлецов. Пушай только война кончится, так мы всех разделаем под орех».

«...Я узнал, что вы продали мою гармонию за 8 рублей, а она стоила 22 рубля. Если вы не отберете гармошку, вы мне не родители будете, а собаки. Посылайте сухарей. Жив, здоров, чего и вам от господа желаю. Как покидаем плен, обязательно делать бунт будем, хозяев и помещиков до конца выстураем».

«...Дорогое дитя наше, Ильюша! Сегодня мы послали тебе маленькую посылку, состоящую из восьми с половиной фунтов ржаных сухарей и одной сатиновой черной рубахи. Дитя наше, с получением сухарей даем тебе наставление, чтобы ты не жадничал, то есть не ешь сразу помногу, а так приблизительно по 3 или 4 сухарика в день, а в первый раз съешь только 2 сухарика и то с горячей водой. А если ты сразу съешь много сухарей, то ты заболеешь и умрешь».

«...Посылаю тебе пару портков и рубах. Смотри же, Сеня, ходи в баню почаще».

«...Соберите, Евгений Амосович, мои фотографии и письма с моими лучшими чувствами вашей бывшей невесты и устройте маленький костер. Я с вашими сделала то же самое. Вам, может быть, это будет обидно, но ничего не поделаешь. Будьте счастливы с другой!»

«...Те приятели, которых ты знаешь по заводу, Вася, так они то по тюрьмам, то погнаны на позиции, а кто и задушен веревочным галстуком. Придет время — расчет сделаем. Так что ты, Вася, держись и знай, что там в бараке делать. Россия будет наша, как есть самое главное рабочие и народ».

«...У нас царь пьянствует, а молодая царица б...ует. Дела твои, господи! А по им да буржуйам из пушек стрелять — да и то мало!»
Человеческие документы говорили сами за себя.

Если Фома Матвеевич хочет писать статью, ему мало что останется добавить, чтобы нарисовать уголок жизни вчерашнего исторического дня. Да и сам он, Петр Михайлович Лютик, не от-

казывается, признаться, от этого намерения. И не только статью там для газеты,— он мечтает, если на то пошло, написать целую книгу. Даже заглавие для нее наметил: «Канун свободы».

Кому же, как не ему, Петру Лютику, историку-обозревателю, да к тому же хорошо знающему армию и ее людей,— кому же легче всего написать такую книгу сейчас? Вот нагроулили только работой в этой самой «особой» правительственной комиссии — передохнуть некогда!

Сам Керенский вызвал и приказал заняться всеми политическими архивами. А их-то сколько,— шутка сказать! А часть работы нужно делать быстро: обнародовать списки провокаторов, на чем очень настаивает Совет рабочих депутатов.

Вот сиди и сверяй все сам. Целая подкомиссия работает, а ты вот один и сверяй все сам: ничтожная, скажем, ошибка в инициалах — и можно опозорить невинного человека и упустить виновного. Ответственность-то какова?

А потом ведь — надо разобраться и по *существу* деятельности того или иного сотрудника департамента полиции: иной действительно подлец и много дел натворил, а другой — только в списках значится в силу тяжелой, например, случайности. Такие случаи надо проверить и зря не губить людей: они могут еще принести пользу. Без году неделя прошла, а вот уже есть добровольные заявления от лиц, умоляющих разобраться в их связях с органами павшего режима.

...Штабс-капитан Лютик — человек, по собственному уверению, занятой, обремененный важными государственными обязанностями,— не спешил, говорил обо всем медленно и обстоятельно, по-лекарски, и только иногда казалось его собеседнику, что рассказчик медлителен, потому что сам охотно прислушивается к своим собственным словам — приятным ему и запоминающимся.

Рука его не расставалась, играя всеми пальцами, с квадратной русой бородой, спускавшейся с наполовину выбритых щек — полных, мячеобразных. Глаза, веселые и внимательные, были светлы, как голубые капли из прозрачного, искрящегося на солнце озера.

«Толстяк... оптимист по природе», — нехотя-доброжелательно следил за его лицом Фома Матвеевич.

И в то же время он чувствовал, что этот спокойный, мягкий человек может стать вдруг — почему-то — чужим и враждебным,— стоит только им разговориться на другую тему. Встречаясь с ним у Карабаевых, Фома Матвеевич не раз испытывал это же самое чувство неясного внутреннего предубеждения, но причины, чтоб укрепиться в этом чувстве, настоящей причины не находилось.

— Я к вам по важному делу, — сказал Асикритов.

Историк штабс-капитан ласково и предупредительно кивнул головой, но не счел нужным осведомляться, какое именно дело привело к нему журналиста.

— Я советую своим сотрудникам: будьте внимательны ко всем тем, кто добровольно пришел покаяться, — говорил он. — Проверьте сие показание и потом доложите мне: подлеца покараем, а запутавшегося человечка... — И вместо слов Петр Михайлович пренебрежительно махнул рукой, на секунду отняв ее от бороды. — Медлен-

ным, трудным путем, господин Асикритов, восходит человечество к своему совершенствованию, и не один крест суждено ему нести на этом пути. Его удручают и тяжесть недугов телесных и материальных, и мучения совести, терзающейся за ошибки против морали, религии или против дружбы, в том числе и политической, и — страх, всегдашний страх перед законной карой! Полагаю, господин Асикритов, что у каждого в жизни были минуты, когда, усталый, надломленный, теряющий надежду, склоняется он под тяжестью своего креста, а вокруг такого человека теснится... готовая растоптать и смять все встречное... человеческая молва. Не правда ли? Свались только с ног, а за тычками дело не станет. И вот чтобы поднять, поддержать, оградить такого падшего, существуют своего рода санитары на поле жизненной борьбы. Врачи — для недугов телесных, духовник — для облегчения угнетаемой совести, адвокаты — для защиты от грозного меча закона.

— Ну, а следователи для чего? — посмотрел на него в упор Фома Матвеевич.

— Следователи в наших условиях раскрепощенного государства должны совмещать в себе обязанности и того, и другого, и третьего, плюс еще — прокурора, конечно, — заулыбался, спокойно отражая вопрос журналиста, Петр Михайлович и, словно только сейчас услышав его просьбу, все так же предупредительно спросил: — Чем могу служить вам, кроме вот этой экзотической корреспонденции?

И он положил свою короткопалую, пухлую, с глубокими ямочками, белую руку на пачку отобранных писем.

— Мне нужно проверить, при нашем авторитетном содействии, одного человека! — шел прямо к своей цели Асикритов.

— Для чего? — стал внимателен и серьезен Лютик и почему-то посмотрел на часы и приложил их для проверки к уху.

— Для того, — быстро нашелся Фома Матвеевич, — чтобы поступить так, как вы столь разумно советуете: зря не шельмовать человека!

— Я очень рад, что мы сошлись во взглядах.

— Я — тоже! — стараясь всячески скрыть свою иронию, сказал Фома Матвеевич: причина давнего, но неясного раньше предубеждения была найдена.

— Что за человек это? — заинтересовался следователь особой правительственной комиссии, назначенный «самим» Керенским, и взял в руки тоненький карандаш, готовясь записать фамилию неизвестного.

Но фамилию журналист сразу не назвал. Он предпочел вкратце рассказать о своих подозрениях, сопоставить неожиданные всегда встречи свои с этим «неизвестным» и всегда в одном и том же доме на Ковенском, отметить весьма странное поведение этого человека в день обыска на секретной квартире департаментского «жита» Губонина и, рассказав об окурках в губонинской пепельнице, вытащил из жилетного кармашка завернутую в бумажку папиросную гильзу с маркой «Стамболи» и показал ее Лютику.

— И все? — спросил тот, выслушав рассказ.

— Если не считать того, что этот человек, эсер, несколько лет назад отбывал каторгу на «колесухе», а теперь — правая рука од-

ного фабриканта!— выпалил Фома Матвеевич и, словно ужаленный своими же словами, соскочил со стула и пробежал вдоль длинного письменного стола штабс-капитана Лютика.

— Странно...— задумчиво сказал Петр Михайлович и снова посмотрел на часы.— Никакая медленность не велика, когда речь идет о человеческой жизни,— все так же задумчиво, как будто что-то перебирая в памяти, произнес Петр Михайлович, пряча свой взгляд от возбужденного собеседника.

Нет нужды спрашивать у журналиста, кто таков этот «неизвестный» человек: штабс-капитан Лютик обо всем догадался.

...Два дня назад неожиданно заехал Лев Павлович Карабаев.

Друзья обнялись, расцеловались, поздравили друг друга с «народждением новой России» (впервые после революции увиделись), и после десятиминутного разговора на злободневные политические темы министр Временного правительства неожиданно сказал:

— А я ведь к тебе, Петруша, с просьбой.

И старый друг, Петруша Лютик, конечно же ответил, что нет такой просьбы, которую он не выполнил бы для Левушки.

— Керенский сказал мне, что к вам в комиссию поступили, в числе прочих, архивы департамента полиции?

Лютик, широко раздвинув руки, показал жестом, как велики все эти архивы.

Лев Павлович вытащил свою записную книжку, нашел в ней нужный листок и, держа его перед глазами, сказал:

— Пожалуйста, голубчик, заметь себе: среди дел от номера семьдесят две тысячи и до конца этой тысячи. И даже верней всего — в первой сотне этой тысячи. Дело Ивана Митрофановича Теплухина. Ну... в общем, человек близкий брату Георгию. Был настоящим революционером. Да и когда?.. В самые суровые годы, брат! И никогда не кичился этим... не в пример теперешним!— раздраженно прохрипел Карабаев.

И лицо вдруг стало тоскующим и сострадательным. Ах, ни у кого не было таких вдумчивых и тоскливых серых глаз, не было такого вздоха усталости и искренности, словно из настежь развернутой груди, как у всем известного думского депутата Льва Карабаева...

— Ай-ай... Его очень преследовала полиция?— сочувственно спросил давний либерал, штабс-капитан Лютик.

— Очень! Она топтала сапогами его душу. Но вот... пришла свобода, а человек опять должен мучиться.

— Почему?— недоумевал уже друг Петруша.

— Потому что у революционеров существует глупый... какой-то глупый арифметический закон для оценки человеческих поступков. Причина поступка не принимается во внимание этими дервишами духа! Понятно тебе?

Лютик выжидающе молчал, не смея утвердиться еще в своей догадке.

Он закурил и пустил очень густое дымное кольцо. Оно поплыло, волнообразно раскачиваясь в воздухе, высоко вверх и потом распалось на несколько маленьких растаявших колечек.

— Мастак! — залюбовался его умением Лев Павлович. — Понимаешь, Петруша, вот так и это дело, о котором я тебе говорю. Не дело — а дымное колечко, которое, ей-ей, должно превратиться в ничто! Он был у меня, рассказал всю правду.

— Кто?

— Да сам Теплухин! Стал бы человек приходить ко мне, министру, человеку новой власти, если бы чувствовал, что его совесть действительно не чиста?

«Стал бы!» — захотелось ответить Лютику, но он промолчал.

— Ты вникни в это дело, Петруша. Очень прошу тебя, вникни! — продолжал Карабаев. — Ты ведь сам знаешь... У каждого в жизни бывают минуты, когда усталый, надломленный, теряющий надежду, склоняется он под тяжестью своего жизненного креста, а свирепая всегда молва человеческая...

И тут он своим грудным, проникновенным голосом, снискавшим ему немало поклонников на думских хорах, произнес краткую речь о санитарах на поле жизненной борьбы — ту самую речь, которую Петр Михайлович впоследствии повторил от своего имени нетерпеливому журналисту.

Но сдержанный штабс-капитан, несколько чуждый патетики своего старого друга, пропустил в его речи несколько фраз:

— ...Этой потребности в сочувствии, — убеждал его Лев Павлович, — соответствует обязанность свято хранить услышанные признания. Горе духовнику, Петруша, выдающему тайну, которая ему доверчиво сообщена. Ему, как говорил в древности Номоканон, надлежит «ископать язык»!.. И потом знаешь, Петруша, — ох, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая — Россия!.. А к тому же... — Лев Павлович оглянулся по сторонам, проверяя, одни ли они сидят в кабинете, не переступил ли в эту минуту порог кто-либо третий. — К тому же, Петруша, имеет смысл иметь с нами каждого лишнего человека, которого «советчики» спасти и не подумают, а погубить — захотят. И он будет знать, кто его спас.

Лютик невольно улыбнулся в свои нависшие пшеничные усы.

— Я так занят, так занят, родной Петрусь, а приходится вот чем заниматься, — менял искусно Карабаев тему разговора. — В мое министерство поступают отвратительные сведения.

— Да что ты?

— Анархия!.. Началась бесшабашная мужицкая конфискация помещичьих земель. Никакого политического рассудка, никакой политической программы — сплошное беззаконие... Черт знает что! Это гибель для продовольственного дела. Помещик был, и помещик, как хороший хозяин, должен остаться. Яровые посевы неизбежно резко сократятся, — вот увидишь. Они и без того уже сокращаются. Особенно — на юге, особенно — специальные культуры. И в частности — свекла. (Он произносил это слово — «свекла».)

— Брат писал? — осторожно спросил Лютик и пустил последнее колечко дыма.

— Да, брат, — немного смутившись, сознался Лев Павлович. — Но и официальные донесения вполне совпадают! — желчно откашливаясь, изменил он в третий раз тему беседы. — Они все — анархисты. Ты знаешь, они все нас терпеть не могут, — я в этом

убежден, Петруша... Все эти мастеровые, матросы, солдатня ненавидят нас и... вызывают в нас взаимное чувство. Мы в правительстве постановили вызвать сюда генерала Корнилова: популярен в армии и может прибрать к рукам! Скажу по секрету: Павел Николаевич предлагает вывести как можно скорей гарнизон на передовые позиции. Я — целиком за! Целиком! А не то... Ох, боюсь: вызвали мы из волшебной бутылки духов, которые, того и гляди, погубят все наше дело. Боже, если бы чудо! Хороший монарх и хороший парламент, — честное слово, если ты хочешь знаты! И потом... появились эти самые... ну, как их... большевикн-ленницы — люди с завязанными глазами, они ничего не хотят видеть, кроме своей фантастической партийной программы. С меньшевиками стовориться в любой час можно, а вот эти!.. Они разрушители, соблазнительн... Да, соблазнительн!

— Так... сделаешь? — прощаясь, сказал Лев Павлович и сделал жест рукой, как бы желавший смять и уничтожить ненужную бумажку. — Надо, Петруша, спасти человека. Люди в нашей стране не валяются... Революция, революция! Как будто какой-нибудь Теплухин, сын моего земского фельдшера какой-то, мог вредить этой самой революции?! — презрительно спорил он с кем-то чужим ему, невидимым. — Я успокою Теплухина, — правда? Ну, спасибо, Петрусь, спасибо. Конечно, он и догадываться не будет, что я был у тебя... Если хочешь, я, напротив, скажу ему, кто его подлинный благодетель?

— Нет! — твердо и поспешно ответил штабс-капитан Лютик. — Ни в коем случае.

— Как прикажешь. Я тебе позвоню, Петруша. Ладно?

— Звони, дорогой.

Он проводил Карабаева до самого вестибюля, и обонм было приятно видеть, как многочисленные сотрудники и посетители сената, встречавшиеся на пути, с почтительным любопытством провожали глазами всем известного нового министра и, очевидно, — его *закадычного* друга, потому что тот вел Карабаева под руку.

...Это было два дня назад. А сейчас «Дело № 0072061» на имя Ивана Митрофановича Теплухина, «штучника» под секретной кличкой «Неприветливый», лежало прочитанное Лютиком в его портфеле на служебном столе, вдоль которого, заложив руки в карманы, нервно шагал низкорослый, пучеглазый журналист.

— Фамилия этого человека? — вспомнив о том, что нужно все же спросить о ней, наклонил выжидательно голову Лютик.

— Иван Митрофанович Теплухин.

— Хорошо, прикажу проверить, — пообещал следователь особой правительственной комиссии представителю прессы и распрощался с ним приветливой улыбкой голубых веселых глаз и пожатием далеко вынесенной вперед теплой руки.

Часы показывали ровно пять, когда на письменном служебном столе раздался телефонный звонок и в снятую с рычажка слуховую трубку — знакомый и жданный голос Льва Павловича:

— Петр Михайлович?

— Да, Левушка. Ты очень аккуратен.

— Ах, ты, Петруша? Здравствуй, милый. Звоню из Мариинского, пользуюсь перерывом в заседании... Опять о том деле, помнишь?

— Ну, как же!

— Человек этот сам на себя не стал похож. Он может ехать спокойно? Как?

— Я полагаю.

— То есть?

— Никакого дела у нас нет,— сказал Лютик, а сам зажмурил глаза, как будто кто-нибудь в этот момент мог увидеть, что они лгут.

— Как понимать тебя?

— Буквально, Левушка. Нет — значит нет.

— А где же оно?

— Оно сгорело.

— Ах, так... Спасибо, Петруша. Большое спасибо...

— Чего там «спасибо»?— немного покорибила эта чересчур откровенная благодарность осторожного Петра Михайловича.— Оно сгорело при поджоге здания революционной толпой.

— Вот оно что?! Ну, ведь это в конце концов все равно,— не правда ли?

— Конечно, Левушка.

— Значит, ты выяснил?

— Что значит: выяснил? Оно не одно, надо думать, горело. Сотни! В том числе и это...

— Очень любопытно, какие это другие сгорели? Правда? Ну, спасибо тебе, голубчик.

— Не за что, Левушка. Я лично не поджигал, не уничтожал.

— Что ты, Петрусь? Кому и в голову придет такое? В воскресенье жду тебя к нам.

— Буду очень рад, Левушка.

«Кому и в голову придет... А как полагал,— спросить бы его? Уничтожить дело кто должен был бы? Ведь я, именно я, никто другой! Или как? Пришло это ему в голову или нет?— досадливо размышлял Петр Михайлович, положив на место телефонную трубку.— Нет, на всякий пожарный случай мы не так поступим. Дружба — святое дело, но...»

Папка № 0072061 лежала в портфеле и вместе с ним доставлена была на квартиру Лютика.

Из портфеля она переключалась в один из накрепко запирающихся ящиков массивного бюро павловских времен, где историк и военный обозреватель, Петр Михайлович Лютик, хранил немало ценных и еще не обнародованных документов.

Глава четырнадцатая

ВОСТОРЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

Предварительное дознание по этому делу велось так.

С л е д о в а т е л ь. Вы знали и раньше Пантелеймона Кандушу?

Ф е д я К а л м ы к о в. Знал, но не так давно. Совершенно случайное знакомство, товарищ следователь.

Следователь. И вы тогда же знали, с кем имеете дело? Калмыков. Конечно нет! Об этом я узнал только в конце прошлого года, но с тех пор я его ни разу не видел.

Следователь. От кого узнали?

Калмыков. Мне об этом сказала... моя хорошая знакомая.

Следователь. Кто именно?

Калмыков. Высланная из Петербурга под надзор полиции Людмила Петровна Галаган. (Не мог упрятать счастливую улыбку при упоминании ее имени.)

Следователь. А департаментского чиновника Губонина вы не знали?

Калмыков. Откуда же? Естественно, нет!

Следователь. Теплухин знаком был с Кандушей?

Калмыков. Мне казалось раньше, что нет.

Следователь. Раньше? А теперь?

Калмыков. Теперь мне кажется многое странным. Да и не только уже странным, товарищ следователь.

Следователь. А что именно?

Калмыков. Одно то, что арестовали мы этих людей в его квартире... Почему они оказались там, да еще приехали с запиской от него? Затем я вспоминаю об одном письме...

Следователь. Каком?

Калмыков. В Петербурге как-то Кандуша в пьяном виде бахвалился, показывал мне письмо.. То есть не показывал, а читал письмо, якобы адресованное ему, а на самом деле оно было адресовано Ивану Митрофановичу Теплухину. Почему это письмо оказалось у него?

Следователь. Можете вы подозревать Теплухина в причастности к охранке?

Калмыков. Это было бы чудовищно! Он был революционером прежде, на каторжных работах...

Следователь. Расскажите, как произошел арест.

Калмыков. Чей?

Следователь. Губонина и Кандуши.

Калмыков. Вкратце вы уже знаете из протокола, составленного в пикете на Фундуклеевской улице, в редакции «Киевской мысли». А было это так... Когда я увидел Кандушу, каюсь — я попятился назад от неожиданности. Я ничего не понимал, но в то же время скорей почувствовал, чем понял, что нельзя дать ему улизнуть. Я, представьте, вынул вот этот браунинг и что-то крикнул... и довольно громко, вероятно, Кандуша остановился на одном месте, а на мой крик прибежала из соседней комнаты теплухинская экономка.

Следователь. Губонин не вынимал оружия?

Калмыков. Нет.

Следователь. Как он держал себя?

Калмыков. Насколько мне помнится, он все время оставался сидеть на диване, не двигался с места.

Следователь. Игра на спокойствии... та-ак. Продолжайте.

Калмыков. Я потребовал от экономки, чтобы она сдала мне немедленно все ключи от парадной двери и сама вышла на площадку.

Следователь. И что же? А ключи от черного хода?

Калмыков. Нет.

Следователь. Не догадались в тот момент?

Калмыков. Как видите, обо всем догадался... Я знал, что в квартире нет черного хода.

Следователь. Ага... Ну, дальше.

Калмыков. Она тряслась вся, но выполнила мои указания. И довольно проворно.

Следователь. Чем вы объяснили ей всю сцену?

Калмыков. Напугал, что это громилы!.. С браунингом в руках я отступил в прихожую, потом в открытую уже дверь выскочил с ключом на площадку, захлопнул и закрыл на ключи парадную дверь.

Следователь. Никто из них не пытался вам помешать?

Калмыков. Кажется, Кандуша метнулся куда-то в сторону, но это мне не помешало выскочить за дверь.

Следователь. Ну, и как же дальше?

Калмыков. Я кликнул народ со двора, люди привели солдат с улицы. Дальнейшее вы знаете.

Следователь. Еще один вопрос. Вы знаете адрес госпожи Галаган? Где она теперь?

Федя смущенно заулыбался:

— А что, собственно?

— Имеется возможность, вероятно, поставить ее в известность об одном немаловажном для нее обстоятельстве,— глядя вбок бесцветными, водянистыми глазами, осторожно сказал следователь. Федя (*горячо*). Вот оно что!.. Вы допрашивали уже обоих.

И Губонина?..

Следователь. Неужели думаете, коллега, за четыре дня не успел?

Федя. И что же?

Следователь. (*не отвечая на вопрос*). Где она живет?

Федя. Сейчас — здесь, в Киеве.

Следователь. Где именно, будьте любезны?

Федя. Тарасовская, тридцать восемь...

Следователь (*взглянув на лежащий перед ним листок*). Та-ак. В том же доме, где и вы? А номер квартиры?

Федя (*подчеркнуто спокойно*). Номер?.. Номер — один.

Следователь. Значит, в той же квартире, где и вы?

Федя (*с той же интонацией*). Да, значит!

Следователь. Давно?

Федя. Второй день. Она приехала из провинции, из деревни. Ну, а что такое, товарищ следователь?

Но тот уже не считал нужным продолжать допрос,— протянул длинную костлявую руку на прощанье: она оказалась твердой и жесткой в рукопожатии.

— Мы, вероятно, через день-другой уезжаем из Киева,— сказал Федя, стараясь вызвать следователя на разговор.

— Добрый путь вам, коллега. А кто это «мы»?

— Людмила Петровна и я.

— Учту,— кратко ответил следователь и погрузился в какие-то бумаги, лежавшие у него на столе.

— До свидания... — криво усмехнулся Федя.

Следователь был из новых — назначенных Общественным комитетом из адвокатского сословия, пополнившего теперь прежнюю магистратуру.

Федя знал это и, выйдя за дверь, почему-то обиделся на него: «Скотина, юридический крючок!.. Что за тайны? Мог бы сказать мне, зачем ему нужна Людмила? Кажется, революцией поставлен на место, а не Щегловитовым! Так какие же тайны теперь могут быть от другого революционера — от меня? Хорош гусь, нечего сказать! Был бы на его месте какой-нибудь рабочий — ей-богу, убежден, совсем другой разговор был бы!.. Я ему «товарищ следователь», а он морщится, нос воротит, неприятно ему... Формалист! Кадет!»

Впрочем, он не мог бы утверждать, что тот действительно морщился при слове «товарищ» или вел себя как-нибудь плохо. Но раздражало, вызывало насмешливое к себе отношение впалолобое, удлинненное лицо этого человека, и неприятны были выдвинутые вперед и собранные, как для свиста, его губы.

«Карикатура!» — мысленно издевался над ним Федя, вспоминая только что оставленного следователя.

Вчера утром, едва он успел одеться, неожиданно-негаданно приехала Людмила Петровна.

Он услышал ее вопрошающий знакомый голос в прихожей и чье-то глуховатое короткое покашливание. Федя стремглав выскочил в прихожую с криком:

— Я здесь... Дома! Ура!.. Как я рад!

Позади Людмила Петровна он увидел, к удивлению своему, смирихинца Геннадия Селедовского. В ногах его стоял на полу желтый кожаный чемодан.

— Людмила Петровна!.. — назвал ее Федя по имени-отчеству и приник к руке, целуя ее сквозь лайковую перчатку.

— Зачем же так? — ласково смеялась гостя и, быстро стянув перчатку, вновь протянула Феде руку, и он почувствовал, как, задержавшись откровенно в его руке, она интимно и нежно зашевелила пальцами по его ладони. — Ну, ведите... Это ваша комната?

— Эта, эта... — пропускал он ее вперед, позабыв о Селедовском.

— Вы чего-то ошалели... Почему вы с Геннадием Францевичем не здороваетесь?

— Ах, простите... — жал ему руку торопливо Федя. — Да вы в пальто, в пальто проходите, — чего там? Давайте чемодан!

— Нет, уж я до конца выполняю свою обязанность сопровождающего! — чуть-чуть гнуся, похохатывал длинный Селедовский, внося в Федину комнату чемодан. — Людмила Петровна, насколько я понимаю, теперь я свободен? — все с тем же смешком обратился он к ней.

— От меня — да. Но ведь вы хотели о чем-то с Федором Мионовичем? Дела какие-то?

Она быстро оглядела комнату, сняла пальто и шляпу и повесила их на вешалку, рядом с Фединой тужуркой.

Оказалось, они в Смирихинске сели в один вагон с Селедовским, разговорились, познакомились, и вот — Геннадий Францевич любезно довез ее на извозчике до Тарасовской и помог втащить сюда чемодан.

— Вы не беспокойтесь, Федор Миронович, я ведь на часок только: как землячка, покуда достану номер в гостинице. Я перееду в отель, — чуть прищурила она серые большие глаза свои, глядя на суетившегося хозяина комнаты.

«Так-то я тебя и отпущу!» — ответил Федя быстрым горячим взглядом и своевольно нахмуренной бровью.

О, как мешало ему и сковывало его присутствие этого ни к селу ни к городу приехавшего Селедовского!

«И надолго ли он? Неужели думает здесь остановиться? Вот ужас! Нет, это невозможно!»

Сели пить чай, заботливо предложенный и посланный из столовой квартирной хозяйкой. Она же через минуту прислала еще коржики, усыпанные маком. Федя выложил на стол охотничьи сосиски, франзоль и, вспомнив о шоколадной халве на этажерке, подал халву.

Она лежала, как на блюде, на... затылочной кости (остатки давно приобретенного для науки чьего-то черепа из анатомки). Федя, устыдившись своего «хозяйства», швырнул кость к печке, но Людмила Петровна заметила этот воровской жест, подбежала к печке, подняла желтый, в извилинах, черепок и, громко хохоча, показывала часть Федина «чайного сервиза» Селедовскому, трепала Федю за уши.

— Видали, видали? И после этого он думает, что станем есть?

— Завернуто же было... в бумажке! — оправдывался Федя, хватая для поцелуев ее руки, не в силах скрыть и свое смущение, и чувства более острые, владевшие им. — Людмила... Людмила Петровна, поймите же!

Она много хохотала, рассказывая о снетинских жителях, испуганно принявших весть о революции, была очень весела, заметно для Селедовского лукаво и нежно поглядывала на Федю, подталкивая его колено своим, — и он, чувствуя, как кружится от этой ласки голова, страстно и угрюмо ненавидел уже Селедовского. А тот очень медленно допивал свой чай, уплетая сосиски и свежую франзоль, и столь же медленно и подробно повествовал о смиринских политических новостях.

В другое время все заинтересовало бы Федю. И то, что исправник Шелудченко 2 марта арестовал и посадил в «холодную» мельника Когана за «распространение слухов» о петроградских событиях, а уже 3-го числа освободив своего пленника, побежал укрыться у него на квартире и, — здоровенный, тучный: без помощи городского не мог снимать сапог, — упрямо и приниженно не покидал крошечной и пыльной когановской кладовки, хотя хозяин, из непонятного гостеприимства, звал его посидеть за общим столом...

И то, что скрюченный, полупараличный Ловсевиц, объявивший себя украинским социал-демократом, избран председателем смирихинского Совета рабочих депутатов, а бухгалтер городской

управы Ставицкий, эсер, назначен временно городским головой, так как прежний неожиданно умер от разрыва сердца, второй член управы болен, а третий оказался агентом жандармского ротмистра. О, для Смирихинска это была настоящая революция!

И то, что комиссаром средних учебных заведений назначен Общественным комитетом не кто иной, как златоустый адвокат Левитан («Бесструнная балалайка!» — иронически подумалось Феде), а помощницей Левитана — прекрасный человек, Надежда Борисовна.

Однако новостью, искренне рассмешившей Федю, было то, что дядя, Семен Калмыков, единодушно почему-то избран в начальники смирихинской милиции.

— Да не может быть?! — воскликнул Федя. — За что же это? Не иначе, как за высокий рост, тяжелый кулак и уменье отлично, по-ямщицки ругаться!

Но это было то единственное известие, которое на минуту отвлекло его мысль в сторону. Он продолжал думать только о любимой женщине и сильно досадовал на то, что они еще не наедине.

Он излишне сухо, несдержанно спросил Геннадия Францевича:

— С какой целью и надолго ли вы приехали в Киев?

Оказалось, что у Селедовского — ряд дел. Он приехал договориться с экспедициями газет о значительном увеличении количества экземпляров, отпускаемых для отцовского киоска, выписать новые газеты — как столичные, так и киевские. У него были еще кое-какие поручения, не говоря уже о том, что просто захотелось «подышать воздухом» такого крупного города, как Киев.

Но самое главное — не это. Селедовский приехал на совещание старых социаль-демократов (он произносил это слово мягко) посоветоваться с ними, получить подробную партийную информацию. В Смирихинске он уже организовал группу эсдеков-«мартовцев». Работы, конечно, по горло. Но необходимо наше влияние в Совете, надо устраивать лекции и доклады, организовать профессиональные союзы, которых никогда в городе не было, надо подумать о создании рабочей кооперации, и много всяких других дел.

— Пришло время проводить в жизнь нашу программу-минимум, — сказал он убежденно, но скучно. — Мы там говорили между собой: конечно, Федор Калмыков будет с нами? — И уголья-зрочки его на влажном всегда, сверкающем белизной глазном яблоке пролили на Федю свет доброжелательной улыбки.

— Польщен, Геннадий Францевич, — ответил скупой, выжатой улыбкой Федя.

— Чего там скромничать? Я вас так давно знаю, что иначе и не мыслю теперь. Вы ведь знаете гравера Даню Гукермана? Хороший парень, он всегда у меня книжки брал. Он наш, конечно. Кланялся вам. Он уже печать для нашей организации сделал. Беженцы, братья Побережские, типографы — тоже вошли к нам, — рассказывал о партийных делах Селедовский. — На махорочной фабрике Карабаева также нашелся подходящий народ. Среди мельничных ребят: еще с девятьсот пятого года. Несколько приказчиков, потом — служащие кредитного общества, один воен-

ный врач из госпиталя вчера у нас выступал на митинге. Выяснилось, что давно знаком с работами Каутского...

— Поговорим, поговорим еще... — отмахивался от этой темы Федя, досадуя, что Селедовский заговорил о ней в присутствии Людмилы Петровны, для которой такие разговоры должны были, вероятно, показаться скучными и чуждыми.

Но, с удивлением заметил, она ничуть не скучала. Напротив, вмешивалась в беседу, задавала Геннадию Францевичу вопросы, спрашивала, чего, собственно, добивается сейчас партия, и, не возражая как будто ни против чего, высказалась вдруг против современной войны.

— То есть как? — похохатывал, потому что это говорила дочь генерала, Геннадий Францевич. — Мы, социаль-демократы, тоже, естественно, против войны. Но германский империализм... как с ним быть?

— Я-то не знаю, как с ним быть, — простодушно и оживленно сказала Людмила Петровна. — Но воевать стольким миллионам народа с той и с другой стороны — нечего! Это прямо преступно! Тех, кому нужна война, народ должен свергнуть и посадить в кутузку. И в Германии и у нас. Честное слово! И в Англии. Во всех странах!

— У вас это, Людмила Петровна, получается очень мило, — медленно шагая по комнате, снисходительно усмехнулся Селедовский. — Очень мило... Вы даже не подозреваете, какое это стихийничество — то, что вы сейчас говорите! Вы нас призываете к забвению марксизма (он, как союзник, посмотрел на Федю)... к междоусобице. Вы знаете, есть такая группа большевиков? Не слышали еще? У меня самого брат — большевик: в Швейцарии сектантствует, — продолжал он усмехаться. — Они бы вам много комплиментов сделали. Правда, Федя?

— А может, я сам большевик? — неожиданно буркнул угрюмо Федя.

— Бросьте чепуху городить! — серьезно сказал Селедовский. Федя, слабо, рассеянн улыбаясь, замолчал.

— «А почему ерунду? Да ну тебя ко всем чертям! — сердился он на Селедовского. — Нашел место и время диспут устраивать!»

— Я не знаю еще никаких большевиков, как вы их называете, — возражала Людмила Петровна. — Политических книг не читала, сама я не из рабочего класса, о котором вы все время говорите, видала я в своей жизни совсем другую среду, если хотите знать... Я готова кричать на всех перекрестках: «Долой войну!» Для чего губить жизнь стольких людей? Для чего, я спрашиваю? Простой и обыкновенный вопрос.

— Ну, хорошо, — подтрунивал над ней Селедовский. — Хочет войны особенно буржуазия. И наша и заграничная. Вы говорите: в кутузку их? Чудно! А как это сделать? Добровольно ведь не пойдут в кутузку? Будут сопротивляться, — так ведь? Значит — надо применить опять-таки силу? Значит — опять-таки война, междоусобная война в каждом государстве. Куда ни кинь — всюду клин. А вы ведь, Людмила Петровна, вообще ведь против войны...

— Да уже если так, как вы говорите, то, пожалуй, не избегать ее,— несколько разочарованно сказала Людмила Петровна.— Если только так, как говорите? — проверяла она его.

— Поверьте,— так!

— Но война-то тогда будет, наверное, совсем иной, я думаю Короткой. Арифметика совсем другая будет.

И опять Геннадий Францевич, конечно, возражал.

Он ходил по комнате и мял, по обыкновению, хлебный шарик большим и указательным пальцами и часто вскидывал голову и заботливо приглаживал шапку черно-серебристых своих волос, плохо расчесанных после сна в вагоне. Утолщенный, примятый на конце нос обильно лоснился, и когда наконец догадался Селедовский вынуть из кармана платочек, чтобы прибегнуть к его помощи, оказался он скомканным и грязным, и оба они, Людмила Петровна и Федя, заметили это и, едва скрыв свою брезгливость, отвернулись от собеседника.

Он проторчал здесь добрый час еще, потом стал прощаться, обещая завтра («Завтра!» — возликовал Федя) заглянуть на часок-другой, так как тогда же вечером собирался обратно в Смирехинск.

Пришлось Феде, сдерживая свою радость, провожать его до выходных дверей, там задержаться даже на минуту-другую в последней, ничего не значащей беседе, и когда он наконец-то ушел, Федя вбежал в комнату и увидел Людмилу Петровну, стоявшую в ласковом ожидании: она протягивала к нему руки, готовая отдать себя самому неистовому объятию.

После ухода Феде впалолобый следовательно, со смещливо вытянутыми, как будто для свиста, губами, призадумался. Пожалуй, было о чем.

Да стоит ли ему фигурировать в этом деле? Конечно, если бы не одно обстоятельство,— и вопроса не было бы. Но это к сожалению, наличествовало: добрый знакомый по карабаевскому дому, соратник за картонным столом Георгия Павловича, Теплухин — откровенно избочлен показаниями неожиданно словоохотливого крупнейшего департаментского чиновника и его подручного агента.

Денис Петрович никогда почти не свистел («денег в доме не будет»), несмотря на природой данные к тому губы, но сейчас несколько раз выразительно свистнул и снова повторил, сам с удивлением прислушиваясь к издаваемому звуку.

«Ах, какой реприманд неожиданный!»

Это относилось опять-таки к Ивану Митрофановичу Теплухину. Поистине, сей человек влез, как ложка дегтя в бочку с медом, во все это заведенное уже под номером удачное «дело», лежавшее у Дениса Петровича на столе.

Если бы не Теплухин, он с большим служебным удовлетворением поспешил бы доложить и комиссару Временного правительства, и Общественному комитету, и даже Совету рабочих депутатов (черт с ними!), какую птицу — Губонина — держит он в своих руках... И не потому это было невозможно, что питал к Теплухину какие-либо особенные чувства, которым противостоял теперь слу-

жебный долг. Нет, все дело заключалось в Георгии Павловиче Карабаеве!

«Узнает, что именно я дал приказ об аресте, что я все обстоятельство знал... Что же, спросит, не могли меня, Денис Петрович, предупредить, поставить в известность? А может быть, я, Карабаев, попросил бы всего этого не допустить или во всяком случае не торопиться с выводами, покуда я не встречу сам с Теплухиным и не выясню у него, как и что? Может быть такая претензия?» — рассуждал Денис Петрович, только недавно приобретенный к ведению юридических дел карабаевского гвоздильного завода, и отвечал себе: «Может!»

Но как же поступить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Не рвать же с Карабаевым из-за временного служебного успеха да еще на временном служебном посту?

Так раздумывая, Денис Петрович пришел к первому решению: арест Губонина и Кандуши довести теперь же до сведения нового прокурора судебной палаты, — пусть сами распорядятся, как с ними поступить. Губонина, вероятно, отправят под конвоем в столицу.

Второе решение, принятое хитрецом поневоле, касалось самого «дела»: от него надо было избавиться, кому-нибудь подкинуть, умыть руки.

Он вызвал младшего следователя, передал ему показания арестованных и студента Калмыкова и велел вести дело.

— Задержать... — как показалось Денису Петровичу, не то вопросительно, не то утвердительно сказал тот о Теплухине. — По всему видать — порядочный подлец. Надо сообщить печати. — Зачем? — недоумевая, спросил Денис Петрович. — Есть особая комиссия при комиссаре Временного правительства, — туда, пожалуй?

— Имена провокаторов, как вам хорошо известно, доводятся до всеобщего сведения, — услышал он спокойный, но упрямый ответ.

— Разве мы обязаны? В инструкции господина комиссара Временного правительства на этот счет ничего не указано.

— Ах ты щенок! Тоже... корчит Марата с Бибиковского бульвара! — презрительно сказал старший следователь, когда младший ушел за дверь.

Так и попало «дело» Теплухина в чужие руки, и Денису Петровичу не пришлось (оснований теперь не было) вызывать к себе Людмилу Петровну Галаган, о которой упоминалось в «деле» в связи с самоубийством ее мужа.

А эти молодые «чужие руки» сделали то, что уклонялись выполнить друзья обоих Карабаевых — здесь и в Петербурге: Иван Митрофанович Теплухин был арестован в первый же день своего возвращения в Киев.

Федя возвращался по Крещатику от следователя домой, как вдруг кто-то окликнул его сзади, совсем близко, и спустя три секунды чья-то крепкая рука легла на его плечо.

— Товарищ Калмыков! Вот хорошо, что заметил.. Здравия желаю, товарищ Калмыков. Узнали?

— Коля! Откуда взялись? Фу-ты, как возмужали!

— Верно? Вырос, значит, или старым стал? — гремел на весь тротуар веселый токаревский голос. — А я все равно к вам собирался.

— Пожалуйста, пожалуйста, — искренне обрадовался Федя.

— Поручение получил от вашей приятельницы. Да теперь, браток, она и моя приятельница. Влюбиться можно! — решительно взмахнул он рукой и весело, широко улыбнулся.

— Поручение? От кого? Кто такая? — любопытствовал Федя.

— Отойдемте в сторонку, а то мы народу мешаем, — увлек его Токарев к подъезду дома, у которого они встретились.

— Откуда вы здесь, Коля? Или все время в Киеве были? Шинель новенькая, а картуз не солдатский! Отчего это? Солдат вы или не солдат? — разглядывал его Федя.

— Как хотите, считайте, — подмигивал Токарев. — Солдаты теперь разные бывают: партийные и — которые вроде как еще калитки не нашли для своего сознания.

— Ну, я так и думал, Коля, что кто-кто, а вы партийный будете, — одобрительно и с теплотой в голосе сказал Калмыков. И от сознания того, что заговорил сейчас о важном, стал серьезен. — Эсер? Много солдат стало эсерами.

— Я-то? — на минуту Токарев закрыл один глаз, а другой, скосил с ухмылкой. — Держи карман левей да побольше, — с подчеркнутой протяжностью произнес он последнее слово. — А вы что: эсер? — спросил он, в свою очередь, и открыл второй глаз, внимательно взглянувший на Федино лицо.

— Нет! — быстро ответил Федя.

— Приветствую бурными хлопками, как строчат теперь в газетах! — снова весело загремел Токарев. — А что не кадет — в этом я уверен... Приятельница наша тоже так считала. Вспоминали мы вас, Федор Миронович. Как же, как же...

— Да скажите, Коля, какая такая приятельница?

— Я сегодня только из Петрограда, — понимаете, ну? И вот просила меня передать вам, коли увижу.

От отогнул полу шинели и, вынув из кармана смятый конверт, отдал его Феде. По бисерному, ровному почерку сразу можно было узнать — от Ириши.

Федя быстро ознакомился с письмом.

— Вот как?.. — о чем-то задумался он. — А я ничего и не знал. Давно это?

— О чем это вы? — набивал трубку Токарев, старательно уминая в ней табак большим пальцем.

— О Карабаевой. Получается так, что замуж выходит?

— По-моему, так уже вышла! — засмеялся Токарев.

— Но она пишет, что еще дома живет.

— Не делает платье монахом, — так? Ну, то-то и оно. Здоровьем он поправится — и найдется своя квартирка. Пошли, что ли? Мне тут в одно место... партийное.

Он закурил трубку, и они пошли по Крещатику, в сторону от того района, где жил Федя.

Токарев рассказал о себе, о первых революционных днях в Петрограде, об Ирише и Ваулине: с горячностью и сердеч-

ной похвалой он назвал Сергея Леонидовича своим «лучшим другом».

Ваулин, оказывается, схватил жестокий плеврит, уложивший его в постель, но он ни на час не перестает интересоваться делами партийной организации. Он диктует Ирише статьи и заметки, и она относит их в «Правду», она приводит к нему товарищей, живущих с ним одной и той же жизнью революционеров, и он сам, Токарев, не выходил, поскольку позволяло время, все эти дни из ваулинской комнаты. Пребывание здесь превратилось для него, как выразился, в «краткосрочные партийные курсы».

Но партии нужны работники всюду,— и Николай Токарев возвращается теперь на родину, в маленький Смирихинск, где, без лишней скромности говоря, может оказаться более нужным и полезным, чем в столице.

В чем эта польза? А в том, что в Смирихинске сейчас довольно значительный этапный солдатский пункт, а также окружное управление по распределению военнопленных. Немало «воинских чинов», которых надо «переплавить» в большевиков.

— Этим и заниматься будете? — рассеянно улынулся Федя.

— Так точно,— по-солдатски ответил Токарев.— Революция, Федор Миронович, ведь только началась, а не кончилась.

«Вот оно что...» — подумал Федя.

Он вспомнил в этот момент бритоголового, очкастого Эдельштейна в студенческой столовке и вслед за ним — туберкулезного, длинношеюго Гашкевича: двоих разных людей, между которыми поделил свои симпатии. Он посмотрел сбоку на шагавшего с ним рядом земляка-солдата, которого когда-то снабжал литературой, и почувствовал, что то же большое чувство приязни и душевного доверия возбуждает в нем и Николай Токарев.

И тут же поймал себя на мысли о том, что, вероятно, неверно судит сейчас о важных и достаточно серьезных обстоятельствах и делах:

«Правда ведь, люди могут быть привлекательные и хорошие сами по себе, но то, что они хотят сделать, не всегда и во всем может мне нравиться,— думал он, ругая себя в душе «карасем-идеалистом» и «вифлеемским ослом». — Наконец, они могут заблуждаться, быть не правы,— рассуждал Федя.— Почему я не должен с ними спорить в таком случае? И при чем тут хорошие отношения?»

И он вновь подумал о Гашкевиче и о Токареве: с кем из них он больше всего склонен сейчас спорить и во имя какой, собственно, истины? Но вот почему-то чувствует, что спорить придется с Гашкевичем.

В стране была революция, и он готов был отдать ей свое восторженное сердце, наполненное до краев преданностью. В его личной жизни впереди всего остального была теперь любовь: одна Людмила, казалось, могла бы заменить ему весь мир...

И все же приходила мысль: заменит ли, надолго ли?

Федя не думал сейчас ни о чем глубоко и мучительно, но обо всем легко и радостно. С любопытством, которое конечно же будет удовлетворено. С неуспокоенностью, которая конечно же даст

сладость покоя. Все было достижимо,— так сильна была вера в свое счастье.

— ...Революция ведь только началась, а не кончилась, Федор Мироныч.

— Да, да,— легко, отгоняя минутное раздумье, сказал Федя.— Все будет хорошо. Все будет очень хорошо... Ох, как жить теперь хочется,— страсть как!..

Глава пятнадцатая

3(16) АПРЕЛЯ 1917 ГОДА

Экстренные выпуски цюрихских газет вышли в тот час, когда Ленин, пообедав, собирался, как всегда, уходить в «Staats Bibliothek»

Две голубые плитки шоколада с калеными орехами, по 15 сантимов каждая, были положены в один карман, тетрадь для записей — в другой, сильно оттопырившийся.

Надежда Константиновна убирала посуду со стола,— Ленин жестом попрощался с нею. Вспомнив о раскисшей от дождя весенней погоде, о хлипкой уличной грязи,— подвернул высоко над башмаками темные дешевенькие брюки, надел пальто, взялся за котелок.

Ничто не предвещало сегодня каких-либо перемен. Последние месяцы жилось особенно невесело: рвалась связь с Россией, не было писем, не приезжали оттуда люди.

И Швейцария, и Цюрих, и узенькая Шпигельгассе, и на этой цюрихской улице угрюмый, средневековой постройки дом,— все вместе это было узилище, охраняемое самой невозмутимой и суровой стражей: утомительно медленно тянувшимся временем.

Но история, которую Ленин предугадывал для всего человечества, отметила вскоре и этот невзрачный весенний день, и город Цюрих, и мрачный дом с колбасным заведением во дворе (нестерпимо пахло гнилью оттуда), и скромного цюрихского сапожника Каммерера, за 28 франков в месяц сдававшего комнату великому русскому эмигранту и смастерившего зимой своему квартиранту тяжелые деревенские башмаки с большими гвоздями на каблуках.

Каммерер считал своего квартиранта ученым человеком, и грубые башмаки, оставлявшие на земле глубокий след больших гвоздей, вызывали досадливое недоумение сапожного мастера:

— Того и гляди, камрад Ульянов, вас примут за крестьянского старосту?

— Ну и что же, друг мой?

Ленин отвечал добрым хохотком, прищуривал темно-карие глаза.

Когда он уехал и спустя семь месяцев стал первым человеком мира, сапожник Каммерер в кругу семьи и соседей часто рассматривал оставленную ему на память фотографию и ею дополнял свои воспоминания об этом человеке. Подумать только, друзья! А? Судьба подарила ему возможность, ему — ничем не примечательному сапожнику с маленькой Шпигельгассе — жить так долго под одной кровлей с этим русским вождем, видеть его каждый день, пожимать ему запросто руку!

И вспоминалась Каммереру коренастая, ниже среднего роста фигура, сильные руки с широкими ладонями, рыжеватая бородка, раздвинутые в стороны упрямые скулы, острый блеск слегка косящихся мудрых глаз, широкая шея и большая голова с выпуклым лбом.

Каммерер точно помнил, что камрад Ульянов и его жена покинули Цюрих 8 апреля, но еще в середине марта вопрос о том уже был решен.

...Итак, Ленин взялся уже за котелок, дабы отправиться в Публичную библиотеку, но в этот момент шумливый, захлебывающийся голос одного из товарищей по эмиграции ворвался из прихожей:

— Владимир Ильич, дорогой! Надежда Константиновна! Да где же вы? Еще ничего не знаете? Вы ничего не знаете? В России-то ведь революция!..

Через полчаса на берегу серебристо-серого озера, тронутого рябью мелкого холодного дождя, под навесом, где всегда вывешивались только что отпечатанные газеты, Владимир Ильич, жадно перечитывая скупые строчки первых телеграмм о далекой родине, воскликнул:

— Я должен немедленно поехать в Россию!

Когда он жил в Италии, дети рыбаков прозвали его «господин колокольчик» — за его легкий веселый смех, которым он оглашал взморье во время купанья. Он вообще любил смешное, шутки и шалости детей, возню с котятками и умел смеяться продолжительно, иногда до слез, смеяться всем телом, откидываясь по многу раз назад, заражая весельем всех окружающих.

Но теперь, в эти дни, он стал молчалив. В течение долгих часов ходил он по комнате из угла в угол и о чем-то сосредоточенно думал. Никто не решался прервать вопросом поток его мыслей.

Всех друзей его заботила одна и та же дума: «Сделать так, чтобы Ильич мог немедленно пробраться в Россию... Но как?»

— Ох, какая это пытка для всех нас, русских, сидеть здесь в такое время! — часто повторял Ленин.

И все боялись, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся. Так оно и случилось.

В мечтах своих о России Владимир Ильич строил планы, один другого заманчивее. Однако все они оказывались несбыточными, фантастическими, — столь велика была сила желаний, сила мечты.

Вот, — он достает где-то деньги для... швейцарского пилота, и тот летит с ним на аэроплане, летит через высокие горы, через весь фронт войны, летит тысячи верст без посадки, чего еще в ту пору ни одному авиатору не удавалось, летит, может быть, на машине, прочность которой еще никто не испробовал.

«Нет, фантастика, конечно!» — посмеивался он над самим собой.

«А может быть, надеть парик и с документами какого-нибудь партийного товарища явиться за паспортом для проезда через Францию и Англию?»

На несколько дней эта мысль прижилась в уме, но потом и она с обидным сожалением была изгнана: увы, швейцарская полиция слишком хорошо знала всех русских большевиков, она не замедлит

сообщить французской охранке инкогнито «путешественника», и тот конечно же будет арестован.

— Англия никогда не пропустит, она меня интернирует,— убежден был Владимир Ильич.— К тому же и Милуков постарается.

В письмах к товарищам он писал о том же:

«...Ясно, что приказчик англо-французского империалистского капитала и русский империалист Милуков (и К¹⁾) способны пойти *на все*, на обман, на предательство, на все, на все, чтобы помешать интернационалистам вернуться в Россию. Малейшая доверчивость в этом отношении и к Милукову и к Керенскому (пустому болтуну, агенту русской империалистской буржуазии по его объективной роли) была бы прямо губительна для рабочего движения и для нашей партии, граничила бы с изменой интернационализму... Вы можете себе представить, какая это пытка для всех нас сидеть здесь в такое время...»

Ленин метался,— все дороги заказаны, все пути закрыты, сиди тут за семью замками войны.

Но он был неистощим в своих планах. Пришли на ум... контрабандисты, и уж никто из друзей не осмелился спорить с Ильичем. Больше того: стали искать людей этой профессии, дабы они перебросили его через фронт. И нашли одного. Но выяснилось, что контрабандист этот может довести только до Берлина. А кроме того, оказалось, что он связан какими-то нитями с Парвусом, с социал-шовинистом Парвусом, нажившимся на войне, и этого было достаточно, чтобы Ленин брезгливо, категорически отверг помощь контрабандиста.

Возник еще один план: проехать через Германию в Скандинавию с паспортом гражданина нейтрального государства. Надо было превратиться в шведа, но... в глухонемого, потому что шведского языка Владимир Ильич не знал.

И он написал товарищам в Стокгольм, чтобы обязательно нашли шведа, похожего на него, Владимира Ленина, и послал на всякий случай с этой целью свою фотографическую карточку.

В бессонные ночи он не раз говорил об этом неизвестном «спасителе» — шведе, и тогда смеялась и шутила жена:

— Не выйдет, можно во сне проговориться. Приснятся тебе ночью кадеты — и будешь сквозь сон ругаться. Вот и узнают все, что ты за швед.

Шли дни безрезультатных поисков дуги в Петроград. «Таймс», «Тан», «Неее цюрихер цейтунг» с известиями из России прочитывались и запоминались до запятой. И в ответ на эти известия Ленин с лихорадочной быстротой писал, писал, писал. Он ходил, как обычно, из угла в угол и шепотком говорил то, что собирался сейчас, тут же повторить на бумаге своим густым бисерным почерком.

— *Ни за что...* — шептал и писал он, подчеркивая некоторые слова, как будто хотел поглубже всадить их в чье-то сознание.— *Ни за что* с Каутским! Непременно *более революционная* программа и тактика... революционная пропаганда, агитация и борьба с целью *международной* пролетарской революции и завоевания

власти «Советами рабочих депутатов» (а не кадетскими жуликами).

Так писал он через Стокгольм товарищам в Петроград.

Он предупреждал их, учил:

«...Последние известия заграничных газет все яснее указывают на то, что правительство, при прямой помощи Керенского и благодаря непростительным (выражаясь мягко) колебаниям Чхеидзе, надует и *небезуспешно* надует рабочих, выдавая империалистскую войну за «оборонительную». По телеграмме СПб. тел. агентства от 30.III.1917, Чхеидзе вполне дал себя обмануть этому лозунгу, принятому — если верить этому источнику, конечно, вообще ненадежному — и Советом рабочих депутатов. Во всяком случае, если даже это известие не верно, все же *опасность* подобного обмана, несомненно, *громадна*. Все усилия партии должны быть направлены на борьбу с ним. Наша партия опозорила себя бы навсегда, политически убила бы себя, если бы пошла на такой обман...»

Сидя в Цюрихе на узкой, маленькой Шпигельгассе, за столиком с бумагами, он не только писал в тишине, но во весь голос говорил словно на огромных петербургских площадях, заполненных русскими рабочими и солдатами.

День за днем писал он петербургским большевикам свои страстные «Письма из далека». Первое, второе, третье...

Пятое — в самый последний, счастливый день отъезда в Россию. Оно так и осталось недописанным, оборванным на полужаде.

На объединенном совещании различных политических групп эмигрантов-интернационалистов, проживавших в Швейцарии, был выдвинут новый проект возвращения в Россию: добиться пропуска через Германию легально, в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных.

Совещание приняло это предложение и поручило швейцарскому пафисту Роберту Гримму, редактору социалистической газеты «*Berner Tagwacht*», снести по этому поводу с швейцарским правительством, а через него — и с Берлином.

Но швейцарское правительство отказало в содействии, опасаясь, что могущественная Антанта сочтет это нарушением нейтралитета. К тому же и Петроградский Совет ничего не ответил на телеграфную просьбу политэмигрантов добиться у Временного правительства согласия на их приезд.

Оставалось обратиться непосредственно к германским властям. И тогда почти все, кроме ленинцев, забили отбой: помилуйте, это могло произвести плохое впечатление на «общественное мнение» России и ее «союзников».

(Как выяснилось впоследствии, посланные в Петроград телеграммы не были доставлены Совету рабочих депутатов: они были задержаны Временным правительством. И, еще сидя в Швейцарии, русские эмигранты узнали из парижской газеты «*Пти паризьен*» о решении Милюкова отдать под суд всех российских граждан, которые намерены проехать в Россию через враждебную

Германию. И тогда все вспомнили, что эта угроза никак не коснулась буржуазного профессора, милюковского приятеля, Максима Ковалевского, проделавшего во время войны тот же путь с Запада.

«Хороши» были также и русские меньшевики; когда поезд с русскими эмигрантами находился уже в пути, они телеграфировали в испуге из Петрограда: «Пока не ехать!»)

К германскому посланнику Рембергу отправились теперь тот же Роберт Гримм и один из левых тогда швейцарских интернационалистов. Германский посланник запросил согласие своего правительства на пропуск в Россию «противников войны» и получил из Берлина утвердительный ответ, о котором через два года германский генерал Людендорф вспоминал как о непростительной, идиотской государственной ошибке вильгельмовского правительства.

В низенькой комнатке сапожника Каммерера уверенной рукой Владимир Ленин составил условия переезда:

Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. Вагон, в котором следуют русские, пользуется правом экстерриториальности. Никто не имеет права входить в этот вагон без разрешения сопровождающего русских швейцарца-интернационалиста. Никакого контроля: ни паспортов, ни багажа. Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число интернированных австро-германцев.

Условия эти были переданы Рембергу.

— Странно,— сказал тот усмехаясь.— Насколько я понимаю, не я и мое правительство просим разрешения на проезд через Россию, а господин Ульянов и другие просят позволения проехать по Германии. Так кто же из нас имеет право ставить условия?

Передавший об этом разговоре Роберт Гримм обронил фразу о желательности впредь быть «гораздо дипломатичней».

И когда он ушел, минуту Ленин оставался в той же позе, в какой слушал Гримма: сидя верхом на стуле, зажмуря один глаз, а вторым сверля то место, где только что сидел редактор «*Berner Tagwacht*»,— а потом вскочил и очень серьезно, с непрокашлянной хрипотцой в голосе, сказал:

— Надо, товарищи, обязательно убрать Гримма, не поручать ему теперь никаких переговоров. Это архиважно. Он способен из-за личного честолюбия «роль» сыграть, начать какие-нибудь дурацкие разговоры о мире с Германией и впутать нас в грязное дело. Убрать — это будет совсем не вредно.

Легкая, приятная картавость, когда произносил это «невредно», делала его речь теплой и задушевной, несмотря на то, что при упоминании имени Гримма по лицу Владимира Ильича прошла какая-то тень и глаза смотрели колко и повелительно.

Разрешение немецкого правительства было получено, и 27 марта по старому стилю русские эмигранты притащили свои чемоданы в Бернский народный дом, где собирались все отъезжающие в Россию.

Швейцарец-сопровождающий, в широкополой шляпе и черной крылатке с лапками-застежками, суетливо, с озабоченным видом в какой уж раз пересчитывал, водя пальцем по воздуху, свой шумный «эмигрантский курятник»: 32 взрослых, все на месте.

Когда поезд «Берн — Цюрих — Шафгаузен» тронулся с места, швейцарец rozdal всем для подписи листок проездных обязательств, которые брал на себя каждый эмигрант.

— Я подтверждаю еще одно обстоятельство, — взволнованно, но весело сказал один из большевиков. (Это был Савелий Селедовский возвращавшийся на родину, в Смирехинск.)

— А что? — озабоченно посмотрел на него круглыми глазами швейцарец.

— Я думаю, мы возьмем русской революции самую сильную армию, уместившуюся, правда, всего лишь в одном купе, — улыбнулся Селедовский, качнув головой в сторону крайнего купе, откуда раздавался голос Ленина. — Вспомните, товарищ, историю Парижской коммуны. Коммунары добивались обмена Бланки на огромную свору попов и аристократов, застрявших в Париже, и тогда предусмотрительные версальцы ответили: «Отдать Бланки санкулотам — значит послать им целую армию». Помните?

— Вы, товарищ, историк? — спросил швейцарец.

— О нет. Убежав от царской полиции, я работал здесь токарем на заводе Шо-де-Фон.

— Не вы ли товарищ Селедовский?

— Я.

— Ах, вы тот самый, которого Ленин еще пять дней назад просил обязательно включить в список... — совсем уж добрыми и дружелюбными стали глаза швейцарца, и в знак уважения он короткопалой рукой отдал плечо своего собеседника.

— А вот этого я не знал, что Ленин обо мне заботился, — смущенно переглянулся Селедовский с товарищами.

Поезд прибыл в Шафгаузен (на границе с Германией), где предстояла пересадка в немецкий вагон.

Наступил очень тревожный момент: выполняют ли немцы условия? Не попытаются ли отобрать паспорта? Не пойдут ли на какую-либо провокацию?

Можно было ждать всего, и, выходя из вагона на перрон, Савелий Селедовский, как и все, старался найти ответ на все тревожные вопросы в том, как держит себя сейчас Владимир Ильич. Ленин глядел на немцев спокойно, но настороженно. «Он один, — подумал о Ленине каждый из его спутников и в том числе Селедовский, — берет на свои плечи всю ответственность за могущее произойти, и нужно только всем верить, что, как и всегда, он и теперь не сделал ошибки».

Так-то так, но... холодны и презрительно-неприветливы лица встретивших поезд германских офицеров, — они не обещают ничего хорошего. Один из них, рыжебровый веснушчатый лейтенант с заячьей губой, переходя с места на место по перрону, сделал несколько фотографических снимков и особый, наставив безошибочно объектив аппарата, — с Ленина.

— Герр Ульянов... — предупредил он о своем намерении.

Полнейшая немецкая осведомленность обо всем уже не вызвала никаких сомнений.

Предводительствуемые длинным, костлявым офицером в очках и широко шагающим швейцарцем, перебрасывавшим из руки в руку свой клетчатый саквояж, все двинулись в зал таможи. У дверей ее — двое хмурых солдат с немигающими глазами.

— Женщины отдельно, мужчины отдельно! — войдя в зал, скомандовал костлявый офицер и показал жестом, как это сделать: разделиться на две группы по обе стороны длинного массивного стола, у которого поджидали прибывших таможенные чиновники в серых тужурках с зелеными наплечниками.

Ленин стоял, прислонившись плечом к стене, чуть-чуть нагнув котелок на лоб, со спокойным любопытством наблюдая за происходящим. Он не мог скрыть свой жизнерадостный, озорной хохоток, сильно ободривший товарищей, когда четырехлетний сын одной из спутниц, поставленный матерью на стол, ткнул вдруг ручонкой в лицо приблизившегося таможенного чиновника, воскликнув:

— Мамочка, мамочка, смотри: шарик висит!

Внимание мальчугана привлекла безобразная синеватая булыба на щеке немца.

Паспортов действительно не спрашивали, что сразу успокоило, но таможенные чиновники с исключительной придирчивостью отбирали у всех швейцарский шоколад. Одним из последних возвращаясь из таможи на перрон, Селедовский видел, как чиновники поделили между собой шоколадные плитки. Костлявый офицер также получил свою долю.

Путешествие по Германии было томительно длинным: мешало большое и частое движение воинских поездов, часто задерживали на мелких станциях, а иногда и в поле.

«Экстерриториальность» соблюдали точно: ехавшие в соседнем вагоне офицеры-«наблюдатели» ни разу не пытались нарушить ее.

С внешним миром сносился только швейцарец. Во время остановок он бегал по платформам в своей будно развешившейся крылатке, стараясь приобрести для своих подопечных что-либо съедобное, но, увы, это редко когда удавалось. В то же время белый батон, вывезенный кем-то из Швейцарии и лежавший на столике перед окном одного из купе, приковывал к себе жадное внимание удивленных немцев, фланировавших на железнодорожных платформах. Этот белый батон так и остался нетронутым почти до самого конца путешествия по германской земле, выполняя своеобразную агитационную задачу — полной независимости русских от кого бы то ни было.

Это не ушло, очевидно, от внимания офицеров-«наблюдателей», и на одной из крупных станций швейцарца вызвал представитель немецкого Красного Креста и стал усиленно предлагать кормежку: немцы демонстративно хотели показать, что в воюющей Германии дело с продовольствием обстоит, мол, не так уж плохо.

Швейцарец передал предложение Красного Креста на разрешение своих русских товарищей, и первым кратко и выразительно высказался Ленин.

— Гоните их к чертовой бабушке! — улыбаясь, сказал он, высунувшись из своего купе, столик и лавка которого были завалены

книгами и тетрадями: всю дорогу Владимир Ильич работал и никого к себе не пускал.

Это же «к чертовой бабушке» постигло на вокзале в Карлсруэ и представителя германских профсоюзов Янсона, пожелавшего встретиться с русскими социалистами и специально прибывшего с этой целью из Берлина. Пришлось сконфуженному неудачнику сесть в соседний вагон — к своим соотечественникам. Однако он не переставал проявлять любезность, время от времени покупал на станциях свежие немецкие газеты и делал обиженное лицо, когда аккуратный и проинструктированный Лениным швейцарец неизменно возвращал ему стоимость газет.

Во Франкфурте остановка была продолжительна, и поезд, поставленный в конце платформы, за водонапорной башней, оцепили жандармской стражей. Неожиданно цепь была прорвана, и в вагон ввалилась группа германских пехотинцев. Возгласы приветствий перемежались торопливыми вопросами:

- Вы русские, правда?
- Настоящие социал-демократы, — да?
- Вы за мир, — да?
- Когда будет мир?
- Что вы скажете о Либкнехте?
- Что надо делать, чтобы скорей наступил мир?

Солдаты из стоявшего на путях эшелона узнали невесть откуда, кто едет в этом вагоне, — они с острейшим любопытством заглядывали в первые от входа купе, хватали русских за руки и дружелюбно трясли их. На глазах одно, заметил Селедовский, стояли слезы.

Отвечать почти ничего не пришлось: из осторожности и опасения, как бы жандармская стража не спровоцировала, пользуясь этим случаем, «нарушение нейтралитета» со стороны русских эмигрантов и не вздумала бы прервать поездку.

К тому же вбежавший вслед за пехотинцами озлобленный, с перекошенным лицом жандармский офицер уже кричал на весь вагон:

— Цурюк! Цурюк! — и ухватил за шиворот ближайшего к себе солдата.

Вопросы и поведение пехотинцев говорили о настроении германского народа гораздо больше, чем то желательно и полезно было для берлинского правительства. Франкфуртское происшествие послужило темой долгих разговоров и отвлекло Ленина на некоторое время от работы.

Он ходил по коридору — от своего, крайнего, купе до середины вагона, сильно пошатывавшегося на частых изгибах пути, потирал руки и смотрел на товарищей со своей молчаливой, хитровато-доброй усмешкой. Занятый своими мыслями, он даже не заметил, как жена Селедовского, Магда, неплохая художница, бегло зарисовала его лицо.

Надо было запечатлеть этот замечательный контур куполообразного ленинского лба, запечатлеть, — стремилась Магда, — какое-то особенное, почти физическое излучение *света мысли* от его поверхности.

Широкая растрепанная бровь, пронизывающий блеск золотистых умных глаз... Они так выразительны, так одухотворены сейчас, что невольно любуешься их непреднамеренной игрой.

Не один русский человек в Швейцарии говорил Магде, что вождь русских революционеров имеет значительное сходство с Сократом.

«Да, да... с Сократом, — соглашается она сейчас, «передавая» это наблюдение своей «ловящей» образ Ленина руке, вооруженной карандашом. — Да... Вот поймать бы как следует эту самую замечательную выпуклость лба... Борода у него растет несколько запущенно... — продолжала она наблюдать Ленина... — А сила какая в лице!»

Магда показала набросок мужу, ему рисунок очень понравился.

— Храни, — сказал Савелий. — Приедем в Смирихинск — покажешь моим родным. Документ — исторический.

Всю дорогу тихонько, вполголоса, чтобы не мешать Ильичу, пели песни, вспоминали швейцарское житье, гадали о том, как встретят в России. Кто-то передавал слова, услышанные от Ленина: «Все может быть: господа Милюковы и Керенские не постесняются и в тюрьму посадить. Ну, а меньшевики... эти повсюду смердящий труп!»

И когда в Берлине прибыла на вокзал целая делегация ЦК германских эсдеков, пожелавшая встретиться с Лениным, он резко замотал головой и отказался вступить с ними в какие бы то ни было разговоры.

— Нет, — сказал он швейцарцу. — Отвечайте им одним только словом: *нет!*

Швейцарец выполнил поручение, но возвратился несколько смущенный: делегация... гм, гм... не понимает, в чем дело, и очень настаивает, чтобы ее допустили в вагон. Подумать только, когда еще представится такой случай: дружески потолковать на самые важные темы войны и рабочего движения?

— Скажите им, — сжав кулаки, ответил Ленин, и на широких висках его вздулись вены, — ...скажите им, что, если они здесь появятся, мы их выбросим вон!

Неизвестно, что именно передал швейцарец шейдемановским лазутчикам-послам, но возвратился он без них.

Когда тот же швейцарец, подстрекаемый любопытством, глубже обычного высунул голову в открытое окно, стараясь разглядеть лица ретировавшихся немецких социал-шовинистов, он вдруг почувствовал, как чья-то крепкая рука легла ему на плечо и оттянула вниз. Он обернулся: насупив брови, молчаливо Владимир Ильич приказывал ему не высовываться в окно.

Наконец доехали до Сосниц. Здесь пересели на пароход, отправлявшийся в шведский порт Троллеборг.

На пароходе потребовали выполнения обычных формальностей: заполнить «анкеты пассажиров». Осторожный и недоверчивый в пути — Ленин заподозрил было в этом требовании политическое коварство иностранной (предполагалось — английской или американской) разведки, орудовавшей, как и немцы, по всей Скандинавии, и потому предложил всем своим спутникам подписываться различными псевдонимами.

А в Троллеборге, оказывается, уже ждали свои: товарищи, единомышленники. Они запрашивали радиотелеграммами каждый пароход, державший курс в этот порт, не находится ли на нем «господин Ульянов», и капитан, выбывший несколько часов назад из Сосниц, ответил, проверив анкеты своих пассажиров, что Ульянов на его судне не значится.

Однако во время обеда капитан появился в салоне и на всякий случай снова спросил, нет ли все-таки среди русских господина по фамилии Ульянов, о котором настойчиво запрашивают с берега.

— Кто именно запрашивает? — задал вопрос Селедовский с молчаливого одобрения всех остальных товарищей и Ленина.

— Представитель шведского Красного Креста, — монотонно и бесстрастно ответил густобровый белокурый капитан.

Ленин, посоветовавшись с товарищами, признался, что он и есть Ульянов. И через несколько минут радиотелеграф передал краткую депешу в порт:

Сегодня 6 часов Троллеборг

Ульянов.

В шесть часов пароход прибыл в Швецию, и руки встречающих друзей приняли в свои объятия Владимира Ильича и его спутников. А утром следующего дня их встречал Стокгольм: партийный соратник — образцово-предупредительный, скромно улыбающийся, с шелковистой бородой Воровский и другие русские эмигранты-большевики, шведские «циммервальдцы», журналисты, фотографы, а некоторых — и случайно оказавшиеся здесь родственники.

Ленин настойчиво расспрашивал о событиях в России. Ему наперебой отвечали.

Все тот же пожизненный мэр города, социалист Линдгаген, — седой, голубоглазый, с вечным румянцем на щеках, чествовавший в прошлом году депутатов Государственной думы во главе с бесславным Протопоповым и Милюковым, — председательствовал теперь на завтраке в честь возвращающихся на родину русских революционеров. Он умиленно жал каждому из них руку, желал каждому личного счастья, а доктор Карлсон (верзила в цилиндре) произносил приветственную речь в «интернациональном духе».

Скандинавцы охотно и с полным спокойствием поставили свои подписи на декларации о переезде русских эмигрантов на родину — на протоколе, подписанном ранее швейцарскими, немецкими и французскими интернационалистами, жившими в Цюрихе и Берне.

Во время встречи со скандинавцами стало известно, что добивается разговора с Лениным специально примчавший сюда, в Стокгольм, представитель ЦК германских социал-демократов Парвус. Владимир Ильич не только отказал ему в свидании, но тут же попросил запротоколировать и обращение к нему Парвуса и свой отказ. Непримириемость и принципиальность Ленина поразили благодушных шведов, — недалекий Карлсон что-то гудел себе под нос.

Весь день прошел в суете и беготне. Эмигранты ходили по магазинам и, высчитывая каждый сантиметр, приобретали необходимые вещи: головные уборы, дешевую скандинавскую обувь, рубашки

и всякую всячину. В вестибюле отеля «Регина» их всегда ждала порядочная толпа шведских рабочих, услужливо сопровождавших их по городу.

Было решено «приодеть» и Владимира Ильича. Но он норовил отбиться от сопровождающих, подолгу останавливался у ларей букинистов, заскакивал в книжные магазины и выходил оттуда с целыми связками книжных новинок. Под конец он объявил, что денег у него уже нет и потому нужно оставить глупую затею: покупать, видите ли, какие-то там новые ботинки! Зря, что ли, добросовестный Каммерер для него старался?

Товарищи шутя ему отвечали, что бургомистр Линдгаген вынужден будет запретить ему хождение в эдаких варварских башмаках со страшными гвоздями, разрушающими стокгольмские панели. Втолкнули в двери большого универсального магазина, где и пришлось расстаться с хорошо послужившими башмаками Каммерера.

После этого начали прельщать другими частями гардероба. Ильич отчаянно защищался, угрожая публичным скандалом, старался улизнуть из магазина, обещал прервать навсегда товарищеские отношения. Тем временем ловкий продавец завернул в бумагу новые брюки и кепку. Пришлось покориться, — к явному удовольствию Надежды Константиновны.

Перед отъездом Ленин собрал у себя в номере русских большевиков-стокгольмцев и организовал из них заграничное Бюро партии во главе с Воровским. Он оставил им продуманные до мелочей инструкции, условился о формах связи с Россией. И, наконец, с некоторой торжественностью, ему не присущей, вручил товарищам весь капитал эмигрантской группы ЦК: несколько сотен шведских крон и какие-то малоценные шведские бумаги государственного займа.

И вот — снова вокзал. Сутолока, шум, гам, прощальные слова, большая толпа провожающих.

Свои не произносят никаких речей, они только с надеждой и долгой ласковой улыбкой смотрят на Ильича, стоящего на ступеньках вагона и время от времени размахивающего новенькой серой кепкой.

Не обошлось и без инцидента. Из толпы вдруг пробрался к подножке вагона какой-то бритый, худощавый русский офицер с сильно прижатыми к черепу, как у испуганной лошади, длинными ушами, с узкой талией, облегаемой белым казачьим бешметом.

— Дорогой вождь рабочих! — крикнул он Ленину. — Я недавно прибыл сюда по долгу службы из Петрограда и вижу, как вас тут чествуют. Мы все боремся за нашу Россию-матушку. Помогайте в Петрограде новому правительству. И не наделайте там, у нас в Петрограде, никаких пролетарских бунтов и сюрпризов. Это говорю вам я: капитан Мамыкин... Ибо сам преследовался старым режимом, — искал он сочувствия у толпы на перроне, но им уже никто не интересовался.

Ленин наградил неожиданного оратора короткой стрелой своих лукаво-прищуренных глаз и в последний раз помахал кепкой друзьям.

Поезд мягко, бесшумно тронулся с места.
В Россию!

Опасались (и совершенно справедливо), что через русскую границу швейцарца-интернационалиста не пропустят. И тогда в поезде, мчавшемся к пограничной станции Хапаранда, кто-то, соболезнующе поглядывая на опечаленное лицо швейцарца, составил заявление, что, мол, нижеподписавшиеся эмигранты, из чувства товарищеской солидарности, демонстративно отказываются от въезда на родину, если не пропустят туда и их провожающего. В порыве этих чувств многие, не рассуждая, подписали заявление. Оно дошло до Ленина. Один взгляд на бумагу — и спокойный, уничтожающий вопрос:

— Какой умник это писал, — а?

Правда, — хватились за голову, — ведь буржуазному Временному правительству только того и надо! Это понял и сам швейцарец.

Хапаранда. А вот там, — глазу видно, — Торнео и колышущийся красный флаг на вокзальном здании. Красный!..

Оставалось лишь проехать на лошадях Ботнический залив, еще скованный льдом, приглаженный снегом. Финны-ямщики подали полтора десятка розвальней. Белесые возницы бесстрастно и деловито оглядывали своих седоков и укладывали их утлый багаж.

Все примолкли. Повисло минутное раздумье: каждый о своем, но все об одном — вот она, Россия-родина.

— Ну? — прервал кто-то это молчаливое ожидание будущего, и все вздрогнули.

Сидя на розвальнях, Магда привязала к Савельевой палке свой красный платочек с вышитой на уголке французской надписью: *Свобода*. Она крепко сжимала в руках это самодельное знамя. Обгоняя розвальни Селедковского, Ильич заметил это знамя и, улыбаясь, протянул к нему руку.

Под звон ямщицких бубенцов, с шелковым красным платочком на высоко поднятой палке, в трепетном молчании вглядываясь в берег родной страны, въехали они в Россию.

Их окружили озябшие в ожидании чиновники Временного правительства.

Серый апрельский вечер. Легкий морозец высушил дневную грязь, — идти было свободно во всю ширь петербургских улиц. И толпы народа со всех концов города торопливо, почти бегом устремились к Финляндскому вокзалу.

День был пасхальный, предприятия не работали, газеты не выходили, и потому оповестить всех питерских рабочих о приезде Ленина не представлялось возможным. К тому же известие о возвращении на родину вождя большевиков и рабочего класса пришло в столицу всего лишь за 11 часов до прихода поезда.

Но весть о Ленине передавалась из уст в уста. Она наклеена была «самодельной» гектографированной листовкой на телеграфных столбах (в числе других этим делом занималась, по поручению Ваулина, Ириша Карабаева), весть короткими призывными словами уместилась на фанерных и картонных плакатах, она по проводам

городского телефона дошла до солдатских полковых комитетов и по кабелю — до судов на Кронштадтском рейде.

— Ленин!

Это слово, как раскат грома, повисло вдруг, грохоча, над Петербургом, над его сереньким весенним вечером обычной политической погоды, а она ведь, казалось иным, прочно установилась по воле мартовского правительства России.

И вдруг —

— Ленин...

Это навстречу ему со всех концов города потекли к Финляндскому вокзалу людскими ручьями и потоками сотни и тысячи рабочих и работниц, вооруженные части столичных полков — броневые, пулеметные, пехотинцы, саперы; шел всякий народ следом за веселой и звучной музыкой армейских оркестров.

За Литейным мостом улицы пели песни свободы и революции.

Развернув знамена питерских ленинцев, двигались к привокзальной площади колонны большевиков, батальоны рабочей красной гвардии с винтовками за плечами. По талому льду пришли в Питер кронштадтские моряки.

Был тот час, когда нетерпеливо ожидаемый поезд подкатил к узенькому перрону пограничного с Финляндией Белоострова.

Поезд встречали дозорные Питера: рабочие сестрорецкого оружейного завода, возглавляемые группой прибывших из столицы большевиков.

Встречающие двинулись к подходившему поезду. Один из рабочих обратил внимание на высунувшегося из окошка паровоза широко улыбающегося, седого и курчавого машиниста. Тот, не в силах заглушить взлетающие крики «ура», молчаливо показывал свою руку, подняв ее вверх и растопырив пальцы.

— Пятый... пятый вагон! — поняли теперь на перроне и кинулись к оливковому вагону с полупущенными окнами.

Минута — и Ленина вынесли на руках из вагона. Шумно и радостно выкрикивая приветствия, его понесли к зданию вокзала; там состоялся митинг.

Когда поезд тронулся, продолжая путь к Петербургу, в жестком вагоне Ленина окружили возвращавшиеся с границы солдаты. Они наперебой задавали вопросы: о войне, о крестьянском хозяйстве, о власти.

Степенный, но словоохотливый солдат с умными серыми глазами, в которых светилось одновременно и любопытство, и некоторая настороженность, и в то же время явное желание быть доброжелательным слушателем, привлек особое внимание Ленина. Владимир Ильич уселся напротив солдата так близко, что колени их соприкасались, сам он немного нагнулся вперед, прислушиваясь к словам солдата, и с очень деловым, озабоченным видом выпрашивал, выпытывал солдатские мысли и коротко отвечал на них: так, чтобы ответы его были понятны всем солдатам.

— Рабочие хотят республики, а республика есть гораздо более «упорядоченное» правительство, чем монархия. Уверяю вас, Захар

Матвеевич! — обращался он к солдату, который так и назвал себя — «Захар Матвеевич», когда Ленин осведомился, для удобства в разговоре, о его фамилии. — Катастрофу несет именно продолжение войны, то есть именно новое правительство. Правительство Гучкова, Милюкова и Керенского. Да, и Керенского, Захар Матвеевич!.. Пролетарская республика, поддержанная сельскими рабочими и беднейшей частью крестьян и горожан, одна только может обеспечить мир, дать хлеб, порядок, свободу... Неужели пролетариат России проливал свою кровь только для того, чтобы получить пышные обещания одних только политических демократических реформ? Вы как думаете? — обращался Ленин к окружающим его солдатам. — Неужели наш рабочий класс не потребует и не добьется, чтобы *всякий* трудящийся *тогда* увидел и почувствовал известное улучшение своей жизни? Чтобы каждая семья имела хлеб! Чтобы всякий ребенок имел бутылку хорошего молока... Чтобы дворцы и богатые квартиры, оставленные царем и аристократией, не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим... Разве все это вас не касается, уважаемый Захар Матвеевич? Раньше могу сказать, что касается.

Солдаты доброжелательно ухмылялись. Что и говорить, все это их касается! И никто не удивлялся тому, как отменно хорошо знает он их жизнь и думы: казалось, он присутствовал вместе с ними и на оставленном крестьянском дворе, и в могилах-окопах, и на койках воинских лазаретов.

В окна вагонов ворвались огни освещенного петроградского перрона. Вот и столь долгожданная встреча с питерским пролетариатом!

Владимир Ильич поспешно вышел на ступеньки вагона — и застыл на месте, взволнованный, немного озадаченный: мощное бушевавшее «ура», звуки грянувшего оркестра и неожиданная зычная воинская команда «Сми-иррно!» брошены были ему навстречу.

— Что это? — обернулся он к своим спутникам.

— Революционные солдаты и питерские рабочие приветствуют вас, своего учителя и вождя! — крикнул кто-то, стоявший у вагона. Это был Ваулин.

Вместе с другими партийцами и рабочими он быстро образовал цепь с обеих сторон ступенек, и по узкой просеке Ленин, подняв кепку вверх, помахивая ею во все стороны, двинулся к вокзалу.

— Да здравствует Ленин! Пролетарский привет вождю революции! — гремело вокруг на его пути.

Старые друзья и ученики бросались к нему, жали руки, обнимали, запевали революционные песни. Песни подхватывались всей толпой.

— Сми-иррно!

Это морской офицер с пурпурной розеткой на груди отдал команду, и балтийские матросы длинной шеренгой почетного караула встретили Владимира Ильича.

И вдруг стало тихо и торжественно.

Ленин сделал несколько шагов вдоль почетного караула и остановился, обнажив голову и сунув кепку в карман своего серого пальто.

— Матросы... товарищи...— начал он свою первую питерскую речь.— Приветствую вас. Я еще не знаю, верите ли вы всем посулам Временного правительства, но твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам много обещают,— вас обманывают, как обманывают и весь русский народ. Народу нужен мир. Народу нужен хлеб. Народу нужна земля.

Спутник по вагону, степенный солдат, стоявший с сундучком в руках позади шеренги матросов, бросился теперь ему в глаза, и, словно продолжая прежнюю беседу с ним, Ленин повторил:

— Народу нужна земля... А вам дают войну, голод, на земле оставляют помещиков. Матросы! Товарищи! Вам нужно бороться за социальную революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата!.. Мир хижинам, война дворцам!

Он едва успел закончить последнюю фразу, как матросы подхватили его на руки и, восторженно выкликая приветствия, понесли его по перрону к выходу.

— Сюда, сюда! — распоряжалось несколько голосов из толпы,— и матросы понесли Ленина к дверям бывших царских парадных комнат, где, как передавали, ждала Владимира Ильича делегация меньшевистско-эсеровского Совета во главе с его председателем Чхеидзе.

Ваулину удалось попасть туда же вместе с группой матросов и рабочих, прорвавших заслон часовых.

У овального стола с изогнутыми ножками, лицом к тяжелой малиновой портьере, по обеим сторонам которой возвышалось двое рослых офицеров, стоял Чхеидзе. Рядом и позади него — десяток каких-то людей в котелках и мягких весенних шляпах.

Увидев Ленина, весь этот кустик людей зашевелился, вперив в него глаза. Одни — с нескладной приветственной улыбкой, другие — с открытой тревогой и опасливым любопытством. Кое-кто из них рискнул заплодировать, но вялый, медленный и короткий хлопок никем не ощутился как звук приветствия и тотчас же конфузливо замер.

Ленин быстрым взглядом окинул просторную «царскую комнату», кивнул издали людям у столика и, сделав несколько шагов в сторону от входа, ощутился почти рядом с порывисто дышавшим от волнения Сергеем Леонидовичем.

Вот двинулся от столика осторожной, медленной походкой Чхеидзе, держа руки в карманах своего новенького вытуженного пиджака. Он словно боялся поскользнуться на зеркальном паркете и все время смотрел вниз, на пол. Чхеидзе остановился посреди комнаты и тогда только поднял голову. Лицо его было угрюмо, почти сердито, крупные поседевшие брови сбежались к переносице.

Он начал говорить, и гортанный голос зазвучал нравоучительно и без теплоты:

— Товарищ Ленин, от имени Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов и всей революции мы приветствуем вас в России... Мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой

цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы полагаем, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели. Мы полагаем, что вы призвете к тому же всей силой вашего авторитета ваших давнишних друзей и соратников...

Чхеидзе умолк. Стоявшие у столика заплодировали, но все остальные в комнате молчали.

Во время речи Чхеидзе Сергей Леонидович напряженно следил за выражением ленинского лица, за его жестами, по которым хотелось догадаться об ответе, который вот сейчас должен последовать из уст этого великого товарища по партии — ее вождя и основателя.

Ленин слушал нотацию меньшевистского лидера с видом человека, которого все происходящее здесь никак не касается. Он осматривался по сторонам, смотрел в потолок, разглядывал лица окружающих, кое-кого изучая быстрым, но внимательным взглядом — прямым и ясным, одухотворенным умом, ласковой иронией и боевым задором.

Его лицо, — заметил Ваулин, — отличалось математически точными очертаниями. Его большая голова с мощным выпуклым лбом мыслителя воплощала в себе всю силу, энергию и громадную жизнеспособность его личности.

В какой-то момент своей речи Чхеидзе ощутил как неожиданное препятствие, — надо его быстрее опрокинуть!.. И Ваулин видит, как меняется вдруг лицо Владимира Ильича: он чуть пригнулся, взгорбил плечи — стал следить за оратором. Бегут от глаз к вискам наשמшливой, вздрагивающей паутинкой морщинки, а правая рука быстро-быстро почесывает за ухом.

— Ну, горячо, кажись, будет! — убежденно сказал по соседству с Ваулиным один из старых приятелей Ленина, знавший его привычные жесты.

У Владимира Ильича была не замечаемая им самим привычка перед решительным выступлением ошупывать себя. И теперь, как бы желая лишний раз убедиться, все ли у него на месте, он несколько раз провел рукой по голове, коротким жестом пригладил усы. По лицу то и дело пробегала задорная, едкая усмешка: она могла ранить — без помощи слов.

Меньшевистский лидер, закончив свою «предостерегающую» речь, насупившись, откинув голову назад, смотрел на Ленина. Его конусообразная черно-седая борода была выставлена, как копье, навстречу «незваному гостю».

И вдруг Ленин, круто отвернувшись от меньшевистской делегации, стремительно шагнул мимо Чхеидзе — к плотно стоящей у противоположной стены группе людей. Весело и широко улыбаясь, он быстро, подряд пожав руки нескольким стоявшим впереди незнакомым рабочим и отступив на шаг, обратился ко всем им со следующими словами:

— Дорогие товарищи... солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд всемирной пролетарской армии. Грабительская империалистическая война есть начало войны гражданской во всей Европе... Недалек час, когда народы

обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов! Заря всемирной социалистической революции уже занялась. Не нынче завтра, каждый день может разразиться крах всего европейского империализма. Русская революция, совершенная вами, положила ему начало и открыла новую эпоху.

Речь коротка, но сила ее новой, ослепительной мысли — грозной, непреклонной и призывной — требует всего ораторского напряжения. Ленин весь в ней, в этой речи. Его голос, все его движения, пройдет еще минута — и будут брошены на площади, на улицы — народу, любовно ждущему своего вождя, своего первого великого гражданина революции.

— ...Международная социальная революция начинается... В начавшейся схватке пролетариата с буржуазией самую гнусную роль играют всевозможные соглашатели, социал-патриоты, всякие меньшевики и эсеры, они предают рабочих во всех странах!

В начале речи обе руки его бездействовали. Но вот появилась правая рука, и ее энергичный жест, сопутствуя мысли — огневой и твердой, непоколебимой и точной, начинает, разрезая воздух ребром ладони, подчеркивать слова и фразы, начинает как бы ставить невидимые в речи знаки препинания, дабы слова и фразы легли в сознании слушателей так, как хочет того он — Ленин.

Дальше уже и левая рука не может утерпеть, и обе вместе гармоничными короткими жестами начинают иллюстрировать усложняющийся ход мысли.

Но вот руки неожиданно меняют свое положение: откинувшись назад туловищем, обводя присутствующих спокойным и величавым взглядом своих глубоких и светящихся веселой мудростью глаз, Ленин закладывает большие пальцы обеих рук в прорезы жилета, распахнув пальто и пиджак. Сейчас он почти неподвижен, а голос звучит с той же силой и твердостью.

— ...Рабочий класс идет своей дорогой — дорогой мирового сплочения и мировой социальной революции.

И вновь правая рука выбрасывается стремительно вперед, словно расчищая путь великому знамени всей его, ленинской, речи:

— Да здравствует всемирная социалистическая революция!

Шумно провожаемый ликующими матросами и рабочими, отыскав глазами своих соратников по партии, Ленин на минуту исчезает в их рядах, но уже в следующие секунды — окруженный своими знакомыми и незнакомыми друзьями и учениками — идет к выходу, оставив без рукопожатия, в безмолвии и растерянности, сварливо кашляющего Чхеидзе и его сконфуженных единомышленников.

В густых сумерках позднего весеннего вечера свет фонарей серебрил сплошную массу людей, стоявших возле вокзала густыми, сбитыми рядами.

Пылали ярко факелы пожарных. В беспокойном колеблющемся свете рдели полотнища знамен.

Облитая громадными, «марсианскими» лучами прожекторов, блестела сталь солдатских штыков и стволы винтовок.

Толпа ждала.

Но была ли это толпа? Всегда безыменная, тающая в себе всегда неизвестное и неожиданное, — изменчивая и неуверенная?..

Нет!

Это был *народ*. Рабочие и работницы, матросы и солдаты, пролетарии и крестьяне, — это был *народ*.

Он принес сюда свою силу, свою волю, свою решимость: это было несокрушимое оружие победы, каким владеть могла только революция.

...Последняя минута ожидания, минута трепетной тишины — и буря народного ликования поднялась с площади и закружилась на ней: на крыльце вокзала стоял Владимир Ильич Ленин.

Грянули оркестры, грянул рабочий гимн, громом влетели приветствия, заглушившие музыку.

Революция открыла своему величайшему вождю питерские ворота России.

«...И ты поверишь, что нет времени. Но вот уж собралась. Спасибо, дорогой Федулка, за поздравление. И тебе — мое ответное, самое лучшее пожелание. Что ж, тронулись в жизнь? В повую? Сережа говорит то же самое.

Сейчас его нет дома, пропадает целые дни во дворце Кшесинской. Там Ленин. Все наши (я говорю о товарищах Сергея) в один голос говорят: вот оно — история началась, настоящая революция началась в 11 часов ночи 3 апреля на перроне Финляндского вокзала. Ты знаешь, я ведь была тогда на площади, среди тысяч рабочих, солдат и матросов, и видела его — Ленина. Какой простой! Прост, как правда. Проекторы осветили его своим светом, словно понесли его вдаль. Он взобрался на броневик, посмотрел вокруг, чуть-чуть потоптался на одном месте, как будто пробовал, крепко ли оно, крепко ли под ногами. Крепко! И потом все услышали его слова.

О чем была речь? Я стояла очень близко от броневика, я хорошо видела и слышала Ленина. Мне кажется, что никто точно не может передать его слов, но каждый на всю жизнь будет помнить их небывалую силу. Это была не подготовленная речь, а огненные слова, рвавшиеся из самой глубины его души, отданной навсегда народу. Все вокруг меня были растроганы. Я сама чувствовала, как что-то теснило в груди, какая-то горячая волна шла от плеч и по спине, спазма, сжавшая вдруг дыхание, выжала из глаз слезы. Какой-то особый внутренний подъем охватил и меня и всех-всех...

Броневик тронулся, я в толпе пошла за ним. Везде по пути стояли люди, жаждавшие увидеть и услышать Ленина. Остановка следовала за остановкой, и на каждой он разговаривал с народом. Так продолжалось до самого дворца Кшесинской.

Федулка, я видела Ленина!

Сережа говорит о нем с каким-то особенным вдохновением: *судьба революции*. Значит, и наша с тобой, Федя, судьба — правда? Или ты как считаешь?

Я всегда любила читать исторические книжки и всегда завидовала не только их героям, но и тем простым людям, которые видели своими собственными глазами историю. Мне кажется, что я теперь

ее вижу воочию. Она как будто стала осязаема, стоит протянуть палец — и он ткнется в нее. И, знаешь, мне пришла в голову мысль. А что, если каждому из нас — любому солдату, измучившемуся на войне, рабочему, учителю, тебе, мне — действительно суждено самым доподлинным образом делать эту историю? Заново делать? Что тогда? Вероятно, надо тогда стать совершенно другими людьми — готовиться стать людьми будущего.

Сергей шутит и посмеивается надо мной. Это правильно, — говорит он, — что строить-то будем все мы, миллионы людей, для самих себя, народ для народа, а вот ты-то, Ириша, по мордасам будешь бить тех, кто станет мешать нам? Хочу, говорит, научить тебя драться.

Ей-богу, хороший он у меня — «собственность» моя! Конечно, легче подталкивать того, кто уже бежит, чем подвинуть того, кто еще и не двигался. Например, наш Юрка: так и метит стать дурацким юнкером. А «министерская дочка», увы, не в почете у своего отца. Ты думаешь, мне, по-родственному, легко? Каюсь, иногда я поплачу — чтобы никто не видел... Того еще дожدهшься, что он когда-нибудь вместе со своими милюковцами и шульгинцами будет арестовывать Сергея и всех таких, как он.

Словом, Федулка, я чувствую как-то, что все вышло из своей прежней колеи и не нашло еще новой. Все сдвинуто, и живописец, рисуя картину эту, должен был бы сейчас писать всех в движении.

Ты мне представляешься в такой позе: счастливый — кружишься на одном месте от счастья и любви, ничего не понимающий, говоришь: «Да погодите вы приставать ко мне с вопросами: я еще не остановился!» Лучше посмейся, чем обижаться на меня, Федюшка. Прости меня, но я так понял твое состояние из твоего письма. Сплошной горячий сумбур!

Итак, биографии всех нас начались заново. Кто может точно сказать, как они продолжатся?

Во всяком случае, в Петрограде, в поздний апрельский вечер, почти ночью, при свете факелов человек с протянутой вперед рукой...»

Вспомнив об этом, не дописав фразы, она на минуту прервала письмо: она хотела найти самые лучшие слова, чтобы ими сказать своему другу о впереди лежащей жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Накануне

Глава первая. Министр внутренних дел Протопопов и иже с ним	4
Глава вторая. Ирина Карабаева и ее новые друзья	14
Глава третья. Рабочие и солдаты	29
Глава четвертая. «Мы все здесь монархисты...»	48
Глава пятая. Опять в Смирнинске	72
Глава шестая. О ком и о чем думал Сергей Ваулин	96
Глава седьмая. Петербургский Комитет большевиков постановил	111
Глава восьмая. Приключения Ваулина. Ирина Карабаева	122
Глава девятая. Приходится покинуть Петроград	136
Глава десятая. Сегодня ночевать нигде было	141
Глава одиннадцатая. Встретились четверо	149
Глава двенадцатая. Чек на предъявителя	158
Глава тринадцатая. Любовь продолженная	165
Глава четырнадцатая. Девять точек	179
Глава пятнадцатая. Убит Распутин	196
Глава шестнадцатая. Как набирали газету	205
Глава семнадцатая. Перед крушением	212

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Февраль

Глава первая. Революция	220
Глава вторая. Министры новые и старые	234
Глава третья. Отречение Михаила	245
Глава четвертая. Сергей Ваулин, Андрей Громов и их товарищи	250
Глава пятая. Последний удар часов	270
Глава шестая. Таврический дворец	282
Глава седьмая. Дело № 11 111	295
Глава восьмая. Первый выстрел Федя Калмыкова	303
Глава девятая. «Надо с самим собою поговорить»	314
Глава десятая. По следам старого режима	319
Глава одиннадцатая. Леиинцы	330
Глава двенадцатая. «Будем говорить откровенно!»	338
Глава тринадцатая. Дело № 0072061	349
Глава четырнадцатая. Востороженное сердце	354
Глава пятнадцатая. 3(16) апреля 1917 года	365

2 р. 50 к.



„УЗБЕНИСТАН“